

СОВРЕМЕННАЯ
ЗАПАДНАЯ
РУСИСТИКА

ГУМАНИТАРНОЕ АГЕНТСТВО



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО

ФОРМОВКА
СОВЕТСКОГО
ЧИТАТЕЛЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
РЕЦЕПЦИИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МСМХСVII

83. 3 (2)7
Ш 5 (2)7-3

Председатель редакционной коллегии
серии "Современная западная русистика"
доктор филологических наук
Б.Ф.Егоров

ISBN 5-7331-0083-4

© Добренко Е., 1997

© Гуманитарное агентство, "Академический проект", оформление, 1997

Памяти Степана Петровича Ильева

*...Телегою проекта
нас переехал новый человек*

Осип Мандельштам

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга посвящена рассмотрению социальных и эстетических предпосылок рецепции соцреализма и значит, анализу нового горизонта чтения. Такой горизонт есть продукт взаимодействия литературы и читателя, он фиксируется не только в системе читательских реакций, предпочтений, оценок, но и в самих соцреалистических текстах, во многом ставших продуктом читательских интенций. То что в советских условиях этот процесс взаимодействия протекал в строго проложенном русле вполне определенной стратегии власти по отношению к литературе и чтению, заставляет обратиться к анализу как самой этой стратегии, так и ситуации чтения в самых различных их проявлениях. Новая перспектива чтения, сформированная в советской культуре, не может быть осмыслена ни только с позиции литературы (здесь мы видим уже результат), ни только с позиции читателя (здесь мы видим только предпосылки), но лишь на пересечении их путей в проекции Третьего — власти и ее интенций. Говоря о новой перспективе чтения, ее рождении и исчерпании, мы имеем в виду специфичность именно советской ситуации чтения: она была преодолением прежних форм взаимодействия между литературой и читателем, но в то же время и отличалась от схожих и параллельных ей форм отношений между массовой литературой и массовым читателем: массовый читатель и массовый вкус есть необходимое, но далеко не достаточное условие для рождения феномена, подобного соцреализму. Есть некий “осадок” — то, что и сообщает специфичность именно соцреалистической культуре. Этот “осадок” имеет много измерений (социальное, эстетическое, институциональное и др.), представляющих для нас в этой книге первостепенный интерес. Несомненно, что каждое литературное произведение отражает определенную культурную атмосферу, и не просто “территориально” принадлежит сфере культуры, но в принципе возможно как явление постольку, поскольку пронизано сознанием времени и социальной среды, к которым принадлежат автор и реципиент. Читатель — прежде всего — дает литературному произведению жизнь в новом времени. Он *пересоздает* художественный текст, который перестает быть равным времени своего создания и самому себе.

Однако, что значит эта самодостаточность текста, который без читателя — лишь “знаковая система”? Разумеется, самая возможность бесчисленных интерпретаций обусловлена бесконечными системами знаков внутри произведения и постоянно совершающимся их переакцентированием. Отсюда — расслоение литературной критики — социологической, символической, психоаналитической, стилистической, лингвистической. Однако за пределами этого расслоения существует не просто

возможность — необходимость выявить ценности, обуславливающие этот процесс пересоздания текста. Эти ценности подобны *аксиологической тени критических доминант*. Реципиент, так же как и автор, и художественный текст, может и должен быть объектом критики — также, по необходимости, — социологической, символической, психоаналитической, стилистической, лингвистической — критики читательской реакции.

Эта книга менее всего претендует на некую историю чтения в советское время. Это и не история становления советского читателя. Это история *формовки читателя* по преимуществу *советской художественной литературы*. Пользуясь известным определением Х.Гюнтера, *история "огосударствления читателя"*. Подобно тексту, читатель не живет в историческом вакууме. Социальное пространство читателя, то, что здесь определяется как *ситуация чтения*, было в советское время исключительно напряженным. Это обусловлено самим характером советского времени — эпохи величайших трансформаций, периода колоссальной социо-культурной динамики, сильнейших напряжений и реакций, определивших как характер социальных связей, так и характер новых культурных форм. Институт литературы не может быть осмыслен вне и помимо института чтения. Это, разумеется, верно для любой эпохи. Для советской — в особенности. Институт литературы, вся история его становления, характер трансформации в революционную и советскую эпохи говорят о том, что он призван был выполнять и выполнял существенные политико-идеологические функции в общей системе деятельности власти по преобразованию, перековке и, наконец, созданию нового человека. Таким был, по крайней мере, проект этого института.

Другое дело, в какой мере эти цели могли быть достигнуты "в отдельно взятой стране". Институт литературы должен быть сопряжен с институтом читателя. Только в этом случае культурная цепь замкнется и мы сможем увидеть, как различные социальные слои, находясь в невиданной в досоветской истории динамике, не просто читали, но *творили* новую культуру. Вряд ли социология чтения сама по себе в состоянии раскрыть всю пестроту, динамичность, разноуровневость процесса чтения, и шире — процесса потребления искусства. *Читатель — фигура комποзитная*. Советское общество в сталинскую эпоху не было только государственно-иерархической системой, хотя, конечно, такого рода системность чрезвычайно важна для анализа советской культуры. Но, может быть, не менее важна реальная *мозаичность* советского социума и то обстоятельство, что общество всегда разделенно на определенные культурные страты, каждая из которых потребляла "свою" культуру (в том числе и очень высокую) и эта "своя" культура (литература) выполняла множество различных функций — эскапистскую, социализирующую, компенсаторную, информативную, рекреационную, престижную, эстетическую, эмоциональную и, конечно, специфически советские — агитационно-мобилизующие. Если учесть в этом спектре наложение

разного рода индивидуальных факторов — от образовательного уровня до возможностей и желаний, от случайных знакомств до семейных традиций, картина получится чрезвычайно пестрой. В то же время, есть некоторое культурное пространство, в котором пересекаются эти лучи, — это пространство, определяемое здесь как ситуация чтения. В этой книге мы сосредоточимся на основных силовых линиях, действующих в интересующем нас пространстве чтения.

В той пестрой картине, в той изумительной и страшной социальной турбулентности, что были рождены революцией и ее последствиями, проступает остов определенной системы, в которой действует эффективный для своих функций и в своих социальных границах механизм коллективного существования, взаимодействия и самоидентификации общества. Можно сколько угодно говорить о деформациях и деструктивности этого механизма и этой системы. Но самый факт их существования бесспорен и как таковой должен стать предметом исследования.

Именно в этом качестве проблема читателя обретает множество контекстов методологического свойства. Речь не случайно идет о *контекстах* проблемы. Подходить ли к проблеме читателя со стороны рецептивной эстетики или с точки зрения теоретико-познавательной (герменевтика, феноменология), со структуральной точки зрения или помыслить ее в эмпирико-социологических категориях (социология читательского вкуса и восприятия), с психологической или коммуникативно-теоретической, с семиотической или социально-информативной... Менее всего эта книга посвящена обоснованию (или опровержению) неких сугубо теоретических установок или доказательству преимуществ (или недостатков) тех или иных конкретных методик. Исходной теоретической предпосылкой является для нас лишь вывод об их *дополнительности*. Обращаться к ним приходится лишь в той мере, в какой они помогают увидеть нашу проблематику более объемно, но “работают” они на такую объемность *лишь в комплексе*.

Случайно ли работы, положившие начало функциональному исследованию литературы в 1920-е годы — статьи Ю.Тынянова «О литературной эволюции» и А.Белецкого «Об одной из очередных задач историко-литературной науки (Изучение истории читателя)» начинались с определения статуса историко-литературной науки как таковой? О необходимости вывести историю литературы из “услужения” у библиографии, эстетики, психологии, публицистики после “более века продолжавшихся мытарств” писал Белецкий. О том, что положение истории литературы продолжает оставаться в ряду культурных дисциплин положением колонии, писал Тынянов. Выход из тупика виделся в 1920-е годы в функциональном исследовании историко-литературных явлений. Такое изучение не могло состояться в советский период, что, очевидно, связано со специфической функциональностью литературы в советских условиях. Выйти к функциям литературы значило выйти во внелитературное пространство, в пространство, измеряемое реальными социологи-

ческими категориями, а не только организованное по законам тотальной эстетической доктрины и политико-идеологической инженерии. Этот путь был в советских условиях заблокирован. Но точно так же был заблокирован путь к функциональному исследованию советской литературы и из внесоветского культурного пространства. Вращаясь в узком кругу идеологических орбит, западная советология, равно как и советская эстетика, оперировала набором идеологем, в которых функции литературы в советских условиях были расписаны и сочтены. Оба пути лежали во *внеисторическом* пространстве. Используя тыняновский образ, можно сказать, что история советской литературы в подавляющем большинстве случаев находилась на положении колонии у советской идеологической доктрины (в Советском Союзе) и у советологии (на Западе). Выход из кризиса видится в *историзации* материала, в его расширении и углублении, в *экспансии* истории, наконец.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

(РЕЦЕПТИВНАЯ ЭСТЕТИКА — А LA SOVIÈTIQUE)

*Литературная коммуникация предполагает
взаимную мифологию.*

Робэр Эскарпи

СМЕРТЬ ДИАЛОГА

Советский читатель... Каков объем этого понятия и не является ли история читателя историей вообще всех участников той или иной культурной ситуации?

“Мы говорим: ‘читатели’. Но можно ведь сказать и ‘народ’. В условиях нашей страны без малого каждый грамотный человек является читателем; а неграмотные уже редкость, аномалия. Читатель-народ верит нам, советским литераторам. Мы этим должны гордиться, дорожить и отчетливо сознавать ту огромную ответственность, которая возлагается на нас доверием народа”¹. “Читатель-народ”. Эта формула В.Кочетова таит в себе какую-то безысходность: все грамотны, почти все читают, неграмотные — аномалия. Следовательно, все — читатели.

Формовка советского читателя может рассматриваться как одна из сторон более широкого процесса — формовки советского человека. Наибольший интерес представляет для нас именно этот процесс формовки: не история читателя вообще, но логика превращений “читательской массы” и факторы, определявшие этот процесс в советских условиях. Очевидно, что говорить о советской литературе и шире — о советской культуре, являющейся исполнением единого политико-эстетического проекта, невозможно без учета воспринимающей стороны. Всякая культура рождается из взаимодействия продукции и ее потребителей, в процессе этого взаимодействия, “притираясь” друг к другу, они “шлифуются” и обретают то “своеобразие”, которое исследователь стремится понять как логику и механизм этой культуры. Очевидно, эту задачу не решить, если постоянно подставлять на место потребителя лишь критическую мысль исследователя.

Это вдвойне справедливо для советской культуры. Советский читатель, зритель, слушатель — не просто реципиент (или в западном смысле — “потребитель книг”). Согласно “общественно-преобразующей” доктрине, лежащей в основании соцреализма, он — *объект* преобразования, формовки. Он сам — существенная часть проекта и, в конечном

счете, функции советской литературы (как и всей советской культуры) состоят именно в этой “перековке человеческого материала”. В классическом сталинском определении советских писателей как “инженеров человеческих душ” подчеркивается именно эта *обращенность* эстетической деятельности на читателя. Можно определить советскую культуру как политико-эстетический проект, *радикально обращенный к реципиенту*. Радикализм этот имел ряд существенных последствий макрокультурного характера. Прежде всего речь идет о фундаментальном преобразовании отношений между автором и читателем.

Чтобы понять характер перемены, стоит обратиться к некоторым находящимся вне зоны “массового читателя” точкам зрения на проблему. Изберем автора (Осип Мандельштам), критика (Юлий Айхенвальд) и теоретика литературы (Александр Белецкий). Позиции эти находятся в до- и внесоветской культуре и позволяют видеть в них некоторую точку отсчета.

Свое понимание читателя О.Мандельштам наиболее полно раскрыл в эссе «О собеседнике» (1913 г.), где он отстаивал право поэта на обращение к читателю далекому, находящемуся “в потомстве”. Мандельштамовская концепция читателя основывается на понимании сотворчества автора и читателя как участников беседы (“собеседники”). Вне такой беседы поэзия не рождается, ибо задача поэта — “бросить звук в архитектуру души”² ибо “нет лирики без диалога”³. При этом Мандельштам видел прямую связь между “заискиванием” перед “слушателем” из “эпохи” и установкой на “отказ от читателя”, противопоставляя “неприятный, *заискивающий* тон” бальмонтовской поэзии (“И зову мечтателей... Вас я не зову) “скромному достоинству” стихов Боратынского (“Икак нашел я друга в поколеньи, / Читателя найду в потомстве я”)⁴

Мандельштамовские размышления о собеседнике можно рассматривать как итог классической традиции в преддверии “новой социальной архитектуры”, ее завет новой эпохе, которая как бы говорила, что ей “нет дела до человека, что его нужно использовать как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него”, которая “враждебна человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством”⁵. Мандельштам был убежден, что “монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры” связана с ее новизной, что “есть другая социальная архитектура, ее масштабом, ее мерой тоже является человек, но она строит не из человека, а для человека, не на ничтожности личности строит она свое величие, а на высшей целесообразности в соответствии с ее потребностями”, что “простая механическая громадность и голое количество враждебны человеку, и не новая социальная пирамида соблазняет нас, а социальная готика: свободная игра тяжестей и сил, человеческое общество, задуманное как сложный и дремучий архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально и каждая частность аукается с громадой”⁶. Правда, еще в 1923 году Мандельштам полагал, что “гуманистические ценности только ушли, спрятались, как золотая валю-

та, но, как золотой запас, они обеспечивают все идейное обращение современной Европы и подспудно управляют им тем более властно”⁷. Но он же видел, что в новую эпоху люди “выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз”, что героем времени стал “человек без биографии”, он предсказывал, что вся дальнейшая история будет “историей распыления биографии как формы личного существования, даже больше чем распыления — катастрофической гибелью биографии”⁸. Видел Мандельштам и то, что “пшеница человеческая волнуется”: “хлеб не выпекается, когда амбары полны зерна человеческой пшеницы, но помола нет, мельник одряхлел и устал и широкие лапчатые крылья мельниц беспомощно ждут работы. Духовая печь истории, некогда столь широкая и поместительная, жаркая и домовитая духовка, откуда вышли многие румяные хлебы, забастовала. Человеческая пшеница всюду шумит и волнуется, но не хочет стать хлебом, хотя ее к тому понуждают, считающие себя ее хозяевами, грубые собственники, владельцы амбаров и закромов”⁹.

Художник отказывается считать себя “хозяином”, “собственником” или “владельцем” амбаров и закромов “пшеницы человеческой”. Можно сказать, что та “социальная готика”, где все индивидуально и “каждая частность аукается с громадой”, выростала и из мандельштамовского понимания беседы, диалога, взаимной близости художника и читателя. Можно видеть, что позиция Мандельштама не только не изменилась в течение десятилетия (с 1913 по 1923 год), но напротив — обрела макрокультурный, историософский контекст и горизонт. Дистанцирование поэта от эпохи и “века” и вело к установке на “читателя в потомстве”.

Но вот взгляд тех же лет на проблему читателя Ю. Айхенвальда, одного из самых ярких и влиятельных дооктябрьских русских критиков, раскрытый в его последней перед высылкой из советской России книге «Похвала праздности» (1922 г.): “Литература — беседа; разговаривает писатель с читателем, и это соединение уст и сердец, эта духовная двоица осуществляет художественный эффект. Не только писатель определяет читателя, но и читатель — писателя: первый создает последнего по образу и подобию своему, симпатически выявляя его сущность. Писатель, это не то, что им написано, а то, что у него прочитано”¹⁰. И далее: “Личность писателя трансформируется личностью читателя”¹¹. Исходя из утверждаемой им импрессионистической природы критики, Айхенвальд выступал против тенденциозности не только писательской, но и читательской: “Следует бояться и читателя тенденциозного, как следует бояться тенденциозного писателя. Не только писать, но и читать надо талантливо, не только писать, но и читать надо честно. Не только писать, но и читать надо без тенденции. Мысль, это — свобода; умысел, это — рабство”¹². Отсюда следовал вывод: “художественное слово, бездонное, никогда не может быть готово и кончено; сказанное писателем, оно продолжается у читателя. Однажды начавшись, не прекращается творчество”¹³.

Концепция Айхенвальда привлекает своей завершенностью. Последовательно отрицая всякий монополизм (как писательский, так и читательский) в акте сотворчества, он вовсе устранял из “формулы творчества” критику. Наиболее радикально эти идеи были развиты им в программной статье с характерным названием «Самоупразднение критики». “Глубокий эстетический смысл” видел он в том, что Бог сам создал мир и *сам* сказал: и это хорошо. Айхенвальд делал вывод: “Творчество и критика совмещаются в единой личности, проистекают из одного источника и служат двумя родственными проявлениями одной и той же силы... Критика имманентна творчеству. Художник — свой собственный критик... Художник не нуждается в указчике: художник закончен в себе и определяется самим собою... Созидатель красоты и ее созерцатель, ее производитель и ее потребитель совпадают в одном лице. Итак, художник без критика может обойтись... Отзвук обязан звуку”¹⁴. При этом идеолог русской импрессионистической критики, конечно, понимал, что “внутренний смысл произведения нередко лучше открывается критику, чем автору. Творение больше творца... Но отсюда еще далеко не следует, чтобы критик в состоянии был оказывать художнику какую-нибудь помощь и учить его светлой науке красоты”¹⁵.

Основываясь на традиционном разделении епархий автора, читателя и критика, Айхенвальд вряд ли предполагал, что их отношения могут претерпеть те радикальные изменения, какие им были суждены в границах “новой социальной архитектуры”.

Пройдет совсем немного времени, и построения Айхенвальда могут быть восприняты как *возвратный* проект отношений между критикой и литературой. Сфера критики здесь особенно важна, поскольку это собственно сфера чтения. “Законодателем критики является художник, — утверждал Айхенвальд, — он — критик критика. Не критику художник должен угодить, а художнику критик. Ведь теория искусства эмпирически вытекает из практики искусства. Сначала — слово, потом — словесность”¹⁶. Эта ситуация реализуется в соцреализме “с точностью до наоборот”.

Другая сфера — отношения между критикой и читателем: “Без критика может и должен обходиться не только художник, но, в сфере литературы, и читатель... Читатель сам — критик. Иначе он не был бы и читателем. Критик и читатель — внутренние синонимы. Не нужен критик-специалист. Книга литературы не книга за семью печатями: она лежит раскрытая перед каждым... Излишни в искусстве посредники”¹⁷. И эта сфера подверглась в советской ситуации радикальной перестройке. Айхенвальдовское “читатель сам — критик” наиболее последовательно было проведено в соцреалистической эстетике. Другое дело, что под понятием “читатель” находился теперь сложный симбиоз массы/власти. Советская критика и говорила одновременно от имени/во имя власти и от имени/во имя массы. Она стала их голосом и настройкой для соцреалистической литературы. Иначе говоря, “посредник” заявил свои

права, превратившись из “агента” в “приемщика”. Вот почему хотя книга соцреализма и “лежит раскрытая перед каждым”, она не может быть понята вне и помимо собственного ее читателя.

Айхенвальд усматривал истоки кризиса критики в том, что “рост личности вообще обуславливает и автономию читательской личности. Ей необходимы авторы, а не авторитеты”¹⁸. Критика же, напротив, питается авторитетами. Но Айхенвальд разумел под читателем “личность”, а не “массового читателя” советской эпохи. Он вряд ли предвидел ситуацию, когда критика будет действительно говорить голосом власти, но все в этой речи будет направлено на защиту “массового читателя”.

В первые пореволюционные годы Айхенвальд уже мог видеть кризис традиционной модели отношений между литературой и читателем: “На страже вкуса и оценки стоит ныне критика. Читатель сам охраняет свой вкус и сам чеканит свои ценности... Читатель полагается на свои впечатления... А впечатления необязательны. Поэтому и преобладающая в наше время импрессионистическая критика необязательна”¹⁹. Действительно, это был пророческий вывод. Новая модель отношений между литературой и читателем строилась уже вовсе не на мимолетных “впечатлениях”, но на жесткой системе норм, а потому, разумеется, и дни импрессионистической критики были сочтены.

Главную роль в функционировании литературы Айхенвальд отводил активному читателю. Идеал его отношений с писателем виделся Айхенвальду следующим образом: “Читатель-критик вступает в родственное или дружеское общение с писателем, как его сотрудник, как солидарный с ним участник его творчества. Читать — это значит писать... Читатель активен”²⁰. Айхенвальдовское “читать — это значит писать” исполнится в соцреализме буквально: вчерашний читатель-ученик, взявшись за перо, превратится в советского писателя.

Парадоксально в этом контексте звучат рассуждения Айхенвальда о будущем критики, которое виделось ему непосредственно связанным с “ростом читателя”. Исходя из того, что “цель критики состоит в самоупразднении”, полагая, что “нормальный путь критики” — “от догматизма к импрессионизму, от импрессионизма к небытию”²¹, Айхенвальд утверждал, что “критик учит вникать в написанное... и когда он этому научит, он больше не нужен. Критик, лучший из читателей, воспитывает читателей более слабых, менее чутких. А дело воспитания когда-нибудь да кончается. Читатель — не вечный недоросль... Когда все станут критиками, отпадет критика. Она отойдет, предоставив честь и место писателю и читателю, их двуединству. Значит, принципиально критик не необходим. Реально же, на практике, среди дурно и поверхностно, бегло и торопливо читающих, среди недостаточно грамотных, он полезен”²². Характерно, что точно так же, “воспитательно” смотрели на роль критики многие адепты новой культуры. Произошло же обратное: когда “все стали критиками”, критика перестала воспитывать, превратившись в институт культурной адаптации личности ко внеличной ма-

шинерии власти, стоявшей на страже “всех”. При этом количество “дурно и поверхностно, бегло и торопливо читающих”, равно как и “недостаточно грамотных” нисколько не уменьшилось. Напротив, значительно возросло, поскольку вся система работала именно на то, чтобы читатель остался “вечным недорослем”, а, соответственно, “воспитание” не кончилось никогда.

Проблема читателя непосредственно связана с фундаментальными проблемами литературы и литературной науки — природы художественного творчества (о чем писал Мандельштам), функционирования литературы и литературной критики (о чем рассуждал Айхенвальд), интерпретации художественного произведения и литературного развития в целом, о чем говорил в 1920-е годы А.Белецкий. Его статья «Об одной из очередных задач историко-литературной науки (Изучение истории читателя)» (1922 г.) по праву считается одной из первых работ, где были сформулированы принципы историко-функционального исследования литературы.

Молодой тогда харьковский литературовед шел здесь — через оттачивание — от харьковской школы А.Потебни, едва ли не первым в русском академическом литературоведении определившим подходы к проблеме читателя, указавшим на значение этой фигуры. По сути, Потебня еще в прошлом веке сформулировал ключевые рецептивно-эстетические идеи: “Мы можем понимать поэтическое произведение настолько, насколько мы участвуем в его создании”²³, определенный смысл придают художественному произведению те, кто его воспринимает, содержание, “проецируемое нами, т.е. влагаемое в самое произведение, действительно условлено его внутренней формой, но могло вовсе не входить в расчеты художника, который творит, удовлетворяя временным, нередко весьма узким потребностям своей личной жизни”²⁴.

Белецкий, однако, формулировал проблему читателя прежде всего как проблему историко-литературную: “не все, дошедшее до нас в словесной форме, равно достойно стать предметом нашего изучения. Отбор неизбежен — и иного критерия отбора, кроме голоса читателей, у нас нет. Всякие попытки установить эстетическую ценность литературного произведения безотносительно к вопросу о восприятии этого произведения — пока терпят неудачу. Пора нам признать, что произведение является художественным или нехудожественным, первостепенным или второстепенным лишь в сознании читающих: это они открывают в нем красоту, это они создают его ‘идею’, идею, о которой часто не подозревает пишущий. Но очевидно, что в каждом отдельном случае читательская масса не однородна по своему составу; историк литературы должен всех терпеливо выслушать и не смущаться тем, что вместо простого одноэтажного здания ему придется выстроить, созидавая историко-литературную схему эпохи, здание в несколько этажей, иногда с пристройками”²⁵.

Исследование читателя неизбежно усложняет любую историко-лите-

ратурную схему. Те “этажи” и “пристройки”, о которых писал Белецкий, — естественный продукт “конкретно-исторического исследования литературы”. Развивая мысль Мандельштама о “собеседнике”, Белецкий предложил своеобразную историческую типологию читателей: “приходит читатель-потомок, читатель отбирающий, судья и истолкователь”. Затем “читатель навязывающий” — сперва навязывающий автору свои идеи, а затем — и образы. По сути, Белецкий синтезировал идеи Мандельштама и Айхенвальда, когда пришел к выводу о том, что “история критики своей значительной частью должна войти в историю читателя, и это, наконец, уяснит ее место в общей историко-литературной схеме”²⁶. Но Белецкий блестяще сформулировал и свое понимание собственно критики: “по-своему критика всегда права, как прав всегда читатель”²⁷. Последним историческим типом читателя (“ступенью”) Белецкий называл “читателя, взявшегося за перо”: “Придет, наконец, эпоха, когда читатель, окончательно не удовлетворенный былой пассивной ролью, сам возьмется за перо”²⁸. И здесь было поистине прозрение. Характеризуя эту эпоху и ее читателей, Белецкий писал: “они сами хотят творить, и если не хватает воображения, на помощь придет читательская память и искусство комбинации, приобретаемое посредством упражнений и иногда развиваемое настолько, что мы с трудом отличим их от природных настоящих писателей. Такие читатели-авторы чаще всего являлись на закате больших литературных и исторических эпох: их мы находим среди александрийцев, в последних веках античного Рима; однако далеко не всегда они вестники упадка и разложения; их знают и средние века, и Возрождение; они всегда могут возникнуть в культурной среде или группе, накопившей известный запас художественных приобретений и достигшей некоторой утонченности, ведущей обычно к эклектизму и упадку фантазии. Произведения этих писателей иногда могут быть чрезвычайно примитивными по своей постройке... необходимо немало такта и наблюдательности, чтобы суметь отграничить читателей-авторов от настоящих писателей”²⁹.

То, о чем пишет Белецкий, имело прямое отношение к его эпохе. Наступавшую культуру можно определить как *панрецептивную*. *Читатель прорастает здесь и в писателя, и в критика, а творчество становится процессом действительно коллективным*. Вот почему постижение советской литературы вне и помимо читательской массы принципиально невозможно.

В строгом этическом пафосе Мандельштама, в импрессионизме Айхенвальда, в академизме Белецкого были лишь первые толчки пробуждения интереса к читателю в пред- и постреволюционную эпохи. Наибольшего пика этот интерес достигает в 1920-е годы, после чего резко идет на спад и из-под обломков рухнувшей на рубеже 1930-х годов науки о читателе лишь к 1960-м годам, и то очень медленно, восстает.

Интерес к читателю, как мы могли видеть, пробуждался с разных сторон. Но, разумеется, поэт, критик, теоретик литературы не могли

иметь того опыта непосредственного общения с читателем, каким обладали библиотекари. Своеобразного пика библиотековедческая теория достигла в России в работах Н.Рубакина. Создатель “библиопсихологии”, Рубакин разработал оригинальную теорию чтения, выходящую далеко за пределы библиотековедения и по-настоящему не оцененную литературной наукой. Вся постройка Рубакина шла от читателя: “самая суть библиотечной работы — не в книге и не в ее даже самом великолепном содержании, а в читателе. Будь прежде всего психологом и лишь затем библиографом, а не наоборот”³⁰. Рубакин первым в России сформулировал основные идеи рецептивной эстетики, которая получит наибольшее развитие в 1960-70-е годы в Германии, а затем под влиянием постструктуралистских идей трансформируется в 1970-90-е годы в американскую критику читательской реакции.

Рубакин обосновал взгляд на литературный текст как продукт исторической ситуации, зависящей от позиции интерпретирующего читателя: “содержание книги — это то, что ею возбуждается. А возбуждения эти, т.е. результат чтения и влияния книги, постоянно изменяются, смотря по читателю, смотря по складу его ума, по его характеру, темпераменту, его преобладающему или минутному настроению и всем другим его психологическим свойствам”³¹. Задолго до формирования рецептивной эстетики как научного направления Рубакин настаивал на том, что произведение есть не только результат коммуникации между автором и читателем, но и результат выстраивания читателем смысла произведения: “у всякой книги столько содержаний более или менее различных, сколько у нее есть читателей... перед нами *закон природы*... Из книги переходит в читателя только то, что ею в нем *возбуждается*. Только это. Чего книга не возбудила, того читатель и не выносит из нее; что не вынесено, то и не существует для него”³².

Разумеется, Рубакин делал отсюда прежде всего выводы психологического, а не интерпретационного характера, оставаясь психологом чтения, а не литературоведом. Но задолго до возникновения терминов рецептивной эстетики — идентификация, актуализация, конкретизация, стратегия текста — Рубакин писал о том, что “есть не только статика, но и динамика книжного содержания” и различал “*перенос* содержания из книги в читателя” и “*возбуждение* различных психических явлений книгой в читателе”³³. Призывая отказаться от “фетишизма книжного содержания”, Рубакин рассуждал следующим образом: “вы прочитали какое-нибудь слово его (произведения. — *Е.Д.*), и оно возбудило в вас такие-то переживания (идеи, чувства и т.д.). Чьи они? Автора или ваши? Разумеется, вы знаете только ваши собственные... автор для нас такой же икс, как и книга... Мы принимаем и за книгу, и за автора, за ‘содержание’ книги и за ‘содержание’ ее автора (за его взгляды и проч.) не что иное, как такую-то комбинацию наших собственных переживаний, возбужденных словами и фразами данной книги в нас самих... мы приходим к выводу: содержание читаемой нами книги и качество, приписыва-

емое нами ее автору, — это мы сами”³⁴. Формула эта, обосновываемая Рубакиным в начале 1920-х годов, звучит совершенно актуально в контексте современных эстетических полемик, споров о том, что есть текст, что есть интерпретация художественного произведения.

Задолго до теоретического обоснования в рецептивной эстетике понятий конвергенции художественного текста и реципиента, контекста, эстетического опыта, горизонта ожидания читателя последователь Рубакина Я.Ривлин предлагал понимать под чтением “*взаимодействие и переработку мыслей и чувств, вызываемых книгой и соответствующих им мыслей и чувств, хранящихся в памяти*”. Характер этой переработки и сущность и значение чтения, — писал Ривлин, — зависят, стало быть, с одной стороны, *от памяти*, а с другой стороны, от особенностей *внимания и чувствования*, которыми оно сопровождается и которые, в свою очередь, зависят от *групповых и индивидуальных особенностей читателя*”³⁵. Исходя из этого, он предлагал различать понятия читательского интереса и читательского запроса. Читательский интерес Ривлин рассматривал прежде всего в психологическом плане, как “чувство удовлетворения, испытываемое читателем при соответствии того, что он читает, тому, чего ожидал, или тому, что он надеется получить в результате чтения”, как “чувство удовольствия, сопровождающее процесс вчувствования в события и переживания действующих лиц”, как “чувства напряжения и облегчения, чередующиеся в процессе чтения в зависимости от сильной душевной энергии читателя и обуславливающие собою удовольствие или неудовольствие, удовлетворение или неудовлетворение”³⁶.

Последующее отождествление читательского интереса и читательского запроса стало практикой государственной книжной и библиотечной политики. Обоснование такой практики найдем тогда же, в середине 1920-х годов. Полемизируя с “неверной формулировкой чтения” Ривлина, Д.Балика писал: “Чтение есть усвоение, переработка мыслей и чувств, отмеченных в книге, в данном сочинении, а не только вызываемых книгой, попутно, по апперцепции. Интерес, запросы читателя к определенному содержанию, к определенной книге, к развертыванию действия, *к определенному виду взаимодействия мыслей и чувств* — в высокой степени показателен и характерен для процесса чтения”³⁷. Утверждая, что “изучать, как рекомендует Ривлин, память, внимание, воображение, быстроту реакции нельзя”, Балика предлагал исследовать в процессе чтения “1) поток направляющих идей, предрасположение, интерес; 2) способность воспроизведения; 3) способность критического анализа; 4) способность обобщения; 5) преобладающие чувствования; 6) быстроту реакции”. Но главное, чего он требовал от изучения процесса чтения, — это изучение “потока направляющих идей”³⁸.

Менее всего это был схоластический спор. Не оформившись, теория рецепции в советской России превращалась в практику библиотечной работы и издательской политики, а затем и государственного руко-

водства чтением. Как писала Н.Крупская, “не о том речь у нас теперь, как изучать читателя — ‘психологически’ или ‘социологически’. Важно изучать в конкретной обстановке и важно, чтобы библиотекарь понимал по-настоящему, по-марксистски запросы читателя”³⁹. Схоластический, на первый взгляд, спор о том, что первично: читательский интерес или читательский запрос, имел, между тем, совершенно практический смысл. Вырвавшись из этих ножиц, советская теория читателя неизбежно выходила к новой “диалектике” между “следованием читателю” и “руководством читателем” — это ключевые категории всей советской теории чтения и читателя. Практические выводы из спора выглядели следующим образом: “научившись понимать запросы, научившись синтетически их изучать, продвинемся и к изучению аналитического тех или других читательских способностей, к характеристике читательских групп по психическим способностям, по реакциям на книгу. Например, руководить сапожником должно. Способность критического анализа есть, но мало развита, путает. Руководить чтением гравера, квалифицированного слесаря, не так обязательно — развита и способность критического анализа и способность обобщения. Общителен. Дисциплинирован. Интересуется и обращает внимание на вопросы социальной жизни и социального строительства. Молотобоец — автоматический характер труда — способность воспроизведения плохо развита. Способность критического анализа не развита... Рекомендация книг основывается на идеологической ценности книги”⁴⁰.

Логика перемены теоретического ракурса неумолимо вела к “*практическим* выводам”. Можно сказать, что теория чтения так и не стала в советской России рецептивной эстетикой (хотя к тому были все предпосылки) не столько потому, что не могла “эстетизироваться”, сколько потому, что не успела, в буре социально-политических преобразований быстро “проскочив” теоретический этап, слишком была завязана на “текущий момент, но главное — была слишком “практической” и *имела возможность* стать практикой. Такая возможность сама по себе убийственна для всякой теории как таковой.

Между тем, “практический” статус советской эстетики будет настойчиво постулироваться до середины 1980-х годов: “Эстетика в Советской стране стала действенной и приобрела огромное практическое значение. ‘Практицизм’ ее состоит в том, что она как в своем теоретическом развитии, так и в практической деятельности неразрывно связана с задачами и конечными целями коммунистического строительства... Марксисты глубоко убеждены в том, что исторически неизбежная, а значит, закономерная и по мере общественного прогресса укрепляющаяся связь эстетики со всенародным созиданием свидетельствует о жизненности эстетики в целом, о ее значении в поступательном движении истории”⁴¹. Однако, в 1920-е годы советскую теорию чтения все дальше “уводило” в область психологии. Разгром во второй половине 1930-х годов “педологических извращений в системе наркомпросов” (часто обращается вни-

мание на последствия этого разгрома лишь для школы, тогда как в “системе наркомпросов” находились и библиотеки) привел к параличу не только теории чтения, но и к полному свертыванию всех исследований в области социологии чтения. “Эстетический опыт” 1930-50-х годов наложил неизгладимую печать на советскую эстетическую мысль постсталинской эпохи и, в частности, в том, что касается проблемы художественной рецепции.

Характерна в этом смысле работа В. Асмуса «Чтение как труд и творчество» (1962 г.), где философ формулирует вывод, задолго до него сделанный Рубакиным и Белецким, а через некоторое время после него разработанный констанцкой школой рецептивной эстетики: “В произведении даны не только границы или рамки, внутри которых будет разворачиваться собственная работа воспринимающего, но — хотя бы приблизительно, ‘пунктиром’ — и те ‘силовые линии’, по которым направится его фантазия, память, комбинирующая сила воображения, эстетическая, нравственная и политическая оценка”⁴². То, что впоследствии будет определено как эстетический опыт, горизонт ожидания, Асмус будет называть “читательским прошлым” и говорить о том, что “два читателя перед одним и тем же произведением — все равно что два моряка, забрасывающие каждый свой лот в море. Каждый достигнет глубины не дальше длины лота”⁴³. “Длиной лота” и являлся, по Асмусу, читательский опыт. Не останавливаясь на этом, Асмус утверждает: “чем сложнее образ (или группа образов), тем многообразнее раскрывается характер героев в длинной серии их поступков и положений, через которые их провел автор, тем неизбежнее и значительнее должны возникать вариации сознания, понимания и оценки у читателя”, но здесь начинаются оговорки, характерные для всей советской эстетики: “не будем делать отсюда ложных выводов. Явление это доказывает вовсе не то, будто чтение художественного произведения есть процесс, в котором господствуют субъективность и произвол”⁴⁴. Оговорка эта была тем порогом, за который советская эстетика никогда не ступала.

Спустя десять лет после Асмуса, М.Храпченко повторит тот же вывод, но в куда более жесткой форме. Признав вначале, что “разность истолкований художественных произведений часто вовсе не означает, что верным из них может быть признано лишь одно. Относительно верными нередко оказываются... несколько, а если рассматривать данную тему в широком историческом плане, то и довольно значительное число несходных его интерпретаций”, Храпченко тут же спешит оговорить: “Отсюда вовсе не следует, что разное понимание творческих созданий всегда объективно оправдано, заключает в себе относительную истину. Нередко при их истолковании можно наблюдать заблуждения, обусловленные узостью социального, идейного горизонта, искажения вольные и невольные”⁴⁵. Ключевые понятия здесь: верное/неверное истолкование, заблуждения, искажения, “реальная сущность”.

Еще Рубакин обращался к библиотекарям с призывом “отбросить

раз и навсегда... нелепую привычку мерить других читателей своею собственною меркою” и не думать, что книга будет полезна читателю, если тот поймет ее “правильно”: “надо отбросить и самое это слово ‘правильно’”, которое Рубакин называл “не только мертвым, но и мертвящим”⁴⁶. Опыт советской науки о читателе 1920-х годов оказался не востребовавшимся.

Проблема *интерпретационного порога* может быть признана основным препятствием в развитии советской науки о читателе в 1960-80-е годы. В то время как рецептивная эстетика в Германии шла от проблемы интерпретации, в то время как в западной теоретической мысли проблема *ситуации интерпретации* оказалась центральной, для советской науки она оставалась тайной за семью печатями: “раскачать” шкалу оценок, увидеть пестроту реальных контекстов интерпретационной деятельности, восстановить социальный контекст восприятия произведений — значило выйти из *готовой* истории литературы, освященной “системы ценностей”.

Если западная рецептивная эстетика шла от произведения, рассматривая его уже не само по себе, а как результат “взаимодействия с реципиентом. До акта потребления произведение — всего лишь возможность, которая только в акте воздействия обретает реальное существование и объективирует свой смысл”⁴⁷, то советская эстетическая доктрина, напротив, утверждала лишь относительную подвижность интерпретаций текста, исходя из “объективного смысла”, будто бы заключенного в нем. И в этом пункте расхождения еще больше углубляются, поскольку рецептивная эстетика видела задачу интерпретации не в выявлении “объективного смысла” текста, но перестала рассматривать художественный смысл “только как характеристику текста, как нечто раз и навсегда сопряженное именно с этим текстом. Произведение начинает рассматриваться как исторически бесконечное, открытое, ценность и смысл которого исторически меняются, и, следовательно, ни одно конкретно-историческое определение не может их исчерпать”⁴⁸.

Западная рецептивная эстетика обосновала вывод и о том, что “художественная ценность не тождественна объективированной, знаковой форме произведения... ценность не дана в готовом виде в произведении, а конструируется в акте потребления, и в этом участвует также потребитель”⁴⁹. Советская же эстетика исходила из того, что художественная ценность объективирована, и дело лишь в “верной интерпретации”. Вот почему вопрос о ситуации интерпретации оказывался постоянно смещенным к полюсам: современники (“так-то они воспринимали произведение”) — современность (“так-то воспринимаем мы”). Полюса могли совпадать, но в конечном счете, из виду упускалась множественность позиций внутри “они” и “мы” (“читатель-народ”). Допустить такую множественность — значило увидеть эмпирического, а не идеального реципиента и его шкалу ценностей.

И тем не менее, поиски 1920-х годов в области теории чтения оказа-

ли некоторое влияние на постсталинскую эстетическую мысль. Точнее было бы сказать о том, что они оказались до некоторой степени пригодными для советской эстетики: из обломков создавалось новое здание “историко-функционального исследования литературы”, но в отличие от постройки 1920-х годов, открытой едва ли не всем ветрам, постройки, по которой гуляли “сквозняки” различных теорий — от Потебни до Фрейда⁵⁰, новое здание создавалось осторожно, в нем было множество наглухо запертых дверей (особенно в сферу исторической интерпретации текстов, читательской психологии, эмпирико-социологических исследований, коммуникативно-теоретическую, социально-информационную), в нем предусмотрительно были заперты все окна на Запад.

Чтобы оценить акустику в этом здании, обратимся к классической «Эстетике» М.Кагана, на которой (с середины 1960-х годов) воспитывалось не одно поколение советских гуманитариев. Размышления о “художественном восприятии” Каган открывал знаменательным утверждением: “произведение искусства и *предназначено для восприятия*, именно для восприятия и только для восприятия, чем и отличается от других предметов, создаваемых человеком... и свои социальные функции искусство способно осуществлять лишь в той мере, в какой оно становится *предметом восприятия*”, а специфическую структуру художественного восприятия следует рассматривать как “*целостный и одновременно многосторонний психический процесс, изоморфный процессу художественного творчества*”, поскольку “восприятие искусства есть *чисто духовный акт* в отличие от *духовно-практического* акта создания художественных ценностей”⁵¹. Эти утверждения легко соотносимы с уже проводившимися в это время на Западе исследованиями в области теории рецепции (как раз в 1962 году в СССР издаются «Избранные работы по эстетике» Р.Ингардена).

Но дальше начинается движение в разных направлениях. Во-первых, советская наука с ее “историческим оптимизмом” и активизмом отказывается от скептического “пассивного описания реципиента” (предполагалось, что по этому пути пошла “рецептивная эстетика” в Германии, а затем и американская “критика читательской реакции”, углубившись в недра интерпретационных методик) и потому видит в реципиенте объект воспитания и постоянного воздействия: “Становясь созерцателями эстетического, мы тем самым отказываемся от активного действия, от творческого участия в процессах эстетического освоения действительности. Такая пассивность чужда социалистической эстетике. Не созерцательность, а активное, творческое и целеустремленное отношение к прекрасному, ко всему тому, что может и должно формировать и развивать чувство красоты, радость общения с ней, желание созидать прекрасное!”⁵² В противовес “объясняющему” пафосу западной рецептивной эстетики, советская эстетическая доктрина исходила из “преобразующего” начала эстетической деятельности (согласно одиннадцатому марксову тезису о Фейербахе), что резко снижало объясняющее начало

в ней, вело к редукции познавательного пафоса эстетической мысли в целом.

Так, Асмус в цитированной выше работе утверждал, что “то, что зовут ‘непонятностью’ в искусстве, может быть просто неточным названием читательской лени, беспомощности, девственности художественной биографии читателя, отсутствия в нем скромности и желания трудиться”⁵³. Разумеется, такой подход к “непонятности” вообще снимал проблему понимания текста как таковую. В том же духе высказывался и Каган: чтобы читатель понимал “данную знаковую систему”, нужно прежде всего воспитывать его вкус. Так, “даже скромное художественное образование, даваемое, например, в циклах лекций и экскурсий, проводимых в музеях, позволяет людям, не понимавшим до этого ни средневекового искусства, ни постимпрессионистического, ‘читать’ и на этих своеобразных живописных языках”⁵⁴. Фиксируемый здесь процесс перехода эстетики в эстетическое воспитание может быть определен как процесс *педагогизации эстетики*.

“Неисчерпаемость искусства” выводится теперь исключительно из “познавательной активности восприятия”⁵⁵. Тогда как западная рецептивная эстетика исходила из неисчерпаемости самого художественного произведения, советская эстетика, напротив, настаивала на том, что произведение искусства содержит в себе некий “объективный смысл”⁵⁶. “Динамика книжного содержания”, о которой писал еще в 1920-е годы Рубакин⁵⁷, снимается в динамике воспринимающего, который “переносится” в мир произведения и “живет” в нем⁵⁸.

Все то, что западная рецептивная эстетика будет определять как актуализация, виртуальный смысл, конкретизация, выстраивание смысла, идентификация, эстетический опыт, все то, что связано здесь с конвергенцией художественного текста и смысла, в советской эстетике сепаратизировано. Признается, например, что “по самой своей природе всякий акт художественного восприятия является *интерпретационным и ассоциативным* процессом”, что “образ, складывающийся в воображении воспринимающего произведение искусства, есть *результат взаимодействия* этого произведения со всем тем, на что он накладывается в восприятии”. Но тут же утверждается, что “диапазон интерпретаций содержания художественного произведения *отнюдь не безграничен*, и что отнюдь не всякие толкования его смысла можно считать *равноправными*”⁵⁹.

Кто же должен определять, какие “толкования смысла” верны, а какие — нет? Такими функциями наделяется теперь художественная критика, которой отводится роль “завершающего звена в системе художественной коммуникации”⁶⁰.

Итак, на страже “объективного смысла произведения” стоит критика. Она же призвана корректировать интерпретации и “ассоциативный процесс восприятия”. Таким образом, характеристика акта восприятия как “творческого акта”, в котором реципиент должен стать “своего рода

режиссером-постановщиком, актером, художником-иллюстратором, декоратором, дирижером, реставратором”⁶¹ оказывается не больше, чем метафорой⁶². Профессиональная критика сменяет “самодетельную художественную критику”. “Горизонт ожидания” получает своеобразную направленность, телеологизируется (“художественное ‘общественное мнение’... должно в конечном счете дойти до художника”⁶³), а критики превращаются в “полномочных представителей” публики, “интерпретационно-критическая деятельность” которых подымается “на уровень идеологического осмысления идейных и эстетических запросов, предъявляемых к искусству” обществом⁶⁴. Так формировались функции критики: “дать создателю произведения искусства информацию о степени эффективности его творчества, о мере соответствия направленности и силы воздействия этого произведения тем целям, которые художник перед собой ставил. Тем самым художественная критика способна влиять на дальнейшую творческую деятельность художника, приводя ее в максимальное соответствие с интересами и вкусами той части общества, которую эта критика представляет. Художественная критика является, следовательно, *регулятором* связи художественного ‘потребления’ с художественным производством, механизма ‘обратной связи’ в художественной жизни общества. Именно критическим анализом и оценкой произведения искусства ‘завершается’ его реальная жизнь в художественной культуре, вернее, каждый цикл длительной его исторической жизни”⁶⁵.

Небывало высокий статус критики в советской эстетической доктрине был определен новым статусом читателя — “читатель-народ”, по кочетовскому определению. Poleмика советской эстетики с рецептивной в общем русле “борьбы с буржуазными эстетическими концепциями” неизменно упиралась в вопрос о статусе критического суждения. Теории западных эстетиков, всегда так или иначе допуская относительность эстетических оценок, релятивизм и преходимость интерпретационных ситуаций (если и вовсе не исходили из них), встречали “резкий отпор” именно за то, что “здесь на откуп стихии отдается первооснова образования эстетического чувства и, следовательно, ставится вопрос о качественной ценности, складывающейся на основе логической переработки этого чувства эстетической оценки”⁶⁶. Собственно, вопрос, как можно видеть, стоял не о характере тех или иных суждений и интерпретаций, но, во-первых, об их природе (какая инстанция “эстетически правомерна” их давать) и, во-вторых, об их статусе (они не могут быть “стихийны” и потому необязательны).

От социологического исследования читателя в 1920-е годы, когда утверждалась эгалитарная модель критического суждения, и безусловный приоритет отдавался “мнению читателя”, советская эстетика пришла к доктрине постоянного усиления статуса критики, которая является “проводником мнения народного” и одновременно “воспитателем”. Poleмизируя даже с робкими попытками возродить эгалитарные идеи о том, что “в перспективе — все — равноценные ценители искусства”⁶⁷ и, что,

следовательно, наступит время ненужности критики, советская эстетика настаивала: “последовательное отрицание необходимости существования института художественной критики закономерно привело бы к отрицанию возможности прогресса в искусстве”⁶⁸. Эта ситуация очень напоминает советскую теорию государства, которое должно “отмереть”, но все укрепляется, ибо “на нелегком пути” победы коммунизма во всем мире возникают все новые “трудности”. “Неизбежность победы” — из того же ряда, что и “прогресс в искусстве”. Это ряд обоснования усиления институтов контроля и нормализации. Таким институтом в советской культурной модели всегда была критика.

Центральным моментом здесь является перевод едва ли не всей рецептивной деятельности в полную зависимость от так называемого “эстетического воспитания”, всецело находящегося под контролем государства: “Коммунистическая партия эстетическое воспитание народа возвела в ранг государственной политики, сделала его составной частью социалистического преобразования нашей страны и формирования новых общественных отношений. Впервые в истории художественного развития человечества не кто-либо, а государство определяет смысл и общее направление развития эстетической культуры и эстетического воспитания в социалистическом обществе... в обществе, строящем социализм, искусство всецело принадлежит народу и поэтому учреждения, ведающие им и занимающиеся его пропагандой, становятся государственными”⁶⁹.

Ясно поэтому, что основное обвинение, предъявляемое советской эстетикой западной рецептивной эстетике, обвинение в релятивизме исходило из “объясняющего”, принципиально антиоценочного пафоса западной критики. Отсюда исходили и упреки в антиисторизме: “объективная сущность предмета истории литературы не выясняется на основе метода рецептивной эстетики, он не подвергается литературно-исторической *оценке*, справедливость которой вытекает *из самой ее историчности*”⁷⁰. Можно спорить с этим выводом восточно-германского литературоведа, но менее всего советский извод теории рецепции может быть признан историческим. В предданной “литературно-исторической оценке”, которой “подвергался” материал в советском литературоведении, был заключен абсолютно внеисторический смысл. Можно сказать, что в характере этой оценки состоял основной парадокс советской теории “художественной рецепции”. Будучи панрецептивной, действительно опираясь на “массовый вкус” и, безусловно, учитывая его в своей практике, советская культура, постоянно воспитывая читателя, пыталась консервировать его “оптику восприятия”.

Если применить рецептивно-эстетическую концепцию историзма к советской ситуации, можно увидеть странную картину: основной целью движения оказывается... неподвижность. И в самом деле, рецептивно-эстетические исследования в Германии показали, что отношения между читателем и литературой носят не только эстетический, но и историчес-

кий характер, в силу чего процесс рецепции художественного произведения осуществляется путем посредничества между прошлым и современным искусством, между традиционными и актуальными значениями и интерпретациями. Исходя из того, что “горизонт литературных ожиданий отличается от горизонта ожиданий жизненной практики тем, что он не только сохраняет и обобщает предыдущий опыт, но и предвосхищает неосуществленные возможности, расширяет ограниченное пространство социального поведения, порождая новые желания, притязания, ставя новые задачи и цели”, сторонники рецептивной эстетики “выстроили логику восприятия новой формы. Креативные способности литературы, создающие феномен предориентации читательского опыта, позволяют читателю преодолеть автоматизм традиционного восприятия, в результате чего новая форма в искусстве воспринимается не только на фоне других произведений, не только как их ‘отрицание’, возникающее лишь для того, чтобы сменить старую форму, утратившую художественную ценность”. При этом они подчеркивали “прогнозирующе-предвосхищающую функцию новой формы, предопределяющей и стимулирующей не только сенсорные, эстетические установки читателя, но и его способность к этической оценке, к моральной рефлексии”⁷¹.

Между тем, все потенции советской культуры были направлены на то, чтобы редуцировать горизонт литературных ожиданий к горизонту ожиданий жизненной практики и тем самым сузить пространство социального поведения, не порождать, но, напротив, атрофировать новые притязания читателя — идет ли речь о форме традиционного “эпического романного повествования, о картинах передвижников или о реанимации “народно-песенных традиций” в музыке. Креативные способности искусства в этом случае минимализируются, а прогнозирующе-предвосхищающая функция отмирает, ибо новой форме не из чего родиться в условиях консервации автоматизма традиционного восприятия и квазитрадиционной формы. Взгляд на эту ситуацию с позиций рецептивно-эстетической теории позволяет понять причины такого консерватизма.

Развивая введенную Р.Ингарденом категорию неопределенности литературного произведения, В.Изер ввел понятие “апеллятивной структуры текста”, утверждая, что эстетический опыт формируется благодаря наличию в тексте “участков неопределенности” или “пустых мест”. Изер составил целый “каталог” условий и приемов, порождающих в тексте “пустые места”. Это разного рода “нарушения в структуре интенциональных коррелятов фраз, различные приемы врезки, монтажа и композиции текста, комментарии рассказчика, которые как бы ‘растворяют’ перспективы рассказанной истории, предоставляя читателю широкий спектр самостоятельных оценок и суждений относительно исхода той или иной ситуации в повествовании”⁷².

Этот перечень — своеобразный мартиролог убитых советской литературой форм. Точность попадания — всякий раз прямой результат безошибочного выбора форм, подлежащих умерщвлению в силу таящихся в

них возможностей порождать “пустые места”, а с ними — и новые *неподконтрольные* ситуации интерпретации, ситуации диалога.

ОТ “ЧИТАЮЩЕЙ ПУБЛИКИ” К “ЧИТАТЕЛЬСКИМ МАССАМ”

Пореволюционная эпоха характеризуется радикальными социокультурными сдвигами. Революции, первая мировая и гражданская войны не только привели в движение огромные массы населения страны, но и политизировали их. “Социальное творчество масс” явилось результатом кризиса и последующего стремительного разрушения (а часто — и саморазрушения) всех прежних социальных институтов. Отмеченное Мандельштамом массовое “выпадение из биографий” может быть понято как процесс, внеположный индивидуальному сознанию. За этим лишением *собственной* биографии просматриваются по крайней мере два фундаментальных следствия: лишение самоидентичности (а “биография” — ее основа) ведет к массовизации — факт отсутствия *личной* биографии становится массовым, типизируется, объединяет, становится признаком биографии, *общей для всех*.

С другой стороны, этот процесс ведет к глубокой перестройке и индивидуального самосознания, акцентируя в нем потребность в поиске новых форм социальной координации и адаптации индивида. Обе сферы характеризуются в этот период принципиальной подвижностью, а процессы, в них происходящие, носят болезненный, взрывной характер. В этом контексте, несомненно, революция должна рассматриваться не столько как “верхушечный”, сколько как *социальный* переворот, приведший в движение страну, и в результате действительно радикально изменивший ее.

Ленинская формула — “живое творчество масс” — поистине универсальна и имеет отношение не только к конкретным реализациям (будь то возникновение Советов или организация субботников, о чем писал Ленин), а потому и традиционное противопоставление “творчества масс” “творчеству власти” нуждается в пересмотре. Это полноправные участники единого “творческого процесса”: массы становятся массами именно благодаря власти, они так же нуждаются во власти, как и власть нуждается в них; власть оформляет массу подобно тому, как масса формирует определенный тип власти (речь в данном случае идет о типе власти, а не о конкретных целевых и ценностных установках, актуальных в данный момент для данного общества).

Революция в этом смысле может рассматриваться как центробежный социальный процесс, исторические рамки которого могут быть обозначены поиском и обретением *нового центра* (целевого, ценностного, а часто — и пространственного). Собственно, и самая революция (центробежный процесс) совершается, следовательно, во имя последующей

“стабильности” (центростремительного процесса). Только *новый центр оказывается теперь смещенным*. Каждый раз в этом центре находится власть, отмеряющая “угол смещения”, координирующая и вносящая поправки в процессе строительства нового центра (таков характер “внутрипартийных дискуссий”, поиска пути и перспектив в советской России). Но самый тип “социальной архитектуры” (Мандельштам), несущие конструкции будущего здания определяются массами. Все это непосредственно связано с интересующей нас проблематикой.

Общеизвестно, в российской социо-культурной ситуации литература всегда занимала совершенно особое место. Исторически сложившийся и закрепившийся социальный статус литературы и писателя в России (учительство, проповедь, общественная трибуна) интересует нас здесь, однако, лишь в одном аспекте. Литература в силу своего положения аккумулировала весь спектр поисков российского общества, которые в известном смысле определяли и тип художественного сознания, а потому литературу можно рассматривать как субстрат целевых, ценностных, ментальных, общекультурных установок. Иными словами, как тот самый *центр*, по отношению к которому определяется революционный процесс как социо-культурный (а далеко не только политический) феномен. В литературе можно видеть болевую точку “центра”, подлежащего “смещению” в ходе революционной ломки.

В свете нашей проблематики первостепенный интерес представляет ситуация, непосредственно складывающаяся *вокруг* литературы как одного из важнейших в российских условиях социальных институтов в момент революционного сдвига. Чтобы понять характер “творчества масс”, взаимодействие этого творчества с “творчеством власти” и, наконец, продукт этой деятельности, необходимо обратиться к характеристике читателя пореволюционной эпохи.

В 1920-е годы, в период относительной стабилизации, последовавшей после гражданской войны, интерес к читателю без преувеличения можно назвать обвальным. Истоки этого интереса следует искать по крайней мере в двух плоскостях — исторической и актуальной.

В *историческом* плане интерес к читателю исходил из среды народной интеллигенции, деятельно участвовавшей в работе земства, сельских школ и библиотек и сохранившей свою активность и влияние в первые пореволюционные годы. Земские либералы, видевшие в крестьянстве своего будущего союзника и ставившие перед собой просветительские задачи⁷³, имели огромные заслуги в деле формирования массового читателя в России. Работа по организации и снабжению библиотек книгами, повседневному обслуживанию крестьянских читателей была выполнена именно интеллигенцией, так называемым “третьим элементом” в земстве — земскими служащими, прежде всего, педагогами и врачами, среди которых были сторонники различных политических взглядов — от либералов до народников и социал-демократов. Как отмечает А. Рейтблат, “используя уже существующий в обществе социальный ин-

ститут — земство — интеллигенция добивалась осуществления своих целей, которые лишь частично совпадали с целями других социальных групп, представленных в земстве. Интеллигенция, лишённая не только политической власти, но и законных политических возможностей борьбы за нее, рассчитывала на крестьянство как будущего своего союзника. Предпосылкой этого было приобщение крестьянства к мировоззрению, сложившемуся у данной группы, а средством — школа, библиотека, народные чтения и т.д.”⁷⁴.

Именно из этой среды вышло, в частности, и советское библиотековедение, и именно представители этого “первого призыва” были отстранены от библиотечной работы в первой половине 30-х годов. Оценивая деятельность земских сельских библиотек в исторической перспективе, А.Рейтблат указывает, что именно “в них были отработаны формы привлечения читателей и работы с ними, а также сформированы кадры, сыгравшие существенную роль в осуществлении ‘культурной революции’ в 1920-1930-е годы”⁷⁵. Сейчас же важно отметить, что интерес к “голосу читателя”, равно как и теоретические основы изучения читателя, сама концепция читателя, сформировавшаяся в среде народнической интеллигенции, сыграли исключительную роль в формировании нового читателя. Эта интеллигенция, видевшая в революции возможности для расширения своего влияния на массы, несла с собой большой опыт работы с массовым читателем и его изучения, свою концепцию читателя как объекта воспитания (к чему нам еще предстоит обратиться), весьма близкую требованиям новой власти, хотя, несомненно, и немалую долю той “интеллигентской шаткости”, которая и была впоследствии властью отвергнута.

Другим важнейшим истоком широкого интереса к читателю в пореволюционную эпоху является сама *актуальная* ситуация: приобщение широких масс к грамоте и книге, неопределенность и новизна ситуации, требующей прояснения, и как результат — обращение к книге как к единственному надежному источнику информации, резкая и стремительно нарастающая социальная раскассированность вследствие революции, войны и политики новой власти, приведших к массовой миграции в города и ставших причиной массовой же маргинализации и стимулом к “овладению” городской — книжной культурой. Все это привело к изменению в процессе урбанизации “состава крови” крупных культурных центров страны. Широко известный феномен “интенсивной культурной жизни” 1920-х годов должен быть осмыслен еще и под тем углом зрения, что появился новый зритель, слушатель, читатель — новый реципиент. Старая городская интеллигенция новой литературы чуждалась (о чем ниже нам предстоит еще говорить), новое искусство в массе своей не признавала и к “новому культурному быту” лишь приспособлялась. Кто же наполнял клубы и читальни, участвовал в массовых уличных празднествах и посещал вечера поэзии? Ведь это были многотысячные аудитории — жадно вбиравший в себя новую и “переработанную”

старую культуру, молодой, “голодный до знаний” новый читатель, зритель: “В центре всей библиотечной жизни стоит сейчас у нас новый читатель, — тот самый массовик, которого так долго, так нетерпеливо, но так тщетно ожидали все друзья просвещения. Он пришел — и тот час же заполнил все места, все щели, через которые в той или иной форме можно приобщиться к культуре. Молодой, с запасом сил и энергии, с буйным стремлением к познанию, он предъявляет свои требования, он диктует свою волю... Подлинный хозяин массовой библиотеки, новый читатель фактически перестраивает и всю ее работу”⁷⁶.

Не следует, конечно, переоценивать этот пафос массового “голода знаний” и “радости приобщения к культуре”. *Новый* читатель качественно мало отличался от массового дореволюционного читателя в том, что касается пристрастий и уровня суждений о литературе. Даже в атмосфере всеобщей эйфории адепты новой культуры, несомненно, отчетливо понимали, “насколько отстал иногда читатель, насколько растянулось шествие толпы, масс от сознания коммунистического строя до первобытности, слепого тыканья в бытие”⁷⁷. Но тот же Б.Борович, один из видных теоретиков библиотечного дела, что с восторгом писал о новом читателе в 1925 году, еще в 1922 году отмечал “пассивность и слабую связь с книгой низовой читательской среды”⁷⁸, характеризуя эту среду следующим образом: “Российская практика показала, что рядовой читатель сидит часто без книги потому, что не может, а иногда и не хочет, итти менять ее в библиотеку: то библиотека далеко отстоит от его местожительства, то времени нет стоять там в очереди, то, наконец, интерес к книге пока еще недостаточно силен, чтобы превозмочь присущую лень и апатию”⁷⁹. Словом, для “оформления культурных потребностей” масс, как гласила инструкция Библиотечного отдела Главполитпросвета, “необходимо еще долгое время проводить большую работу по разрыхлению почвы”⁸⁰.

Изучение читателя, которому посвящено было в 1920-е годы множество статей, книг, дискуссий, которым занимались специальные институты и исследовательские лаборатории, было лишь побочным результатом “разрыхления почвы”, прямым же следствием этого процесса явилось резкое свертывание изучения читателя в середине 1930-х годов (тогда же была закрыта и вся статистика по читателю). Если в 1920-е годы советская критика писала о том, что “вопрос о читателе, ‘читательская проблема’ очень волнуют всех нас. Если раньше проблема читателя являлась лишь уделом библиотековедения и так называемой ‘библиопсихологии’, то сейчас она стала *литературной* проблемой. Без учета читательского восприятия не может быть ни критики, ни научного литературоведения”⁸¹, то ситуацию послевоенную достаточно точно охарактеризовал на страницах «Нового мира» в 1950 году Г.Ленюк: “как это ни странно, изучением советского читателя, изучением того, каковы запросы, интересы, требования различных слоев и категорий советских читателей, никто сейчас всерьез не занимается. Правда, в свое время в

Московском библиотечном институте имени В.М.Молотова была защищена диссертация о читателях-колхозниках, но было это десять с лишним лет назад, в 1939 году. А затем на целый десяток лет наступил перерыв. Не ведется работы по изучению современного советского читателя, его взглядов, интересов и потребностей и в Союзе советских писателей”⁸². Между тем, очевидно, что истоки подобной ситуации лежали в самих 1920-х годах и, не в последнюю очередь, в сформировавшихся в это время взглядах на читателя.

В связи с рассматриваемой проблемой М.Бахтин (В.Волошинов) замечал, что между ценностью произведения и ориентацией на конкретного адресата существует прямая связь: “Если этот сознательный учет публики займет сколько-нибудь серьезное место в творчестве поэта, — оно неизбежно утратит свою художественную чистоту и деградирует в низший социальный план”⁸³. В 1920-е годы, когда шли поиск и становление новой эстетической доктрины, актуализация самой этой проблематики была обусловлена тем местом, какое надлежало занять читателю в советской культуре.

Именно в это время в спор о читателе включаются едва ли не все ведущие литературные направления. Ортодоксальная марксистская критика создает в эти годы основы так называемого “нового, материалистического социально-функционального подхода к произведению”⁸⁴, формулируя принципы марксистской истории литературы “через” читателя: “повышение и понижение интереса к произведению, то или иное его окрашивание в сознании читателей в зависимости от состава их — самая интересная история литературы и она может быть только социологической”⁸⁵. Лефовцы успокаивают читателя, “изумленно взирающего на пустыню нашей современной словесности”, тем, что “литература стоит перед кризисом жанра”⁸⁶, и уверяют, что распространенные “ссылки на зрителя — это только своеобразная и дурная ‘манера выражаться’”⁸⁷. Хотя, разумеется, для ЛЕФа с его “жизнестроительным пафосом” проблема читателя оказывается куда как актуальной. В особенности это относится к наиболее “практическим” направлениям в левом искусстве, в частности, к конструктивизму. Знаменательна в этой связи статья К.Зелинского «Книга, рынок и читатель» (ЛЕФ, 1924, N 3(7)).

Один из ведущих теоретиков советского конструктивизма сформулировал здесь идеи, исключительно важные для советской эстетики: “Мы должны перейти к *стандартизации* методических оценок книги. Нужно искать в книге не ‘откровений’ и ‘единственных в своем роде’ пифийских вешаний, а перспективы и также организационный костяк, по которому сделана книга — объективно отражающие характер современных производственных и социально-экономических отношений... Но возникает тогда вопрос — как же ориентироваться в художественной литературе, самодовлеющей и воспринимаемой только при посредстве ‘эстетического вкуса’. Но этот ‘коварный’ вопрос немедленно теряет свою остроту, если мы подойдем к нему со стороны общей картины потребительских

интересов. И здесь возможен учет, и здесь возможна однородная методологическая оценка, и здесь возможно помогать конструировать в своем представлении художественную книгу по двум-трем примерам, по нескольким идеологическим и формально-техническим замечаниям". Отмечая значение книжного рынка как "поучительнейшего поля для серьезной культурной работы", К.Зелинский с энтузиазмом поддержал идею Н.Крупской, которая сводилась к простой формуле: "поменьше названий — побольше тираж". Именно поэтому К.Зелинский апеллировал прежде всего к "формам организации", находя их уже готовыми в институте библиотеки: "Библиотеки становятся методическими мастерскими и лабораториями. Библиотекарь и читатель завязываются в одну организацию. Эта организация — есть организация подъема пролетарской культуры". Что ж, действительно "революция круто повернула стрелку в сторону повышенных организационных видов потребления книги". Из этого следовал вывод: "Книгохранилища из музеев превращаются в мастерские. Толпы книг — организуются в колонны. *Книга становится инструментом*"⁸⁸. Этим телеграфным стилем К.Зелинский и сформулировал основные идеи, оказавшиеся в центре споров о читателе и о путях развития литературы в 1920-е годы.

Политизация проблемы читателя в советских условиях особенно видна на фоне тех поисков в этой области, которые шли в Европе. В 1928 году издательство "Academia" издает книгу профессора Лейпцигского университета Л.Шюккинга «Социология литературного вкуса» с предисловием В.Жирмунского. Практически в те же годы, когда в России в горниле "революционной плавки" все направлено на "практику будущего", западная эстетическая мысль всецело обращена к "практике прошлого". Почему при остром дефиците "исторических подпорок" книга Шюккинга не попадает в поле зрения советской эстетики и критики и воспринимается в это время как какой-то музейный реликт? Рассуждения немецкого профессора об эпохе Ренессанса или Бидермейера, о восприятии публикой творчества Шекспира или Данте кажутся безмерно далекими от "задач дня", от "текущего момента". Сопоставляя пути поиска в Европе и в пореволюционной России, понимаешь, что в одном и том же "объекте" виделись совершенно разные материи: одни видели в читателе объект изучения, другие — объект воздействия ("переделки", "перековки", "формовки"). Именно в этом следует видеть основную причину того, что в условиях 1920-х годов при наличии генерирующих идей, при огромном интересе к читателю и размахе его изучения теория чтения так и не смогла сформироваться именно как теория: в условиях грандиозного социального эксперимента не было времени для "выпечки" теории. Она была нужна только как практическая методика.

Наибольшей остроты достигает спор о читателе в советской критике к концу десятилетия, когда в него включаются РАПП и В.Полонский. Главный редактор «Печати и революции» и «Нового мира» отстаивал

точку зрения, согласно которой не следует бояться печатать “классово чуждых авторов”, поскольку “буржуазное искусство, ‘заражая’ пролетариат, будет ‘заражать’ его не так, как читателя другого класса. Качество ‘заразы’, получаемой пролетариатом от буржуазного искусства, будет иным”⁸⁹. Полонский утверждал также, что подлинны революционеры, сталкиваясь с буржуазным искусством, не попадали под его влияние, вернее “буржуазное искусство организовывало их психику именно в сторону целей и задач пролетариата”⁹⁰. Эту, по определению самого В.Полонского, “теорию классового читательского восприятия” рапповцы (вначале М.Лузгин, а затем Л.Авербах и В.Ермилов) назвали “теорией иммунитета”, утверждая, что эта теория игнорирует значение “классового влияния литературы” на рабочего читателя, что пролетариат может “заразиться” чуждой ему идеологией и, наконец, что Полонский выступает фактически за “свободу печати”, что было в тех условиях серьезные политическими обвинениями.

В споре о читателе между РАППом и В.Полонским выкристаллизовывалась основная коллизия советской эстетики: литература и критика должны “перевоспитывать массы самих пролетариев”, о чем В.Полонский с иронией писал: “Они — Авербах, Лузгин и Ермилов — переделывают сознание пролетариата! Бедный пролетариат! Дожил! Доехал! Дальше — некуда”; Полонский утверждал, что литература и критика, напротив, должны “скромненько и тихонько учиться у пролетариата”, а не “лезть к нему с претензией на учительство”, что в процессе классовой борьбы “пролетариат переделывает сам себя”⁹¹. Следует при этом видеть в В.Полонском человека своего времени: парируя обвинения рапповцев в том, что он выступает за “свободу печати”, он настаивал на том, что “во всех наших рассуждениях революционная цензура предполагается выполняющей свое революционное дело”⁹². Полонский, конечно, не был “либералом”: в отличие от рапповцев, он лишь не был доктринером; можно также сказать, что он, подобно “перевальцам”, оставался в плену революционных иллюзий, не почувствовав “ветра времени”. РАПП же все продолжал с радостью “констатировать, что рост рабочего читательства и его активность обгоняют рост читателя-обывателя, читателя-мещанина и даже читателя-интеллигента”, и утверждать, что пролетарская литература пользуется в массовой читательской среде “преобладающим интересом”⁹³.

Если мысленно соединить различные осколки позиций в спорах 1920-х годов о читателе с концепцией читателя, закрепленной в зрелой социалистической доктрине, нельзя не увидеть здесь некоего синтеза, сплава. Все болевые точки советской эстетики были нашупаны уже в 1920-е годы. Прежде всего это относится к узлу “читатель-доступность-художник-свобода творчества”, где выявился “политический смысл” проблемы. Итоги советского политико-эстетического поиска в этом направлении следует искать в постсталинской эстетике. Облеченный в новые формулировки, этот результат звучит следующим образом: “Считаться с

уровнем культуры, вкусами, опытом художественного восприятия современников — требование, равное объективной необходимости, с которой сталкивается искусство. При этом в каждую новую эпоху круг людей, выявляющих интерес к художественному творчеству, все больше расширяется. Сейчас все идет к тому, что художникам придется иметь дело с массами, всем народом. Такова тенденция художественного развития человечества, исходящая из общих законов движения общества по пути к коммунизму. Если правда, что свобода творчества является также свободой общения художника с воспринимающими, в конечном счете — свобода воплощения идеалов искусства в народной жизни, — а это, безусловно, верно, — то верно также и то, что свобода творчества возможна только в рамках и на базе той необходимости, которая определяется уровнем художественного восприятия современников. Художник расширяет границы этой необходимости и творит свободнее, когда силой своего искусства втягивает в число художественно активных людей все более широкие массы народа. Уровень культуры художественного восприятия, включающий в себя и общественный, и собственно художественный опыт людей, ограничивает свободу творчества, как любая необходимость. Но, как и любая объективная необходимость, она же создает и почву для действительной свободы”⁹⁴. Эти вполне “диалектико-материалистические” построения, связавшие в единый узел автора и реципиента, с одной стороны, необходимость и свободу, с другой, могут рассматриваться как “философское обоснование” советской теории рецепции и — шире — советской эстетики в целом.

ЧИТАТЕЛЬ, КОТОРОГО НЕТ

Советское читателеведение с самого момента своего зарождения ориентировалось на эмпирико-социологические методики исследования. При поисковой и слабой методологии и отсутствии технических средств обработки материалов такое накопление очень быстро приобрело лавинообразный характер. Однако прежде чем приступить к рассмотрению собранных в 1920-е годы и, к сожалению, десятилетиями невостребованных уникальных материалов, характеризующих читательскую аудиторию пореволюционной эпохи, необходимо хотя бы кратко остановиться на том, *как* проводилось исследование читателя, *какие задачи* ставились перед таким исследованием, как, наконец, понимался сам *объект* исследования.

В 1925 году при Библиотечном отделе Главполитпросвета (БО ГПП) была создана специальная комиссия по изучению читателя. При этом предполагалось, что “отзыв читателя на книгу надо понимать не только как оценку книги, но как всякое высказанное читателем суждение в связи с книгой, к чему бы оно ни относилось и в какой бы форме ни было дано”⁹⁵. Можно предположить, что стремление к дословной фиксации читательских отзывов питалось не только неотрефлексированнос-

тью объекта изучения, но исходило из характерного для исследователей надзорного комплекса. Это стремление к полному надзору можно без особого труда отследить в инструкциях 1920-х годов по изучению читателя. Здесь мы обнаружим в качестве “методических приемов”:

— *провокация*: утверждалось, например, что наиболее хороша “дословная запись высказанного читателем мнения о книге в беседе с библиотекарем, которую последний специально заводит в разговоре читателей между собой, при рекомендации книги товарищу, у книжной выставки, у читателя на дому, на работе, на сходе и т.п.”⁹⁶ Как можно видеть, библиотекарю вменяется в обязанность не только “специально заводить” беседы и разговоры о книгах, но после таких разговоров вести

— *протокол*: “на каждом отзыве следует помечать, при каких обстоятельствах он получен” (например, сказал, возвращая книгу, в разговоре с товарищем, в письменном отзыве и т.д.)⁹⁷. Сама же “дача отзыва” определенно напоминает

— *дачу показаний*, поскольку “письменный отзыв особенно хорош”. Библиотекарь в таких условиях легко превращается в следователя, ведь “содержание читательского отзыва зависит не только от того, что читателя заинтересовало, но также и от того, с каким вопросом обратился к нему библиотекарь”⁹⁸. Однако даже письменный отзыв не кажется “методистам” достаточным основанием для выводов. От библиотекаря требуется “завести дневник по изучению читателя, в который записывать все наблюдения за читателями и за книгами”⁹⁹. При определенных условиях, которые, как показала советская практика, вовсе не являются фантастическими, такой дневник легко превращается в

— *донос*. В качестве образцовой приводится следующая запись из дневника библиотеки Угодского завода Малоярославского уезда Калужской губернии: “8 апреля. Пришла т.Скрипкова менять книги и за ней следом пришли ее родители и с бранью увели домой, а мне говорят, чтобы я не смел выдавать ихней дочери книг, я спросил: ‘почему вы запрещаете вашей дочери брать книги’, они говорят, что в ячейке, по ихнему мнению, ничему хорошему не научишься, кроме как распутству”. Здесь же поясняется, что “при записи наблюдений следует точно описывать замеченные факты, свои же замечания, рассуждения по поводу сделанного наблюдения надо записывать отдельно от описания факта”¹⁰⁰. Все это объяснялось авторами инструкции тем, что “такая подробная запись в формуляре даст возможность вместе с тем выявить, какие книги читаются данной группой читателей”¹⁰¹. Неадекватность “процесса и результата” здесь очевидна. Но и этих “методов изучения” оказывается мало. Библиотекарю предлагается составлять своеобразное

— *досье* на читателя: “Наряду с общим дневником работы по изучению читателя возможно завести дневник для отдельных читателей (3-5 человек)... В таком дневнике на первой странице указывается за кем: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, социальное положение и занятие, партийность, образование, развитие... затем в дневник заносятся

изо дня в день все данные (спрос, отзывы, выписки из протоколов громкого чтения) и наблюдения, относящиеся к избранной группе (неблагонадежных? — Е.Д.) читателей”¹⁰². Совершенно очевидно, что речь идет уже не о наблюдении за чтением, но о слежке за читателем. Результатом такого рода исследования должен был стать, по замыслу авторов инструкции, “полный охват читателей”, иными словами

— *тотальный контроль* за читателем в библиотеке: “когда выяснится, какие вопросы интересуют места, и будет уже некоторый опыт, можно будет построить общий план работы, так, чтобы были захвачены все группы читателей..., подлежащие изучению”¹⁰³.

При такой, совершенно полицейской “постановке дела” нет ничего удивительного в том, что в среде “подлежащих изучению” читателей “эта работа совсем не популярна. В этом отношении, более, чем в каком-либо другом, широкие читательские массы еще пассивны. Они часто недоверчиво смотрят на соби́рание отзывов, записи высказываний на читках и т.д. Здесь нужно пробить брешь: нужно заставить читателя осознать, что, давая отзывы, высказываясь на читках и т.п., он служит не каким-либо посторонним целям, а помогает писателю и издателю создать нужную для него книжку, а библиотекарю приобрести ее”¹⁰⁴. Поэтому предлагалось всячески пропагандировать необходимость участия читателей в изучении читательских мнений, в беседах, писании заметок для стенгазет, рисовании плакатов. К читателю следовало обращаться со следующими призывами:

“Товарищ читатель! Пиши свое мнение о каждой прочитанной книжке. Этим ты научишься с пользой читать, поможешь библиотекарю выбрать интересную для тебя книгу, поможешь издателю нужную книгу издать”

“Товарищ читатель! Давая свой отзыв о прочитанном, ты помогаешь писателю создать для тебя хорошую книгу”

“Создание нужной книги — совместная работа читателя и писателя. Читатель! Давай свои отзывы о книге, отмечай, что в ней плохо, что хорошо. Этим ты поможешь писателю исправить ее недостатки и в будущем написать хорошую книгу”¹⁰⁵.

Позже мы вернемся к “урокам литературы”, которые давала библиотека читателю подобной “пропагандой книги”: новый читатель вполне мог утвердиться во мнении, что вовсе не трудно “исправить недостатки” в произведении или “написать хорошую книгу”, достаточно только “отметить, что в ней плохо, что хорошо”. За этими “дебютными идеями” (в редуцированном виде) — вся соцреалистическая теория (и практика) литературы — с ее пониманием природы творчества, чтения, литературного развития. Идеальный читатель, который и станет продуктом советского государственного института чтения, вполне воспринял эти “уроки литературы” и неустанно “помогал” советскому писателю “писать хорошие книги”. Здесь советская литература не открыла, разумеется, в массовом читателе ничего нового. Новым была не извечная тяга читате-

ля к “сотворческому” вмешательству, его желание показать писателю, как “надо”, не характерный для массового читателя “наивный реализм” восприятия художественного произведения. Новой была стратегия эксплуатации этих свойств массового чтения властью, контролировавшей весь процесс создания, производства и потребления книги.

Вернемся однако к положению “изучаемого читателя”. Его “недоверие к сбору информации” было вполне обоснованным. Во-первых, самая ситуация высказывания о книге имела совершенно отчетливый идеологический контекст: высказывание о художественной или общественно-политической литературе требовало *оценки* (речь ведь шла не о книге по астрономии), а такая оценка в случае несовпадения с официальной, будучи к тому же зафиксированной, вполне могла служить показателем политической лояльности читателя, а в критической ситуации решить его судьбу в качестве улики. В этом была одна из причин того, что через короткий промежуток времени читательские отзывы, которых исправно требовали библиотекари, стали без исключения “правильными”.

Во-вторых, читатель вполне мог предполагать, что запротоколированная информация может быть использована “в каких-либо посторонних целях”. Ясно, что библиотека как государственный институт сотрудничала с органами государственной же безопасности. Сотрудничество ГПП с ГПУ было исключительно широким. Это весь круг вопросов, связанных с “чистками” библиотек, спецхранами, Главлитом, системой комплектования.

Вопрос об “изучении читателя” прямо связан с проблемой комплектования библиотек. Обратимся к характерному документу — инструкции «Как проверять рукописи для деревни», которая была составлена специальной комиссией при БО ГПП, организованной по постановлению ЦК ВКП(б). Эта высокая “Комиссия по деревенской книге” требовала от библиотекарей “систематического наблюдения над читателем в библиотеке и вне ее стен — на сходе, в чайной и т.д.”

Главным методом “проверки рукописей книг для деревни” был признан метод громкой читки, когда в деревенской аудитории читается текст рукописи (или уже вышедшей книги), а поведение аудитории “фотографически фиксируется” протоколистом. Предлагаемый образец протокола требовал напротив текста (книги, рукописи) указывать все, что происходит в аудитории: кто в какой момент что сказал, кто в каком месте засмеялся, кто вышел из аудитории, кто что во время чтения откомментировал: “запись следует проводить, по возможности, дословно, потому, что только такая фотографическая точность дает право делать затем достоверные выводы из полученного материала”. Более того, предлагалось “подробно записывать состав аудитории”. Целью такого рода “изучения” был ответ на вопрос: “какие мысли возникают у читателя по поводу вопросов, затронутых в книжке”.

Особенно характерны два раздела инструкции: «Как узнать состав аудитории и условия района» и «Разъяснение цели читки». Авторы ин-

струкции отдавали себе отчет в том, что чтецу и протоколисту непросто узнать состав новой аудитории, ведь “для последующей оценки полученного материала” необходимо было “записать все, что известно о каждом из собравшихся слушателей” (например, кто бедняк, кто середняк, кто кулак — чтобы узнать, кто как реагирует на прочитанное). Между тем, сделать это прямо — значило все испортить, поэтому “нужно стараться избегать прямого опроса слушателей, получая сведения обходным путем — через избача, политрука и т.д.) и лишь в крайнем случае прибегать к “прямому опросу” и “здесь необходимо действовать очень осторожно. Опрос ни в коем случае не должен носить официального, казенного характера — это сразу отпугнет слушателей, создаст известную настороженность, преграду между слушателем и чтецом”. Если “объективные данные “ (об образовании, возрасте) можно было собрать путем “прямого опроса”, то “что касается социального положения и партийности, то этих вопросов при прямом опросе ставить нельзя так как они особенно могут отпугнуть слушателей. Вместе с тем, эти сведения играют очень важную роль; поэтому нужно постараться собрать их обходным путем, например, у заведующего общежитием Дома крестьянина или дежурного по общежитию”.

Методика работы по “изучению читательских отзывов”, как можно видеть, мало чем отличалась от работы “оперативных органов” и, разумеется, слушатели не могли относиться с доверием к такой “исследовательской” процедуре, когда о них что-то выспрашивают “обходным путем” и протоколируют каждое их движение. Учитывая это, авторы инструкции особо подчеркивают: разъясняя цели читки, чтец (библиотекарь) должен “напирать” на то, что, высказывая свои мнения о книге или рукописи, крестьяне сами участвуют в создании книги, нужной им, а протокол ведется только для того, чтобы после передать его издательству. Между тем, как раз представители издательств входили в упомянутую комиссию лишь с правом совещательного голоса, тогда как полноправными ее участниками были сотрудники ГПП, ВЧКлб, ЦК ВКП(б), ЦК РЛКСМ и ПУРа¹⁰⁶.

С вопросом о методах изучения читателя связан и другой: по каким принципам классифицировать “читательскую массу”. Ответ на этот вопрос был предreshен классовым подходом к искусству: “правильно учитывая необходимость изучения читателя и книги, не все обследователи подходят к этому изучению с марксистской точки зрения, заменяя изучение читателя, принадлежащего к определенной классовой группе, изучением читателя ‘вообще’...”, — наставляла библиотекведов Н.Крупская¹⁰⁷. Между тем, абсолютное доминирование классового подхода в раннем советском читателеведении привело к специфическому (часто надуманному) классовому дроблению читательских групп. Так, в предисловии к ценному исследованию “Крестьянская молодежь и книга”, составленному по материалам обследования читательских интересов, читаем: “обследования, проводимые Главполитпросветом, имеют исход-

ным пунктом четкую дифференциацию читательских групп” по следующим признакам:

- социальный;
- возрастной;
- образовательный;
- половой;
- социально-экономическая принадлежность (бедняк — середняк);
- положение в хозяйстве (самостоятельные хозяева, живущие в хозяйстве родителей);
- общественная активность;
- влияние города;
- отношение к службе в Красной Армии.

Как можно видеть, все признаки (кроме “объективных данных”) носят классовый характер, который сохранился и в “классификации мотивов читательских оценок книг” — вплоть до того, что “материалы, собранные библиотеками, не включались в обработку во всех тех случаях, когда определение читателя как бедняка или середняка не было согласовано библиотекарем с ВИКом или ВОЛКомом ВКП(б)”¹⁰⁸. Заметим, что это исследование было опубликовано в 1929 году, когда, как известно, вопрос о бедняке и середняке (кого можно, а кого нельзя отнести к этим категориям) был едва ли не главным вопросом жизни страны, и уж определенно жизненно важным вопросом для миллионов крестьян. И хотя ясны поэтому библиотечные предосторожности, “марксистский подход” к читателю оказался безрезультатным в том смысле, что он не показал разницы в читательских интересах “классово расслоенного крестьянства”. Стремление “изучать не какого-то отвлеченного и собирательного читателя, а конкретного и определенного в классовом отношении индивидуума”¹⁰⁹ привело к тому, что собственно читатель как объект изучения совершенно растворился в классовом методе “больших чисел”, все больше превращаясь в некую идеальную классово-коллективную категорию: “Библиотека не может отгородиться от всей массы своих читателей, чтобы сосредоточить свое внимание на отдельных личностях; она вынуждена изучать не одну личность, а большое их число, коллектив”¹¹⁰. Путь такого исследования виделся следующим образом: “через изучение основ коллектива к ‘черновому’ познанию индивидуальностей, его составляющих; и затем — через углубленное изучение особенностей отдельных личностей — к глубокому и детальному познанию всего коллектива. Таково направление работы”¹¹¹. Однако это “направление работы” (“в данных условиях рационален только такой путь — от частного к общему, от резких мазков к дальнейшей постепенной обработке”¹¹²) на практике обернулось полной “типологизацией” читателя, когда исследователь оперировал классовыми абстракциями, подгоняя под классовую иерархию систему оценок литературы и мотивов чтения. Этот исследовательский порок можно было бы отнести к сугубо методологической сфере (собственно, наиболее ценна “констатирующая”, эмпири-

ческая часть большинства исследований читателя в пореволюционную эпоху, а не обязательные классовые выводы авторов), если бы теория не шла в “практику библиотечной работы”.

Чтобы представить себе последствия этой теории, обратимся к “библиотечным заметкам” В.Невского, одного из самых радикальных библиотечных теоретиков 1920-х годов. Эти заметки, как сообщал их автор, “не голый плод беспочвенной фантазии, это — зеленые ростки *реальной жизни*, ранне-весенние побеги *живой библиотечной работы*”. Итак, заявляет Невский, библиотеки должны перестать заниматься отдельными читателями, ориентируясь лишь на их количество, не заботясь о том, *кто* их подписчик — “скучающие ‘нэп-дамы’, ‘совмашинистки’, мешански-настроенные ученики школ второй ступени *или* сознательные рабочие, ответственные сов- и партработники”. Библиотеки вовсе не должны заниматься абстрактной “пропагандой книги”, привлекая к себе неизвестно какого читателя: “какой толк в том, что два-три лишние десятка обывателей взяли в библиотеке пять-шесть десятков посредственных книг? — почти никакого серьезного общественного значения это не имеет. И если бы библиотекарь взамен того, чтобы поверхностно обслуживать этот обывательский десяток, “посидел” *над одним лишним рабочим*, потолковал бы с ним о прочитанном, узнал бы, как он живет, поинтересовался бы, что он читал раньше, посоветовал бы ему какую-нибудь книжку по производству, — это было бы куда полезнее. И этот принцип ‘классового предпочтения’ гораздо правильнее и вернее буржуазно-демократического принципа: ‘библиотека одинаково открыта для всех’. Именно *не одинакова для всех* должна быть советская библиотека: даже десяток ‘*отпугнутых*’ от библиотеки нэп-дам стоит одного *привязанного* к библиотеке рабочего”.

Невский идет дальше, задаваясь вопросами: “да не следует ли вообще отказаться от погони за индивидуальными подписчиками, за этим счетом отдельных единиц? Какой смысл вообще в том, что некая рассыпчатая масса бибпосетителей ‘велика и огромна’ и поглощает большое количество книг?.. И не слишком ли безнадежна, мешански-узка и утопически-бесплодна вся эта кропотливая ‘индивидуализация’ библиотечной работы, о которой написано столько слов большими и малыми народолюбцами рубакинского типа?”. Итак, “настала уже пора решительно отмахнуться от этой ремесленно-ювелирной возни с отдельным читателем, чтобы взяться за *фабричную плавку массивных человеческих коллективов*”, ибо “не в век ярких и неповторимых индивидуальностей мы живем, а в дни ярких и неповторимых *массовых* сдвигов и *массовых* действий. Различия между *отдельными группами* наших читателей, — различия, обусловленные их бытом и, прежде всего, социальным положением, *гораздо выпуклее, существеннее и важнее, чем ‘индивидуальные различия’* между подписчиком Ивановым и подписчиком Петровым, — те различия, которые едва заметны под микроскопом самого тщательно психологического анализа”. В этих условиях “библиотечным работ-

никам пора перестать гордиться большим количеством подписчиков в своих библиотеках, когда они представляют из себя распыленную, никем и ничем не организованную массу отдельных индивидов... Библиотека должна гордиться тем, какой процент ее подписчиков принадлежит к трудящимся слоям населения... Библиотека должна стремиться к тому, чтобы *организовать* эту драгоценную читательскую массу в компактные группы, стремиться к тому, чтобы направить главную свою работу на установление тесной связи с *наличными объединениями* этой читательской массы, а вовсе не к тому, чтобы увеличивать без конца индивидуальный спрос на книгу". "Наличные объединения читательской массы" здесь — прежде всего партийные и комсомольские органы, производство. Все это предлагалось *"взамен бесформенных куч читательского песка, взамен того, чтобы анализировать абонементные карточки отдельных читателей, изучать их индивидуальный спрос и индивидуальную психологию, пытаясь воздействовать на их чтение в индивидуальном порядке"*¹³.

Очевидно, что этот подход означал разрушение прежнего института библиотеки. В 1930-е годы Невский будет низвергнут с высот теоретика библиотечного дела, обвинен в левачестве и троцкизме, но реализована будет изложенная выше система работы с читателем. Однако, между читателеведением и библиотекой находился *собственно читатель*, и без "поправки" на него нельзя понять характера происшедших трансформаций. Читатель пореволюционной эпохи представляет в этом смысле совершенно особый интерес: он пока еще оставался *действующим лицом* культурного процесса и лишь со временем эта "бесформенная куча читательского песка" в результате "фабричной плавки массивных человеческих коллективов" станет приближаться к некоему идеальному субстрату. Вот почему нам предстоит обратиться к данным эмпирической социологии чтения, чтобы из осколков и хотя бы в общих чертах восстановить сложную картину читательской среды пореволюционной эпохи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В.Кочетов. Писатель и читатель // Нева. 1955. N 1. С. 175.

2 О.Мандельштам. О собеседнике // Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М. 1990. С. 146.

3 Там же. С. 149.

4 Там же. С. 147.

5 О.Мандельштам. Гуманизм и современность // Сочинения в 2-х томах. Т. 2. С. 205.

6 Там же. С. 205.

7 Там же. С. 207.

8 О.Мандельштам. Конец романа // Сочинения в 2-х томах. Т. 2. С. 203-204.

9 О.Мандельштам. Пшеница человеческая // Сочинения в 2-х томах. Т. 2. С. 192.

- 10 Ю.Айхенвальд. Писатель и читатель // Ю.Айхенвальд. Похвала праздности. М. 1922. С. 89.
- 11 Там же. С. 91-92.
- 12 Там же. С. 92.
- 13 Там же. С. 93.
- 14 Ю.Айхенвальд. Самоупражнение критики // Ю.Айхенвальд. Похвала праздности. С. 95-96.
- 15 Там же. С. 97.
- 16 Там же.
- 17 Там же. С. 97-98.
- 18 Там же. С. 98.
- 19 Там же.
- 20 Там же. С. 99.
- 21 Там же. С. 100-101.
- 22 Там же.
- 23 А.А.Потебня. Из лекций по теории словесности. Харьков. 1894. С. 136.
- 24 А.А.Потебня. Полное собрание сочинений. Т.1. Харьков: Гос. изд-во Украины. 1925. С. 141.
- 25 А.Белецкий. Об одной из очередных задач историко-литературной науки (изучение истории читателя) // Наука на Украине (Харьков). 1922. N 2. С. 97.
- 26 Там же. С. 103.
- 27 Там же.
- 28 Там же.
- 29 Там же. С. 103-104.
- 30 Н.А.Рубакин. Работа библиотекаря с точки зрения библио-психологии. К вопросу об отношении книги и читателя // Читатель и книга. Методы их изучения. Сб. статей. Харьков: Труд. 1925. С. 43.
- 31 Там же. С. 44.
- 32 Там же. С. 46.
- 33 Там же. С. 47.
- 34 Там же. С. 48-49.
- 35 Я.Ривлин. Научная постановка изучения читателя // Красный библиотекарь. 1924. N 10-11. С. 56. Ср. с более социологизированным определением чтения у Шафара: "Чтение есть процесс приобщения через печатные или письменные символы к коллективному опыту в том случае, когда собственный опыт недостаточен или перестает удовлетворять" (его ст.: Процесс чтения и изучения читателя // Книгоноша. 1926. N 40. С. 17) и с более широкой — у П.Гурова: "чтение можно рассматривать как реакцию организма на окружающую среду в целях приспособления" (его ст.: О работе с беллетристикой // Красный библиотекарь. 1927. N 2. С. 22. См. также: П. Гуров. Психология и библиотечная работа. Вологда. 1925). Оба определения стоят на грани рубакинской "библиопсихологии" и "материалистической психологии" в характерном для середины 1920-х годов духе.
- 36 Я.Ривлин. Научная постановка изучения читателя. С. 53.
- 37 Д.Балика. Еще о научной постановке изучения читателя // Красный библиотекарь. 1925. N 11. С. 37.

38 Там же. С. 39.

39 Н.К.Крупская. Выполним указания Ленина о библиотечной работе // Н.К.Крупская. Педагогические сочинения: в 10 тт. Т. 8. М. 1960. С. 633.

40 Д.Балика. Еще о научной постановке изучения читателя. С. 40-41.

41 Г.З.Апресян. Эстетика и художественная культура социализма. М. 1984. С. 56.

42 В.А.Асмус. Чтение как труд и творчество // Вопросы теории и истории эстетики. М. 1968. С. 61.

43 Там же. С. 63.

44 Там же. С. 62.

45 М.Б.Храпченко. Художественное творчество, действительность, человек. М. 1978. С. 187-188.

46 Н.А.Рубакин. Работа библиотекаря с точки зрения библио-психологии. К вопросу об отношении книги и читателя. С. 57.

47 М.П.Стафедкая. Герменевтика и рецептивная эстетика в ФРГ // Зарубежное литературоведение 70-х годов. Направления, тенденции, проблемы. М. 1984. С. 253.

48 Там же. С. 253.

49 Там же.

50 См. например: Я.А.Сорокин. Библиопсихологическая теория Н.А.Рубакина и смежные науки (к постановке вопроса) // Книга: Исследования и материалы. Сб. 17. М. 1968.

51 М.С.Каган. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л. 1971. С. 488, 490, 491.

52 Г.З.Апресян. Эстетика и художественная культура социализма. С. 76.

53 В.А.Асмус. Чтение как труд и творчество. С. 64.

54 М.С.Каган. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. С. 495.

55 Там же. С. 500.

56 Там же. С. 507.

57 Н.А.Рубакин. Работа библиотекаря с точки зрения библио-психологии. К вопросу об отношении книги и читателя. С. 47.

58 См.: М.М.Марков. Об эстетической деятельности. Некоторые закономерности процессов восприятия искусства и художественного творчества. М. 1957; П.М.Якобсон. Психология художественного восприятия. М. 1964.

59 М.С.Каган. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. С. 506-507. Впрочем, здесь мы еще имеем дело с достаточно "вольными суждениями". Им всегда в советской эстетике противостояла более жесткая позиция, согласно которой "эстетическое восприятие нужно организовывать и соответствующим образом направлять, чтобы подготовить этот процесс и сделать его плодотворным" (Г.З.Апресян. Эстетика и художественная культура социализма. С. 81). При этом утверждалось со множеством оговорок, что восприятие лишь "не лишено некоторой творческой функциональности", что оно только "не чуждо раздумьям, размышлениям", что оно "совершается не без воображения" (там же. С. 77-78).

60 М.С.Каган. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. С. 515.

61 Там же. С. 510.

62 Ср.: с утверждением одного из основоположников рецептивной эстетики В.Изера: "С одной стороны, текст выступает как партитура, а с другой — как индивидуально

различающиеся возможности читателей, озвучивающих произведение" (Iser W. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore and London: The Johns Hopkins UP. 1978. P. 177). Изер идет от текста, Каган — от реципиента. Но при сходстве образов, можно видеть здесь принципиальное различие в понимании самого статуса читателя.

63 М.С.Каган. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. С. 517.

64 Там же. С. 518.

65 Там же. С. 519.

66 В.А.Салеев. Искусство и его оценка. Минск. 1977. С. 71-72.

67 Я.В.Перов. Социальная природа художественной оценки. Л. 1966. С. 275.

68 В.А.Салеев. Искусство и его оценка. С. 86.

69 Г.З.Апресян. Эстетика и художественная культура социализма. С. 56.

70 Р.Вейман. История литературы и мифология: Очерки по методологии и истории литературы. М. 1975. С. 37.

71 А.В.Дранов. Рецептивная эстетика // Терминология современного зарубежного литературоведения (Страны Западной Европы и США). Вып. 1. М. 1992. С. 154.

72 Там же. С. 155.

73 См.: Н.М.Пирумова. Земское либеральное движение. М. 1977.

74 А.Рейтблат. От Бовы к Бальмонту: Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века. М. 1991. С. 173.

75 Там же. С. 181.

76 Б.О.Борович. Пути изучения читателя // Читатель и книга. Методы их изучения. Сб. статей. С. 69.

77 М.Алатырцев. Почва под ногами // Лит. еженедельник (Петроград). 1923. N 8. С. 11.

78 Б.О.Борович. Пути сближения книги с читателем: Опыт методологии культурной работы в библиотеке. Харьков: Труд. 1922. С. 68.

79 Там же. С. 77.

80 Вечер книги в деревне (Сост. В.Александров). М.: Долой неграмотность. 1925. С. 13.

81 В.Гоффеншефер. О работе Топорова // А.М.Топоров. Крестьяне о писателях: Опыт, методика и образцы крестьянской критики современной художественной литературы. М.; Л. 1930. С. 13.

82 Г.Ленюль. Советский читатель и художественная литература // Новый мир. 1950. N 6. С. 205-206.

83 В.Волошинов. Слово в жизни и слово в поэзии: К вопросам социологической поэтики // Звезда. 1926. N 6. С. 264.

84 См.: В.А.Келтуяла. Основы историко-материалистического подхода к изучению литературного произведения // Родной язык в школе. 1924. N 6.

85 С.Золотарев. История, нация и класс в истории литературы // Родной язык в школе. 1924. N 6. С. 55.

86 Б.Эйхенбаум. Литература. Теория. Критика. Полемика. Л.: Прибой. 1927. С. 295.

87 М.Загорский. Как реагирует зритель? // ЛЕФ. 1924. N 2 (6). С. 141.

88 К.Зелинский. Книга, рынок и читатель // ЛЕФ. 1924. N 3 (7). С. 119, 121, 124-125.

89 В.Полонский. О читателе и теории "иммунитета" // Новый мир. 1929. N 9. С. 269.

90 В.Полонский. Очерки литературного движения революционной эпохи: 1917-1927. М. 1929. С. 79-80.

91 В.Полонский. О читателе и теории "иммунитета". С. 274-277.

92 В.Полонский. На литературные темы. М.: Круг. 1927. С. 108.

93 Л.Авербах. Культурная революция и вопросы современной литературы. М.;Л. 1928. С. 49, 51.

94 М.Э.Шамота. За велінням історії. Київ: Дніпро. 1965. С. 258-259.

95 Как и для чего нужно изучать читателя. Методическая инструкция. М.: Долой неграмотность. 1926. С. 15.

96 Там же. С. 15.

97 Там же. С. 16.

98 Там же. С. 19.

99 Там же. С. 18.

100 Там же.

101 Там же. С. 17.

102 Там же. С. 19.

103 Там же. С. 24.

104 Э.Коробкова. Как строить работу по изучению читателя // Массовая работа в библиотеке. Сб. статей. М.; Л.: Долой неграмотность. 1927. С. 13.

105 Там же. С. 14.

106 Как проверять рукописи и книги для деревни. М.: Долой неграмотность. 1926. С. 3-16.

107 Цит. по: Б.Банк, А.Виленкин. Крестьянская молодежь и книга (Опыт исследования читательских интересов) // М.; Л. 1929. С. 13.

108 Там же. С. 7-13.

109 В.Гоффеншефер. О работе Топорова // А.М.Топоров. Крестьяне о писателях: Опыт, методика и образцы крестьянской критики современной художественной литературы. С. 14.

110 Б.О.Борович. Пути изучения читателя // Читатель и книга. Методы их изучения. Сб. статей. С. 74.

111 Там же. С. 75.

112 Там же. С. 76.

113 В.Невский. Из записной книжки библиотечного инструктора. 1. Коллективный читатель // Красный библиотекарь. 1923. N 2-3. С. 16-20.

ПШЕНИЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

(ЧИТАТЕЛЬ ПОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ)

Не знаем, никогда не знаем, где эти слушатели...

Осип Мандельштам

“СОЦИАЛЬНО ЦЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ”

“Рабочий нынче именинник”, — констатировал А.Бек в 1926 году, и на вопрос: “Почему так занялось рабочим читателем наше общественное мнение?” отвечал следующим образом: “В основе этого интереса лежит один объективный, тяжеловесный факт: дело в том, что у нас в стране есть уже около миллиона читателей-рабочих. По статистике ВЦСПС на 1-ое марта 1926 г. во всех профсоюзных библиотеках числилось постоянных читателей (подписчиков) — 1.500.000 человек. Значительно больше половины этой цифры приходится на рабочих от станка”. И хотя напостовский читателевед совершенно обоснованно утверждал: “нет и не может быть ни малейшего сомнения, что этот процесс появления и дальнейшего непрерывного роста нового класса в общей читательской массе нашей страны является определяющим весь дальнейший ход классовой борьбы в области литературы и искусства”, рабочие к середине 1920-х годов составляли незначительную часть общей читательской массы. Разумеется, “социально ценный читатель”-рабочий возник задолго до революции. Но ответ на вопрос, сформулированный Бекон: “каковы различия между основными классовыми типами читателей современного общества?”¹, в части рабочего читателя вряд ли удовлетворил бы напостовцев.

Прислушаемся к тому, что писал на сей счет известный еще с дореволюционного времени исследователь массового читателя Л.Клейнборт: “В фабричном котле варится не ремесленник, а крестьянин. И по происхождению наш рабочий — полукрестьянин, полурабочий. До сих пор поток крестьянской бедноты тянется в города. Значит, крестьянская наследственность не изжита до сих пор. И вот результат: низшие слои пролетариата мыслят по-крестьянски, чувствуют по-крестьянски”. Клейнборт как последовательный социалист не питал симпатий к деревне: “Для чего нужна книга в деревне? Для удовлетворения религиозных нужд? Но религиозные нужды слабо связаны с экономией деревни. Деревня и теперь неблагоприятна для чуткой мысли, для общественной совести”.

По мнению Клейнборга, деревня в принципе не может сформировать нового читателя: “Только с того момента, когда пределы села, волости, уезда стали узки, когда надо было бежать с насиженного клочка земли, новые условия труда дают толчок умственной жизни. Чем больше разложение, чем шире занятие на стороне, тем выше ‘умственность’ — необходимое условие этого существования”. И далее: “Говорят, деревня затрачивала миллион на книги, но, — затрачивая этот миллион, — молодежь, за немногими исключениями, покупала на него лубочные издания, которые подсовывал ей ловкий офеня, умеющий приспособиться к ее вкусам. Только в городе читатель низовой получает доступ к хорошей книге — той, которая с таким успехом проникает в сознание. Только город дает возможность читателю не только прочесть книгу, но и вдуматься, вновь прочесть непродуманное, разобраться в нем... Пути, на которых массовик и книга сходятся так, что уже не покидают друг друга, — пути города... Вот дома-казармы, мастерские, рудники, фабрики с их шумом, пылью, духотой, жизнь в свободное время в рабочих организациях, где так свободно знакомятся разнообразные слои населения. Все дает толчок развитию новых мыслей, новых чувств. Это разрыв с прошлым, гибель прежних понятий. Городские влияния, фабричные потребности, желание лучшего, неизвестное до тех пор чувство общительности”².

До революции читатель-рабочий формировался прежде всего в рабочих библиотеках. Уже тогда существовали богатые профсоюзные библиотеки. Так, при союзах металлистов, а затем у золотосеребряников было до полутора тысяч книг, до тысячи книг в профсоюзных библиотеках деревообделочников, экипажников, картонажников и др. Из рабочих просветительных обществ в Петербурге коломенское общество «Образование» имело две библиотеки и читальню, второе общество «Образование» за Нарвской заставой — библиотеку и читальню, сампсониевское общество «Образование», общества «Просвещение», «Знание — свет» — библиотеки в тысячу томов, общество «Наука» — библиотеку в три тысячи томов. Менее богатые библиотеки имелись в просветительских организациях провинциальных профсоюзов, но и здесь число книг в библиотеках доходило до тысячи томов. Стоит выделить библиотеки Екатеринбургского общества служащих, Харьковского общества торговых служащих, Бахмутского общества торговых служащих, Томского общества печатников, Самарского общества книгопечатников, организации текстильных рабочих в Тейкове, Воткинского союза рабочих по металлу и пр. Еще в 1907 году, согласно анкете, проведенной организационной комиссией съезда деятелей народных университетов, — из 187 союзов 121 имели свои библиотеки и в 60 из них заключалось 20.000 томов. В одном Петербурге из 35 союзов 14 имели свои библиотеки.

В послереволюционное время усилился приток рабочих читателей в Москве (здесь, впрочем, следует иметь в виду, что население Москвы почти целиком прошло по крайней мере начальную школу). Средняя

посещаемость рабочих библиотек в Москве в 1921-23 годах увеличилась многократно. Из отчета о работе читальни при заводе «Красный богатырь» узнаем, что с августа по декабрь 1923 года “средняя посещаемость ушестерилась”, не стало хватать помещения, переселились в самое большое, “но и тут битком набито: сидят на стульях, окнах, столах; стоят, подпирая плечами стену; младшие располагаются на полу”. Вот рабочий клуб Хамовнического района: в библиотеке свыше 5.000 томов, посещаемость до 200 человек ежедневно, места нет даже после значительной пристройки к помещению.

Что же касается публичных библиотек, то рабочий читатель составлял в них незначительное число. Причем, посещаемость публичных библиотек читателями из фабрично-заводских и ремесленных рабочих постоянно снижалась еще до революции. В том же Хамовническом районе в публичной библиотеке рабочие, ремесленники и прислуга составляли в 1907 г. — 42%, в 1909 г. — 34%, в 1910 г. — 24%. В читальнях Петербурга рабочих, записавшихся на чтение, было в 1905 г. — 23,3%, в 1907 г. — 19,3%, в 1909 г. — 14,5%, а рабочих, записавшихся для получения книг на дом, в 1905 г. — 13,5%, 1907 г. — 12,6%, 1909г. — 9,8%. Многие “народные библиотеки” отметили в это время снижение читателя из низов: Коломенская бесплатная библиотека им. Пушкина (с 305 до 105 чел.), Решетниковское отделение Екатеринбургской публичной библиотеки (снижение на 21,5%), библиотека Самарского общества народных университетов (снижение на 7,7%). Согласно абсолютным данным, “читатель из народа” составлял в Тамбовской нарышкинской бесплатной библиотеке 4,2%, в Нарвской бесплатной библиотеке — 5,8%, в четырех городских библиотеках Харьковского общества грамотности — 15,6%, в Ростовской (Ярославской губ.) бесплатной библиотеке — 21,9%, в двух бесплатных народных библиотеках Симферополя — 5%. И хотя процент читателей из рабочей среды был гораздо выше в небольших библиотеках, состав читателей городских читален и подписчиков библиотек более чем наполовину был школьный (так, в Симбирской бесплатной библиотеке учащиеся составляли 97,4% читателей, в симферопольских бесплатных библиотеках — 91 и 74, в Нарвской библиотеке — 73%)³.

Судя по описаниям культурной жизни русского дореволюционного пролетариата, библиотека (рабочая, профсоюзная, народная) была чем-то вроде профсоюзно-политического клуба, вокруг которого группировалась совершенно незначительная часть “пролетарской интеллигенции” и куда вовлекались молодые рабочие. Такова предреволюционная ситуация. Много ли изменилось в пореволюционное время? Отвлечемся от ангажированных налитпостовских и пролеткультуровских критиков и обратимся еще раз к наблюдениям Клейнборта, который, несмотря на свои горячие симпатии к пролетариату, трезво оценивал ситуацию середины 1920-х годов: “расцвета читательской массы нет, вопреки массовому оживлению. Но читатель постоянный, не случайно берущий книжку в

руки, — продукт самого роста пролетарской культуры”⁴.

Что же читал рабочий середины 1920-х годов? Обратимся к материалам исследования заводских читателей подмосковной Коломны. При коломенском металлическом заводе имелась библиотека в 10.000 книг, которые читались 1703 взрослыми рабочими. Материалы исследования по Коломне в 1925 году интересны своей “чистотой” — здесь произошел “естественный отбор”: заводской библиотекой не пользовались городские читатели и учащиеся, всегда составляющие значительную часть посетителей библиотек. Итак, прежде всего стоит отметить наибольший интерес к беллетристике: из 7.260 книг, взятых за один месяц, на беллетристику приходится 5.317. Из беллетристики более всего читаемы Демьян Бедный и А.Новиков-Прибой, переводную литературу читает в основном заводская интеллигенция. К новой литературе отрицательно относятся старые рабочие и девушки. Классическую литературу читают в основном рабочие от 50 лет и старше (наибольшей популярностью пользуется А.Писемский), хотя обращаются за классикой и молодые рабочие (требование одного из них: “Дайте мне какого-нибудь Лермонтова”). У девушек неизменным интересом пользуются романы А.Шеллера-Михайлова. Прочный интерес к Д.Лондону и Э.Синклеру, социальным романам Э.Золя. Из русских классиков на первом месте Л.Толстой, за ним — И.Тургенев и Ф.Достоевский. Из современных писателей наибольший спрос на М.Горького и А.Серафимовича. Из “новой литературы” (по мере сокращения спроса) — А.Неверов, Л.Сейфуллина, Ю.Либединский, Вс.Иванов, Л.Леонов (в особенности «Барсуки»), Д.Фурманов, Ф.Гладков, Н.Ляшко. Слабо читаются имеющиеся в библиотеке К.Федин, А.Аросев. И.Эренбург читается как рабочими, так и работницами (последними особенно «Любовь Жанны Ней»). Из поэтов читаются Н.Некрасов и И.Никитин, а из современных — С.Есенин, А.Безыменский, В.Маяковский, А.Жаров, И.Доронин. Исследование показало, что заводская молодежь читает мало, а в особенности мало — комсомольский актив⁵.

Представленная выборка должна быть скорректирована тем обстоятельством, что в библиотеке “почти нет приключенческой литературы, революционной романтики. Халтурная пинкертоновщина из библиотеки изъята... Мемуарной литературы совсем нет”⁶. Ясно, что указанные категории книг — приключенческая (даже в виде “революционной романтики”) и мемуарная литература — окажись эти книги в библиотеке — изменили бы картину, поскольку это наиболее популярные категории литературы массового спроса. Обращает на себя внимание прежде всего степень зависимости круга чтения от состава библиотечных фондов. С другой стороны, круг интересов читателя-рабочего в известной мере предопределен: молодые и должны читать о современности, старые — Писемского, девушки — «Любовь Жанны Ней».

Картина меняется, если обратиться к более широкой статистической выборке. В 1926 году Одесский кабинет политпросветработника исследо-

довал книжные формуляры 13 фабрично-заводских и клубных библиотек: металлистов (4), кожевенников (3), сахарников (1), табачников (1), текстильщиков (1), грузчиков (1), химиков (1), железнодорожников (1) за период с октября 1926 по февраль 1927 года⁷. Причем были выделены лишь те писатели, книги которых были выданы в течение этого времени по всем 13 библиотекам не менее 100 раз (одновременно учитывалось, сколько книг этих авторов находилось в обращении). Было проанализировано около двадцати тысяч выданных за 4 месяца. Такое статистическое исследование позволяет признать данные по читаемости тех или иных авторов по крайней мере характерными, поскольку речь идет о “прочном” читательском спросе.

Прежде всего можно видеть, что интерес к переводной литературе прочно доминирует над интересом к оригинальным (русским и украинским) книгам (в процентном отношении — 57,7% к 42,3%). Авторы исследования были вынуждены признать, что “на наших глазах происходит неслыханная ‘американизация’ рабочего читателя”⁸. И в самом деле, индекс читаемости⁹ здесь таков: французские авторы — 2,8, русские и украинские — 2,9, немецкие — 3,5, английские — 3,8, американские — 122,8. Отмеченная “американизация” не принимала, разумеется, таких катастрофических масштабов, как показывает статистика, поскольку оборачиваемость книг американских писателей такова же, как и английских авторов. Иными словами, здесь есть противоречие между абсолютными и относительными показателями чтения, поскольку оборачиваемость книг менее зависит от состояния библиотечных фондов и более точно отражает читательский спрос, чем абсолютные цифры выдачи.

Из западной литературы на первом месте стоит Д.Лондон, который по популярности на много порядков превосходит всех других писателей (в особенности популярен его роман «Мартин Идэн»), затем Э.Синклер с его социальными романами и Г.Уэллс. В большом спросе Г.Манн, К.Фаррер, В.Гюго.

Обратимся к чтению русской литературы. Здесь 3/4 спроса приходится на современную литературу и 1/4 — на классическую (соответственно, 75,3% к 24,7%). Из современных русских писателей на первом месте (60,3%) стоят “попутчики” (М.Горький, И.Эренбург, Л.Сейфуллина, В.Вересаев, В.Шишков, А.Толстой, Б.Лавренев, П.Романов, Вс.Иванов, И.Бабель), затем идут “пролетарские писатели” (39,3%) — А.Неверов, Ф.Гладков, А.Серафимович, Ю.Либединский. И, наконец, “лефовцы”, составляющие лишь 0,4% за счет В.Маяковского. Наконец, русская классика, составляющая четверть всего спроса на русскую литературу, представлена именами И.Тургенева, Л.Толстого, В.Короленко, Н.Гоголя, А.Чехова, Ф.Достоевского, А.Пушкина (все имена приводятся в порядке снижения спроса).

Стоит, пожалуй, пристальнее взглянуть на эту картину. Из “пролетарских писателей” наибольшей популярностью пользовался Неверов и его «Ташкент — город хлебный», затем Гладков, хотя, как показывает

статистика, огромная популярность Гладкова была связана исключительно с романом «Цемент», все другие его произведения не вызывали никакого интереса (так его «Огненный конь» был взят всего 5 раз), то же можно сказать и о популярности Серафимовича: помимо «Железного потока», его книги остались невостребованными; интерес к Либединскому резко упал после «Недели» и новые его книги вообще не читались рабочими. «Остальные пролетарские писатели, — констатируют авторы статистического исследования, — читаются очень мало и, повидимому, рабочих-читателей совершенно не удовлетворяют»¹⁰. Из «попугчиков» наибольшим успехом пользуется Горький, в особенности его роман «Мать», а также «Дело Артамоновых», зато ранний Горький почти не пользуется спросом. Авторы «одной книги» в рабочей читательской среде — Эренбург с его романом «Любовь Жанны Ней», вытеснившим даже «Цемент» Гладкова, и А.Толстой с его «Гиперболоидом инженера Гарина». Один роман «о любви», другой — фантастика: весь «пак» на огромный читательский спрос на литературу такого рода. Мало знакомы рабочим Б.Лавренев, М.Зошенко, Л.Леонов, А.Соболь, К.Федин, Б.Пильняк, М.Шагинян, О.Форш.

Из русской классики на первом месте Тургенев и Л.Толстой. Почти во всех библиотеках очереди на «Отцов и детей», «Первую любовь», «Войну и мир». Гоголь, Пушкин и Чехов читаются «целиком», Достоевский представлен в «круге чтения» рабочего «Преступлением и наказанием» и «Униженными и оскорбленными» (другие его романы спросом не пользуются). Остальные классики в малом спросе (очень редко спрашивают И.Гончарова, М.Салтыкова-Щедрина, М.Лермонтова, А.Островского, Н.Некрасова, Н.Лескова, Г.Успенского).

Вообще вопрос о месте, какое занимает классическая и послереволюционная литература в чтении рабочих, представляет специальный интерес, поскольку в структуре читательского спроса именно в рабочей среде происходит в 1920-е годы резкая ломка, отразившая процесс интенсивной урбанизации страны. Рабочая среда 1920-х годов — это и «кадровые рабочие», и вчерашние крестьяне. Кроме того, в этот период происходит заметное «омоложение» рабочего читателя, и в то же время — качественное изменение «состава крови» самой литературы. Одновременное наложение стольких факторов как внутрилитературных, так и внелитературных, не могло не привести (и привело) к существенному изменению структуры чтения в рабочей среде.

По материалам анкеты о «старой и новой книге», проведенной в рабочих аудиториях Ленинградским обкомом союза металлистов в 1928 году (было обработано более 2.500 анкет), новая литература читается вдвое больше «старой». Кроме того, выявилась существенная возрастная разница: рабочие старшего поколения знакомы с классической литературой вдвое больше, чем молодежь. Но здесь же обнаружилась и другая черта читательского спроса: «чем более известна, чем более читалась книга, тем менее она читается»¹¹. Так, Гоголь стоит на первом ме-

сте по известности, но в ряду наиболее читаемых сейчас авторов он занимает одно из последних мест — 37-е. Из современной литературы более всех известен Демьян Бедный, однако, его книги не пользуются спросом в рабочих библиотеках. Популярность “первого пролетарского поэта” авторы анкеты объясняют “чтением его произведений в газетах”¹².

Весьма характерны данные, демонстрирующие годовой коэффициент читаемости¹³ современной литературы в рабочей среде. Так, в 1928 году он выглядел следующим образом: 26 — А. Чапыгин «Разин Степан»; 20 — А. Фадеев «Разгром»; 16 — Ф. Гладков «Цемент»; 10 — Л. Сейфуллина «Виринея», И. Евдокимов «Колокола»; 8,5 — Б. Лавренев «Ветер», Д. Фурманов «Мятеж»; 7 — А. Неверов «Ташкент — город хлебный», А. Серафимович «Железный поток»; 6 — Н. Ляшко «Доменная печь»; 4 — Л. Сейфуллина «Правонарушители», Д. Фурманов «Чапаев», И. Бабель «Конармия»; 3 — Л. Леонов «Барсуки»; 1,5 — Б. Пильняк «Голый год», К. Федин «Города и годы». Данные говорят о довольно разностороннем “рационе чтения” в рабочей среде.

Чтобы понять характер динамики читательского спроса, необходимо обратиться к проблеме мотивации чтения. Большой материал был собран в 1926-27 годах в Ростове-на-Дону, когда в ходе читательских конференций в рабочей аудитории распространялись анкеты не тему “Для чего читают беллетристику”¹⁴. Типичными ответами были: “Потому что она не скучная”, “Потому что она жизненно описывает и отражает человеческую жизнь”, “В ней много можно встретить о прошлом”, “Лишь бы убить время”. В процентном отношении анкеты дали следующую картину: 1) читают беллетристику “для пополнения знаний, т.к. беллетристика иногда дает больше знаний, чем научная” — 43%, 2) “для развлечения” — 31%, 3) для того, “чтобы понять смысл жизни” — 13,8%, 4) “для того, чтобы развить речь” — 9,5%, 5) “для отдыха и ухода от своей тяжелой жизни в жизнь красивых грез” — 2,7%.

Приведенный статистический материал нуждается, однако, в поправке на “читательскую артикуляцию”. Исследования, в которых респонденты (из которых каждый десятый сам признает, что читает книги “для развития речи”) должны сами вербализовать мотивы собственного чтения, не всегда точно отражают реальную ситуацию. Вообще выделить один, пусть даже доминирующий, мотив чтения трудно. Приведенную “сетку” можно сузить до трех позиций, соединив 1 с 3, а 2 с 5, поскольку вряд ли можно разделить чтение “для развлечения” от чтения “для отдыха”, или чтение “для пополнения знаний” от чтения “чтобы понять смысл жизни”. Эти формулировки характеризуют не столько действительную мотивацию чтения, сколько самооценку респондентами причин чтения. Но если мы и произведем предложенные сращения, то получим результат все-таки знаменательный: “сознательное чтение” — 56,8%, “развлекательное” — 33,7%, “развивающее” — 9,5%. Итак, данные о мотивации чтения свидетельствуют прежде всего о статусе чтения в сознании читателей-рабочих и отвечают не на вопрос: зачем я читаю

(этот вопрос поставит в тупик любого респондента-читателя), а на вопрос: зачем *нужно* читать и как *нужно* отвечать на вопрос о мотивах чтения. Существенный сдвиг к “сознательному чтению” (тогда как постоянный читатель потому читает, что читать *любит*, и время, проведенное за книгой, доставляет ему *удовольствие*, если книга вызывает *интерес*) свидетельствует о сдвиге в сторону “правильных ответов”. Иными словами, в сторону “идеального читателя”. Можно не сомневаться, что процент “сознательного чтения” был бы значительно большим (за счет “развлекательного”), не будь опрос анонимным.

Особый интерес представляет собой читатель 1920-х годов из среды *рабочей молодежи*. Во-первых, именно молодой читатель количественно доминирует во всех читательских группах, во-вторых, именно это поколение читателей (от 16 до 23 лет) может быть определено как первая генерация уже собственно советских читателей. Из “социально ценного читателя”-рабочего рабочая молодежь являлась “социально *наиболее* ценным читателем”.

В структуре чтения рабочей молодежи беллетристика составляла, по данным широкого обследования, проведенного Главполитпросветом в 1927 году в 23 городах России, от 70 до 80%¹⁵, тогда как на научную литературу приходилось всего 20-30% спроса. Столь низкий процент читаемости научной литературы, из которой на “обществоведение приходилось только 32% (от 20-30% общего спроса) объяснялся своеобразно: “Процент читаемости общественно-политической литературы у нас чрезвычайно ничтожен, и это заставляет нас бить тревогу. Было бы гнусной клеветой на рабочих, если бы могли думать, что рабочий читатель не хочет читать этих книг. Дело в том, что мы ему не подаем эту литературу как следует, в этом — основной вопрос”¹⁶. В структуре спроса в среде рабочей молодежи наблюдается в то же время тенденция к возрастанию интереса к современной литературе среди мужчин и, наоборот, к “старой литературе” — среди женщин. Причем, “старая литература” не включает в себя “классику”, которая с возрастом все вытесняется из круга чтения рабочей молодежи (в возрасте 19 лет она составляет 37%, а в возрасте 23 лет — только 23%).

Более подробную картину чтения рабочей молодежи в 1920-е годы можно увидеть из обследования, проделанного Московским горсоветом профсоюзов в 1927-28 годах. В рамках этого обследования было обработано более 4.000 формуляров читателей в возрасте от 16 до 23 лет в 58 крупнейших профсоюзных библиотеках Москвы¹⁷. Выяснилось, что из 70% общего спроса, которые приходятся на беллетристику, лишь 15% составляет классика, а переводная и современная русская литература занимают по 40%. В структуре спроса рабочей молодежи в числе наиболее читаемых авторов — С.Есенин, Л.Гумилевский, П.Романов. Это обстоятельство очень беспокоило руководство Политпросвета: “Неприятна такая большая читаемость Романова, тем более, что из его произведений наиболее читаемой оказалась «Без черемухи» — 20,7% от всей

выдачи Романова, повесть, которая ни в коем случае не может быть рекомендована для массового чтения молодежи”, не способной заметить у любимых авторов “вульгаризации, грубой нехудожественности и эротики, подтасовки идей... Общее, что характерно для всего чтения молодежью художественной литературы — это поиски занимательного чтения. Нам думается, что это не совсем здоровый уклон, который надо выправлять. С другой же стороны, нашим пролетарским писателям надо об этом подумать и взять курс на то, чтобы в занимательной, увлекательной форме давать читателю художественные образы нового человека, строительства новой жизни”¹⁸. Этот “социальный заказ” так и не был, однако, выполнен пролетарскими писателями. Можно сказать, что структура чтения рабочей молодежи после 1920-х годов практически сохранилась. В ней так и остались популярные еще с первого пореволюционного десятилетия А.Фадеев, Ф.Гладков, А.Серафимович. Другое дело, что чем дальше, тем больше этот законсервированный состав канонизированных в советской культуре авторов расходился со спросом.

Хотя “социально ценный читатель” и привлекал всеобщий интерес, хотя именно на него прежде всего было направлено воспитательное воздействие, он в 1920-е годы не составлял большинства не только среди “читательской массы” в целом по стране, но даже большинства среди городской читательской массы.

ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ И ИХ АУДИТОРИЯ

Городская читательская среда отличается исключительной пестротой, хотя основную массу взрослого состава читателей городских библиотек составляют учащиеся — студенты вузов, слушатели различных курсов, учащиеся техникумов, рабфаков, партшкол и пр. По численности эта группа составляла до 60% городских читателей. В круге ее чтения — почти исключительно книги научных отделов “по программе”, “для зачета” и т.д. И лишь 15-20% читателей городских библиотек — молодежь (рабочие и служащие), не связанные со школами различных типов. Круг чтения этой группы — традиционный набор авторов и произведений — книги М.Горького, Д.Лондона, «Овод» Э.Войнич, «Спартак» Р.Джованьоли, А.Барбюс, фантастические романы Г.Уэлса и А.Богданова, романы Э.Синклера, Б.Келлермана, Э.Золя, В.Гюго, С.Степняка-Кравчинского. Интеллигенция, как показывают исследования, не удовлетворялась районной библиотекой. Случайно попав в нее, эти читатели разбирают здесь все новое — сборники, журналы, последние произведения “модных современных авторов”, будь то Б.Пильняк или И.Эренбург. Куда более типична для районной библиотеки группа читателей пожилого возраста, составляющая ее ядро. Они читают и перечитывают классику, старые журналы, юмористику, современная литература для читателей этой категории заканчивается на К.Гамсуне. Наконец, последняя категория читателей городских районных библиотек — это, по тер-

минологии тех лет, “городская полуинтеллигенция и городское мешанство”. Читают они “почти исключительно беллетристику... с особым уклоном... ищут любовь во всех ее разновидностях, любят старые исторические романы, высокопоставленных, сиятельных героев (графов, князей), обстановочность, безидейность и мистику. Это библиотечные гробокопатели, книжные гиены. Если вы еще не произвели чистки беллетристики в вашей библиотеке, — положитесь на их чутье ко всякой мертвечине: они просят именно те книги, которые необходимо изъять: Вербицкая, Понсон-дю-Террайль, Салиас, Всеволод Соловьев, Поль де-Кок, кн. Голицын, Брешко-Брешковский, кн. Мещерский — вот их запросы”¹⁹.

Обратимся теперь к более подробной статистической информации о взрослой читательской аудитории города. Несомненный интерес в этом плане представляют материалы Мосгубполитпросвета за 1926-27 годы. Это был первый опыт коллективного исследования городских библиотек разных типов по единой методике, осуществленный Главполитпросветом и Московским библиотечным объединением²⁰.

По материалам этого обследования, в ходе которого было обработано около 60.000 читательских формуляров в 38 московских библиотеках всех уровней, наибольшая читательская активность наблюдается у читателей в возрасте от 16 до 19 лет (они составляют 38,4% от общего числа), затем интерес к библиотеке снижается (20-25 лет — 30%, 26 — 38 лет — 23,8%, старше 38 лет — 7,8%). Хотя, чем старше читатели, тем самостоятельнее спрос, тем разнообразнее читательские интересы, тем больший интерес к беллетристике. Число учащихся в московских библиотеках разных районов колеблется от 41 до 58%, рабочих — от 15 до 37%, служащих — от 12 до 21%, “прочих” — от 9 до 27%.

Различны и типы библиотек, которыми пользовались различные социальные прослойки горожан. Скажем, в “передвижных фондах” 82,3% приходится на рабочих и только 3,1% на служащих, а, например, в “читальнях” рабочие составляют 6%, служащие — 15,3%, тогда как учащиеся — 68%; в районных и подрайонных библиотеках рабочие составляют от 14 до 20%, тогда как служащие — от 14 до 29%, но именно в библиотеках этого типа значительно выше число “прочих” — до 18%. Следует учитывать, что библиотеки различных типов отличались не только организацией работы, но и фондами, что во многом определяло структуру чтения. Так, “передвижные фонды”, которыми пользовались рабочие, имели куда более скромный ассортимент книг, чем даже районные библиотеки. Доминирование в структуре чтения литературы “по заданию” в наибольшей от общего числа группе читателей — учащихся — составляло до 42% и столько же — “по желанию”. Если же учесть, что остальная прочитанная литература по мотивам спроса относилась к “рекомендации библиотекаря” (до 15%), то можно говорить о том, что чтение основной группы читателей городских библиотек было практически полностью контролируемым и направляемым. Хотя в спросе “по желанию”

беллетристика и занимала до 85%, но этот значительный процент шел все от тех же 42% самостоятельного спроса учащихся.

Как в группе читателей-учащихся, так и во взрослых группах, на первом месте стоят Д.Лондон, М.Горький, Л.Толстой (у взрослых еще и Э.Синклер). По половому признаку, во всех возрастных группах старше 20 лет мужчины составляют 75% читателей, женщины — 25%, причем, в структуре чтения мужчин беллетристика занимает 71%, тогда как у женщин — 91%.

Здесь следует постоянно учитывать общий фон: миграционные процессы в первое пореволюционное десятилетие привели к размыванию традиционной городской читательской среды, явившемуся следствием целенаправленной политики новой власти по сужению традиционной культурной ауры города. Городская культурная инфраструктура подверглась резкой деформации. Отчасти это было связано с эмиграцией культурной элиты и выходом на авансцену новых социальных групп, отчасти — с общей переориентацией читательской массы. Немаловажная роль в этом процессе принадлежит библиотечным чисткам: к концу 1920-х годов традиционному читателю городской библиотеки оказалось практически нечего в ней читать — значительная часть книжного фонда оказалась изъятой из обращения. К концу 1920-х годов можно констатировать резкое сужение группы традиционных городских читателей “из старой интеллигенции” (группа “прочие”). Читательские интересы “бывших” практически перестают влиять на показатели посещаемости библиотек, их удельный вес в общей городской читательской массе становится все более незначительным. Этой читательской группе, ранее наиболее многочисленной в городах, остаются теперь лишь личные книжные собрания, питавшие ее читательские потребности еще на протяжении 1930-х годов и в основном погибшие в войну.

Таким образом, к концу 1920-х годов подавляющий количественный перевес принадлежал в городской читательской среде молодежи, куда включаются выходцы из мелких служащих, советских чиновников, работников партийного и советского аппарата и т.д. В силу этой перемены городская читательская среда 1920-х годов в основной своей массе представляется исключительно зыбкой, если не сказать — маргинальной. Это маргинальность двоякого рода: неустойчивость читательских интересов, во-первых, свойственная молодежи, а во-вторых, связанная с маргинальностью социального статуса городского жителя, прежде всего рабочего или выпускника рабфака, вчера перебравшегося в город из деревни.

В своем исследовании о русском читателе-рабочем Л.Клейнборт, при всей своей симпатии к пролетариату, должен был констатировать: “единого восприятия у народа нет, — попытки установить общую форму восприятия для трудового читателя в целом лишены почвы... крестьянская наследственность не изжита. Целые слои пролетариата мыслят еще по-крестьянски”²¹. Рисуя облик читателя-рабочего, Клейнборт говорит,

что это “полу-рабочий, полу-крестьянин. Низшие слои пролетариата мыслят по-крестьянски, и слои эти численнее промышленных кадров пролетариата... как ни портит чертежи тип промежуточного свойства — основные черты линий, по которым дифференцирован читатель для нас ясны. Перед нами 1) читатель фабрики и 2) читатель деревни, два типа литературных симпатий и умонастроений, может быть, ни в одной точке не совпадающих... дело не в одной истине, а в комплексе идей, приемлемых для одних и неприемлемых для других. Принадлежность к социальной группе обуславливает характер восприятия.

Деревню пропитала власть ржаного поля. Гении капитала рыщут по ней. Необходимость перекидывает умственного крестьянина в центры, в ту психическую атмосферу, которой живет рабочий класс. Но дух его жив... Дух же рабочего индустриален. Ему близок лишь труд, за которым стоит машина, фабрика, город. Это лишь орудие дает рабочему силу. Лишь когда он впитывает в себя кровь и сок металла, он перестает быть рабом, делаясь творцом.

Здесь весь узел. Не через ржаное поле, а через мир железа, через машинизм в грядущее... Отсюда и только отсюда различие читательских вкусов, как и жизнеощущений”²².

Так перед нами открывается огромное читательское пространство — русская деревня пореволюционной эпохи.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА

К началу XX века слой читателей в деревне был исключительно тонок. Распространению книги в деревне препятствовала почти полная безграмотность крестьянства. На рубеже восьмидесятых годов XIX века грамотным было лишь 8% населения страны, а к концу века (по данным переписи) — 21% (для сравнения: во Франции еще в 1825 году грамотным было 95% населения). При этом в городе (по переписи 1897 года) были грамотными 45% жителей, а коренные горожане были грамотными все. Поскольку крестьянство составляло приблизительно 80% населения, выявленный 21% грамотных почти полностью приходился на город. Однако, при отмеченном выше разрушении городской культурной инфраструктуры в процессе небывалой урбанизации, новая читательская аудитория почти полностью “рекрутировалась” из деревни. Это обстоятельство заставляет ближе присмотреться к процессам, происходившим в русской деревне в пред- и постреволюционный периоды.

Как отмечает А. Рейтблат, “к началу 90-х гг. библиотека на селе была редким явлением, основными каналами проникновения книги в крестьянскую среду были офени-разносчики, ярмарочные торговцы и монастыри. В 1915 г. в России насчитывалось уже примерно 25 тыс. сельских библиотек”²³. Значительная часть из них относилась однако к сельской школе. В глубоком и всестороннем исследовании Рейтבלата, посвященном чтению в России во второй половине XIX века, выделим неко-

торые моменты, существенные в контексте постреволюционной ситуации:

— сельская библиотека “своим фондом ‘программировала’ аудиторию, ‘отсекая’ ряд потенциальных читательских групп”²⁴;

— “аудитория народных библиотек в основном состояла из учащихся земской школы и недавних ее выпускников (по данным, характеризующим 13,9 тыс. читателей из 91 сельской библиотеки, лица в возрасте не более 17 лет составляли 64% их аудитории). Это были главным образом мальчишки и юноши, женщины в читательской среде составляли редкое исключение”²⁵;

— “к концу XIX в. читательские запросы крестьян стали сложнее и дифференцированнее, приблизившись к уровню образованной публики. У них были популярны такие авторы, как Д.В.Григорович, Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, Е.А.Салиас, Г.П.Данилевский, М.Н.Загоскин, И.А.Гончаров, А.К.Толстой, Вас.И.Немирович-Данченко, В.П.Авенариус, А.П.Круглов, П.Р.Фурман, Д.Г.Ковалевская — из отечественных, Майн Рид, Жюль Верн, Э.Золя, Б.Ауэрбах, Ф.Купер — из зарубежных. В XX в. грань между ‘народными библиотеками’ и публичными библиотеками других типов стала стираться, они постепенно стали сближаться и по составу фондов, и по степени подготовленности своей аудитории”²⁶;

— чрезвычайно низкий уровень читательской активности в сельской среде: сельскими библиотеками пользовалось в России в 1909-11 годах лишь 2,9% всего сельского населения.

Таков лишь общий абрис сельской читательской среды в предреволюционную эпоху. Существенный интерес представляет, однако, отношение деревенского читателя уже постреволюционного периода к художественной литературе (оригинальной и переводной, классической и современной), отзывы, мотивация оценок, характер читательских интересов и т.д. Большой материал этого рода найдем в книгах Б.Банка и А.Виленкина «Деревенская беднота и библиотека» (1928) и «Крестьянская молодежь и книга» (1929), в основе которых лежат материалы обследования деревенского читателя с 1924 по 1927 годы, организованного Ленинградским Губполитпросветом и государственным институтом научной педагогики, и материалы исследования читательских интересов крестьянской молодежи, проведенного кабинетом политпросветработы Ленинградского ОБЛОНО, институтом научной педагогики и Главполитпросветом.

Прежде всего обращает на себя внимание состав чтения: 88,8% занимает русская беллетристика, тогда как зарубежная — лишь 11,2%, что существенно отличает деревенскую читательскую среду от городской²⁷. Отношение к современной беллетристике самое серьезное, что следует из анализа мотивов отрицательных отзывов на современные художественные книги: несерьезность или общеизвестность фабулы отмечает 44% читателей (“Пустозвон. Не понравилась”, “Плохая. Ерундистика”, “Не

понравилась. И так наизусть знаем”, “Ерунда. Как есть понять нельзя”); 27% читателей указывает на неумение автора “захватить”, однообразность, вялость изложения (“Однообразно”, “Скучно”, “Ничего интересного”), 19% высказывает весьма примечательные “идеологические возражения”: “Ну их, комиссаров!”, “Надоели комиссары”, “Не люблю читать теперешние книги: правды мало, все врут. Все ‘город заботится о бедноте’, а то не верно — пишут не то что есть, а то, что бы хотели, что бы было”).

Современная зарубежная беллетристика, как выше было сказано, занимает сравнительно мало места в структуре чтения пореволюционного села. Здесь, однако, примечательно, как “социальный роман” структурирует оценочную шкалу, вводя в нее новые, “классовые параметры” (ср. отзывы на «Хижину дяди Тома» Г.Бичер-Стоу: “Интересно, как образованные страны издеваются над угнетенными”, “Хорошо описано издевательство капиталистов над рабами”).

Ясен поэтому тот нажим, с каким официально пропагандировался в 1920-е годы Эптон Синклер. Его романы издаются в Советской России огромными тиражами, ими наполнены все библиотеки, развернута широкая их реклама. В отличие от увлекательных рассказов Джека Лондона, занимавшего первое место по читаемости в стране, тяжеловесные социальные романы Синклера, практически не читаемого у себя на родине, не просто обретают своего читателя в пореволюционной России, но становятся здесь бестселлерами почти исключительно благодаря официальной их пропаганде. Результаты такой пропаганды оказались изумительными: если в рабочей читательской среде в возрасте от 16 до 19 лет Синклер стоит на 13 месте, то уже в возрастной группе от 20 до 25 лет, когда интерес к приключенческой литературе падает, — на втором, уступая место только Джеку Лондону (наиболее популярны «100%», «Джимми Хиггинс», «Джунгли»), наконец в возрасте от 26 до 38 лет Синклер перемещается на третье место, уступая Горькому и Л.Толстому (даже Джек Лондон выпадает из этой тройки). Среди учащихся Синклер занимает 2-4 место, уступая у мальчиков только Лондону, а у девочек Лондону, Горькому и Л.Толстому, (тут, впрочем, оказывается, что приблизительно треть спроса определяется “заданием школы”). Столь же высок показатель читаемости Синклера и в женской среде (хотя здесь наиболее популярны его романы «Дебри», «Сильвия», «Замужество Сильвии»). Если учесть, что в подавляющем большинстве случаев (до 70%) романы Синклера получили положительные отзывы, можно утверждать, что замена “аполитичной” Вербицкой Синклером новой власти определенно удалась... в городе²⁸. Иную картину видим в деревне.

Разумеется, и здесь сработал главный принцип советской библиотеки: нужную книгу — нужному читателю — в нужное время. “Продвижению нужной книги” способствовало то обстоятельство, что уровень самостоятельности в выборе книг в деревне был довольно низким — 45,5%. Более половины спроса определялось, следовательно, рекомендацией

библиотекаря (29,6%), рекомендацией других читателей (3%), рекомендацией культработников (0,9%), подбором выставок (18%), наконец, рекомендательным списком (3%). Это относится ко взрослому читателю; разумеется, самостоятельность спроса в детской читательской среде была еще ниже. Но, получив в руки Синклера, сельский читатель отнесся к нему без всякого пиетета. Разумеется, был здесь традиционный набор положительных оценок за “познавательность” (“Ярко изображена жизнь американских углекопов”, “Очень интересно было узнать, как живут и борются за границей рабочие и как живет там буржуазия” («Король Уголь»), “Понравилась. Рассказывает о тяжелой жизни в Америке” («Дебри»), “Очень интересно знать, как живут женщины за границей”, “Интересно, что за границей, в городах, так же, как у нас любят и даже у буржуазии из-за этого страдают” («Сильвия»), “Хорошая книга, а страшная только. Вот заболела Сильвия от мужчины и сама не знала, и ребенок родился больной. Какая буржуазия-то там дрянь. И не подумаешь так даже сначала”, “Это еще интереснее, чем «Сильвия» и видно, что американская буржуазия больна”, “Очень интересно, для всех поучительно, чтобы не болели” («Замужество Сильвии») и т. д.), были и вполне наивные признания, типа “Понравилось, потому, что Синклера хвалят во всех газетах и в печати вообще”.

Однако, когда речь заходит о достоверности изображенной Синклером социальной картины Америки, отзывы крестьянских читателей становятся совершенно другими: “Не думаю, чтобы так было в Америке” («Король Уголь»), “Растянуто и неверно — преувеличенно описана жизнь американских рабочих” («Дебри»), “Врет много”, “Врет, наверное”, “Не понравилось. Вроде сказки”, “Не понравилось. Может быть, приврано”, “Правильно ли описано? Сомнительно. А так-то занимательно”, “Врет. Совсем не то за границей и не об революции там думают”, “Интересная. Только не понравилось, что о революции читается в ней” («Джимми Хиггинс»), “Не знаю, а по-моему, врет” («Предатель»), “Синклер вообще не нравится. Пишет ли правду?” («Король Мидас»), “Только пишут. А говорят, в Америке совсем не то, а очень хорошо там”, “Говорят, что в Америке хорошо, а он пишет, что плохо. Наверное, он неправду пишет” («100%»)²⁹.

Городское и сельское чтение разнятся столь же сильно по структуре, сколь и по спросу, и по мотивации оценок. Отчасти это связано с различным составом городской и сельской библиотек, комплектовавшихся как до революции, так и после нее с учетом “местных условий”. Говоря об этой разнице, стоит обратить внимание на любопытное совпадение выводов исследователей пореволюционной крестьянской читательской массы в 1926 году: “обращение в библиотеку является для огромного большинства крестьян последней ступенью активности в смысле поисков ответа на имеющиеся у них вопросы”³⁰ и в 1991: “если приобщение к грамоте вызывается чаще всего утилитарными мотивами, соображениями практической пользы, то чтение книг в этой среде свойственно не-

многим крестьянам и обусловлено, как правило, причинами мировоззренческого характера”³¹. Эта *серьезность* читательских запросов крестьян влечет за собой и *серьезность* оценок: читательские пристрастия крестьян отличаются максимальной *стабильностью* (тогда как городская читательская среда более пестра и ее оценочная шкала чрезвычайно динамична; то же можно сказать и о молодежной читательской аудитории, для которой характерна большая неустойчивость и податливость на воспитательные воздействия извне). Для крестьянской читательской среды свойственна совершенно отчетливая система требований к литературе, сыгравшая, как мы увидим ниже, решающую роль в формировании установок как советского читателя, так и советской литературы, поскольку новый читатель рекрутировался в советское время в основном из крестьянской среды.

Убедиться в этом (хотя и косвенно) позволяет по-своему уникальная — “внесловная” — точка зрения на книги — точка зрения красноармейцев, в среде которых в 1920-е годы были достаточно пропорционально представлены все социальные слои общества (как известно, исключение составляли выходцы из “эксплуататорских классов”, духовенства и некоторых других количественно незначительных социальных групп). Материалы обследования красноармейского читателя³² показывают следующую картину: на 1 месте стоит интерес к беллетристике (он в 5 раз превышает суммарный спрос на литературу по другим отделам). Наибольший интерес вызывает литература о “ревдвигении” в России и на Западе, затем (в порядке снижения интереса) — духовенство и религия; буржуазия, капиталисты и помещики; положение рабочих и крестьян на Западе; царская армия; положение рабочих прежде и теперь; жизнь моряков и приключения; гражданская война; сказки; положение евреев в прежнее время; жизнь отдельных людей; романы о будущем социалистическом обществе (утопии). На первом месте в армии в количественном отношении (более 2/3) находятся “выходцы из крестьян”. Общая картина практически полностью определяется (в данном случае, на тематическом уровне) их читательскими интересами. И эта картина точно отражает общесоветский социокультурный “расклад”.

“ЖЕНСКОЕ ЧТЕНИЕ”

“Клавдии Харитоновой 23 года. Она — кандидат в члены партии, колхозница с 1929 года, работает в колхозе счетоводом на Кораблинской МТС Московской области. О своей жизни говорит спокойно, уверенно.

— Очень я болею, — говорит она, — что до сих пор в нашем колхозе и в других многие женщины не умеют стать самостоятельными. Когда я пять лет тому назад приехала в свою деревню беременная, без мужа, очень мне трудно пришлось. Смотрели на меня косо, никуда на работу не брали. Теперь со мной считаются, бригадиры приходят за советом.

Мне сейчас очень хорошо и интересно жить.

Теперь расскажу о книгах.

В эту зиму я с особым удовольствием читала Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятую целину», а также «Анну Каренину» Льва Толстого. Как начну читать, и одни, и другие петухи пропоют, а все книжку не бросаю. Шолохов умеет показать сильные чувства очень просто. На всю жизнь мне запомнится, как Марина завлекала к себе Разметнова, — ведь в этой истории Разметнов скорее бабой выглядит, а Марина мужчиной. Только, конечно, это не главное. По-моему, все-таки Шолохов обижает женщину, смотрит на нее сквозь пальцы. А от этого и получается у него так, что все мужчины передовые, а женщины все в хвосте, отсталые, только одной любовью и живут. Это неверно. Ведь вот Толстой так прекрасно изобразил чувства Анны Карениной, что каждому слову его веришь, страдаешь душой за Анну... А главное, что Толстой намного лучше, чем Шолохов, отнесся к женщине своего класса. У него Анна стоит гораздо выше мужчины, и не только Каренина, но и Вронского: она передовая, смелая, рвет с предрассудками, даже в то дикое время она не побоялась бросить мужа и уехать с любимым человеком.

Мне кажется, что наши писатели тем более должны, для примера другим, показать передовую женщину, чтобы помочь нам бороться за новую жизнь, чтобы меньше было трусливых и отсталых среди нашей сестры”³³.

Прошло уже десятилетие с тех пор, как о “нашей сестре” писалось: “Война, когда женщина впервые выступила самостоятельной в семье, революция, когда она начала выступать самостоятельно в обществе — вот два основных фактора, повлиявшие на ее развитие и заставившие притти в библиотеку, часто со смутным сознанием того, что найдет она там.

Нужно помнить, что сейчас женщина — это главный оплот старого быта: все то косное, нелепое, давно мертвое, что сохранилось в быту, — все это держится и поддерживается женщиной в семье, превращая семью в рассадник мешанской заразы...”³⁴

Но вне зависимости от новой лексики (из “главного оплота старого быта” женщина превращается в “передового бойца коммунистического строительства”) для женского чтения всегда характерна “зацикленность” на “вопросах семьи и брака”. Причем, приведенное выше суждение колхозницы является скорее образцом (как надо, чтобы женщина судила о литературе), нежели показателем (как она судит о литературе в действительности) женских читательских интересов. Таким показателем может, пожалуй, служить оценка «Цемент» Ф.Гладкова. Новая, “эмансипированная” женщина не нашла поддержки в среде читательниц-работниц. На 50% положительных отзывов на роман читателей-мужчин приходится только 26% положительных отзывов у читательниц, на 15,8% отрицательных мужских отзывов — 21,8% — женских. Помимо очевидного цифрового выражения, как отмечал автор обследования, “вывод о

том, что у женщин «Цемент» пользуется меньшим успехом, чем у мужчин, подкрепляется тем обстоятельством, что женские положительные отзывы гораздо бледнее мужских, гораздо менее хвалебные»³⁵. В положительных отзывах такого рода “женская специфика” восприятия снимается, нивелируется. И, напротив, там, где такая специфика сохраняется (например, в отзывах типа: “На примерах Даши женщине-работнице учиться нечего” или “Женщина не должна брать пример с Даши”³⁶), оценки романа сугубо отрицательные (мы пока не касаемся феномена сращения оценки героев с оценками произведения). Как показывают все исследования “женского чтения”, оценки произведений в женской читательской среде отличаются от оценок мужчин в тех случаях, когда в произведении акцентируется “женский вопрос” (будь то «Анна Каренина» или «Цемент»). “Женская тема” и ее освещение являются определяющим моментом в оценках женщинами литературы.

Присмотримся пристальнее к “женскому чтению”. Сопоставим для этого читательские интересы деревенской женщины 1920-х годов с читательскими предпочтениями городской женской аудитории.

Прежде всего обращает на себя внимание большая, по сравнению с городом, “симпатия” деревенских читательниц к “новой женщине”. Причем, чем моложе читательницы, тем с большим энтузиазмом они выражают свою поддержку “героине-общественнице”. Из отзывов: “Книга понравилась, потому что в ней показана как следует активистка” (18 л.), “Очень понравилась. Люблю книги о том, как правильно работают женщины для общества” (18 л.) — о кн. Воробьева «Тесовская председательница»; “Очень интересная. В ней много нового. Интересна Даша. Но нельзя совсем бросать семью из-за общественной работы” (18 л.) — о «Цементе» Гладкова; “Интересно, что бабы наладили работу в защиту своих прав. Всем женщинам нужно отстаивать свои права” (18 л.) — о рассказе П.Дорохова «Новая жизнь»; “Книга понравилась, потому что описывает новое и хорошо говорит, как крестьянки любят Ленина” (20 л.) — о кн. Е.Ильиной «Сама дошла»; “Понравилась, потому что Малаша общественная работница” (18 л.) — о повести Лазарева «Малаша-делегатка»; “Нравится Марьей самой. Сильная и способная. Такие женщины нужны” (18 л.), “Понравилось, что Марья добила своего права” (16 л.), “Понравилась тем, что Марья стала смелой, что освободилась от тех принуждений, которые ее раньше душили, что она стала работать в сельсовете” (17 л.) — о рассказе А.Неверова «Марья-большевичка»; “Книга понравилась. Вот какие теперь пошли женщины с сильным характером, которые борются за права женщин, за интересы трудящихся, за советскую власть” (19 л.) — о «Вирине» Л.Сейфуллиной³⁷.

Интересно, что подобный либерализм в “женском вопросе” сочетается у молодых крестьянских читательниц с искренним консерватизмом, когда речь заходит об оценке общественных явлений: “Интересная, да не нравится, потому что от всякой вольницы одно горе да смута” (20 л.) — о романе Ал.Алтаева «Стенькина вольница»; “Не нравится. Не люб-

лю о революции. Надоело, и за книгой не дают отдохнуть” (17 л.) — о повести Ф.Березовского «Мать»; “Не понравилось. Жили бы мирно без войны и братоубийства, а то один убыток для хозяйства” (17 л.) — о романе Л.Леонова «Барсуки»; “Хорошо написано, но про войну читать не люблю. И так не спокойно жить” (19 л.) — о романе Д.Фурманова «Чапаев»³⁸. И хотя проницательные исследователи 1920-х годов полагали, что причина подобных отзывов не в “ограниченности тематики современной беллетристики”, утверждая, что “корни здесь значительно глубже” — “здесь можно предполагать влияния нашептываний сектантских проповедников, за которыми с полной несомненностью скрывается кулак”³⁹, поиски “корней” приводят к более общей характеристике восприятия художественной литературы сельскими читательницами молодого возраста: здесь сочетается крестьянское понимание стабильности, порядка, благополучия, неприятие “смуты” и “братоубийства” с пришедшим из города (в том числе, если не в первую очередь, через литературу) новым пониманием “женского вопроса”. Именно это обстоятельство выделяет “женский взгляд” на литературу: во всем остальном отзывы читательниц не отличаются от отзывов читателей.

Городская читательская среда куда более разнородна. По данным широкого обследования читательских интересов женщин в библиотеках Одессы, проводившегося в 1926-27 годах, основные группы читательниц составляют работницы, служащие и домохозяйки⁴⁰. Причем, каждая из этих групп имеет свои особенности как в интенсивности, так и в структуре чтения. Наиболее интенсивно читают домохозяйки (в среднем 19,2 книги за полгода), затем служащие (18,9), на последнем месте работницы (8,8). Беллетристика занимает в общем объеме чтения домохозяек 96,1%, служащих — 89,6%, наконец, работниц — 77,6%. Существует и возрастная зависимость, по-разному проявляющаяся в разных читательских группах. Так, среди домохозяек в возрасте от 18 до 20 лет практически отсутствует интерес к чтению. Зато в возрасте от 40 до 50 лет в этой читательской группе наиболее высокий интерес к книге среди женщин (в среднем 3,5 книги в месяц). Среди работниц, наоборот, с возрастом интерес к чтению уменьшается.

В чтении беллетристики преобладает интерес к переводной литературе, занимающей в структуре чтения от 51% (у работниц) до 78% (у домохозяек). Колеблется и интерес к современной и классической литературе в зависимости от групп читательниц. Так, у работниц на современную литературу приходится 76% прочитанных книг, на классику — 24%, у служащих — соответственно 59% и 41%, у домохозяек — 52% и 48%. Как можно видеть, интерес к современной литературе наиболее высок у работниц и наиболее низок у домохозяек. Но и на этом однако различия не заканчиваются. В чтении современной литературы у работниц “пролетарские писатели” составляют 45%, а “попутчики” — 55%; у служащих на “пролетарскую литературу” приходится уже только 15% книг, прочитанных из современной литературы, а 85% — на попутчи-

ков; наконец, у домохозяек “пролетарские писатели” занимают лишь 8%, тогда как на “попутническую литературу” приходится 92% прочитанных художественных книг.

Если у работниц на первом месте стоят А.Неверов, А.Серафимович, Ф.Гладков, Ю.Либединский (из “пролетарских писателей”), М.Горький, Л.Сейфуллина, И.Эренбург, В.Вересаев, Б.Лавренев (из “попутчиков”), то служащими из “пролетарских писателей” читаются только Серафимович и Гладков (и то в 4 раза меньше, чем работницами), а домохозяйками читается только Гладков (в том же количестве, что и служащими). Причем исследователи женского чтения констатировали: “интерес к Гладкову — по существу отраженный, вызванный шумом, поднятым вокруг «Цемент», и в значительной степени питаемый настойчивой рекомендацией библиотекарей”⁴¹. В зависимости от групп читательниц меняется и популярность “писателей-попутчиков”: так, Горький, занимающий безусловное первенство среди работниц, в группе служащих уступает первенство И.Эренбургу и А.Толстому, а среди домохозяек — еще и П.Романову. Если из дореволюционной литературы среди работниц “классики” остаются на первом месте, то у служащих и домохозяек сразу за Л.Толстым следуют А.Шеллер-Михайлов, А.Амфитеатров, А.Федоров. Те же тенденции сохраняются, когда речь идет о чтении зарубежной беллетристики разными группами читательниц. Если Дж.Лондон стоит на первом месте во всех читательских группах, то вслед за ним у работниц и служащих идут социальные романы Э.Синклера, тогда как у домохозяек этот писатель стоит на пятом месте, уступая по популярности занимательным, наполненным экзотикой и “страстями” романам У.Локка, К.Фаррера и Кэрвуда. Легко заметить, что домохозяйки остаются наиболее “аполитичными” в своих читательских интересах, тогда как работницы более консервативны даже сельских читательниц в “женском вопросе” (“наиболее яркий женский образ в романе «Цемент» — Даша Чумалова — сплошь и рядом встречает неодобрительное отношение со стороны работниц, не желающих видеть в ней ни героиню, ни основоположницу нового быта”⁴²), не говоря уже о домохозяйках, для которых “женский вопрос” вовсе не был существенно важным (вероятно, как слишком социальный). Образец обращения к библиотекарю: “Хорошенькое что-нибудь, большое. О войне не хочу и чтоб революционеров не было”, “Мне, пожалуйста, книгу с хорошим концом”, “Дайте лучше из иностранной литературы, она все-таки лучше русской” и т.д.

Несомненно, есть все основания рассматривать “женское чтение” как специфическую оптику, беря в расчет различия социальных групп читательниц. Эта традиционная классификация читательских интересов женщин может быть дополнена классификацией, так сказать, социально-психологической. Такого рода наблюдения меньше опираются на статистику, но больше на непосредственный “опыт общения с читателями” самих библиотечных работников, стремящихся к “анализу читатель-

ской физиономии”⁴³ своих посетителей. Наибольшее число читательниц массовых библиотек составляли домохозяйки. Что же представляла собой эта категория читательниц не в статистическом выражении, а по непосредственным наблюдениям библиотечных работников? Обратимся к статье В. Берлинера “Читательские типы”, в которой речь идет о различных категориях читательниц-домработниц. Автор выделяет пять типов:

— “сознательно безнадежный”: наиболее старые подписчицы библиотек, проявляющие “активное неприятие современной литературы”, интерес к “дореволюционным романам”, бытовой и исторической беллетристике, наиболее характерные авторы: Брет-Гарт, Бальзак, Аннунцио, Гамсун, Бурже, Лоти, Лагерлеф (как правило, жены служащих, пенсионеров);

— “безнадежно некультурный”: “тип забитой домработницы”, “книги выбирает, глядя на переплет, не заглядывая во внутрь; нравятся с решетчатым переплетом: “Как ни возьмешь книгу с таким переплетом, так и интересная. Вы мне всегда давайте такие””. Любимые авторы: Пришвин, Подъячев, Чапыгин, Елпатьевский — только в старом издании;

— “тип пассивно воспринимающий”: читательницы с низшим образованием, руководить чтением которых очень легко, читают “запоем” все — от Лагерлеф до Сейфуллиной, от Бальзака до Неверова, от Лоти до Серафимовича: “не отдает предпочтения ни новой ни старой литературе, читая все без разбора: ‘Лишь бы было поинтересней’; новую иностранную литературу не берет: говорит, что не понимает”;

— “тип сознательно воспринимающий”: из старых читательниц библиотеки, предпочитавших ранее исключительно русскую и западную классику, но затем заинтересовавшихся новой литературой (путь от Мопассана и Диккенса к журналам «Красная Новь» и «Октябрь»);

— наконец, “тип активно новый”: самая небольшая группа читательниц-домохозяек (5-6 человек): читают почти исключительно новую литературу и в особенности мемуары о революции (Фигнер, Лепешинский).

В основе этой типологии читательниц-домохозяек лежит принцип “восприимчивости к новому” (советскому). И хотя автор прекрасно понимает, что домохозяйки являются “наиболее консервативной и отсталой прослойкой как в отношении ее приобщения к современности, так и направлении ее читательских запросов”⁴⁴, он предлагает “активно с ними работать”, памятуя о том, что они являются воспитателями “подрастающего поколения”, т. е. попросту родителями, и, влияя на их круг чтения, библиотекарь может влиять на “мировоззрение юного читателя”.

Если процесс рождения нового *взрослого* читателя шел в послереволюционное время достаточно долго и при формировании нового круга взрослого чтения приходилось учитывать имеющиеся библиотечные фонды, а переламаывая устоявшиеся читательские интересы, все-таки считаться со сложившимися читательскими предпочтениями, то детское чтение было после революции преобразовано с поистине революционным радикализмом. От чисток круг детского чтения изменился особенно сильно. Этот усиленный интерес к детскому читателю был отчасти связан с тем, что детские библиотеки входили в систему Наркомпроса и курировала их Н.Крупская, которая, будучи заместителем наркома, одновременно “закладывала основы” новой советской педагогики. Новая власть справедливо видела в детях свою опору в будущем, и весь пафос воспитания был направлен в первую очередь на них. Если взрослых необходимо было перевоспитывать, все-таки считаясь с их уже сложившимися взглядами, то дети, легко подверженные воспитательному воздействию, оказались практически беззащитными перед воспитательным напором, проводившимся как через общественные организации, так и через школу, где художественная книга занимала одно из главных мест.

Представление о том, как понимала Крупская задачу создания новой детской книги, можно получить из ее речи на конференции работников детских библиотек в феврале 1927 года: “Перед нами стоит задача создания детской книги. Надо создать такие книги, которые давали бы ребятам то, что им необходимо. Подходя к этому вопросу, надо обратиться и к старой детской литературе. Старая литература давала детям очень многое...” Но тут же Крупская предупреждала: “В старых книгах наряду с увлекательным ребятам содержанием много чуждой идеологии, совершенно для нас неприемлемой. Сплошь и рядом, когда тебе напоминают какую-нибудь книгу, то вспоминаешь, что над этой книжкой было пережито, и думаешь: ‘Ах, какая хорошая книжка’. Но когда ее берешь, то видишь, что она совершенно неприемлема. Не всякую увлекательную книжку можно дать детям. Мне кажется, что старая литература должна быть пересмотрена и из нее должно быть взято то, что можно использовать для нас, а некоторые места можно выбросить. Старую книжку надо переделать, надо ее ‘осоветить’... Если мы просмотрим детских писателей, то мы увидим, что таких писателей, которые дали бы ребенку что-нибудь интересное, очень немного. И поэтому надо использовать и старые книги, переделать их так, чтобы они наравне с увлекательным материалом дали и ту идеологию, которую мы должны и хотим дать”⁴⁵.

Непонимание специфики детского чтения и детского восприятия искусства достигает предела, когда Крупская начинает анализировать детские книги, выпущенные в 1927 году Госиздатом (детских книг, стоит заметить, было Госиздатом только в названном году выпущено зна-

читальное число: 300 наименований книг для детей в возрасте от 10 до 13 лет, 100 — для дошкольников и 75 для детей в возрасте от 7 до 10 лет). Как известно, Крупская была в числе наиболее яростных противников сказок, полагая, что сказка формирует в ребенке религиозные чувства, предрассудки, веру в чудеса, в добрых и злых духов и т.п. Но в продукции Госиздата Крупская обнаруживает “нечто худшее”: “Я прочитала, например, книжку Коваленского «Лось и мальчик». Шел мальчик по лесу, заблудился, встретился ему лось, посмотрел на него понимающими глазами, вывел мальчика на опушку леса и на прощание махнул ему рогами. Ведь это мистика, ведь лучше дать ребенку книжку про волшебницу, о которой никто из ребят не подумает, что она действительно существует, а говорить о таинственном, все понимающем лосе — это чистая мистика! Брала я еще книжки Киплинга — там тоже говорится, например, о ките, который проглотил мальчика вместе с подтяжками. Что даст эта книжка ребенку?..”⁴⁶.

Между тем, круг детского чтения складывался из очень сложного переплетения взаимодействующих сил: цензурских устремлений власти, домашнего чтения, читательских предпочтений, характерных для детского возраста, требований школьных программ и мн. др. Баланс этих компонентов давал очень сложную картину: детское чтение отражало весь спектр чтения взрослого. Лишь воспитательный пресс и возможности для формирования нового читателя были куда значительнее.

Прежде чем обратиться к материалам, отражающим детское чтение, необходимо рассмотреть методику исследования читательских интересов детей, применявшуюся в 1920-е годы. Ее отличительные особенности:

— классовый признак как основа типологии читателей-детей (так, требовались постоянные указания на “социальное происхождение ребенка”, “пионер или нет” и т.д.);

— социальный интерес, лежащий в основе исследования: в числе важнейших является сравнение чтения “пионеров с детьми политически неорганизованными”, или требование в исследовании “проследить влияние педагогической работы, семьи, товарищей”⁴⁷;

— очевидная педагогизация методики исследования читателя-ребенка: “Например, читатель спрашивает «Ташкент — город хлебный» Неворова, не указывая мотива... при записи спроса с исследовательской целью необходимо ставить вопрос ‘Почему ты хочешь эту книгу’ или ‘Зачем тебе эта книга’”⁴⁸;

— учет детского восприятия произведения. Так, рекомендуется группировать книги не просто по тематическому признаку, но выделять узкие группы: “Например, взять революционные приключения, где дети являются участниками революции. Целый ряд относящихся сюда книг, как «Макар-Следопыт», «Ванька Огнев», «Много впереди» Ауслендера, построены по одному типу: герои — дети, преимущественно мальчики (типичный друг мальчика собака). Изображается их участие в революционной борьбе. Отсюда картины борьбы, войны, цепь событий, при-

ключений, опасностей, из которых герой всегда выходит победителем. На каждом шагу он совершает подвиги, проявляя свою смелость, героизм, находчивость, мужественно перенося все страдания. Основные настроения таких рассказов — страшное, жуткое при изображении опасностей, и бодрое, радостное при благополучном разрешении событий, чем обязательно заканчивается каждый рассказ”⁴⁹.

Рассмотрим теперь круг детского чтения в целом по стране. Обратимся к материалам, присланным шестьдесятю детскими библиотеками в Главполитпросвет из различных мест Союза — от Ленинграда до Ташкента, от Харькова до Казани, от Одессы до Саратова⁵⁰. Учет 1926-27 годов был максимально разнообразным и широким. Он проводился на основании письменных и устных отзывов детей, громких читок, массовых бесед, учета спроса, рекомендации самими детьми, анкет о любимых книгах, индивидуальных бесед, наблюдений над выставками, записей в альбомах мнений о книгах, дневников читателей, работ литературных кружков, наконец, читательских формуляров.

Общая сводка выявила следующую картину (перечни даются в порядке убывания спроса):

— любимые темы мальчиков : приключения и путешествия, гражданская война и революция, техника, “что и как сделать самому”; — любимые темы девочек: быт, “жалостливые”;

— общие темы: “сказки”, “о животных”, “веселые”;

— любимые авторы мальчиков: Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер, Марк Твен, С.Ауслендер, С.Григорьев;

— любимые авторы девочек: Чарльз Диккенс, Олькот, Бернет, Желиховская;

— любимые книги мальчиков: «Макар Следопыт» Остроумова, «Красные дьяволята» Бляхина, «Много впереди» С.Ауслендера;

— любимые книги девочек: «Без семьи» Мало, «Леди Джейн» Джемисона, «История одной девочки» Петровой, «Серебряные коньки» Лодж;

— общие любимые книги: «Робинзон Крузо» Дефо, «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу, «Принц и нищий» и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Мурзук» Бианки, «Дети капитана Гранта» Жюль Верна, «С мешком за смертью» С.Григорьева, «Ташкент — город хлебный» А.Неверова, «Кожаный чулок» Ф.Купера.

О том, как спрос распределялся по возрастам, можно судить по материалам, собранным объединением московских детских библиотек в 1927 году⁵¹. У детей 7-10 лет выше всего спрос на сказки (51,3%), но уже в возрасте 11-12 лет он составляет 20,9%, в 13-14 лет — 8,1%. И хотя сказки спрашиваются даже в 15-16 лет, уже в среднем возрасте почти одинаково спрашиваются и приключения, и бытовые рассказы, и рассказы о животных. В старшем возрасте (14-15 лет) доминирует тема путешествий и приключений.

Как мы уже видели, спрос существенно различается по половому признаку. Так, если у девочек на первом месте стоит сказка (29,9%

всего спроса), то у мальчиков она занимает лишь 18,3%. Зато приключения и путешествия, занимающие в круге чтения мальчиков 30,5%, у девочек составляют только 17%. Если у девочек “бытовой рассказ” занимает 27,3% спроса, то у мальчиков литература этого рода составляет лишь 12,7%.

Характерно, что в чтении детей из различных социальных групп наблюдались различия в спросе на основные категории книг. Так, в чтении детей рабочих, ремесленников и кустарей сказка занимала 27,5%, тогда как у детей служащих — только 15,7%, зато приключенческая литература и путешествия в чтении детей служащих составляла 31,7%, тогда как в чтении детей рабочих, ремесленников и кустарей — только 21,5%.

На фоне этих различий единственное, что объединяло “детское чтение” в советских условиях 1920-х годов, — это школа. Так называемый “спрос по заданию школы” — верный признак “педагогического воздействия” на детское чтение со стороны государственных институций. Спрос на книги по заданию школы *абсолютно* отличался от независимо сложившегося спроса на книги. По сути, школа (с разной степенью эффективности) делала все для того, чтобы сломить этот самостоятельный спрос. И действительно, 40% “школьной литературы” составляла “общественно-политическая литература” (занимавшая в самостоятельном детском спросе до 5%), зато приключения и путешествия в “задании школы” занимали... 1,5% спроса, сказки — 0%. Подобные “вопиющие” диспропорции деликатно объяснялись тем, что, “служа целям обучения, книга, рекомендуемая школой, не всегда соответствует интимным влечениям каждого читателя”⁵². Точнее было бы, конечно, сказать: совершенно не соответствует им. Советская школа уже в середине 1920-х годов проявила свой революционный характер, ломая привычный круг детского чтения. Забегая вперед, стоит заметить, что ей это удалось: круг детского чтения начал изменяться, да и школа в каких-то моментах все-таки вынуждена была отказаться от революционного экстремизма и учитывать специфику детского чтения, хотя так и не смогла опираться на детскую психологию полностью. Отчасти это было связано с доминированием педагогики и постоянной недооценкой психологии ребенка, отчасти — с известной заидеологизированностью советской школы.

Как мы видели, приключенческая литература прочно занимала ведущее место в круге детского чтения. Между тем, политика комплектования детских библиотек всегда была направлена на “выталкивание” приключенческой литературы и сказок с книжных полок. По сути, приключенческая литература становится той “стартовой площадкой”, с которой начинается интерес к “взрослой беллетристике”. Поначалу она идет в параллели с той литературой, чтение которой стимулируется школой, а затем и вовсе вытесняется ею. Здесь возникает проблема (не только педагогическая) подготовленности ребенка к чтению “взрослой художественной литературы”. Основные читательские навыки, сформирован-

ные у ребенка при чтении приключенческой литературы, входят в мотивационную структуру взрослого чтения, формируя эстетические требования к этой литературе. Вот почему на приключенческой литературе стоит остановиться подробнее. Здесь мы вновь обратимся к материалам, собранным кабинетом изучения читательских интересов при Московском объединении детских библиотечек⁵³. Прежде всего стоит отметить те моменты, которые привлекают детей в приключенческой литературе. Это, главным образом, “героические подвиги”, “необычная обстановка”, “тайна”, “дружественные и родственные отношения”. Разумеется, и здесь существуют серьезные различия, связанные с полом. Так, для мальчиков “героические подвиги” стоят на первом месте: 23% опрошенных указали на них как на главный интерес в книге, тогда как среди девочек на них указало только 10%. Зато на первом месте стоят у девочек “дружественные и родственные отношения” (те же 23%), да и интерес к “необычной обстановке” в пять раз ниже, чем у мальчиков.

Различны и оценки качеств героев. Мальчики отмечают (33% опрошенных) “смелость” героя, его “силу воли” (17%), и лишь в последнюю очередь такое качество, как “доброта” (4%), тогда как девочки выделяют прежде всего “доброту” (35%). Такова детская реакция на Жюль Верна. Характерно, что с возрастом интерес к “необычной обстановке” у мальчиков все возрастает, тогда как к “героическим подвигам” явно снижается.

Интересно сравнить эту реакцию детей на классику приключенческой литературы с их реакцией на современные советские детские приключенческие книги. Прежде всего стоит отметить возрастание интереса к “героическим подвигам” (интерес к ним отмечают до 40% мальчиков в возрасте 12-15 лет), но появляется и новая категория интереса: “социально-классовые моменты”, каковых не наблюдалось, когда дети говорили о своих впечатлениях от приключенческой классики. Литература сама выдвигает и формирует все новые категории интересов у “юных читателей”, изменяет характер их интереса к любимой литературе и часто меняет круг чтения, который оставался неизменной заботой как советской школы, так и детской библиотеки.

На первое место выдвигается здесь соотношение библиотечного и внебиблиотечного чтения. Последнее занимало значительную долю в общем круге чтения детей. По данным обследования полутора тысяч детей, проведенного Киевским объединением работников детских библиотек в 1926 году⁵⁴, до прихода в библиотеку 65% новых “юных читателей” доставали себе книги вне библиотеки, 34% не имели в доме ни одной книги и брали их у товарищей. Как выяснилось, в результате подобного неконтролируемого чтения до 80% во внебиблиотечном чтении занимала литература, изданная до революции, и лишь 20% — “новая литература”. Обследование показало также, что “под влиянием товарищей дети в большей мере читают новую литературу, чем под влиянием семьи”⁵⁵: здесь сказались уже результаты “руководства чтением” со

стороны библиотеки и школы, которое в большей степени отразилось, конечно, на “товарищах”, чем на семьях.

Самая серьезная проблема состояла в том, что дети читали “негодную литературу”: в анкетах постоянно мелькали Чарская, Лукашевич, Лухманова, Мордовцев, Новицкая, Сегюр, Рогова, «Черное сердце», «Счастливая дама», «Несчастливая любовь», «Джим Доллар», «Королева золота», «Черная маска» и другие книги, давно изъятые даже из взрослых библиотек. Вывод звучал как приговор: “Больше 50% указанных в анкете книг приходится на книгу устарелую, антихудожественную и для детского чтения совершенно непригодную, причем если взять исключительно литературу читающуюся девочками, то эта цифра возрастет почти до 70%... воспитываем мы нашу детскую массу вне детской библиотеки фактически на очень узком и очень скверном круге книг”⁵⁶. Разумеется, в этих условиях детская библиотека все более приобретает характер педагогического учреждения. Причем, учреждения исключительно жесткого.

Главная проблема, с которой сталкивается детская библиотека, это проблема “нерасчлененного спроса”: приходя в библиотеку, ребенок не знает (как показывают данные, в 90% случаев), какую именно книгу он хочет прочитать. Казалось бы, именно для детских библиотек наиболее оправданна система открытого абонемента. Институт же советской детской библиотеки исходит из обратного: в целях “оформления детского читательского спроса и его дифференциации” предлагается “прежде всего поставить читателя в условия, при которых он научился бы дифференцировать, определять свои неясные стремления к книге вообще и к той или иной книге в частности”⁵⁷. Итак, ребенок должен вначале научиться “дифференцировать” свой собственный спрос, а уж затем получать интересующую его книгу. Подобная система лишь на первый взгляд кажется лишенной всякой логики. Напротив, если видеть методы работы детских библиотек в перспективе “целей” (“превращение детской библиотеки в консультационно-направляющую систему”), становится совершенно ясным, что подобные методы работы с “юным читателем” вполне соответствуют им: ребенок оказывается в полной зависимости от предложения, спрос (и без того неопределенный) сводится практически к нулю, библиотекарь практически полностью определяет круг чтения в соответствии с целями “воспитательной работы учреждения”. Процесс и результат выглядели следующим образом: “Работая над расчленением спроса мальчика, пришедшего в библиотеку на первый взгляд с исключительно авантюрно-приключенческим буссенаровского типа спросом, легко заметить, что этот авантюрно-приключенческий спрос не однотонен, здесь и спрос ‘про драку’, хорошо ответить на который нетрудно, и очень часто спрос на приключения на охоте, который, будучи правильно удовлетворен, легко повторяется и приводит в конце концов к увлечению книгами Бианки, и нередко дает, как последующие этапы, новый спрос ‘про следы’, ‘про зверей’, ‘про капканы’, приводя

надолго к чтению по прикладному естествознанию”⁵⁸ — такова траектория пути от Буссенара.

Детская библиотека наиболее полно реализовала *педагогическую* модель библиотечного дела, лежавшую в основе советского “библиотечного строительства”. “Основная задача детской библиотеки — воспитывать читателя. Поэтому и вся работа ее должна быть педагогична... политическая работа должна быть не отдельной составной частью работы детской библиотеки, а скорее тем углом зрения, под которым ведется вся работа, должна органически входить в нее” — наставлял «Красный библиотекарь» еще в 1924 году, утверждая, что “юные ленинцы в библиотеке должны чувствовать себя рыцарями коммунизма, оружие которых — книга”⁵⁹. Советская теория детского чтения развивала модель перманентного воспитания-перевоспитания, когда (пере) воспитавшийся должен был (пере) воспитывать других, поскольку “интимное, любовное, непосредственное влечение ребенка к книге придает ему какое-то особенное свойство проводника книги, распространителя книжной заразы”⁶⁰.

Окончательную форму педагогическая концепция развития детских библиотек получила в ходе длившейся две недели (с 16 по 30 сентября 1928 года) Всероссийской конференции детских библиотекарей (по составу делегатов эта конференция может быть названа Всесоюзной). Здесь были конкретизированы принципы “перестройки” детских библиотек в стране. Так, было установлено, что “определенно фильтруемый книжный состав оказывает влияние на эволюцию читательских интересов, способствуя их переключению в желательном направлении” (например, в результате такой “фильтрации” произошла “эволюция спроса у девочек — подъем спроса на приключения за счет сказок”). В числе главных вопросов, обсуждавшихся в ходе конференции, был вопрос об “организации читательской среды” (речь шла о фактическом подчинении библиотеки “планам воспитательной работы” школ, пионерских и комсомольских организаций). Особое внимание было уделено работе со старшими школьниками: “Целевой установкой работы в юношеских библиотеках и отделениях должно быть: а) постоянно держать юношество в курсе очередной политики соввласти; б) приучать юношество пользоваться книгой для выработки марксистского миропонимания и навыков общественной работы, а также как орудием труда; в) подготовить юношество к переходу в библиотеки взрослых”⁶¹ — этим и исчерпывался набор целей библиотеки, призванной “работать с юношеством”. В детской и юношеской библиотеке была отработана в наиболее жесткой форме общая модель советской библиотеки. Эта жесткость провоцировалась относительной податливостью детского и юношеского восприятия.

Легко заметить, что в процессе педагогизации детская библиотека превращалась не только в клуб, но в некий придаток школы и прежде всего “общественно-политических организаций молодежи”⁶². Следствием этой практики стал пересмотр и теоретической проблематики детско-

го библиотековедения. Формулируя основные проблемы детского библиотековедения, главный библиотечный журнал страны выделяет в качестве основных методику массовой работы и массового руководства чтением, методику политпросветработы, вопросы клубной работы, общественную работу библиотеки, связь с советской общественностью и т.п.⁶³

К концу 1920-х годов интерес к читателю-ребенку смещается от изучения к прямому воздействию. В 1930-е годы исчезает и статистика детского чтения, а детский читатель на глазах превращается в идеального “читателя-пионера”, интересующегося исключительно книгами “по родной стране” и “советской классикой”. О методах “работы с юным читателем” можно узнать теперь следующие подробности: “Юру Ларина (ученика 3-го класса) увлекавшегося главным образом книгами о животных, библиотекарь заинтересовал литературой о путешествиях. Прежде всего он порекомендовал Юре книгу К.Арсеньева «Встречи в тайге». Библиотекарь обратил внимание мальчика на те места в книге, которые показывают, с какими опасностями сопряжена жизнь путешественника, какой волей, выдержкой он должен обладать, чтобы преодолеть эти опасности. Возвращая книгу, Юра рассказал о смелости и находчивости Арсеньева. Затем мальчик попросил дать ему еще что-нибудь о путешественниках. Ему выдали книгу Чумаченко «Человек с луны» (о Миклухо-Маклае). Возвращая эту книгу, мальчик сказал, что она ему очень понравилась, и спросил библиотекаря: ‘А сейчас имеются дикари на этих островах?’ Библиотекарь рассказал ему, как капиталисты Америки, Англии, Франции и других буржуазных стран угнетают народы колониальных стран, обрекая их на голод и вымирание. Затем Юре предложили книгу о смелых советских летчиках...”⁶⁴

“Руководство чтением старших школьников” проводится по той же модели: “Ученик 7-го класса Чистяков попросил произведение какого-нибудь иностранного писателя. Библиотекарь предложил ему книгу Г.Фаста «Последняя граница». Мальчик нерешительно посмотрел на нее. Тогда библиотекарь подробно рассказал Чистякову о Говарде Фасте, о его смелых выступлениях против американских империалистов, о значении произведения «Последняя граница». Юный читатель внимательно выслушал библиотекаря, взял книгу и обещал дать о ней свой отзыв. Мальчик выполнил свое обещание. В своем отзыве он писал: ‘Американцы почти полностью истребили коренное население Америки — индейцев. А те, кто остался в живых, терпят нужду и голод. Американские империалисты не только продолжают угнетать индейцев и негров, но стремятся подчинить себе другие народы, они устроили кровавую бойню в Корее. Корейцы стойко отстаивают независимость своей родины, захватнические планы Америки будут сорваны’. Чистяков попросил библиотекаря дать ему почитать другие произведения Говарда Фаста”⁶⁵.

Детская библиотека превращается в послевоенные годы в пришколь-

ный клуб “внеклассного чтения”, призванный расширить объемы школьной программы за счет проведения бесконечных читательских конференций и книжных выставок на темы: «Жизнь и революционная деятельность Ленина и Сталина», «Наша великая Родина», «Любимые герои — пример для нашей молодежи», «На страже мира», «Молодежь мира в борьбе за мир», «Писатели в борьбе за мир», «Преобразователи природы», «Люди русской науки», «Великие борцы за землю русскую», «РСФСР — первая среди равных», «Славный путь ленинско-сталинского комсомола», «Великие стройки коммунизма» и т.д. Подобная тематизация литературы в библиотеке накладывалась на тематизацию школьной программы, превращая детское чтение в процесс наполнения идеологических клише-блоков и вводя читателя уже с ранних лет в пространство нормализации и надзора.

В заключение нашего краткого рассмотрения некоторых вопросов, связанных с детским чтением, обратимся к статье, исключительно ярко отражающей борьбу идей вокруг проблемы “юного читателя”. Речь идет о статье 1924 года В.Невского, поистине “пламенного революционера” библиотечного дела, с сенсационным названием «Борьба с детским чтением». Логика Невского такова: книга есть суррогат жизни, поскольку знакомит нас с тем, чего мы не пережили сами; дети — самые активные читатели, причем именно дети “тихие, пассивные”. Таким образом, “книга — орудие слабых, суррогат жизни для недостаточно активных натур; наркотик для тех, кто создает себе красочные грезы взамен красочной жизни. Увлекаясь чтением, ребенок отходит от жизни... Это — первый вред книги”.

“Второй вред книги” — она “отучает детей от сильных переживаний”: “Когда ребенок читает книгу о страданиях других, он также воспитывает в себе привычку к ним, благодаря которой он легче относится к ним в действительной жизни, — т.е. менее отзывчиво, менее активно. Вся эта хваленая детская чуткость, воспитанная книгами, есть не что иное, как дряблый сентиментализм, наклонный к нежным чувствам и слезам, но вялый в практических действиях”.

“Третий вред книги” — она “притушает естественную наблюдательность ребенка, давая концентрированное отражение жизни”.

“Четвертый вред книги” — “она воспитывает шаблоны мысли и поведения... приучая мыслить и действовать по известным трафаретам — книга притушает тем самым критическое и личное, независимое отношение к окружающей действительности”.

“Пятый вред книги” — “детское чтение и физическое развитие ребенка есть два антипода... (порча зрения, искривления позвоночника, плохое окисление крови и т.д.)”. Перечислив все эти обвинения в адрес книги, Невский пришел к следующим выводам относительно “руководства детским чтением”: “детская библиотека без клубной работы с детьми есть определенное зло; только в союзе с детским клубом детская библиотека превращается в мощное педагогическое учреждение... Роль

детской книги — прежде всего — роль разведчика действительных детских интересов”. “Детская жизнедеятельность” должна опираться не на книгу, а на “самоуправляющиеся детские коллективы”. Чтобы свести к минимуму вред чтения, нужно принять за принцип: книга есть только побуждение к действию. Следовательно, главное — это “соотношение между числом прочитанных книг и количеством проделанных детьми работ: чем выше будет последнее число по отношению к первому, тем правильнее и серьезнее поставлена библиотечная работа с детьми; чем больше прочитанных книг и чем меньше проделанных работ — тем бесценнее, тем вреднее работа такой детской библиотеки”. В конечном счете, по Невскому, “чтение *всяких* писателей должно быть *только подготовительной работой к собственному детскому писательству*”⁶⁶.

Итак, Невский призывал “активизировать” ребенка, видя в чтении лишь импульс и стимул к собственному творчеству. Сбылось ли это фантастическое требование библиотекаря-революционера? В значительной мере эта утопия осуществилась. Из новой детской читательской среды вышли если не писатели (хотя и многие советские писатели тоже), то новый тип читателя-творца. Это была *формовка массы*, определяющей характер власти. Сама же советская литература была их детищем и их голосом. Истоки советской литературы, столь любимой советским народом, *лежат и здесь*. Мы потому столь подробно говорили здесь о детском чтении, что именно детская библиотека, наряду, разумеется, с советской школой, пионерией и комсомолом, была в первую очередь настоящей кузницей советского читателя. Советский же писатель был его (советского читателя) *alter ego*.

Не ставя перед собой задачи сколько-нибудь полного рассмотрения чтения в России после революции, мы остановились в этой главе лишь на некоторых аспектах, характеризующих чтение различных социальных групп в пореволюционную эпоху, именно на тех аспектах, которые будут важны в дальнейшем исследовании социального и эстетического контекста рецепции советской литературы и предпосылок восприятия соцреализма. Как показывает даже этот общий абрис читателя пореволюционной эпохи, главное, что характеризует читательскую среду еще в 1920-е годы, — ее мозаичность и динамичность. Это, пожалуй, наиболее существенная ее характеристика и, отметим здесь, отличительная — в проекции на последующие несколько десятилетий советской истории. Дальше начинается процесс “выравнивания” круга чтения и известной унификации читательского запроса. Предпосылки этого были заложены уже в “оптике чтения” массового читателя пореволюционных лет. Что же касается разного рода классификаций “читательской массы”, то в разгар дискуссий на эту тему раздался неожиданный голос практиков библиотечного дела: “Деление читателей по возрасту и партийности, как убедил нас опыт работы, *надуманное*. Подчас невозможно провести грани... даже между *взрослым рабочим и подростком*”⁶⁷. Так “стянулись” начало и конец рассмотренной здесь “читательской сетки”. Но чтобы осоз-

нать реальные последствия подобной ситуации, необходимо обратиться к самой фактуре — оптике, структуре и стратегии читательского восприятия.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 А.Бек. Проблема изучения читателя // На литературном посту. 1926. N 5-6. С. 23-24.
- 2 Л.М.Клейнборт. Русский читатель-рабочий. Л.: Изд-во Ленгубсовпрофа. 1925. С. 5-7.
- 3 Данные приводятся по кн.: Л.М.Клейнборт. Русский читатель-рабочий. С. 10-17.
- 4 Там же. С. 24.
- 5 Данные приводятся по ст.: А.Исбах. Что читает коломенский рабочий // На литературном посту. 1926. N 2. С. 36-37.
- 6 Там же. С. 37.
- 7 Материалы исследования опубликованы в ст.: Л.Коган. Рабочий-читатель и художественная литература // Красный библиотекарь. 1927. N 4.
- 8 Там же. С. 42.
- 9 Имеется в виду показатель среднего интереса к авторам определенной национальной литературы как результат деления общего количества выданных по бейблиотечке каждой страны в отдельности на количество авторов каждой национальной литературы, бывших в спросе.
- 10 Там же. С. 45.
- 11 Г.Брылов, Н.Лебедев, В.Сахаров. Популярность литературы среди рабочих // Красный библиотекарь. 1929. N 4. С. 54.
- 12 Там же. С. 55.
- 13 Годовой коэффициент вычислен путем деления % читателей, читавших данное произведение, на число лет со времени выхода произведения отдельным изданием до проведения анкеты "о старой и новой книге" в Ленинграде в 1928 г. Данные приведены по: Г.Брылов, Н.Лебедев, В.Сахаров. Популярность литературы среди рабочих. С. 56.
- 14 Материалы исследования опубликованы в ст.: Борис К. Что показал опыт читательских конференций в Ростове на Дону // Красный библиотекарь. 1927. N 11.
- 15 Материалы исследования опубликованы в ст.: Л.Б. Что читает рабочая молодежь // Красный библиотекарь. 1928. N 4. С. 42-43.
- 16 А.Любимов. На библиотечном фронте неблагополучно // Красный библиотекарь. 1931. N 4. С. 15.
- 17 Материалы исследования опубликованы в ст.: В.Горовиц. Что читает рабочая молодежь // Красный библиотекарь. 1929. N 4. С. 39-51.
- 18 Там же. С. 45-46.
- 19 Н.Фридьева. Современные запросы городского читателя и активность библиотеки // Красный библиотекарь. 1924. N 1. С. 53.
- 20 Материалы исследования опубликованы в ст.: Л.Переплетчикова. Опыт изучения взрослого читателя в московских библиотеках // Красный библиотекарь. 1927. N 7.
- 21 Л.М.Клейнборт. Русский читатель-рабочий. С. 34.

- 22 Там же. С. 257-258.
- 23 А.Рейтблат. От Бовы к Бальмонту: Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века. М. 1991. С. 166.
- 24 Там же. С. 176.
- 25 Там же. С. 179.
- 26 Там же. С. 181.
- 27 Материалы исследования опубликованы в кн.: Б.Банк, А.Виленкин. Деревенская беднота и библиотека. Л.: Долой неграмотность. 1928. С. 26-32, 91.
- 28 Данные по читаемости Синклера в городе приводятся по ст.: Л.Переpletчикова. Как читается Синклер // Красный библиотекарь. 1927. N 8. С. 41.
- 29 Отзвывы крестьян о Синклере приводятся по кн.: Б.Банк, А.Виленкин. Деревенская беднота и библиотека. С. 36-38; их же. Крестьянская молодежь и книга. М.-Л.: Молодая гвардия. 1929. С. 93-96.
- 30 А.Виленкин. "Потенциальные" читательские интересы деревни и их изучение // Красный библиотекарь. 1926. N 3. С. 33.
- 31 А.Рейтблат. От Бовы к Бальмонту. С. 140.
- 32 Материалы исследования опубликованы в ст.: Евг. Хлебцевич. К постановке руководства чтением // Красный библиотекарь. 1925. N 3. С. 57-58. См. также: его же. Читательские интересы красноармейцев (по анкетным данным) // Печать и революция. 1921. N 2; его же. Какие книги больше всего читаются в массовых библиотеках рабоче-крестьянской Красной армии // Красный библиотекарь. 1924. N 6.
- 33 Б.Брайнина. Колхозный читатель о книге // Новый мир. 1935. N 8. С. 261.
- 34 А.Киперман. Несколько замечаний библиотекаря к дискуссии о новом быте // Красный библиотекарь. 1923. N 2-3. С. 37.
- 35 Материалы исследования опубликованы в ст.: Л.Поляк. К вопросу о методике обработки читательских отзывов (Рабочий читатель о «Цементе») // Красный библиотекарь. 1928. N 9. С. 55.
- 36 Там же. С. 57.
- 37 Отзвывы приводятся по кн.: Б.Банк, А.Виленкин. Крестьянская молодежь и книга (Опыт исследования читательских интересов). М.; Л.: Молодая гвардия. 1929. С. 62-64.
- 38 Там же. С. 68-69.
- 39 Там же. С. 69.
- 40 Материалы исследования опубликованы в ст.: Л.Коган. Что читают женщины // Красный библиотекарь. 1927. N 6.
- 41 Там же. С. 26.
- 42 Там же. С. 24.
- 43 А.Берлинер. Читательские типы // Красный библиотекарь. 1927. N 3. С. 45.
- 44 Там же. С. 45.
- 45 Н.К.Крупская. О детской библиотеке и детской книге // Педагогические сочинения в 10-ти томах. Т. 8. М. 1960. С. 172-173.
- 46 Там же. С. 173.
- 47 Как изучать читательские интересы детей: Методическое письмо. М. 1930. С. 7.
- 48 Там же. С. 6.
- 49 Там же. С. 32.

50 Материалы исследования опубликованы в журнале «Красный библиотекарь». 1927. N 8.

51 Материалы исследования опубликованы в ст.: Е.Гасфер. Изучение детских читательских интересов // Красный библиотекарь. 1927. N 7.

52 Там же. С. 57.

53 Материалы исследования опубликованы в ст.: А.Нестеровская. Как относятся дети к приключенческой литературе // Красный библиотекарь. 1929. N 2, 3 (5).

54 Материалы исследования опубликованы в ст.: А.Марголина. Формирование читательских навыков у детей и подростков // Красный библиотекарь. 1928. N 1.

55 Там же. С. 39.

56 Там же. С. 42.

57 Там же. С. 45.

58 Там же. С. 48.

59 И.Желобовский. К вопросу о политической работе в детской библиотеке // Красный библиотекарь. 1924. N 4-5. С. 82, 83.

60 С.Марголина. Пионерские библиотеки и пионеры в библиотеке // Красный библиотекарь. 1927. N 5. С. 55.

61 М.Смушкова. Очередные задачи детских библиотек (Итоги конференции детских библиотекарей) // Красный библиотекарь. 1928. N 11. С. 29, 38.

62 См.: Н.Херсонская. Детская библиотека и пионерское движение // Красный библиотекарь. 1924. N 8, 9.

63 См.: Н.Касаткина. Красный библиотекарь и работа с детьми // Красный библиотекарь. 1928. N 12.

64 Т.Ларина. Руководство чтением юных читателей // Библиотекарь. 1952. N 4. С. 15-16.

65 Там же. С. 17-18.

66 В.Невский. Из записной книжки библиотечного инструктора. VII. Борьба с детским чтением // Красный библиотекарь. 1924. N 12. С. 21-23.

67 А.Е.Киперман, Б.В.Банк, Е.В.Концевич. Библиотечные кампании: Опыт организации, методы работы, материалы — результаты. М.; Л.: Долой неграмотность. 1926. С. 7.

БЕДСТВИЕ СРЕДНЕГО ВКУСА, ИЛИ КТО “ПРИДУМАЛ” СОЦИАЛИСТИ- ЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

(ЧИТАТЕЛЬ КАК КРИТИК)

Не все доступное гениально, но все подлинно гениальное доступно, и оно тем гениальнее, чем оно доступнее для широких масс народа.

Андрей Жданов

*Довольно нам таких произведений,
Подписанных чужими именами,
Все это нашим будет и про нас.
А что такое “наше”? и про что там?*

Анна Ахматова

“ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ” ЭПОХИ МОСКВОШВЕЯ

В 1925-26 годах на страницах ленинградского журнала “Жизнь искусства” развернулась дискуссия о читателе. В насыщенной ожесточенными спорами атмосфере 1920-х годов эта дискуссия теряется. Между тем, ход и характер обсуждения проблемы представляют немалый интерес.

Дискуссия открывалась статьей Ал.Толстого «О читателе», в которой недавно вернувшийся из эмиграции писатель говорил о том, что “художник заряжен лишь однополой силой”, что “характер читателя и отношение к нему решают форму и удельный вес творчества художника. Читатель — составная часть искусства”. Конкретизируя свои рассуждения, Ал.Толстой писал: “Читатель в представлении художника может быть конкретным и персональным: это — читающая публика данного сезона. Сотворчество с таким натуральным читателем дает низшую форму искусства — натурализм, злободневность.

Читатель в представлении художника может быть идеальным, умозрительным: это класс, народ, человечество со всеми особенностями времени, задач, борьбы, национальности и пр.

Общение с таким призраком, возникшим в воображении художника, рождает искусство высшего порядка: от героической трагедии до бурь романтизма и монументов реализма.

Величина искусства пропорциональна вместимости художественного

духа, где возникает этот призрак". Абсолютно не сожалея о том недавнем времени, когда читатель был "тот, кто покупает книги... бульон, в котором можно развести любую культуру литературных микробов... стадо, которое с октября в столице начинают обрабатывать литературным сезоном", Ал.Толстой так рисовал читателя на фоне литературной среды начала века:

"Веселое время — петербургский сезон.

Начинался он спорами за единственную, подлинную художественность того или иного литературного направления.

Страсти разгорались. Критика пожирала без остатка очередного, попавшего впросак писателя. К рождеству обычно рождался новый гений. Вокруг него подымался вихрь, споры, свалка, летала шерсть клоками.

Рычал львом знаменитый критик. Другой знаменитый критик рвал в клочки беллетриста. Щелкали зубами изо всех газетных подвалов. Пороли друг друга перьями. Заливали очи ядовитым чернилом.

В грозовой атмосфере модные писатели писали шедевры, швыряли их в общую свалку. Каждый хотел написать неслыханное, по особенному.

Шумели ротационные машины. Торговали книжные лавки. Девушки бросались с четвертых этажей, начитавшись модных романов. Молодые люди принципиально переходили к однополю любви. Выпивалось море вина и крепкого чая. Публика ломилась в рестораны, где можно было поглядеть на писателей. Колесом шел литературный сезон.

Иные, желая прославиться, мазали лицо углем, одевались чучелом и в публичном месте ругали публику сволочью. Это тоже называлось литературой.

Читатель веселился, на писателя поплевывал. Писатель веселился, на читателя поплевывал".

В этой переигранной и переполненной сарказмами картине легко угадывается автопортрет неудачника. Чем же обеспокоен будущий классик советской литературы теперь? Тем, что республике 8 лет, а читателя мы не знаем, тогда как "он стоит у черты, глядит в лицо молодыми, смеющимися, жадными глазами". В результате "литература еще однопола. Второй полюс еще не восстановлен. Дуга магнитных токов еще не потекла от искусства к сердцу народа". Портрет нового читателя рисовался Ал.Толстым в знакомых экспрессивных тонах: "Это тот, кто разрушил старые устои и ищет новых, в которых душа бы его стала стройной.

Это тот, кого обманула старая культура.

Это тот, кто не знает еще никакой культуры.

Этот новый, разнородный, но спаянный одной годиною десятилетия, оптимизмом возрождения из пепла, уверенностью в грядущем, этот новый читатель, который не покупает книг, потому что у него нет денег, — должен появиться стомиллионно-головым призраком в новой

литературе, в тайнике каждого писателя”¹. “Стомилионно-головый призрак”, о котором писал Ал.Толстой, приобрел в ходе дискуссии некоторые характерологические черты. В статье «Кто он, этот читатель?» Ин.Оксенов выделил четыре читательские группы “переходного периода”: “1) Остатки дореволюционной ‘интеллигенции’ — т. наз. спецы: врачи, инженеры, юристы и т. д. Можно ли их, в общем и целом, отнести к рубрике ‘современный читатель’? Нет, ибо читают они переводные романы и письма Александры Романовой, а русская литература XX века кончается для них в лучшем случае Блоком. Итак, кто же?

2) Те же, более молодые, более основательно подвергшиеся советизации. Читают современных писателей, знают Ал.Толстого, К.Федина, Маяковского. Могут быть названы формально ‘читателями’, но без внутреннего основания, ибо все биографические данные, навыки, вкусы неудержимо влекут их назад. Дальше!

3) Новая, подлинно советская интеллигенция, выходящая из ВУЗов, студенты, рабфаковцы, студисты, курсанты, комсомольцы (отличительный признак: молодость). Читатели? О, да!

4) Передовые, общественно-активные рабочие и крестьяне, партработники и беспартийные, прошедшие школу гражданской войны, а сейчас строители Советского Союза”. Эту читательскую группу критик определил как “лучшего читателя из всех мыслимых читателей” потому, в частности, что “его голова не отравлена ‘пособиями по истории литературы’, и Пушкин для него так же нов и свеж, как и Маяковский”. Поэтому Ин.Оксенов призывал писателей “добиться себе признания от *этого* читателя. А угодить вымирающим ‘спецам’ — дорожка слишком торная, да и мало благодарная”. Критик был уверен, что наличие этого читателя является “поручкой в том, что созреет и окрепнет у нас настоящая революционная литература, сильная художественно и идеологически. Быть может, по простому закону экономики, что ‘спрос рождает предложение’”. Для критики из этого следовал вывод: “после того, как формалисты, пытавшиеся ориентироваться ‘на писателя’, потерпели крушение в создании своей *критики*, стало ясным, что жизнеспособна лишь критика, опирающаяся на *читателя*”².

На этой ноте дискуссия замерла, чтобы воскреснуть примерно через год в совершенно другом виде. “Дискуссия о читателе” теперь стала называться “Писатель — критик — читатель”, где центральное звено — критик — оказался величиной самодовлеющей. Ин.Оксенов в еще более резкой форме говорил уже о полной *ненужности* критики ни для писателя, ни для читателя. “С точки зрения писателя, — рассуждал Ин.Оксенов, — положение рисуется приблизительно так. Если бы напал вдруг мор на критиков и вымерли бы все до единого — туда им и дорога. Ни один писатель не прольет над их прахом ни слезы. Еще вобьют в их могилы осиновые колы.

И правильно. Не нужна писателю критика. Критик может хулить или славить писателя, но это обстоятельства побочные, прямого отно-

шения к литературному пути писателя не имеющие. Критик может поставить диагноз социального или литературного значения писателя, но от этого сам писатель ни на иоту не изменится. Литературное творчество подчинено известным законам, точно так же, как, напр., появление органических форм". С точки зрения Ин.Оксенова, ни формалистическая, ни марксистская критика не являются критикой *читательской*, тогда как "критика должна ориентироваться на читателя. Всякая иная критика, ориентирующаяся, напр., на писателя, нежизнеспособна, и провал формальной критики это как нельзя лучше подтверждает... Критика не есть наука о литературе, ее задачи скромнее и актуальнее: критик должен быть проводником читателя по джунглям литературы"³.

Ин.Оксену горячо оппонировали молодые "критики-марксисты" В.Блюменфельд и Зел.Штейнман. Тезисы Ин.Оксенова В.Блюменфельд проинтерпретировал следующим образом:

1) Критика существует только для читателя, а не для писателя, на которого она не может оказывать влияния 'ни на иоту'...

2) Из всех родов критики марксистская в особенности претендует на овладение писателем и поэтому является наиболее вредной критикой.

3) Писателю необходимо иметь право на свободное самоопределение, а критика должна вернуться к эмоциональным восторгам и возмущениям, к 'первичному ощущению... своеобразных неповторимых явлений' литературы (творимой легенды?). Выявляя "объективные ходы" Ин.Оксенова, В.Блюменфельд пришел к заключению, что тот выступил:

1) За эволюционное и органическое развитие литературы (в издательской постановке вопроса — свобода печати?) и

2) против социального руководства литературой средствами субъективного фактора, каковым является, в частности, критика..." Апеллируя к истории русской литературы от Пушкина до Лескова, В.Блюменфельд доказывал, что "в лучшие свои времена, в периоды общественного подъема критика становится выразительницей передового социального заказа. Через ее голос объективные потребности общества достигают литературы, подчеркиваются, внедряются в массовое сознание — этому влиянию не может не подчиниться писатель... Критик передает читательский заказ. Лучший способ повлиять на писателя это — обратиться к нему от имени читателя"⁴. Последний тезис знаменателен: не "читательская критика" (по Ин.Оксену), но критика "от имени читателя" (своеобразный эквивалент соцреалистической установки: не "массовая культура", но "культура для масс", так же, впрочем, как и критика — "от лица масс": "читатель ждет от писателя...").

Тезисы В.Блюменфельда и Зел.Штейнмана развивает некто Тверяк. Действительно, констатирует он, "месмендовщина выдержала огромный тираж, в то время как настоящая хорошая литература шла на селдочную обертку и на разновес в ларьках.

Что же, по вашему, месмендовщина — это и есть выполнение соци-

ального заказа эпохи? Ведь «Конец хазы» в «Ковше» имела тоже не малый тираж. Эренбургские «Трест Д. Е.», «Любовь Жанны Ней» и прочая чепуха — вещи тоже тиражистые. Что же, это и есть выполнение социального заказа?». Нет: «социальный заказ» идет вовсе не от «читательских масс»: «Вы забываете, что в стране, где жизнь организуется разумно под руководством коммунистической партии, где весь быт и все взаимоотношения колоссально разнятся от стран буржуазно-капиталистических, что в этом случае социальным заказом должен быть *заказ руководящего класса в лице партии*».

А вы наивно хотите уверить нас, что вы выражаете социальную сущность нашей этики, прислушиваясь к голосу *не партии и советской общественности*, а присматриваясь к статистическим карточкам нескольких библиотек⁵. «Партия и советская общественность» — эта формула 1926 года навсегда войдет в «идеологический арсенал» соцреалистической культуры. Разумеется, «партии и советской общественности» противостояли не «статистические карточки нескольких библиотек», но именно «массовый читатель», которому не было дела до «социального заказа эпохи».

Всецело на стороне Ин.Оксенова окзался, пожалуй только Б.Лавренев, пришедший к выводу, что «серьезно работающему» писателю остается одно: «плюнуть на посредничество (т.е. на критику. — *Е.Д.*) и обратиться непосредственно к читателю». Критиков он назвал «Ивановыми седьмыми, садистами, стоящими с розгами над современным писателем», «тушинскими ворами в роли блюстителей литературной идеологии», «популярно объясняющими сущность марксизма, не жалея пота», все эти «Вардины, Досекины, Блюменфельды, Тейманы, бесчисленные Хлестаковы и самозванцы, хватающиеся за цензорский карандаш»⁶.

Ал.Толстой, поддержавший «писательский взгляд на критику», также говорил о том, что «писатель от читателя должен быть только на расстоянии руки, держащей книжку», что «критика мешает непосредственности наблюдения; каждый видит по-своему, и это есть самое ценное, — увидеть, — острый глаз. Критика указывает: смотри так, а не эдак. И виденья не получается. Это вредная задача критики».

Критика вмешивается в интимнейшие законы творчества, подсовывает свои рецепты, рекомендует свои теории. Это вредная задача критики...

Критика вмешивается в восприятие читателем искусства. Сколько примеров, когда большой художник был затравлен и невоспринят. Сколько примеров, когда бездарность возводилась в гении. Это вредная задача критики...» «Истинную роль» критики Ал.Толстой видел в том, чтобы быть школой для молодых читателя и писателя, «быть университетом, энциклопедией, повышать культурный уровень того и другого»⁷.

Примечательная эта дискуссия о *читателе* завершилась формулированием задач *критики*. критика — это «орган классово-политической политики в ис-

кусстве”⁸, “пролетарские писатели работают вместе с марксистской критикой. А вот Лавренев, Сологуб и Замятин поворачиваются к ней спиной... в теоретическом осознании литературной борьбы (в основе которой — борьба общественных классов) — задача критики”⁹. Происшедший поворот от читателя к критике имел свою логику: вопрос о читателе упирался в вопрос о читательской критике, по отношению к которой должна была определиться критика профессиональная.

Все опросы читателей о критике рисуют одну и ту же картину: критика не читается, она не вызывает интереса, ее удельный вес в читательских требованиях ничтожен. Можно утверждать, что всеми признанный расцвет критики 1920-х годов, стимулировавшийся относительным плюрализмом эстетических программ и наличием борющихся литературных группировок, прошел вне и помимо читателя. Здесь реализовалась внутрилитературная, самонастраивающаяся (если не учитывать все усиливающегося давления со стороны власти) модель отношений критики и среды: цепь “критика-писатель” была перенапряжена, цепь “критика-читатель” практически отсутствовала, что может быть объяснено, с одной стороны, использованием критики властью как инструмента воздействия на литературу, с другой, достаточно высокой “читательской активностью масс”. И, напротив, со “стабилизацией” литературного развития, с процессом “огосударствления” литературы, когда критика, по общему признанию, умирает, спрос на нее начинает расти. В значительной мере этому способствовала школа: критика и школьный учебник говорят теперь одно и то же, та же информация вербализуется учителями и учащимися. Но прежде чем понять логику этого перехода, прежде чем осознать, что советская критика в отличие от пореволюционной действительно озвучила голос и взгляд масс на литературу, обратимся к ситуации 1920-х — начала 1930-х годов.

В 1933 году М.Беккер проделал эксперимент: он обратился к молодым читателям с вопросом о современной критике. В институте ему ответили: “некогда читать художественную литературу, не то что критику на писателей”; в библиотеках ответ был таким же: “критиков комсомольцы не берут”; то же и на заводе. М.Беккер сделал вывод: “Комсомольцы не читают критиков ‘ни при какой погоде’”¹⁰.

Что же хотел видеть тот немногочисленный читатель, который все-таки обращался к критике? “Жаль, что нет основательной критики на критиков, не грызни между критиками, а достойного разбора, чтобы можно было знать, какому же критику доверять, например, до прочтения книги” (Л.Куликов, рабочий)¹¹. Итак, читатель ждет критики “правильной” (ему должны сказать, “какому же критику доверять”). Другое требование: “замечаю, что критики комкают содержание. А читателю желательно узнать, о чем говорится в книге и какие в ней показаны события” (С.Коротков, рабочий)¹². Комментируя этот “социальный заказ”, М.Беккер пишет: читателю “хочется увидеть в статье осмысленной и раскрытой ту действительность, о которой повествуется в художествен-

ном произведении. Раскрытой в живых образах, действиях и поступках людей, в 'типических характерах и обстоятельствах'. Читатель требует от критика умения вчувствоваться в материал, эмоционально вживаться в действительность, послужившую объектом художественного выражения, передавать специфический аромат, заключенный в произведении, его живое дыхание. Требование законное!"¹³. Пожалуй, трудно более точно передать "специфический аромат" соцреалистической критики с ее "вживанием в действительность".

Следующее "законное требование": "В ряде статей, которые я читал, чувствуется расплывчатость и неопределенность. С одной стороны, книга хорошая, с другой стороны, плохая. Такого рода оценки раздражают. Хочется услышать определенное мнение о книге, но вместо этого критик 'влиет': нельзя не признаться, нельзя не сознаться" (комсомолец Тучков, студент). Что ж, критика должна быть однозначной в оценках, а не "влиять". Читатель упорно не желал, чтобы критика была его "проводником" в литературе. Напротив, он и сам легко мог поучить критику, "как делать стихи". И дело, разумеется, вовсе не в том, что критика 1920-х годов была, как пишет М.Беккер, "безликой". Она была *функционально иной*: ее мало заботил читатель, так же, впрочем, мало, как и писатель: она была всецело занята борьбой за власть; определенно можно сказать, что в 1920-е годы было много талантливых (а вовсе не безликих) политиков-, идеологов-, полемистов-литераторов с качествами, присущими политикам. Нет поэтому ничего удивительного в том, что читателя вовсе не занимала такая критика. Здесь срабатывал закон отчуждения власти, при котором все споры и отстаивание тех или иных идеолого-эстетических платформ воспринимались читателем как "склока".

Следующее требование к критике формулируется тем же читателем Тучковым: "критики пишут часто непонятным языком, пишут для таких же 'вумных', как они сами"¹⁴. Простота и доступность — естественные качества критики в искусстве, "принадлежащем народу". И в самом деле, "борьба за доступность языка критики есть один из элементов борьбы за ее партийность, потому что самые лучшие идеи и теории приобретают свою революционно-мобилизующую роль только тогда, когда они доходят до сознания трудящихся масс, когда массы активно воспринимают эти идеи"¹⁵.

"Многие читатели жалуются, — пишет М.Беккер, — на недостаток эмоциональной температуры в писаниях наших критиков... Ему подай критику живую, остроумную, зубастую". Критика 1920-х годов и была именно такой. Никогда позже в советское время не было столь полемической критики, но читателю нужна не эта "зубастость", ему глубоко безразличны взаимные сарказмы РАППа, ЛЕФа или «Перевала». Эта "зубастость" была фактором абсолютно внутрилитературным и к читателю не имела никакого отношения. Но самое требование показательно и так же "совершенно законно": "вести" и "заражать" должно не только

искусство, но и критика.

Наконец: “Критики пишут длинные статьи и нам приходится часто бросать их недочитанными. Скажите критикам, чтобы они писали покороче, а то нам некогда” (из выступления на одном из читательских активов)¹⁶. Итак, заключает М.Беккер, “как и писателю, литературному критику нужна помощь массового читателя”¹⁷. Что же до чтения самого критического текста, читатель относится к нему так же, как и к художественному, — *как редактор*, а именно он готов его переделывать и перекраивать в своем *радикальном “сотворчестве” с автором*. “статья написана по нарочитому искусственному плану, с налетом академизма. При чтении статьи получается впечатление бесплановости, бессистемности, партизанщины и стихии. Статью Чарного надо взять за середину и вывернуть ее, как чулок, середину сделать началом, вторую половину статьи продолжением, а начало поставить в конец. Тогда она будет представлять нечто целое и связанное” (о статье М.Чарного «Творческий путь Артема Веселого» — Лит. критик, 1933, N 2). Это относится к форме статьи. Что же не устраивает читателя в ее содержании? Его интересует: “чьи интересы выражает Артем Веселый в своих произведениях? Верно или не верно он отражает действительность? Как оценивать произведения Артема Веселого с точки зрения социалистического реализма? Куда зовет Артем Веселый? Ответа на эти вопросы я не нашел. В статье есть подливка, но нет мяса, в которое она подлита”¹⁸.

Если свести воедино требования, недовольства, вопросы, вкусы читателей-”критиков критики”, мы и получим *советскую критику*. Социалистическая критика как раз и *реализовала* все эти требования читательской массы.

“Конечно, — заключает М.Беккер, — читатель не во всем прав. Ему тоже присущи ошибки, промахи. Было бы поэтому величайшей ошибкой замалчивать ошибки читателей. Похлопывание читателя по плечу, хвостистское преклонение перед каждым его замечанием, сентиментальное рабочелюбство, сюсюканье, — все это не должно иметь места в практике работы с читателем”¹⁹. Этот пассаж — знак ситуации 1933 года, когда от “читательской критики” не осталось практически ничего. Но закон сохранения энергии не упразднен: профессиональная критика начинает говорить “от имени и по поручению читателей”.

Советская критика прошла большую школу, прежде чем заговорить языком читательской массы. От противопоставления читательской и профессиональной критики, от отрицания последней, советская культура пришла к созданию такой профессиональной критики, которая сумела вобрать в себя голоса и массы, и власти. В 1920-е годы выкристаллизовались классические советские весы: на одном конце — “слушать голос масс” (по определению Н.Крупской, “литературный критик должен научиться писать для масс, для рабочих и колхозных масс, научиться критиковать с точки зрения современности, с точки зрения тех вопросов, которые волнуют массы, писать так, чтобы вооружать массы уме-

нием критически относиться к художественным произведениям, вооружать массы пониманием этих произведений”²⁰), на другом — не допускать “хвостизма”. В каждый нужный власти момент поднималась то одна, то другая чаша весов (как то: и “патриотизм” — хорошо, и “интернационализм” — хорошо, и “буржуазный национализм” — плохо, и “безродный космополитизм” — плохо; и “революционная романтика” — хорошо, и “правда жизни” — хорошо, и “очернительство” — плохо, и “лакировка” — плохо; одновременно: “за интернационализм” — “против космополитизма”, “за романтику” — “против лакировки” и т. д.) Вся история советской культуры — игра на таких весах. Эти весы можно еще представить в виде чисто репрессивного механизма: образующиеся “идеологические ножницы” всякий раз легко превращаются в гильотину для удаления вредных теперь для власти голов. Таким образом, “сентиментальное рабочелюбство” осталось в советской культуре “замороженным” до срока (подобно “интернационализму” в эпоху борьбы с “безродным космополитизмом”).

Еще в 1920-е годы идея замены профессиональной критики критикой читательской была весьма популярной, а невнимание к “критике снизу” со стороны профессиональной критики воспринималось как “прямой саботаж рабочего читателя, который хочет, чтобы его голос был услышан советской общественностью и писательской средой в частности”²¹. Многие деятели революционной культуры, организовывая массовые читки и читательские конференции, воспитывая “шеренги молодых рабочих критиков”, всерьез полагали, что их опыт “открывает путь к созданию рабочей литературно-читательской общественности, идущей на смену общественности интеллигентской. Вырисовываются перспективы создания организованной рабочей критики. Намечаются формы воздействия рабочего читателя на направление и характер литературного творчества”²². Видя в этих “ростках нового” проявление наступившей культурной революции, “эпохи мирно-организованного культурного социалистического строительства”, и пролеткультовцы, и рапповцы полагали, что “дело заключается не в том, чтобы рассматривать рабочего читателя со всех сторон, как заморскую букашку и рассказывать затем об этой диковинке образованной публике, а в том чтобы помочь рабочему и крестьянскому читателю повернуть литературу к себе лицом...

Критик-рабкор уже пробивает себе дорогу в наши журналы. Надо помочь ему в этом. Создание массового движения рабочей критики — таков один из основных наших лозунгов.

Наши журналы должны в ближайшее время обрасти литературно-критическими кружками из рабочих от станка... в гуще рабочего класса начинается еще более интересное движение: организуются повсюду кружки читателей... они делаются органами организованного влияния рабочего читателя на литературу. Они разбирают книги, оценивают писателей, критикуют их, учатся понимать литературу, и скоро — скоро! — научатся требовать...

Это движение — основа пролетарской литературы и залог ее победы”²³.

Совсем скоро рапповцы пересмотрят свое отношение к “читательской критике”, но чтобы понять характер задач, которые ставились перед ней в середине 1920-х годов, обратимся к дискуссии о театральной критике, прошедшей в том же 1926 году на страницах ленинградского журнала «Жизнь искусства».

Основной порок профессиональной театральной критики усматривался в том, что она “не учитывает самого главного — нового зрителя”, а посему — “самое большое зло театральной критики на страницах нашей печати — это затасканный профессионализм”. Отсюда следовал вывод: “Только та критика, которая будет отражать требования нового массового зрителя, а следовательно и требования зарождающегося нового театра, имеет право на существование”. В чем же должен состоять “новый метод теакритики”? “В непосредственности передачи впечатлений массового читателя, — писал П.Болдин, — в выявлении его требований и общественной значимости той или иной постановки... в том, чтобы критика воспитывала художественное чутье зрителя на понятных и близких образах... новая критика должна организовывать зрителя, служить творческим оружием, расчишающим дорогу к искусству в нужном для нас направлении... Задача новой теакритики... стать действительной трибуной массового зрителя”. Поскольку же главным “умением” новой “теакритики” должно стать “умение отражать требования масс”, “следует отрешиться от требований какой-то особой квалификации театральных критиков и рецензентов”. В этом случае главной фигурой в театральной критике становится рабкор²⁴. Этой очень распространенной позиции противостояла более консервативная: рабкоровские заметки “ценны не как ‘критический материал’, а как выражение ‘мнения’ рабочего зрителя, как результат непосредственного восприятия, в конце концов определяющего судьбу спектакля”, а потому необходима “общественно и формально квалифицированная советская театральная критика, мы против дилетантов, чем бы они ни прикрывались”²⁵.

К началу 1930-х годов изменился и рапповский взгляд на массовую критику — он стал более “диалектичным” и “взвешанным”. РАПП противостоял теперь “литфронттовскому левачеству”, “рабочелюбию” и “хвостизму”. Так, все еще утверждалось, что вопрос о массовой рабочей критике “это есть вопрос о вовлечении масс читателей-ударников в активную работу по созданию нашей литературы. Это есть вопрос о вовлечении масс читателей-ударников в борьбу с агентурой буржуазии в литературе... о выковывании нового типа критика, и о создании новых рычагов руководства чтением художественной литературы миллионных масс трудящихся”²⁶. Однако, рапповские руководители не собирались “отдавать на произвол стихии” массовую критику. Напротив, тот же Дм.Мазнин утверждал, что “руководить всем этим массовым движением должны мы — производственный писательский коллектив рабочего клас-

са, организация, проводящая линию партии в литературе”²⁷. Дело это представлялось относительно простым, поскольку “в вопросах творческих критики-ударники, судя по их продукции, как и следовало ожидать, исходят в основном из тех установок, которые дает РАПП”²⁸. Со свойственным РАППу интересом к “организационно-политическим вопросам”, его теоретики не уставали повторять: “Недооценка вопроса организации и руководства массовой рабочей критикой — реальная опасность... Несомненно, эта опасность является главной опасностью, которую необходимо во что бы то ни стало преодолеть”²⁹. В этом рапповская критика была предтечей советской критики, ибо уже шла по пути “диалектического сопряжения” читательской критики с партийной идеологией. Уже с этого “литературного поста” рапповские теоретики “разоблачали левачество” Пролеткульта и «Кузницы». Так, слова из редакционной статьи журнала «Пролетарский авангард» (1931, N 1-2) о том, что в реконструктивный период “решающее слово в оценке литературных произведений будет принадлежать не только критикам-профессионалам, но в большей степени читательским массам”, были интерпретированы налитпостовцами как выражение “недоверия марксистско-ленинской критике”, как “попытка спрятаться за спину читательских масс”. Так же трактовались слова А.Топорова о том, что рабоче-крестьянская критика “выше и полезнее профессиональной”. Все это трактовалось как “попытки оторвать массовую рабочую критику от марксистско-ленинской критики, противопоставить их, которые должны встречать единомудушный отпор”³⁰. Основное внимание предлагалось обратить на “кружки читательской критики” с тем, чтобы “передать им боевые традиции напостовской критики”: “Одной из наших организационных задач является учет тех “диких” кружков, — рецензентских, читательских, — которые существуют при библиотеках в отрыве от массового пролетарского движения. Эти кружки читателей нередко ведут довольно систематическую работу, обсуждают произведения, помогают библиотеке, в известной мере руководят чтением художественной литературы. В этих кружках процветают самообразовательные методы работы, культурничество. Нужно сделать их боевыми организациями, включить в систему нашей работы, изменить содержание их деятельности, превратить их в наши рапповские кружки рабочей критики”³¹.

“Кружки читательской критики”, развитием которых занимался РАПП, были, несомненно, реальным фактором литературной ситуации 1920-х годов. Именно эти кружки при библиотеках и профсоюзах (если, разумеется, в них были действительно активные участники и руководители) организовывали так называемые “вечера рабочей критики”, которые иногда собирали до полутысячи человек. Так, по неполным данным ленинградских профсоюзов, только в 1926-27 годах в таких вечерах приняло участие около 11,5 тыс. человек и выступило около 300 читателей³². Как писал в предисловии к книге “Писатель перед судом рабочего читателя: Вечера рабочей критики” З.Эдельсон, “на путях нашего соци-

алистического строительства мы не раз отмечали огромную положительную роль деловой встречи и критики производителя и потребителя по поводу качества продукции. В производственной практике огромный интерес и оживление вызвало среди рабочих общение обрабатывающих сырье с рабочими, выделяющими из него вещи. Вечера рабочей критики начинают устанавливать практику этого взаимодействия рабочего потребителя (читателя) с производителем (писателем) на таком 'деликатном' участке культурной революции, как литературный фронт"³³.

Массовая критика, поставленная на производственный конвейер — лишь организационная форма нового литературного процесса. Содержательная же сторона всегда оставалась за критиками-профессионалами — такую позицию занимал не только РАПП, но и ЛОКАФ: "массовая красноармейская критика исходит из тех же идейных позиций, с которых ведет свою работу ЛОКАФ... она не противоречит и не расходится в своих подходах к художественной литературе с локафовской критикой в целом. Более того — наша массовая критика — боевая, воинствующая критика. Она в ряде случаев является нашими шупальцами, нашим аванпостом, нашей разведкой, обнаруживающей и дающей бой классово-чуждым враждебным установкам на участках, выпадающих из поля зрения ЛОКАФ... принципы большевистской партийности, марксистско-ленинское учение о войне и армии, литературно-политические и творческие установки ЛОКАФ, методология марксизма-ленинизма в вопросах критики и литературоведения проникают в массы и определяют собой направление и характер массовой красноармейской критики", — утверждали локафовские теоретики³⁴.

О том, что локафовская "массовая критика", как и любая "массовая критика", была совершенно беспомощной, говорить вряд ли приходится. Степень этой беспомощности проиллюстрируем лишь одним примером: на страницах локафовского «Залпа» (1932, № 3) было опубликовано стихотворение красноармейца-ударника Протопопова «Лыжный бег». Стихотворение в высшей степени показательно для "массового творчества ударников":

В борьбе последней старый мир
Метелью войн упрямо брызжет,
Обязан каждый командир
Тренировать бойца на лыжах.

"Массовая критика" этого стихотворения была такой: "А разве будет он называться командиром, если он этого, ему намеченного, не будет выполнять и требовать от своих подчиненных? А вот задача поэта в том и состоит, чтобы помочь художественным словом и методом разложить на мелочи суть и значение знания лыжного дела и показать красноармейцу, чтоб он без особых убеждений и усилий командира понял и старался бы сам проявить инициативу"³⁵.

Нелепость *замены* профессиональной критики такого рода критикой

понималась многими. Лишь неисправимые утописты и доктринеры могли в середине 1930-х годов всерьез полагать, что “рабочий-читатель вырастает в участника творчества писателя”, что это “растущий рецензент”, что “среди всей массы читателей имеются большие резервы необходимых кадров для критики и литературы вообще”³⁶. Но точно такой же наивностью было бы думать, что, отвергнув революционно-радикальную модель, советская культура не реализовала ее иными методами: она действительно превратила читателя в “участника творчества”, введя его голос в установочную критику — в советской критике всегда звучит этот нерасторжимый дуэт массы и власти. Уже к началу 1930-х годов лозунг “Учебы у читателя” сменяется лозунгом “За конкретную критику”: “борьба за усиление конкретной критики должна стать борьбой за усиление в ней позиций марксизма-ленинизма... Критик, независимо от состава литературной организации, к которой он примыкает, должен стоять на позициях марксизма-ленинизма и в своей критической практике за эти позиции бороться”³⁷.

Что же до читателя, то и его облик сильно изменился. Речь теперь шла о читателе, “который является непосредственным участником строительства, который за годы революции и стройки успел многому научиться. Это новый тип читателя. У этого читателя острое политическое чутье, здоровый классовый подход. Разумеется, он требователен. Участник строительства, преодолевающий трудности, он не терпит лакировки, фальши, сусальности. Реализм сидит в самой его крови. Нередко этот читатель, по словам Горького, оказывается умнее и дальновиднее писателя. Он глубже писателя изучил материал действительности, он лучше связан с жизнью. Ничего нет удивительного в том, что этот читатель оказывается более дальновидным, нежели критик... Вполне понятно, почему писатель обращается частенько за помощью к читателю”³⁸. Это один из первых портретов идеального читателя — основного реципиента, к которому была обращена советская литература. Но призыв учиться у читателя тут же уравновешивался на другом полюсе: “Критик в целом ряде случаев должен *учить* читателя, *направлять* его, *корректировать* его”³⁹. Критика, таким образом, подвешивалась между “генеральной линией партии” (“партийность”) и читательским запросом (“народность”).

Поскольку же власть (“партийность”), несомненно, была “радикально народной”, противоречие снималось: читатель был в основном выслушан, его урок был усвоен, его “законные требования” по возможности приняты во внимание. Дальше пришел черед сбалансировать интенции власти и массы, а критике — “сохранить завоеванное”. В ее голосе отчетливее всего слышится голос власти, но этим голосом говорила и масса. Как бы то ни было, “массовая критика” состоялась — единственным возможным образом — она реализовалась в соцреалистической критике.

В цитируемой выше работе В.Асмуса «Чтение как труд и творчество» есть примечательная образная оппозиция двух полюсов читательского восприятия художественной литературы, коренящихся в самой природе чтения, когда читатель «одновременно и видит, что движущиеся в поле его зрения образы — образы жизни, и понимает, что это не сама жизнь, а только ее художественное отображение». При редукции одной из указанных установок двуединый процесс восприятия образов искусства разрушается («вырождается», по определению В.Асмуса).

Один полюс можно обозначить как «полюс Смердякова». В.Асмус приводит сцену из «Братьев Карамазовых», когда Федор Павлович дает Смердякову прочитать «Вечера на хуторе близ Диканьки», и тот возвращается ему книгу с явным неудовольствием. На вопрос, почему книга не понравилась ему, он отвечает: «Все про неправду написано». Причину смердяковского приговора В.Асмус склонен видеть в «патологической тупости эстетического и нравственного воображения»: «Смердяков не способен понять, что произведение искусства не только 'неправда', но вместе с тем и особая 'правда', изображенная средствами художественного вымысла».

Противоположный полюс можно определить как «полюс Дон-Кихота», «связанный с инфантильной доверчивостью, утратой понимания, что перед ним вымысел, произведение искусства, иначе говоря, дефект прямого отождествления вымысла с реальностью». Пример тому — знаменитая сцена у Сервантеса, когда во время спектакля Дон-Кихот бросается на защиту принцессы от мавританской погони. «В восприятии Дон-Кихота, — пишет В.Асмус, — происходит процесс, противоположный тому, что произошло со Смердяковым. Смердяков ничему не верит, так как в том, что он пытается читать, он способен видеть только вымысел, 'неправду'. Дон-Кихот, наоборот, не способен разглядеть в вымысле вымысел и принимает все за чистую монету.

Ни в том, ни в другом случае чтение (или восприятие) не может состояться как чтение и восприятие именно художественного произведения. И в том, и в другом случае отсутствует необходимая для чтения и восприятия диалектика в отношении к вымыслу. Читатель, владеющий этой диалектикой, видит реальный эквивалент художественного вымысла. Относя воспринимаемое к самой жизни, образом которой оно является, он понимает, что образ этот соткан средствами вымысла. В то же время, зная что изображенное автором есть 'только сказка', читатель знает, что за этой 'сказкой' стоит отраженная в ней реальность действительной, а не вымышленной только жизни»⁴⁰.

Вывод В.Асмуса — продукт «диалектической логики». Философ исходит из предпосылки о существовании некоего «правильного чтения». Такого рода идеальное чтение не «расположено», однако, *между* указанными полюсами. Напротив, между полюсами лежит сложная гамма

переходных ситуаций. Сами эти *ситуации чтения* являются, в свою очередь, результатом взаимодействия различных составляющих, интенций текста и реципиента.

Мы не ставим перед собой задачи восстановить социальный контекст восприятия художественных произведений. Наша цель здесь более локальна: понять некие конструктивные особенности *ситуации интерпретации* литературы пореволюционным читателем. Отчасти такая задача вписывается в “критику читательской реакции”. Но это “критика” особого рода: не корректирующая и не опирающаяся на норму. Феномен “правильного чтения” — идеальный продукт теоретизирования, а “норма” здесь почти всегда преднаходима: есть некий имплицитный “читательский запрос”, “горизонт читательского восприятия” и есть реальная трансформация интенций текста. Читатель 1920-х годов предстает как чистый и непосредственный реализатор потенциального смысла, заложенного в знаковой системе, каковым является текст *до* акта потребления. Не следует забывать при этом, что и *ценность* литературного произведения конституируется лишь в акте его восприятия. Голос читателя 1920-х годов есть продукт общения еще “необработанного” властью читателя с таким же еще “необработанным” текстом (степень “обработанности” всегда при этом относительна). Процесс “обработки” или “формовки” читателя (как, впрочем, и текста) имеет не только количественные, но и качественные параметры: в какой-то момент мы видим качественно *другого* читателя (и, соответственно, качественно другой текст). Между литературой 1920-х и 1940-х годов существует очевидная разница. Но это не только разница в текстах (от «Братьев» до «Костра» К.Федина, от первой редакции «Вора» до «Русского леса» Л.Леонова, от Бабеля до Бабаевского, наконец), но разница в *ситуации интерпретации*, разница в социальных функциях всех участников художественного производства и потребления.

В «Акте чтения» В.Изер утверждал, что именно благодаря “бесситуативности” художественного произведения (оно не прикреплено строго к определенному, однозначному контексту), взаимодействие текста и читателя стабилизируется с помощью своеобразной системы обратной связи, действующей наподобие кибернетической модели саморегулирующейся системы, когда пустота в процессе диалога между текстом и читателем становится источником энергии, создающей условия для взаимопонимания, для создания ситуативного каркаса, с помощью которого текст и читатель приходят к конвергенции⁴¹. Поскольку же сам характер такой конвергенции исторически и типологически подвижен, можно говорить не только о “виртуальном смысле”, как трактовал его Х.Г.Яусс (т.е. смысл художественного произведения не есть некая надвременная субстанция, но исторически формирующаяся целостность⁴²), но и о *постоянно смещающейся оптике чтения*, если не более того — об изменении самой природы восприятия текста.

В советскую эпоху задача “актуализации” была впервые поставлена

как задача государственная: “В связи с наблюдающейся у молодежи недооценкой настоящего, для того, чтобы оживить прошлое, необходимо, чтобы библиотеки занялись особым подбором классической литературы”⁴³. В 1930-е годы классика и вовсе будет превращена в корпус дидактических текстов для “воспитания детей историей”: “Масса живет настоящим, а не прошлым, и прошлое интересует ее постольку, поскольку оно способствует пониманию настоящего, — писала Н.Крупская в 1933 году. — Мы стараемся сделать доступным массам наших классиков литературы. Но как далека эта литература от настоящего. Нет ничего удивительного в том, что учащимся-рабочим и работницам труднее всего дается классическая литература. Никак они не могут понять Лизу из «Дворянского гнезда», не могут понять, зачем это надо изучать какого-то «Рудина». Им чуждо, что думали, чем волновались, к чему стремились люди того класса, который они громили, — класса помещиков... Есть способ актуализировать ‘морально устаревшую’ художественную литературу. Есть способ обезвредить художественную литературу с классово чуждыми нотками. Это старый, испытанный способ. *Нужно широко поставить литературную критику.* Но гвоздь вопроса в том, чтобы эту критику сделать близкой и понятной массам”⁴⁴.

Здесь интересна не только типичная для создателей новой культуры апелляция к критике, но и другой аспект: виртуальный смысл текста, который по определению противостоит актуальному, оказывается теперь в совершенно новой интерпретационной ситуации: процесс рецепции идет теперь в актуальном русле, т.е. по законам не “литературной эволюции”, а по законам “культурной революции”: новое рождение классики прямо уже не зависит от “горизонта читательского восприятия” или от “эстетического опыта” читателя, но от актуальной ситуации, моделируемой властью (в *данный момент* “молодежь недооценивает настоящего”). Но и здесь нет разрыва: между инженерией власти и “эстетическим опытом” и “горизонтом ожидания” масс существует глубокая связь. Этот опыт и этот горизонт в снятом виде всегда присутствуют в моделировании власти.

Чтобы представить характер отмеченных смещений, обратимся к восприятию классики массовым читателем 1920-х годов. Ниже приводятся фрагменты высказываний крестьян из коммуны «Майское утро», собранные А.Топоровым и опубликованные в издании 1982 года его книги «Крестьяне о писателях».

“Бочарова А.П. Эх, посмотрели бы, какое дрожанье в народе было, когда читали «Дубровского»! Я как пришла домой с чтенья, так сама не в себе была... Попадись мне этот проклятый баринишка (о кн. Верейском), так я бы его сейчас вот тут раздернула! Вот как!

Тубольцев И.Т. (о «Вольности») Как же царь это пускал в печать?!

Титов Н.И. Ведь тут Пушкин клеймит царей и буржуев всего мира.

Пронкин И.П. Таких революционеров (как Пушкин) история выко-

вываает веками, из миллионов, по одному. Как Ленин для наших времен, так Пушкин для своего времени... Если бы я был на месте мужика времен Пушкина, то, несомненно, неоднократно организовал бы выступления против тогдашнего строя...

Голоса:

- Теперь уж так никто не пишет!
- Только один Демьян Бедный!
- Это потому, что он за Пушкина держится!
- Оттого у него все ловко выходит!

Бочаров А.И. Зажигает он всего человека!

Бочаров Ф.Э. Пушкин вон какие мысли открывал! Взойдет ли, говорит, наконец, свободная заря?! А 'по манию царя' — это ни черта! Это он так маскировался, подделывался. В «Деревне» два слова про 'манию', а сто против 'мании'. В этом вся штука!..

Зайцев А.А. Пушкин не сказал 'восстание', а собрал шайку 'разбойников'. Но это убеждает: идите, ребята, берите колья и лупите барскую сволочь!.. В «Деревне» Пушкин хотел сказать: пора обуздать бездельников и негодяев. Но в то время ему нельзя было говорить яснее.

Шитиков Д.С. В «Дубровском» черт знает сколько революционных мыслей! Ленин брал эти мысли.

Пронкин И.П. А где отрывка этих мыслей?

Шитиков Д.С. В Октябрьской революции... И везде Пушкин против неволи.

Пронкин И.П. (о «Дубровском»). Роман революционен, как «Железный поток».

Шитиков Д.С. Нет, тот не годится против «Дубровского». Серафимович шел по готовому пути.

Бочаров Ф.Э. (о стихотв. «К Чаадаеву»). Первая революционная мысль произошла от Пушкина. Пушкин предусматривал.

Сусликов Т.И. И не струсил.

Зайцев А.А. Пушкин желал описать Дубровского не как разбойника, а как революционера, делавшего попытки восстания, чтобы своим примером поднять за собой остальных крестьян. Пушкин делал намек крестьянам: смотрите, ребята, что делают крепостные Дубровского, а вы чего зеваете?..

Ломакин Т.Н. В то время никто не мог сказать против власти, а Пушкин уже предчувствовал освобождение народа. Он — самый политический писатель... По-моему, чем дальше, тем больше будут считать Пушкина революционным... Мы ценим великую политическую идею Ленина, а Пушкина ценим так же, как великого писателя.

Зайцев А.А. Смело писал Пушкин. Кто бы мог тогда проявить революционность больше Пушкина! Говорят, царь приказал ему написать о пугачевщине в таком виде, чтобы Пугачева считали грабителем и разбойником. Но Пушкин сделал так, что желание царя исполнил, а пугачевщину описал так, что это не бунт, а великое народное восстание.

Шитиков Д.С. При царской тьме в России он, как огненный столб, освещал угнетенному русскому люду путь к свободе. Теперь у нас полная свобода, и мы говорим душевное спасибо Александру Сергеевичу Пушкину. Но есть еще за границей рабы. Он и для них есть тот же огненный столб. И мы, советские люди, гордимся, что вместе с Лениным и наш народный поэт ведет к свободе угнетенных всех стран... Пушкин и всем писателям — и советским и зарубежным — тоже служит огненным столбом. Только уж по другому делу: указывает, как надо писать, чтобы писание было для народа и умное, и картинное, и политическое, и душезаношливое. Чтобы и бородатый, и безусый, и бабка, и внучка поняли литературу без всякой памороки в головах. Пушкин настроил читателя против барства. Всех бар Пушкин изобразил уродами. Ты видишь одних уродов... Каждый стих Пушкина гласит к вере правильной, к революционной... Во всех своих произведениях Пушкин дал читателю понять, что действительно вся царская Россия загнила, и нет у нее ничего, чтобы продолжить свое существование. Читателю сразу бросается в глаза, что надо было перевертывать все вверх тормашками.

Бочарова А.П. Он — первый подстрекатель к революции, как Ленин. Пушкин только потихоньку, урывком делал революцию, подвид сбору разбойников. Его и в ссылку ссылали, а он все своего добивался. Смотрите: за сто лет до нас как он жизнь понял! Как же не ценить такого писателя?!

Бочаров Ф.З. Когда наша молодежь будет читать такие книги, ее будет за душу тянуть, что в такое-то время была такая-то гадость и что если мы сейчас упустим власть, опять то же будет.

Шулгина А.Г. И везде Пушкин держит обиженных людей под своим крылышком. Не дает их в обиду, заботится о них. Вот какой он приветливый человек! В «Станционном смотрителе» кого он жалеет? Отца Дуни или офицера? Ну, видимое дело, отца. А этого стервятника-офицера он утопить желает. И я того же желаю.

Бочарова А.П. Ни в каком случае никто не годится супротив Пушкина. После Пушкина у меня большая голова стала. Пушкин — настоящий бог! Раньше говорили, что бог на небеси, но мы его не видели там (смеется). А этот на земле был. А ежели бы еще Пушкина подновить, да разжевать бы каждое слово, тогда далеко оно полезет!.. Говорят, он старый писатель. Ну нет! Пушкин только что народился! Только что теперь он воскрес! Каждое слово его золотить надо...

Бочарова М.Т. «Памятник»-то? Как тут не почувствуешь?! В теперешнее время Пушкин был бы неоценимый поэт. Это — пророк!

Блинов Е.С. Теперь началось второе пришествие Пушкина на землю.

Бочаров Ф.З. Пушкин выявляет в «Борисе Годунове» подлость самодержавия и как масса не желала царей... если бы у старых писателей не было таких мыслей, то не было бы и революции.

Шитиков Д.С. В произведениях Пушкина я нахожу то, что теперь делается в жизни, в социалистический век... Пушкин против всей бур-

жуазии... Пушкин тем и хорош, что писал будто бы о Гришке Отрепьеве, а на самом деле высмеивал старый строй. Он показывал его самые отвратительные стороны и тем раскачивал умы простых людей. Все большие произведения Пушкина склонны к одному: есть поработители и порабощенные... Перехожу к складу слов Пушкина, но я не буду подробно разбирать его лиру: некогда... Другие говорят, что у Пушкина в рифме много глаголов. Да ведь в глаголах Пушкина — существительное и материализм получается! В этих глаголах Пушкин говорил, что будет время, когда солнце взойдет!.. Ежели бы мы разбирали каждый его стих, каждый принцип, то дали бы исторический материализм из его поэзии..."⁴⁵

Может быть, советскую интерпретацию Пушкина действительно “придумали” коммунары «Майского утра»? Так или иначе, в чудом сохранившихся записях А.Топорова к нам пришел школьный извод советской пушкинистики. Учитель советской школы рассказывал о Пушкине то, что было высказано сибирскими коммунарами, но лишь в литературно обработанном и канонизированном виде. Эта “правильность” прочтения вновь возвращает нас к исходной ситуации: “актуальность” не была “выдумана” или “навязана” массам. Напротив, она была *рождена массой и воспринята властью*, которая лишь структурировала, организовала “распространение и внедрение” рожденного массой смысла. То, что Х.Г.Яусс называл формулируемым читателем “ненаписанным смыслом текста”, на наших глазах превращается в некую шизофреническую ситуацию чтения “ненаписанного текста”, когда интерпретация становится самоценной, поглощая и заменяя сам текст. “Виртуальное измерение” текста смещается в совершенно новое пространство.

В.Изер полагал, что подлинное художественное произведение обладает специфическим свойством — “стратегией отрицания” (будь то отрицание героем установленных норм поведения или резкие изменения ситуации, в которую он попадает), обнаруживающей принципиальную виртуальность человеческой природы, ее незаконченность, непредсказуемость, приглашающую читателя самостоятельно оценить и познать открывающееся перед ним богатство жизненной ситуации, изображенной в произведении. Здесь же перед нами процесс настолько радикального отрицания, что результатом подобной стратегии чтения оказывается ситуация, когда незаконченность, непредсказуемость, самостоятельность, иницилируемые массами, отливаются в окаменелые формы полной законченности, окончательной предсказуемости и совершенной несамостоятельности (освящение данной интерпретации властью): такого рода “виртуальность” порождает ситуацию самоуничтожения. В принципе — это предел всякой интерпретации.

ОТ “ВЫСТРАИВАНИЯ СМЫСЛА” К “ВЫСТРАИВАНИЮ ИСКУССТВА”

К числу основных принципов, которыми руководствуется массовый реципиент при оценке произведений искусства можно отнести:

- принцип доступности, “понятности”;
- принцип развлекательности;
- принцип стабильности (а часто — консерватизма) формы;
- принцип “типологической общности”, исключающий учет специфики различных видов искусства;
- принцип соотнесенности произведения с обыденным сознанием потребителя;
- принцип “красивости” искусства;
- принцип “современности” произведения⁴⁶.

Указанные принципы в своей совокупности характеризуют в конечном счете способы, модели и предпосылки *выстраивания смысла* произведения. Именно такое выстраивание и является основной задачей читателя-интерпретатора. Все основные операции — актуализация, конкретизация, идентификация, как и основные составляющие и предпосылки читательской деятельности — горизонт ожидания, эстетический опыт, стратегия текста — направлены к процессу смыслообразования.

Речь, таким образом, идет о принципах *понимания* художественного текста. Такое понимание связано с оценкой и осмыслением, поскольку понимание неотделимо от оценочной деятельности, а с другой стороны, оно может быть охарактеризовано как процедура объяснения — выявления и реконструкции (“выстраивания”) смысла, а также смыслообразования. Этот процесс имеет исторический аспект, представляющий для нас определяющий интерес. Речь идет о “характере тех установок, которые в данный момент являются господствующими. Вытесненные на периферию ‘архаичные’ идеологические комплексы, казалось бы, полностью утратившие свое значение, вновь возрождаются при определенных поворотах истории. Такое повторение пройденных этапов сопровождается новым перемещением элементов нормативно-ценностных систем и изменением общественных оценок и отношений... При каждом существенном изменении социальной жизни возникает необходимость заново приспособлять друг к другу различные уровни и формы нормативно-ценностной системы. ‘Диалог’ старых и новых компонентов порождает новые смыслы”⁴⁷. Именно на этом фоне происходит процесс “выстраивания смысла”, который, по точному определению А.Брудного, может быть назван процессом “параллельного создания смысловой картины”⁴⁸. Безусловным доказательством огромного “творческого потенциала” массового читателя является книга А.Топорова “Крестьяне о писателях”. Чтобы понять законы этого “творчества”, обратимся к читательской реакции на рассказ И.Бабея «Жизнеописание Павличенки, Матвей Родионыча» во время обсуждения его в коммуне «Майское утро»⁴⁹.

“*Корляков С. Ф.* Матвей Павличенко — это темной забитый человек, злой на господ, на своих угнетателей... Выдумку его насчет ‘письма Ленина’ нельзя опровергать. Мог Матвей эту штуку удрать. Очень свободная вещь. Он был глубоко уверен: раз революция, то Ленин разрешил бы ему все равно расправиться с баринком Никитинским. А если так, то всякую выдумку можно в ход пустить, лишь бы отомстить своему классовому врагу. Именно такое понятие и держал в голове своей Матвей, когда шел дуть барина... Рассказ не обошелся и без брехни. Например, в нем говорится: ‘и тут я взял его за тело, за глотку, за волосы’. Как это Павличенко мог взять барина сразу за три места? Что у него пять рук, что ли, было? Вранье! На-смех сказано. Только где тут можно смеху быть? Еще вот там слова есть: ‘шакалья совесть’. Слова эти будто барин сказал Павличенке, когда тот его за душу сцопал. Нет, в это время барин таких слов не скажет. У него дрожало все от страха. Речь из горла не лезла, а колени все подламывались и трепыхались. Тут предсмертная минута, а он стал бы еще шапериться?” (с. 85).

Здесь характерно стремление объяснить образ, минуя “литературность”, то есть психологизировать его. Отсюда — объяснение “выдумки” Павличенко через его характер, смоделированный читателем, исходя из собственного “житейского опыта”. Отсюда же — неприятие “брехни” и требование “тотального реализма”: “не мог Павличенко взять барина сразу за три места”, не мог барин “шапериться”. Как можно видеть, читатель отказывается воспринимать даже “для смеху сказанное”, он психологизирует ситуацию в *своей* проекции — не до смеху тут. Сказовая форма новеллы в расчет не берется, внутритекстовые проекции (Павличенко “эпизирует” свою “геройскую” жизнь) не воспринимаются. Читатель находится в некоем внетекстовом пространстве. Отсюда — погружение в “исходную” текстовую ситуацию (что в этот момент “думал” и “чувствовал” барин), тогда как эта исходная ситуация “отфильтровывается” в новелле через персонажа и нарратора — эти призмы отбрасываются читателем. *Читатель в своем “сотворчестве” прежде всего разрушает эстетику текста и уже следствием создания новой эстетики являются идеологические перекодировки его.* Та же ситуация развивается в читательском восприятии новеллы Бабеля «Соль», написанной в форме письма. Начало обсуждения «Соли» коммунарами очень напоминает начало «Мертвых душ» с известным спором мужиков о колесе:

“*Стекачов И. А.* Сбрехал он тут порядочно: из поезда бабу ружьем не убьешь. С земли убьешь. С поезда на ходу не убить: он дрожит весь, шатается все время. Когда чаю, бывало, кружку нальешь, — она вот так болтается, все выплещется.

Зубкова А. З. Хлопня простая: не убить. Кабы Балмашев бил сейчас же, как баба соскочила... А то, хочь как иди поезд, — не убить. А товарный во все стороны бултыхается, как ворогуша его тянет, на все стороны. Кабы в темижки стрелять, как баба соскочила, можно бы убить. А то она кое-то еще дорогой бегла. Я поверила бы, если бы сразу, а то

солдаты торговались еще сколь между собой” (с. 96).

Вернемся, однако, к «Жизнеописанию...»

“*Золотарев П.И.* Кабы я был Павличенко, я не стал бы долго с бариним возжаться, а минтом придушил бы его еще в погребке, — и хана. А то еще какие-то тары-бары растабары Матюшка разводил с тем сукиным сыном!.. Не ядреный, и не маленький был Матвей Павличенко, а средний, но хитрый, умственный человек. Я бы мог обвинить Павличенко, если бы он оскорбил кого-нибудь на общем собрании граждан. А с бариним он поступил, как и надо. Тогда была партизанская власть. Попался им гад какой-нибудь — ну, и крышка! ‘Ленинское письмо’ с толком присочинено к рассказу. Я думаю, не по хулиганству его ‘прочитал’ Матюшка барину Никитинскому. Не, он делал это от полной своей мысли, что Ленин, — будь он около него — разрешил бы ему хлопнуть барина. Надеялся в этом Матюшка на Ленина, как на вождя... Рассказ написан, как топором вырублен! Никаких в нем не сделано неясностей. Во всем можно разобраться, ежели человек — не дурак и повидал свет в гражданскую войну” (с. 86).

Высказывание это характерно переводом мотивации из бытовой и психологической сферы в идеологическую плоскость. План содержания и план выражения сливаются. Интерпретация (для чего “присочинено к рассказу” ленинское письмо) основывается теперь исключительно на революционном правосознании. Политико-идеологический вектор суждений не определяет оценку, но сам является производным “жизненного опыта” (“ежели человек — не дурак и повидал свет в гражданскую войну”). Характерен своеобразный гегемонизм, привносимый идеологической оценкой: читатель всецело признает авторскую правоту, но при этом *сам* фактически является автором новеллы, делая из бабелевского текста такие выводы, которые заведомо не могут быть приписаны Бабелю (таким образом, читатель согласен сам с собой). “Жизненный опыт”, определяющий суждения и Корлякова, и Золотарева, отрицающий эстетическое остранение, все же имеет различную природу: “психологическая” мотивация находится в некоей общей плоскости (нельзя взять барина “сразу за три места”), идеологическая же — сугубо эгоцентрична: читатель, определенным образом идеологически проинтерпретировав текст, немедленно зачисляет автора в свои союзники (как в данном случае) или в противники.

“*Ермаков Б.М.* Написал этот сочинитель, как отпечатывал. Чуть не все разумно и действительно. И проведен весь рассказ по одной тропочке, без виляния по сторонам. И уж дюже этот писатель бережлив на слова! Нигде, кажись, не переговаривает... Я тоже согласен с тем, что Павличенко мог выдумать ‘письмо Ленина’. Еще не такое выдумывали партизаны! Бывало всяко во время движения. Жалко, что в рассказе нет точного конца. Не хватило у автора ключа. И жалостливости для слушателя не хватило. Примирительной стороны. Все в злости описано. Нельзя так. Матвея целиком я не могу оправдать. Разве уж так много

ему барин нагресил? Ишь, по морде раз дал да бабу похапал за 'прочие места'! Автор должен был сделать свое заключение. А то образовалось такое положение: зло на зло. Среднего вывода нет; примирительной в жизни человеческой нет. Люди от рассказа не научатся, как правильно и любовно жить. Требуется к рассказу добавление. А сам по себе он высокого составления" (с. 86-87).

Это суждение едва ли не самое "литературное", что не мешает ему оставаться в границах собственной, а не авторской эстетики. "Эстетический ключ" суждения и этические требования ("Люди должны научиться, как правильно и любовно жить") пересекаются, образуя своеобразную лауну между "реальностью" ("разумно и действительно") и "возможностью" ("требуется добавление"). Идеальный вариант (и, соответственно, идеальная эстетическая программа читателя) видится в одновременном решении обеих задач ("высокое составление" + "свое заключение"). Требование однозначной оценки не должно рассматриваться при этом только как некий "дефект" массового восприятия. В контексте приведенных выше суждений особенно примечательно то обстоятельство, что наличие требуемого "заключения" исключает возможность интерпретационных вариаций (читатель как бы сам требует, чтобы автор освободил его от "блужданий"; читатель и не считает, что он как-то интерпретирует текст — как видно из приведенных суждений, он убежден, что его оптика находится в абсолютном соответствии с авторской): идеологическая оценка в этом случае (ср. суждение Золотарева) становится сугубо читательской и автор уже *не выбирается* в союзники или противники читателем, *но сам* определяет себя по отношению к некоторой независимой от читателя идеологической позиции — такая позиция будет всегда внеэстетической. Она зависит либо от читательского опыта (так, в высказывании Золотарева идеологическая оценка мотивирована знанием "света в гражданскую войну"), либо от ситуации высказывания (как "нужно" говорить в данной ситуации). То же относится и к авторской идеологической оценке. Читатель готов принять любой из этих вариантов, отказываясь лишь от *неясности* авторской оценки. Вновь сошлемся на оценку коммунарами бабелевской «Соли»:

Кондрашенко М.Т. Рассказ в деревне нужен... Но для мужика он будет непонятен. Его можно растолковать как угодно.

Корляков С.Ф. Если мужик его не растолкует, значит это плохо. Полной разъяснительности и детальности нет, чтобы мужик понял рассказ.

Бочаров А.И. Поджечь мужика снизу надо.

Кондрашенко Т.М. Душу в рассказ вложить надо. Если писатель хочет доказать правоту Балмашева (?), то надо разъяснить рассказ.

Корляков С.Ф. Разъяснить женщину. Нужно бы ее сфантазировать, чтобы читатель смотрел на нее или с сожалением или с омерзением. А то не знаешь, как к ней относиться.

Ермаков Б.М. Из-под себя забирает рассказ. Ведет-ведет-ведет, зак-

рючивает тебя! И не знаешь, к чему он так закрючивает тебя... сварил писатель кашу и не подмаслил ее. Рассказ «Соль», а самой-то соли в нем и не хватило.

Титов Н.И. Про чувства скажу: чего-то не хватает. Потому что ясного ничего нет. Для меня рассказ не нужен, а про людей не знаю. Разъяснения в нем нет. Стоит заплесневелый гриб, никому он не нужен. Так и «Соль» эта.

Ермаков Б.М. ... в рассказе ни каши, ни семя! Если такую пьесу играть, то не будешь знать, как быть. Не узнаешь, кого судить, кого миловать” (с. 101-102).

Вернемся вновь к «Жизнеописанию...»

Шитикова М.Т. Партизан поступил с Никитинским свыше вины барина. Жестоко поступил. И мне кажется, автор здесь соврал. Вряд ли Павличенко мог так истязать барина за то, что тот когда-то, пять лет тому назад, дал Павличенке пощечину и хапал его жену. Мягкими на словах, а жестокими на деле могут быть, кажется, только религиозные люди. А Павличенко — не религиозный. Он ‘мягкий’, но большой злодей... Про женину обиду нечего и говорить. Жена сама виновата. Она должна была в свое время доложить мужу, что барин с ней нахальничал. Не знаю — как на кого, а на меня Матюшка произвел противное, отталкивающее впечатление...” (с. 87).

Характерно здесь перенесение на автора “вины” героя: неадекватная реакция Павличенко на “обиды” объясняется авторским “враньем”, “отталкивающее впечатление” от героя вменяется в вину автору. Это суждение находится на границе “психологической мотивации” и “эстетического порога”. Дистанция между героем и автором устраняется за счет расширения зоны “авторской ответственности”. С другой стороны, обращает на себя внимание и то обстоятельство, что даже близкая к авторской оценка персонажа построена на несовпадении точек зрения читателя и автора: читатель склонен предполагать, что эта его оценка отличается от авторской. При этом авторская оценка в сознании читателя предстает *всякий раз* искаженной до неузнаваемости (как в случае с «Солью»: читатель убежден, что автор хотел “доказать правоту Балмашева”). Это несовпадение *всякий раз* столь разительно, что заставляет предположить, что *читатель не желает читать авторский текст, поскольку весь увлечен чтением собственного, второго смысла текста, рожденного им в процессе чтения. Читатель выступает здесь как автор по преимуществу.*

Корляков И.Ф. У Матвея Павличенки очень мстительная душа. Писатель поставил его глупым и забитым, а он — не такой. И шел Матвей на барина не из политической классовой мести, а по своей личной злобе — за бабу. Политической сознательности в Матвее не видно. Трудно допустить, чтобы такой забитый замухрышка, как Павличенко, мог наступить на барина. Да еще один-на-один. Что такое Павличенко? Это был чуваш, татарин какой-то! Куда он гож?! Он господ и

теперь, поди, боится. Историческая трусость в нем перед господами должна быть. Груб, горд и храбр — он слишком скоро стал у автора...” (с.87-88).

Здесь происходит углубление предыдущего суждения. Автор обвиняется не в том, что “соврал”, а в том, что “не увидел” “действительных” мотивов поведения героя. Художественная структура текста приходит в противоречие с исходной установкой реципиента: читатель приписывает *себе* открытие “души” героя, полагая, что это не в своем повествовании, а у автора Павличенко стал “слишком скоро” груб, горд и храбр, что это автор, а не герой стремится скрыть свою “личную злобу” “политической классовой мстью”.

“*Шитикова М.Т.* Рассказ написан так, что со стороны на барина зло не берет... после «Матвея Павличенки» жестокость барина исчезла из моих глаз. Осталось непонятное чувство: и барина не жалко, и партизана не уважаю... Слышала я, что Бабель — знаменитый нынешний писатель. Если он — знаменитый, пусть пишет яснее” (с. 88-89).

Здесь максимально полно воспроизведена исходная ситуация текста: “и барина не жалко, и партизана не уважаю”. Это воспринимается реципиентом как недостаток (должно быть либо одно, либо другое), а виной тому — неверная авторская установка: *пишет неясно*. Этот мотив — сквозной в высказываниях:

“*Стекачов Т.В.* Писатель нас бросал-бросал туда-сюда, туда-сюда — и нигде ничего до пути не договорил. Все писание в каком-то дыму оставлено”. Отсюда вывод: “В чтении нет связанности. Есть описания порядочные у прочих сочинителей. Все они к тебе сами в душу идут. А оттого это, что они от ума. В них все по порядку высказывается: скажем, человек идет, сорока сидит на березе, колокол гудёт и прочие там прикрасы... Рассказ про Павличенку, конечно, веселый, но что ты примешь в сердце от этой веселости? Хорош напиток, только хмелю в нем нету” (с.90-91).

Сказовая форма новеллы оказывается основным препятствием для читательского восприятия. Не замечая нарративного смешения, читатель охотно приписывает бесконечные несообразности павличенковского “жизнеописания” автору. Отсюда же — постоянная неудовлетворенность:

“*Носов М.А.* Мысли хорошие хотел преподать людям писатель, но не добился он этого. Вместо рыбы дал нам рака... Досада на рассказ берет. Концов нет. Они куда-то пропали. Растаяли... Затем и зло берет на писателя, что набрехал шибко много. Насовал в рассказ несовместного” (с. 92).

Итак, отсутствие “порядка в описании” порождает “неразбериху” и “путаницу”. Отсюда — общее заключение собрания читателей-коммунаров: “Удивляемся большому уменью писателя Бабеля — в маленьких рассказиках напести кучу неправды и неразберихи. Вследствие этого и «Жизнеописание Павличенки» не нужно деревне, несмотря на то, что

оно рассказано доступной, игривой, замечательной речью простолюдина. Недостатки рассказа — куда значительнее его достоинств!” (с. 95). Против этого заключения проголосовали только трое. Среди них — и П.И.Золотарев, всецело солидарный с героем и потому стоящий “горой за автора”...

Выстраивание смысла художественного произведения массовым читателем — процесс, как можно видеть, не столько даже сотворчества, сколько *собственно творчества*. Выстраивание смысла оборачивается выстраиванием новой реальности. В этом процессе можно видеть и некоторые конструктивные черты этой реальности. То, что это особая эстетическая реальность, — особо значимо, если учесть, что в акте выстраивания смысла раскрывается не только ситуация интерпретации, но и самая *стратегия* чтения, в которой легко угадываются несущие конструкции “нового метода” писания.

СТРАТЕГИЯ ЧТЕНИЯ КАК “ОПТИКА НОВОГО МЕТОДА”

Очевидно, что всякое “потребление” художественного произведения не непосредственно. Оно всегда опосредовано “оптикой” восприятия, в которую входят смысловые и социальные нормы эпохи, история становления вкуса и эстетического чувства как явлений культуры, наконец, рецептивная история данного произведения (если оно создано в другую эпоху). Рецептивная история произведения — непрекращающийся процесс. Его можно определить как *процесс смены стратегий чтения*. Оптика чтения и стратегия чтения могут различаться степенью активности реципиента. Оптика не есть процесс, но скорее *фокус чтения*. Иное дело — стратегия чтения, представляющая собой тот или иной тип читательской активности, структурирующейся в соответствующем типе оптики. И.Есаулов выделяет по крайней мере три аспекта взаимодействия читателя с текстом:

— объектно-объектный аспект. Здесь “высшим авторитетом для читателя является сфера ‘чужого’ (авторского), высшей оценкой читательского участия — степень приближенности к этой сфере и, соответственно, степень отказа от собственно личностной позиции, которая на этом уровне художественной целостности осмысливается как ‘субъективность’, размыкающая завершенность литературного произведения и выводящая его тем самым за пределы научного анализа и за пределы авторской ‘воли’”;

— субъектно-объектный аспект. Поскольку здесь “высшей авторитетностью для читателя становится его же собственное мнение, ‘чужая’ (авторская) позиция зачастую игнорируется — как заданная направленность, сковывающая свободу интерпретаций-прочтений” и, наконец,

— субъектно-субъектный аспект. Именно здесь возможен “диалог согласия” (М.Бахтин), *духовная* встреча автора и читателя. Здесь проис-

ходит “эстетическая встреча двух субъектов художественной целостности” и предпосылкой такой встречи является “спектр адекватных прочтений, *спектр адекватности*”. Это доминанта, центр, вокруг которых вращаются читательские интерпретации⁵⁰.

Но стратегии чтения противостоит “стратегия текста”. Если отвлечься от контекстов этого понятия, развитых в работах В.Изера и Х.Р.Яусса, и приблизить его к понятию “стратегия чтения”, можно увидеть, что процесс чтения есть, вообще говоря, процесс *удвоения или превращения читателя в автора*. Концептированный читатель есть своеобразный *аналог* автора-носителя концепции, воплощенной в произведении. В нашем случае речь идет об особом рода читательском произволе: этот “произвол” является частью читательской культуры, а его политико-эстетической рационализацией — лозунг: “искусство принадлежит народу”.

По точному наблюдению В.Чулкова, в истории отношений между реальным и идеальным читателями в русской литературе существует определенная закономерность, охватывающая разные стадии развития до-реалистической литературы, которая “претендовала на то, что реальный читатель может и должен полностью совпасть с идеальным как носителем родовых, общих начал. Момент встречи идеального и реального читателей с этой точки зрения был и моментом освобождения последнего от индивидуального, частного опыта в угоду опыту общему, родовому... Литература, ориентированная на формирование читателя, адекватно воспринимающего художественное произведение только в том случае, если он способен отсечь собственный индивидуальный опыт, существует до тех пор, пока значительное число поколений обладает общим, относительно однородным и стабильным историческим опытом”. В этом смысле романтизм с его “представлением о движении истории от ‘плохой’ к ‘хорошей’ или наоборот есть последняя в истории русской литературы и культуры крупномасштабная попытка удержать и сохранить *возможность* качественной неизменности мира, ускользящего, все более переменчивого, трагически нестабильного”. Лишь реализм поставил под сомнение “саму возможность полного совпадения реального читателя с идеальным, признав значимость не только родового, но индивидуального опыта реального читателя... Реалистический тип отношений между реальным и идеальным читателями обеспечен общим процессом ускорения исторического развития, который привел к тому, что родовой опыт поколения становится все более дробным, дифференцированным, индивидуализированным”. Разумеется, наиболее четкие исторические аналогии находим в классицизме. Как отмечает исследователь литературы XIX века, “не размышляя над эстетическим опытом читателя и не оглядываясь на него, классицизм стихийно унифицировал его, возводя к идеалу, наподобие того, как он возводил к рационалистически воспринятому идеалу действительность в целом. И здесь, стало быть, немислимы были никакие диалогические контакты с читателем, предполагающие возможность эстетического расхождения с ним”⁵¹.

В этом историческом контексте становится более понятной оптика “нового метода”: советская литература ориентировала реального читателя не на актуализацию собственного опыта и поиск связей с опытом общечеловеческим, но требовала от него безусловного слияния с опытом коллективным — с опытом класса, “требованиями данного этапа развития” общества и т.д., изолированных как от общечеловеческого, так и от индивидуального опыта.

Соцреализм возвращает литературу к дореалистической фазе развития, для которой характерны, по определению В. Чулкова:

а) установка на реальную возможность полного совпадения реального читателя с идеальным;

б) процесс слияния с идеальным читателем требовал отсечения индивидуального, исторического, эстетического и т.д. опыта во имя опыта общего, родового;

в) возможность выбора, которую предлагало дореалистическое произведение реальному читателю, оказывалась иллюзией и лишней раз подчеркивала и утверждала тот вариант мироотношения, на котором дореалистическое произведение настаивало как на единственно возможном;

г) жанровый принцип организации литературы был и результатом, и условием такого принципа построения отношений между идеальным и реальным читателями, при котором последний либо подчинялся идеальному без остатка, либо отторгался от произведения, которое в этом случае не становилось элементом его мироотношения⁵².

Для исследователя советской культуры возникает вопрос: производной от чего являлась эта новая / старая оптика? Здесь, очевидно, следует отказаться от традиционных ответов:

- этого хотела власть;
- этого хотели массы.

Подобные объяснения можно назвать “концепцией заговора”. Здесь соцреалистический феномен трактуется как принудительное навязывание всей стране то ли частных вкусов некоторых ретроградно настроенных художников, то ли, что чаще, лично Сталина (он “придумал” соцреализм) и его ближайшего окружения, ностальгирующих по впечатлениям молодости (вариант: нуждающихся в “показушной” литературе). Ответ: власти пошли навстречу вкусам масс — лишь обратная сторона той же концепции. Подобная интерпретация представляется хотя и беспочвенной, но совершенно недостаточной.

Не властью и не массой рождена была культурная ситуация соцреализма, но *властью-массой как единым демиургом*. Их *единым* творческим порывом рождено было новое искусство. Соцреалистическая эстетика — продукт и власти и масс *в равной мере*. Она была рождена *одновременно*

- эстетическими горизонтом и требованиями масс;
- имманентной логикой революционной культуры;
- заинтересованностью власти в консервации массовых вкусов и “орга-

низационно-политическими мероприятиями” властных структур по оформлению нового искусства и воспроизводству реципиента этого искусства.

Новая стратегия рецепции была рождена в революционной культуре и явилась следствием культурного коллапса, когда “старая культура” получила нового реципиента. Новый читатель, зритель, слушатель формирует оптику своего восприятия *в самом процессе* “приобщения к культуре”. Это исключительно сложный и болезненный процесс. В ходе его происходит и резкая ломка сложившегося эстетического опыта масс. Он сопровождается острым кризисом всех традиционных форм рецептивной деятельности и, как следствие, тотальным негативизмом масс к культуре вообще: и к “старой культуре”, и к родившейся в пароксизмах этой культуры революционной культуре. Результатом этого процесса является отказ от потребления искусства и интенция к созданию собственного, отказ от сотворчества и желание творчества. Сама эта ситуация *перерождает реципиента в автора*.

“Только что родившийся к культурной жизни класс принужден строить свое искусство почти голыми руками, он принужден насыщать свой художественный голод первобытными средствами, — читаем в книге «Рабочие о литературе, театре и музыке». — В то же самое время сокровища художественной культуры, сосредоточенные в наших театрах, музеях, академиях и проч., разлагаются, ибо они не имеют рабоче-крестьянского потребителя. Пресыщенный, анемичный, усталый мозг мелкобуржуазного интеллигента, который поневоле все еще является главным потребителем искусства, не в состоянии переварить этих богатств и делать их пригодными для общества, под руководством пролетариата, идущего к коммунизму... Чем больше искусство будет приходить в непосредственное соприкосновение с пролетариатом, а также с крестьянством, тем больше оно будет перерождаться, перестраиваться, делаться коммунистическим искусством”⁵³.

Пока же новый читатель (зритель) обнаружил, что “старая культура” ему не принадлежит: “Не знаю, для кого был этот спектакль, — пишет рабкор после посещения спектакля в студии Вахтангова, — но, судя по тому, что я получил билеты через рабочую организацию, я ожидал увидеть там представителей фабрик и заводов. Но каково же было мое удивление, когда я увидел всего трех или четырех затерявшихся в общей массе рабочих. А остальные зрители были представлены ‘кавалерами’, разряженными дамами и барышнями, намазанными, напудренными, в перстнях и браслетах. Я чувствовал себя совсем не в своей тарелке. Надо помнить, что спектакль давался впервые бесплатно. А если на бесплатном спектакле совершенно не было зрителей-рабочих, то что же будет дальше, когда спектакли будут платные?” (с. 34-35). Оказалось, впрочем, что не только центральные и академические театры не посещаются рабочими, но и районные: “Почему так мало народу в театре? — недоумевает рабкор. — Добрая половина театра (а театр-то небольшой)

пустует. Ужасно досадно, что театр, находящийся в рабочем районе, не имеет рабочего зрителя. Чья эта вина?” (с. 35). Вопросы безответны — рабочий не спешил “потреблять старое искусство”, предоставленное в его распоряжение новой властью. Но и само искусство как-то не “перерождалось, перестраивалось, делалось коммунистическим искусством”. В результате — недовольство: “Если посмотрим с рабочей стороны, то все постановки не дают ничего, кроме гнилого старья. Во всех постановках мы видим только любовников, пляски, вскидывания ножек и раздувание тонких юбочек”, “Играли пьесы Чехова. Прошли вещи, ничего не давшие рабочему — ни уму, ни сердцу” (с. 43), “Смотрели «Дядюшкин сон» по Достоевскому... Спрашивается, нужно ли выводить на сцене разваливающуюся вельможную персону, достаточно опротивевший нам тип выжившего из ума князя? Такая тема рабочему не нужна”, “На-днях посмотрел я премьеру из римской жизни («Антоний и Клеопатра» Шекспира) и подумал — на что нужно рабочему, занятому целый день тяжелой работой, смотреть этот заплесневевший исторический хлам?”⁵⁴

“По-хозяйски” подходя к “старому хламу”, рабочий зритель отказывал в праве на существование целым жанрам и видам театрального искусства. В особенности это относится к музыкальному театру. Так, например, радикальному отрицанию были подвергнуты опера и балет. Реакция нового массового зрителя на эти виды музыкального искусства отличалась особой агрессивностью к “эстетизму”. Очевидно, к изначальной неспособности к рецептивной деятельности в этом случае добавлялась неспособность к “чтению” музыкального текста, язык которого требует специальной подготовки.

Рабкоровские отзывы об опере и балете — поистине предел того культурного тупика, в который погрузилась массовая культура в своей претензии “овладеть культурным наследием”. Здесь не может быть и речи о какой бы то ни было “переработке старой культуры”. Здесь действительно обнаруживается культурная пропасть: “Зачем нам, рабочим, показывают вещи, которые отжили, да и ничему не учат? — возмущается рабкор после оперы Чайковского. — Все эти господа (Онегин, Ленский, Татьяна) жили на шее крепостных, ничего не делали и от безделья не знали, куда деваться!”, “Нам кажется, что «Пиковая дама» по своему содержанию совершенно устарела и ее пора снять с постановки. В особенности я хочу обратить внимание на конец 3-го действия, где появляется Екатерина Великая, которой поют: ‘Славься, славься, Катерина’... Ничего возмутительней нельзя придумать, как воспевание русской императрицы с подмостков государственных академических театров”, “Опера «Демон» навевает скуку. Все действующие лица ноют и молятся. Ноет и молится Тамара, молится ее жених Синодал (чахленькая личность), молятся его слуги, ноют и молятся подруги Тамары и даже... ноет и пытается молиться Демон”, “Здесь удовлетворяются запросы буржуазной эстетики. А что рабочим? Какая им от этого польза? Где же те,

которые строили башни, пирамиды, сфинксы? — рассуждает после «Аиды» рабкор. — Подобных героев буржуазное искусство не признавало. Пора дать живых людей из современного быта и с новым мирозерцанием”, “Перед зрителем, — описывает свои впечатления от «Лебединого озера» рабкор, — проходит история любви принца к царевне и как результат его измены, танец умирающего лебедя. Так, в продолжение 4-х актов проходит эта скучнейшая из скучных история никому не нужной любви ‘принца’ к ‘принцессе-лебедю””. Состояние рабочих зрителей во время спектаклей соответствующее: “Из семи человек трое все время засыпали и приходилось тормошить: ‘Вы, ребята, хоть не храпите’. Остальные, что называется, маялись”. Соответствующая и реакция: “Многие рабочие недоумевают, кому служат наши русские театры и для кого играют заслуженные народные артисты республики?” (с.73-76).

Реакция понятна, поскольку, касаясь “музыкальной жизни” масс, и рабкоры признавали: “На самой площади имеется шесть пивных и в каждой из них после восьми часов дается кабарэ при участии ‘самых лучших и талантливейших’ (даже ‘заграничных’) артистов. Ясно, что ‘программы’ этих пивных состоят из самой отборной похабщины и мерзости... А рабочий после трудового дня идет... в пивную”, “С наступлением вечера ребята горланят песни и свистят. Деревенская молодежь, как и рабочие, идут в пивную” (с. 82-83). Разумеется, “ребят” не интересовала опера.

Традиционная модель описания советской культуры, сложившаяся как на Западе, так и в 1960-е годы в СССР, строится на том, что отрицание культуры прошлого исходило либо от авангарда, либо от Пролеткульта, т. е. “слева” и “справа” — внутри культуры. При этом постоянно не учитывалось то обстоятельство, что отрицание культурной традиции, основанное на соответствующем эстетическом пороге массового восприятия искусства, *исходило от широчайших масс* города и деревни, активно вовлекаемых новой властью в “культурное строительство”. Признание этого фактора не вписывалось в левую парадигму как западного антитоталитаризма, так и советского шестидесятничества, склонных вполне по-народнически во всем усматривать вину идеологов и “предателей интересов народа”, но не масс. С другой стороны, это обстоятельство не может быть признано и национально-традиционалистским сознанием, также переоценивающим и мифологизирующим “народный лад”. Отчасти в силу этого истоки соцреалистической культуры искались в имманентной логике самого культурного процесса, тогда как социальные и эстетические предпосылки соцреализма значительно более разнородны и глубоки.

Однако с восприятием не “хлама”, но авангардных театральных постановок Мейерхольда или Вахтангова, например, возникали не меньшие трудности: “Я напряженно следил за всеми эпизодами, но, несмотря на это, я никак не мог их связать”, “Понять я ничего не понял”, “Вещь мне показалась очень трудной и запутанной”, “По-моему, эта

вещь написана не для рабочих. Она трудно понимается и утомляет зрителя”, “После первой части — сумбур в голове, после второй — сумбур, и после третьей — сумбур”, “Бывают фото-монтажи, которые можно назвать «Прыжок в неизвестность», или «Кровавый нос», или «Арап на виселице», или как угодно. В таких монтажах есть и бутылка от самогонна, и наган, и люди в разных костюмах и позах, и автомобили, и паровозы, и оторванные руки, ноги, головы... Всем хороши они, только... до смысла никак не доберешься. Хочешь — сверху вниз гляди, хочешь — снизу вверх — все равно: ни черта не поймешь! Так и в этой постановке. Чего там только нет. И папа римский, и книги, и развратники, бог и ангелы, кутежи, танцовщицы, фокстротт, бомбы, собрания, даже и рабочий зачем-то припутан. Все это показывается в таком порядке, что нельзя даже узнать, где конец, где начало. Рабочий, попавший на такую пьесу, выходит совершенно ошалевшим и сбитым с толку”, “В новых постановках много несуразного. Общего впечатления никакого” (с. 45-47).

Несравненно больший интерес массового зрителя вызывал фабрично-заводской театр, создававшийся “собственными силами”, где зритель оказывался причастным через собственное авторство и “близкий сюжет” к “произведению искусства”. Вот что писали рабкоры: “Центральные театры пока обслуживают только центр города, т. е. буржуазию и советскую интеллигенцию. Массы рабочих в этих ‘настоящих’ театрах не бывают. Они видят только постановки драмкружков в своих рабочих клубах. Всю тяжесть обслуживания театром рабочих масс несут на себе именно они... Вот это — наше! — говорят рабочие”, “Кружок ставит инсценировки, написанные самими же ребятами под руководством руководителя кружка. Инсценировки увлекают рабочих. В особенности рабочие остались довольны инсценировкой, изображавшей картинку из жизни 1914-16 г.г., например «Проводы мобилизованных». Много рабочих и работниц приходили благодарить руководителя за постановку инсценировки”, “В международный юношеский день кружок своими силами поставил пьеску «Рабочая молодежь на защиту революционеров». Пьеска не маленькая — 10 частей, но она очень хорошо передает подпольную работу молодежи вместе с рабочими 1905 г. Пьеса ставилась два раза и клуб был полон. Всего присутствовало 3.000 человек”, “Мы пишем пьесы коллективно к каждому дню революционного праздника. Так, например, нами написаны: ко дню воздухофлота — пьеса «Ковер-самолет», к международному дню работницы — «Работница», затем пятиактная производственная пьеса «Лампа». Недавно ставили пьесу, посвященную Доброхиму, «Их карта будет бита» — в 26 эпизодах. К 28 сентября готовим живой отчет нашего завкома «Наш быт». Пишем пьесу, посвященную МОПРу” (с.54-55).

Чтобы представить сюжет подобных пьес, пользовавшихся столь высокой популярностью среди рабочих, приведем изложение одного из них по рабковскому письму: “Расскажу про инсценировку, которую

мне пришлось видеть на одном из московских кожевенных заводов. На сцене — диван. На диване лежит директор завода и вот ему снится сон. Выползают из всех углов кожи. И готовые выделанные, и только что содранные шкуры, словом, кожи из всех отделений завода, начиная со склада сырья и кончая складом готового товара. Кожи начинают между собой разговор. И здесь попадает всем: протаскивают и директора, и мастеров, и рабочих. Указывают на все недостатки производства и выясняют, кто в этом виноват. Потом 'директор' (загримированный под директора рабочий) просыпается, хватается за голову и обещает устранить все указанные недостатки. Постановка пользовалась у рабочих огромным успехом" (с. 55-56)⁵⁵.

Как можно видеть, наибольшей популярностью пользовались откровенно агитационно-производственные "пьесы", ставившиеся самостоятельно. Достаточно привести репертуар подобных пьес-инсценировок, легко членимый на "горячие темы":

— международное положение СССР и борьба рабочих на Западе: «Признание СССР», «Америка в огне», «Китай и СССР», «1000 Либкнехтов», «Их карта будет бита», «О добром Химе и злом Джиме», «Руки прочь от Китая», «Румынский палач и стонущая Бессарабия», «Долой из Амстердама» и т. д.;

— история партии, революции и рабочего движения: «10 дней, которые потрясли мир», «Стенька Разин», «Рабочая молодежь на защиту революционеров», «1905», «Лена», «Парижская коммуна», «Зарождение Октября», «Первый год Октябрьской революции», «У ворот Октября», «Спартак», «Восстание», «Ленин в Октябре», «Октябрь в Москве», «7-я годовщина», «10-летие империалистической войны», «Таинственный шалаш», «1-е мая», «Часовые революции» и т. д.;

— текущие "хозяйственно-политические задачи": «Без спички не будет смычки», «Будь разумней, да чище сей», «Смычка города с деревней», «XIII съезд партии», «Производительность надо поднять» и т. д.;

— "культура и быт": «Коммунистка Вера», «Суд над сифилитиком», «Чертовщина», «Наш быт», «Сперва учись, потом женись», «Как скверно быть неграмотным», «Комсомольская пасха» и т. д.⁵⁶

Очевидно, что "массовый зритель" не был готов к восприятию традиционных художественных форм. И речь идет здесь не только о самих формах, но именно о неготовности к рецептивной деятельности как таковой. Почти в каждой рабкоровской корреспонденции встречается: "мы коллективно написали пьесы", "мы сочинили свою инсценировку", "у нас есть инициативная группа по созданию пьес и инсценировок для кружка", "мы работаем в контакте с литературным кружком и рабкорами, которые дают нам материал". Желание масс творить самим, служившее постоянной подпиткой для пролеткультовской и впоследствии рапповской риторики, позволяет увидеть пропасть между массовым реципиентом и культурным репертуаром эпохи. Именно поглощение этой пропасти стало культурной задачей соцреализма, "подтягивавшего", с

одной стороны, массы, а с другой стороны, искусство друг к другу, подгонявшего одного к другому, что и породило специфику сталинской культуры.

Между тем, строители новой культуры в 1920-е годы (в наиболее радикальном виде «Пролеткульт»), занимавшие, как впоследствии было определено на советском языке, “хвостистские позиции”, полагали, что можно без конца подтягивать “искусство к массам”, что “профессиональный театр нужен рабочему классу, что в будущем именно профтеатр сможет удовлетворить запросы масс. Но для этого ему надо переродиться, орабочиться, вытравить из себя гнилые упадочнические корни, оздоровиться. Чтобы к этому прийти, ему нужно усвоить многие достижения, многие отличительные свойства фабрично-заводского театра: первые из которых — связь с массой и связь с партией... фабрично-заводской театр создает новые театральные формы и новое содержание... Достижения его должны быть использованы, закреплены, развиты и разработаны профтеатром, будущий состав работников которого несомненно должен быть почти целиком почерпнут из теперешнего фабрично-заводского театра”⁵⁷. Как известно, те же рецепты предлагались пролеткультовцами и рапповцами для литературы.

Обвиняя современный театр в “упадничестве и неврастении”, призывая его “орабочить”, сторонники радикального массовизма предлагали “вливать рабочего зрителя в режиссерские и репертуарные советы”, “создавать новых драматургов и актеров”, “прислушиваться и равняться по рабочей критике”, “ориентироваться в смысле организационно-хозяйственном на рабочего зрителя”⁵⁸. Все советы такого рода были заведомо демагогичны: ясно, что рабочему зрителю, для которого весь театральный репертуар — или “старый хлам”, или “авангардная белиберда”, нечего делать в режиссерском или репертуарном совете; ясно, что по той же причине нельзя было “равняться” на рабкоровскую критику; ясно, далее, что создание “рабочих драматургов” было лишь театральным вариантом задачи, которая ставилась в литературе — создать красных Львов Толстых, — эта задача не могла быть последовательно решена революционной культурой.

Чтобы решить эти задачи “в основном”, необходимо было поступиться радикализмом методов, к чему революционная культура была органически неспособна. Эту “историческую миссию” взял на себя соцреализм. Исполнив авангардный проект, советская культура более последовательно, чем ее революционные предшественники, пошла “навстречу массам”, сняв традиционный комплекс неполноценности масс перед “высококолым искусством”, но “орабочивание” было уже пройденным этапом, ибо “режиссеры и актеры с пресыщенным, извращенным, интеллигентским вкусом”, которых “пламенные революционеры” предлагали заменить “лучшими драмкружковцами, рабочими от станка, которым следовало дать возможность овладеть всей премудростью театрального искусства”⁵⁹, оказались вне советской культуры: “пресыщенность и

извращенность”, так же как и “упадничество и неврастения” стали на долгие годы в демонологии советской эстетики устойчивыми характеристиками западного искусства. Произошло по классической сталинской модели усреднение: драмкружковцы, оставшись у станка, стали, как им и положено, “советским зрителем”; “упадничество” переместилось на Запад, авангардный театр умер, а ему на смену пришло “принадлежащее народу” искусство соцреализма.

Вот почему, рассматривая нового реципиента, следует отказаться от традиционных его характеристик. Действительно, прав оказался А.Топоров: “Пресловутая ‘грубость’ художественных вкусов крестьян и рабочих — злостная выдумка людей, извративших действительность”⁶⁰. И в самом деле, не грубость и не дикость, но *особую систему эстетических требований* обнаруживаем мы в новой читательской реакции. Выражение этой реакция всячески стимулировалось новой властью: “Долг каждого комсомольского читателя прислать отзыв о прочитанной книге... Комсомольский читатель не может безразлично относиться к той или иной книге. Комсомольский читатель должен предъявить свой счет комсомольскому писателю и комсомольским издательствам”⁶¹.

На призыв “предъявить требования” массы откликнулись довольно живо. Часто корявым языком они сформулировали в 1920-е годы свои требования к новой культуре и *фактически соорудили ее каркас*.

В 1928 году журнал «Печать и Революция» опубликовал на своих страницах перевод статьи К.Косова «Что читает немецкий рабочий». В предисловии к публикации В.Гоффеншефер писал об “интернациональном характере литературных запросов и художественного вкуса рабочего читателя”⁶². К каким же выводам пришел библиотекарь из Штеттина? Косов писал об “ограниченной индивидуальной самоосознанности, которая характеризует большую часть пролетариата”, о том, что рабочие “инстинктивно отстраняют все то, что не соответствует их кругозору”, о том, что “самая большая часть из них берется за книгу в смутном романтическом стремлении найти в фантастическом выход из рамок собственной среды в мир, более привлекательный”, о том, что пробуждающееся самосознание “заставляет рабочего браться за социальный роман — историю им самим пережитых страданий”, о том, что “стремление выйти за пределы своего узкого кругозора путем расширения умственного горизонта” является наиболее редкой побудительной причиной чтения, о том, что рабочий “обнаруживает живейшую потребность принимать все вымышленное за ‘правду’. К восприятию литературного произведения как художественной формы он неспособен. Мысль его постоянно возвращается к вопросу о правдоподобии”, что, “ища в книге отдыха и удовольствия, рабочий часто тешится тем, с чем борется в теории” (наиболее популярны в рабочей среде “идеализирующие писатели”). Из своих наблюдений Косов делает вывод: “Рабочий не воспринимает утонченного гурманства в области эстетики и интеллектуальной жизни; ему нужны описания происшествий, душевных переживаний, событий; ему нужно,

чтобы художественное произведение обладало тем, что он видит в своей собственной жизни, известной четкой предметностью. Рабочего привлекает больше всего не тонкость ума, а сердечная чуткость и понимание того, как нужда порождает вину и преступление... Интерес к чистой политике не так уж велик”⁶³.

А теперь послушаем советского массового читателя 1920-х годов. Что ему нравится в литературе? Чего он ждет от нее? Каков горизонт его эстетических ожиданий? Каковы эстетические требования и художественные предпочтения? Итак, массовый читатель 1920-х — начала 1930-х годов говорит о современной ему художественной литературе:

Книга должна быть познавательной полезной. “Полезная книга. Из нее я узнал, как жилось крестьянам в прежние времена” (М., 22 г.) — о книге А.Алтаева «Стенькина вольница»; “Дала полезные указания о восстаниях крестьян” (Ж., 20 л.), “Полезная. Из этой книжки я узнала, как крестьяне в старые времена боролись за свою свободу” (Ж., 17 л.) — о книге А.Алтаева «Под знаменем башмака»; “Полезная. Учит, что нужно верить в дело, начатое революцией” (Ж., 17 л.), “Дано полезное понятие о февральской революции” (М., 21 г.), “Учит бороться с оружием в руках, только не миром просить у царя хлеба и защиты” (М., 17 л.) — о книге В.Бахметьева «Воскресение»; “Полезная. Помещено объяснение непонятных слов и азбука Морзе” (М., 20 л.) — о книге Владимирского «Шахта изумруд»; “Полезная. Учит правильно жить женщину” (Ж., 18 л.) — о книге М.Горького «Мать»; “Полезная. Учит, до чего доводит водка” (Ж., 22 г.) — о книге А.Неверова «Авдотьяна жизнь»; “Полезная. Показывает, что деревня страдает от своей темноты” (Ж., 22 г.) — о книге А.Неверова «Андрон Непутевый»⁶⁴.

Книга должна учить: “Книга тогда интересна, когда поучительна” (рабочая о «Голом годе» Б.Пильняка), “Эта книга интересна тем, что она захватывает своим поучительным интересом. Мой совет данную книгу прочитает крестьянину, который может убедиться во всей наглости белогвардейцев и кулаков, дабы в будущем не попасть в трудную минуту под влияние этой своры” (рабочий о «Неделе» Ю.Либединского)⁶⁵.

Книга должна содержать практически полезные (“для жизни”) рекомендации. “Следовало бы писать больше интересных художественных книжек, где говорится о различных мероприятиях нашей партии и нашего правительства и о том, как эти мероприятия в жизнь проводили. Как бы это в работе помогло, остерегло бы от ошибок!” (тракторист, выпускник совпартшколы)⁶⁶.

Книга должна содержать ясную авторскую оценку событий. “Больше всего не люблю книг, когда читаешь, читаешь, а все конец не договорен. Не высказывается писатель, значит, нечисто, все норовит стороной. А по-моему, если ты пишешь, так пиши без хитрости, все объясняй до конца, чтобы понятно было, о чем твои думы, а то лучше совсем не пиши, не отнимай зря у людей время” (колхозница, 28 л.)⁶⁷.

Книга должна воспитывать: “Писатель является для нас, читателей,

рулевым, который направляет наши мысли к определенной, с точки зрения рабочего класса, идеологии”, “Мне кажется, что литература у нас должна быть такой, чтобы она воспитывала массы”⁶⁸, “Нужно поставить на вид Гладкову, чтобы писать такие романы, как «Цемент», нужно выводить и положительные типы, чтобы пролетариат мог стремиться к усовершенствованию”⁶⁹.

Литература должна создать картину будущей “хорошей жизни”: “О книгах одно скажу: пусть они мне в лицах покажут, как люди хорошо вперед двигают хозяйство и как наша колхозная жизнь годика через 3-4 будет” (колхозный бригадир), “Хотелось бы о нашей колхозной жизни почитать, и что впереди будет, интересно узнать” (колхозный бригадир)⁷⁰, “Вы загляните немного вперед, обрадуйте нас. Когда приезжают к нам хорошие ораторы, которые описывают будущий социализм, невольно подымается дух” (рабочий)⁷¹.

Литература должна быть оптимистичной: “Новая литература полна грусти и уныния, а в жизни много радости. На фабриках нет тех упадочнических настроений, какие имеются в наших новых книжках. Писатели отражают настроения, царящие в кабаках, но совершенно не знают, не чувствуют настроений фабрик и заводов, рабочих клубов”⁷², “Нужно не прошлое, такое обыденное и серенькое, а нужно, чтобы литература диктовала здоровую и красивую, нравственно-красивую жизнь” (рабочая, 23 г. — о «Цементе» Ф.Гладкова)⁷³.

Литература должна быть героической, возвышенной: “Все геройские подвиги нашей жизни надо в книгах изображать” (комсомолец-колхозник), “Недавно я прочитала «Человек, который смеется» Гюго. Сколько там ярких, благородных приключений, — сердце разрывалось от жалости. Пусть пишут о нашей жизни так же волнующе, не хуже, чем Виктор Гюго”⁷⁴.

Герой книги должен быть образцом для подражания: “Эту книгу прочитал с удовольствием, она мне понравилась, — вот почему, что в ней описано просто и ясно про героев Революции. По прочтении этой книги самому охота быть таким, как товарищи Горин, Арон, Федор, а также Феня и информатор Коля свою роль исполнили блестяще” (рабочий о книге Алексеева «Большевики»)⁷⁵.

В произведении должна быть показана руководящая роль коллектива и партии: “Хотелось бы отметить один недостаток, характерный не только для этой книги, а для большинства произведений из рабочей жизни: где-то отсутствуют завком и партийный коллектив. Ведь эти организации немалое значение имеют на предприятии и невольно недоумеваешь, почему ни в чем не видно их влияния”, “В отношении завода не видно самого главного — массы... Не видно комсомола”, “Недостатком считаем отсутствие роли завкома, коллектива партии и комсомола в жизни завода и влияния их на рабочую массу”, “Из недостатков романа нужно отметить отсутствие завкома и коллектива на заводе”, “Нет ничего об основе революции, ее косточке — о коллективной энергии масс, об их

готовности к борьбе, об их энтузиазме и непреклонной воле к победе по строительству хозяйства, об общественно-политической активности” (рабочие о романе Г.Никифорова «У фонаря»)⁷⁶.

Герой должен быть, “как в жизни”. “У Бальзака читал «Отец Горио». Ненавидел все время Растиньяка за хищность и подхалимаж. Вот и наши писатели должны так же изображать вреждебный нам элемент, чтобы мы его не только подразумевали в уме, но и видели своими глазами, будто живого... Островнов очень жизненно изображен, прямо ненавидишь его, как живого; то же самое можно сказать и о чиновнике-бюрократе, секретаре райкома, — его поведение возмутительное... Ближе всех и понятнее показался мне Кондрат Майданников. Совсем он знакомый, знакомый...” (комсомолец-колхозник)⁷⁷, “Все верно описано, я сама из деревни и могу сказать, что все рассказано точно, как оно и на самом деле бывает”, “Кто так хорошо подслушал, да написал, ну точно, как в жизни было!”, “Как прочтут в деревне, скажут — небылица в лицах”, “А в какой местности это было?”, “Поверили бы, если бы было указано, где, в какой губернии, в каком уезде это было, а так получается это не факт, а одна коммунистическая мысль” (крестьяне о «Бабьей деревне» А.Серафимовича), “Непременно надо указать губернию, уезд, волость и даже деревню, а то никто не поверит. Скажут — старухины выдумки”, “Да название-то не выдумывать надо, а настоящее — как попадет в ту деревню, так все и скажут, — а ведь это все взаправду было! А кому охота, тот и справиться может” (крестьяне о «Нечистой силе» С.Шилова)⁷⁸, “Мне не понравилось. Очень все взято на-ура. Рабочий там не говорит, а орет, как из трубной глотки. На книжном базаре в городском саду я видел деревянного пролетария с молотом, детинушка этак метра три-четыре, на плечи быка повесь, на груди коня можно подковать, а ротище с губами из бордовых кубов, барана в раз сшамает. Вот такой, пожалуй, детинушка проорет: ‘Мы растем из железа’. Тоже выразился поэт: ‘из железа’. Тут иногда каждая жилка поет в тебе дурным голосом, а они ‘из же-ле-за’... Эх вы, барабаншики!” (рабочий о поэзии А.Гастева)⁷⁹.

Оценка художественных достоинств книги зависит от того, каковы персонажи. “Мне книжка Тришина «Тракторная быль» понравилась тем, что ларинцы не бросили своего дела, когда у них испортилась мельница”, “Книга Стальского «Общественный станок» — неинтересная, потому что она описывает, как мотают у них негодные члены правления, у нас надоело на это смотреть”, “Книга «Буденовский крестком» понравилась тем, что крестком начинал работу с пяти дырявых мешков да с разбитым ящиком, а добился стального коня”, “«Тракторная быль» мне очень понравилась за аккуратную работу ларинцев”⁸⁰.

Сюжет должен развиваться последовательно: “В современной книжке нет ‘планомерности’: показывают небольшой кусочек жизни человека. Неизвестно, откуда герой явился, и часто не рассказывают, куда он идет. Так не годится. Книга должна показать основательно всю жизнь

человека, без скачков»⁸¹, “Книга идет с отрывистыми темами, что не понять, где начало, где конец” (М., 20 л.) — о «Пожаре» Д.Фурманова, “Ничего не понять, дрянь. Все перепутано” (М., 17 л.) — о «Голом годе» Б. Пильняка⁸², “Ничего цельного и определенного, — не понял: какой-то винегрет”, “Все описываемое в этой книге происходит отрывками, с появлением все новых и новых действующих лиц и частым повторением уже сказанного, с какими-то несуразными заголовками... Все содержание этой книги представляет какой-то идейный хаос... я не понимаю, для чего книга кончается описанием деревенской свадьбы, а также я скажу, что трудно понять, где начало, где конец. В общем скажу одно, что книга читается тяжело и понять ее трудно” (рабочие о «Голом годе» Б.Пильняка)⁸³, “Мой отзыв на книгу Бабеля — «Конармия». Эта книга сама по себе ничего, только тем плоха, некоторые рассказы совершенно непонятны и еще поскольку я прочитал и поскольку понял — почти все главы перепутаны, т.е. не по порядку и этим самым читатель не может понять сущего факта ее слов, и так я заканчиваю свой отзыв” (прядильщик), “«Страна родная» Артема Веселого называется роман, но в сущности какая-то чепуха, скорей всего похожа на длинный неряшливый рассказ... Пишет каким-то непонятным языком и нехудожественно обрисовывает слова... В его произведениях нет завязки” (учащаяся фабзавуча)⁸⁴, “«Степная быль» Шубина как-то написана неловко. Все как-то толчками, то вперед, то взад” (селькор)⁸⁵, “Чем объяснить, что у современных писателей на одной странице можно побывать и в Москве, и в Ленинграде, и в Одессе? Очень быстрые переходы от одного предмета к другому. В то время, как у старых — Тургенева, Гоголя и Гончарова — одна вещь описывается на многих страницах”⁸⁶, “Биографии нет, а раз ее нет, то нет и понимания” (рабочий, 27 л., о «Цементе» Ф.Гладкова)⁸⁷, “Выплывает слишком много людей. Как-то их не запомнишь... Какой-то дебош идет по всему роману! Сценного нету” (крестьяне о «Брусках» Ф.Панферова)⁸⁸.

Книга должна быть большой, толстой: “Больше всего читателя привлекают толстые бытовые романы. Ему хочется, чтоб герой романа не спешил, не говорил отрывками фраз на лету. Ему хочется реалистического романа, реалистически написанного, разрешающего вопросы жизни, которые его интересуют” (библиотекарь)⁸⁹ “Не люблю коротеньких книжек. Не успеешь стул согреть, еще ничего не пережила, а уже конец” (работница)⁹⁰, “Книга не понравилась. Очень краткая” (М., 16 л.) — о книге Волкова «Райское жительство», “Не понравилась. Тонкая книжка” (М., 19 л.) — о книге Ильиной «Сама дошла», “Хорошо написана, но не понравилась, потому что слишком маленькая” (М., 16 л.) — о книге С.Подъячева «Случай с портянками», “Хорошая книга. Нравится, потому что большая” (М., 16 л.) — о «Чапаеве» Д.Фурманова⁹¹, “Самое важное — чтобы толстая была книга, в которой описывается жизнь человека от колыбели до могилы”⁹².

Сюжет должен быть “занимательным”, “с приключениями”. “Тянет-

ся однообразно, выпуклых мест нет” (рабочая, 21 г., о «Цементе» Ф.Гладкова)⁹³, “В «Железном потоке» описываются походы и сражения, восстания кубанских крестьян... Все страдания и мужество этих батраков...”, “На меня эта книга не произвела никакого впечатления, потому что в этой книге пишутся одни страдания тех оставшихся людей, у которых были убиты на войне родные. И вся книга в таком роде. Все однообразно. Более какого-нибудь происшествия нет. А потому меня этот автор не интересует” — рабочий о книге Л.Франка «Человек добр»⁹⁴.

Повествование должно быть “простым”. “Читая эту книгу, я ровным счетом ничего не понял, а потом и оставил ее” (рабочий о Б.Пильняке), “У него много непонятных рассказов, которые нужно подразумевать... Ничего не мог понять”, “Рассказы слишком символические, которые едва ли будут понятны широким массам” (рабочие о рассказах Е.Зозули), “Автор эту повесть сочинил больно сложно. Сильно хорошего в ней нет” (рабочий об А.Аросеве)⁹⁵.

Язык должен быть “художественным”. “Большая художественно-яркая картина... Так писать может только Горький. Простым и в то же время образно-ярким языком, таким родным и понятным” (рабочий, 48 л.), “хороший, живой язык, яркий... заставляет не отрываться от чтения” (рабочий), “Сочный, крепкий, яркий язык” (рабочий о Горьком)⁹⁶, “Научить молодежь по газетам — нельзя, по книгам, которые написаны языком 18-го года — тоже нельзя... Нужно дать язык настоящий, красочный, сочный, язык, который мы могли бы пустить и на митинге, и на докладе, и на диспуте, и в быту, и при общении с массами... пусть писатели выкуют язык”⁹⁷.

Книга должна быть написана “понятным языком”. “Хороша книга тем, что она изложена простым, не слишком литературным языком” (рабочий о романе Э.Синклера «100 %»)⁹⁸, “Язык тяжелый, а книга интересная и жизненная” (крестьянин, 19 л. — о «Конармии» И.Бабеля), “Даже не прочитаешь — язык не идет” (крестьянин, 18 л. — о «Радунице» С.Есенина), “Не хорошая книга. Какой-то смешной язык. Никак не разберешь” (крестьянка, 17 л. — о «Бронепоезде» Вс.Иванова), “Непонятно написано, скучная. Название больно забористое и совсем иначе можно понять” (крестьянин, 21 г. — о «Хулио Хуренито» И.Эренбурга)⁹⁹, “надо бить авторов, которые делают новую грамматику”¹⁰⁰, “Прочитал книжку «Старинушка» И.Касаткина. С трудом понял, так как чуть ли не после каждого слова точки, запятые, знаки вопросов. С трудом выговариваются слова. Много их с прикрасами, с ласкательными окончаниями. Это трудно прочитывать и выговаривать... На первых страницах надо стараться писать завлекательно, чтобы читатель на оторвался, начиная читать”¹⁰¹, “Писать нужно легким языком, понятным, популярным, для того, чтобы читатель мог понять то, что пишет писатель”, “Прочитывая наших поэтов, я ничего не пойму, редко, редко, когда пойму, а вот Пушкин, Лермонтов — другое дело”¹⁰².

Стихи должны быть “без футуризма”. “Совсем, совсем по-новому

пишут, и выходит иногда, что мы ничего не понимаем, потому что мы привыкли говорить и читать по-русски, а какой-нибудь поэт говорит по-маяковски, и нам ничего не понять”¹⁰³, “Мне хотелось бы увидеть крупные, классические поэмы, с четким сюжетом и глубоким замыслом вроде «Евгения Онегина»... с ясным и простым языком..., без футуристов, без излишне замысловатого стиля... Если стихи надо разбирать, как формулу, то теряется их действенность” (рабочий)¹⁰⁴, из стенограммы обсуждения коммунарами А.Топорова «Спекторского» Б.Пастернака (коммунары осилили только первые восемь строк):

— Ни то, ни се.

— Этот писатель раскомашил стихом.

— Кто-то пошто-то в калину залез.

— Не дала я этому стиху ума. Калина-малина, куричье говно, а более ничего не сказано.

— Ничо нет понятного. Ничо к толку не произведено. Весь стих как стриженная курица — страшная! Не писать бы ему такие.

— Лучше бы он написал какую-нибудь песню!

— После куста калины ровно провалилось все!

— Тут и написано-то всего кол да перетыка. Пастернак этим стихом казну ограбил.

— Книгу замарали этим стихом. Что хотел сказать автор — не понял я.

— Я его критиковать не желаю. Стих мне так опротивел, что говорить о нем тошно. Отдельно слова понятны, а вместе — нет.

— Слова русские, понятные, но в них нет материалу.

— Связанных слов нисколько нетути. Добрый человек скажет одно слово, потом завяжет его, еще скажет, опять завяжет. Передние, средние и задние — все завяжет в одно. А в этом стиху слова, как сквозь решето, сыплются и разделяются друг от дружки.

— Слова, как мухи, над ухом летят: ж-ж-ж!.. а ни одно к душе не льнет.

— Много насобирано! Сумасшедшая буря какая-то. То ли дурак он, который писал этот стих? Так простой человек не выдумает!

— Ветром из головы выдуло все, что слышал.

— По многим дорогам автор шел, никуда не пришел.

— Ох, и ума же надо, чтобы такую пустяковину собрать!

— Ума не надо, чтобы такие стихи писать. Как клубок ниток напутал — и ладно!

— “Грядущей жизни делает прививку”... А за эту прививку всадить бы писателю в руки вилку и назем ковырять.

— Всадить бы не в руки, а в сраку! Крестьяне платят налог, а государство из него платит вот за такую дрянь. На что и кому эти стихи? Это издевательство над народом!

— Я прямо остервелся. Покою нету! Такой азарт у меня от раздражения, что сейчас бы задушил бы автора собственными руками. Наш брат

целое лето ворочает за один хлеб, а поэт чиркнет — и на сотни рублей! Эти стихи — расхищение государственного достояния. Вот что они значат!

— Ни в какие ворота стих не лезет.

— Взыскать с автора в пользу государства все, что он получил за эти стихи!

— Конфисковать у него все имущество! Да как же? Свинья гряды изроет, и то соседи ругаются, а тут вон какой капитал гибнет!

Общее мнение коммунаров: “Стих ‘на мотив’ «Спекторского» есть особый вид казнокрадства, которое нужно немедленно уничтожить. Чепуха!”¹⁰⁵

Нельзя печатать “похабщину”: “Читая книгу «Железный поток», от начала до конца висит самый беззастенчивый, самый безудержный мат и мат в самых таких безобразных его проявлениях. По-моему, это отрицательная сторона книги, так как молодежь, читая ее, будет учиться, как можно в обычной своей жизни принять такую форму разговора, каковая указана в «Железном потоке», как вполне нормальную и узаконенную”, “Этот грубый недостаток я наблюдал у всех наших современных писателей, или почти у всех”¹⁰⁶, “В ‘Поднятой целине» все правдиво описано... Но очень нехорошие местами выражения. Неужели нельзя выражаться так, чтобы было и весело и не очень похабно? Быть может, там, верно, есть такие мужчины, но эти слова нам, женщинам, очень не нравятся, а главное, все эти слова относятся к женщинам”¹⁰⁷, “кругом идет борьба с хулиганством, а книжки всячески насаждают сквернословие и похабщину”¹⁰⁸, “Лавренев слишком увлекается порнографической стороной и ведет читателя с матросом вплоть до пуховика Аннушки; и дальше, желая точнее описать матроса, употребляет и все время приводит доскональные выражения матроса вплоть до ‘мата’, что, мне кажется, для новой литературы не обязательно; можно хорошо описать матроса и без мата”, “Матам не должно быть места. Мат должен быть выкинут”¹⁰⁹, “Не нравится. Такие девки, как Маруська, не дело делают, а только с мужчинами валяться знают: будто дело и впрямь делают” (крестьянка, 19 л. — о книге Воробьева «Маруська-комитетчица»), “Зачем это только Горький насильников описал. А так бы хорошо” (крестьянин, 18 л. — о рассказе «26 и одна» М.Горького), “Много написано порнографии. Не понравилось” (крестьянка, 22 г.), “Не понравилось. Описывается блуд” (крестьянин, 18 л.), “Стыдно такие книги читать, печатать и в библиотеку покупать” (крестьянин, 18 л.), “Не понравилась. Вторая часть еще гаже первой. Дает вредные советы” (крестьянин, 18 л.) — о книге Калининкова «Моши», “Неприличная книга. Срам. Не понравилась” (крестьянка, 21 г.), “Не хорошо. Не понравилось. Любитесь так по-собачьему приятно, но одного этого мало” (крестьянка, 18 л.) — о книге П.Романова «Без черемухи», “Гулящая баба. Не нравится книжка” (крестьянка, 22 г.), “Не понравилась. Шлюха-

баба. Зачем размазали ее в книге” (крестьянин, 17 л.), “Очень хорошая книга. Такие женщины нравятся. Только нельзя быть в блуде. Это не для чего” (крестьянка, 18 л.) — о «Виринее» Л. Сейфуллиной¹¹⁰, “На заводе ругань, рабочий придет домой, хочет отдохнуть, возьмет книгу, а там опять ругань, куда ни кинься — всюду ругань. Хочется уже отдохнуть от ругани”, “Происхождение ругани в современной литературе — пережиток старого... но нужно эту грубость подавать в таком виде, чтобы она облагораживала нравы”, “Мне кажется, что и так в нашей ‘матушке России’ все по матушке кроют. На одиннадцатом году Революции, как это ни обидно, товарищи, нужно сознаться, что все мы погрязли в мате по уши. Поэтому я думаю, что если читаешь книжку, то хочется почувствовать себя почише. В повседневной жизни все мат да мат, да еще и в книжке слышишь. Поэтому хорошо было бы избегать этой самой порнографии”, “Товарищи писатели! Вы критикуете старых писателей, но вы в них не найдете такой похабщины, какую в ваших произведениях читаешь. Благодаря ваших книг, развратили всю молодежь”, “Товарищи, вы пишете, бывает, такую чубаровщину, что при детях совестно читать”, “Многие писатели занимаются вредной работой, вернее, собирают все больше развратное из половой жизни и преподносят современному читателю в самом соблазнительном виде... вина их в том, что после чтения больше раздражаешься, больше чувствуешь этот ‘смак’ к половой жизни, а не наоборот — не отвращение”, “Я много читал старых русских писателей и скажу прямо, — нашим пролетарским писателям до них еще очень и очень далеко, за исключением немногих идейных, и главная грань в недостатках — это нет такой красочности и художественности, как у классиков; там есть тоже и порнография, но она так зарисована, что ее читаешь, не краснея”¹¹¹.

Любовь должна быть “возвышенной”: “Моя любимая книга — «Овод»... как там хорошо про любовь говорится: какая героическая, высокая любовь! Только так и надо о любви писать. А когда писатель начинает во всех подробностях описывать, как герои целуются, обнимаются, соблазняют друг друга, развратничают, это только наталкивает на плохие мысли. Я знаю товарищей, которые начитаются всего такого и начинают безобразничать... А про такую любовь, как в книге «Овод», хорошо читать. Такая любовь возвышает. Я думаю, что писатель должен обязательно про любовь писать, это разнообразит книгу и не только не портит, но усиливает революционную идею”¹¹².

“Фантастика” и “небылицы” не нужны: “Это утопическая книга. Какой-то чужак прислал с Марса рукопись и там расписано про жизнь марсеян. Одна чепуха” (рабочий об утопии А. Богданова «Инженер Мени»), “Как так — люди летают по воздуху без всяких аппаратов... Много вымысла и несбыточного. Не доказывает факты” (рабочий о «Блестящем мире» А. Грина)¹¹³.

“Пролетарский юмор” — большое достоинство книги: “Читатель, приходя в библиотеку, думает найти книгу легко читаемую, на веселую тему,

со здоровым пролетарским юмором” (рабочий)¹¹⁴, “Очень занимательно и смешно. Читал ребятам. Хохотали до надрыва” (М., 19 л.) — о рассказе С.Подъячева «Случай с портянками», “Еще бы таких, чтобы посмеяться” (М., 19 л.) — о рассказе С.Подъячева «Сон Калистрата Степаныча»¹¹⁵.

Менее всего читатель склонен был выступать в роли просителя необходимой ему “литературной продукции”. Напротив, он чувствовал себя в литературе уверенно — как хозяин, которому “принадлежит искусство”. Сколько бы мы ни вчитывались в читательские отзывы, так или иначе требования читателей к литературе будут сводиться к той или иной из выделенных выше рубрик. В совокупности все эти требования вырастают в стройную эстетическую программу. Это вполне “возможная эстетика” (если вспомнить известную книгу Р.Робэн «Соцреализм: Невозможная эстетика»). Как показала история, эстетика эта не только возможна, но и сама обладает немалыми возможностями уже потому, что строилась *в явном соответствии* с массовым “социальным заказом”.

Адепты новой культуры вполне осознавали необходимость считаться с этими требованиями. Обратимся к брошюре «Какая книга нужна крестьянину», выпущенной БО ГПП в 1927 году после проведения более 300 громких чток в крестьянской аудитории. Здесь содержатся четкие предписания, как и о чем нужно писать для крестьян (вплоть до требования писать простыми предложениями, избегать страдательных глагольных форм и отглагольных существительных, запятые ставить только при перечислениях, а скобки лишь при пояснениях). Прежде всего нам интересны, разумеется, инструкции, касающиеся художественной литературы. Поскольку из беллетристики крестьяне хотят “извлечь пользу” и в лучшем случае видят в ней “поучение”, предлагается обращаться к живым для крестьян темам; поскольку главное в книге для крестьян “правдоподобие”, предлагается избегать маловероятных с обыденной точки зрения сюжетов; “сюжет должен быть построен четко. Побочные моменты, запутывающие основную фабулу рассказа, обычно затрудняют усвоение” (поясняют авторы, используя, впрочем, причастный оборот); “крестьяне любят обстоятельно развитой сюжет. От рассказа требуется последовательность в развитии действия, каждый последующий момент рассказа должен быть оправдан предыдущим”; “отрывки, повести без определенного конца не встречают сочувствия крестьянского читателя. В таких случаях он всегда требует добавления — чем кончилось”; “не следует злоупотреблять грубыми выражениями. Это обычно отталкивает читателя. В частности, читатель-женщина не любит выражений слишком ‘откровенных’”; “крестьянского читателя не удовлетворяет книжка, с начала до конца производящая тяжелое, гнетущее впечатление”; “крестьянский читатель, охотно слушающий ‘смешное’, не всегда понимает юмористику. Здесь необходимо тщательно проследить, какие виды юмора ему наиболее доступны”¹¹⁶.

Был ли придуман “социалистический реализм” Сталиным, Горьким,

Луначарским, стал ли он результатом внутреннего кризиса авангарда, был ли “навязан” искусству именно как эстетика, а не только как свод канонических требований, именно как “руководство к действию”, а не только как доктрина? Определенно можно сказать, что в рассматриваемом здесь феномене содержится *один из мощнейших источников соцреализма*. Нельзя всерьез полагать, что советская официальная критика (как утверждала традиционная советология), руководствуясь только какими-то политическими резонами, требовала от литературы:

— *правдоподобия*: “Требование правды в литературном произведении... одна из отличительных особенностей, отличающих современного советского читателя. Требование правды в искусстве соответствует всему моральному облику советского человека, всему его мировоззрению и мироощущению. Оно, это требование, гармонирует с тем здоровым чувством исторического оптимизма, которое в высшей степени свойственно советскому человеку и позволяет ему преодолеть все трудности и препятствия на его пути... Сопоставление литературы и жизни, или, правильной, пожалуй, будет сказать, понимание литературы как отражения и осмысления той жизни, которой живут сами читатели, — проходит красной нитью почти через все читательские высказывания, через подавляющее большинство читательских писем к писателям”;

— *тотального реализма*: “читатели требуют от художественной литературы — образности, картинности изображения, а не отвлеченных рассуждений; они ждут от нее раскрытия правды жизни в живых, конкретных образах. Всякая же риторика, всякая вычурность, как и всякие формалистические выдумки, идут вразрез с эстетическими вкусами наших читателей, претят им”;

— *последовательности*: “читатели требуют от писателей, — и требуют вполне справедливо, — последовательности в развитии человеческих характеров, безусловной достоверности, строгой мотивированности всех поступков и помыслов действующих лиц. Если такой последовательности и такой достоверности хотя бы в отдельных эпизодах книги читатели не улавливают, то это сейчас же вызывает у них чувство протеста”;

— *“толстых книг”*: “читатели любят толстые книги, фундаментальные произведения... Литературные персонажи из лучших книг советских писателей воспринимаются массовым читателем, как живые люди, в судьбах которых он кровно заинтересован. Оттого читатель испытывает чувство неудовлетворенности, когда к концу книги он вынужден проститься с героями, полными сил и энергии, стоящими на пороге новых трудов и новых подвигов. Оттого-то в читательских письмах то и дело повторяются просьбы к писателям — сообщить, как сложилась дальнейшая судьба их героев, и, если можно, продолжить свое произведение”¹¹⁷;

— *“живых людей”, “полноты”, “законченности”*: “читатель требует полноты в художественном произведении... смысл этого требования — в стремлении к ясности и законченности в обрисовке действующих лиц и их судеб”.

Итак, *читатель требовал социалистического реализма?*

Именно так: “У наших читателей вполне определенные художественные вкусы — они хотят *реализма* в искусстве, реализма *социалистического*, изображения живого человека, действующего и думающего, без натуралистического копания в подробностях физиологического порядка и без зауми, без формалистических фокусов”¹¹⁸.

Советская критика озвучила требования массового читателя, и эти требования почти полностью совпали с требованиями власти. Политическая обусловленность тех или иных кампаний не могла выходить за пределы определенной эстетической нормы, продиктованной массой и принятой властью. Народность является поистине основным принципом соцреализма, и *эстетическая встреча* ее с партийностью составляет действительное эстетическое ядро, главное эстетическое событие соцреализма. Соцреалистический канон во многом порожден читательским “социальным заказом” и лишь оформлен властью, освящен ею действительно во имя читателя. Искусство соцреализма — самонастраивающийся механизм, это, по точному определению Э.Надточия, “машина кодирования потоков желаний массы”¹¹⁹.

Соцреализм прошел между Сциллой “массовой литературы” и Харибдой “элитарной литературы”. Его художественная продукция не укладывается ни в одно из указанных традиционных русел, его стилевая нейтральность (пресловутая “бесстильность”, “серость” соцреализма) — результат этого “третьего пути”. Одни находят в нем продукт совершенного массовизма, другие — результат внутрикультурных мутаций (чаще всего авангарда). Но в нашем случае реальные истоки соцреалистической эстетики не находятся в традиционной “середине” противоположных позиций. Они — не между ними, но в их синтезе. Соцреализм — встреча и культурный компромисс двух потоков — массы и власти.

Правыми оказались советские критики, когда писали в 1934 году, после первого съезда ССП и провозглашения соцреализма, о том, что “отзывы и мнения рабочего читателя являются лучшим подтверждением указаний партии и ее вождя т.Сталина о путях развития советской литературы, о борьбе за творческий метод социалистического реализма”¹²⁰.

Именно так: *лучшим подтверждением.*

“ГОРИЗОНТ ОЖИДАНИЯ” И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Горизонт читательских ожиданий, являющийся одной из фундаментальных категорий, формирующих восприятие литературного произведения, может быть осознан как исходная величина при рассмотрении *читательской ауры эпохи*. Может ли читательская аура послереволюционной эпохи рассматриваться в категориях “органической культуры”¹²¹? Разумеется, мысль о существовании некоей социальной “органики” в

восприятии искусства в каждую определенную эпоху весьма соблазнительна. Но не является ли эта идея лишь рационализацией мифологии и аббераций исторического сознания? И в самом деле, “золотой век” русской культуры — историческая реальность. Однако, лишь часть ее, поскольку этот “золотой век” состоял и из “глухих десятилетий”, он сосуществовал с тяжелейшим экономическим застоєм, идеологическим давлением, произволом властей, отсутствием гражданских свобод, глубочайшей пропастью между европейски образованными верхами и многомиллионными крестьянскими массами, жившими буквально в *другой* культуре¹²². Ясно, что одним век представлялся “золотым” и устроенным, другим — наоборот.

То же можно сказать и о пореволюционной эпохе, которая часто рисуется как демократический “разлив” (идеологический плюрализм, демократизация, расцвет интеллектуальной и художественной жизни). Разумеется, все это и так, и не так: и плюрализм, как известно, был весьма относительным, и демократизация, и художественный расцвет... Как нет культурной органики в каждой эпохе, так нет и некоего “среднего” горизонта читательских ожиданий. И если мы хотим понять советскую, т. е. постреволюционную эпоху, и в ней — феномен советского читателя, нам предстоит ответить на вопрос: на какой социальной среде (с ее эстетическими опытом и вкусами, с ее горизонтом ожиданий) сделала свой выбор история? В принципе, на этот вопрос имеется набор ответов:

- советская культура вернулась к неразвитому вкусу масс;
- советская культура опиралась на вкусы вождей;
- советская культура реализовала авангардный политико-эстетический проект, она явилась продуктом кризиса авангарда.

Эти наиболее распространенные ответы в действительности не противоречат друг другу. Но каждый из них, конечно, не абсолютен. И, напротив, при абсолютизации ни один из них не работает. Так, Б.Гройс полагает, что соцреализм был чужд “настоящим вкусам масс”, но был навязан Сталиным, тогда как вместо соцреалистической доктрины могла быть с тем же успехом принята и внедрена с тем же энтузиазмом фонетическая заумная поэзия в духе Хлебникова и Крученых или живопись в духе «Черного квадрата» Малевича¹²³. Между тем, очевидно, что советская культура не могла — именно в силу опоры на массовый вкус — идти от черного квадрата или от заумной поэзии. Между эгалитарными и элитарными вкусами не было пропасти. Дело в том, что определяющей была не прямая опора на определенный вкусовой уровень, но процесс прямо обратный — опора на постоянно сдвигающийся вкусовой порог. “Неразвитой вкус масс” — феномен не просто исключительно сложный, но — главное — в пореволюционных условиях *динамичный*. Социальная турбулентность — главное препятствие для всякого однозначного решения социального уравнения, состоящего из произведения искусства, социальной элиты и масс.

Советская культура действительно реализовала авангардный политико-идеологический проект, исключительно элитарный в своей генетике. Но одновременно в реализации этого проекта она опиралась на массовую культуру. И речь идет не о “традиционных средствах”, как полагает Б.Гройс, — речь вообще идет в данном случае не о “средствах”, но об удовлетворении определенного горизонта эстетических ожиданий, об опоре на определенный эстетический опыт. Соцреалистическая эстетика в то же время никогда не признавала тезиса об “онтологической элитарности” искусства, на протяжении всей своей истории борясь с ним. Здесь следует иметь в виду, что ленинская теория “двух культур в каждой национальной культуре”, на которую опиралась советская эстетика, была, несомненно, теорией элитарной, и ее вернее было бы назвать теорией “двух элитарных культур в каждой национальной культуре”. “Реакционная культура” не менее элитарна, чем “революционная культура Чернышевского, Добролюбова, Писарева”. Это — одна культурная парадигма. Массовая же культурная парадигма вообще никогда не бралась революционерами в расчет: революция родила суперэлитарное авангардное искусство и всячески боролась с лубочной литературой, изымая Чарскую с тою же непримиримостью, что и черносотенную литературу. Массовый вкус был в равной мере чужд как одной, так и другой культуре. Но и сама эта культура отторгалась массовым вкусом: старое — “хлам”, новое — “непонятная белиберда”.

Другое дело — культура советская, являющаяся голосом власти. Советская власть исключительно прагматична, если не сказать деидеологична. Это прагматика *чистой власти*. Ее стратегией является только логика самосохранения, логика удержания власти. Все идеологические атрибуты советской власти исключительно факультативны. Она легко опиралась одновременно на совершенно разные, часто диаметрально противоположные идеологические доктрины — одновременно на “пролетарский интернационализм” и — “советский патриотизм”, поддерживала “национально-освободительные движения” и — боролась с “национализмом”, “покоряла природу” и — боролась “за экологию”, исповедовала неприкрытый экспансионизм и — “борьбу за мир”, исходила из “отмирания государства” и — всячески его укрепляла...

Было бы, однако, большим упрощением сказать, что она говорила одно, а делала другое: “Сталинский план лесозащитных полос” такая же реальность советской истории, как и “перевоска рек”. Точно так же и культура строилась в соответствии с актуальными потребностями власти (один из основных принципов соцреализма — принцип партийности как раз и требовал от искусства такой “сверхчуткости”). Менялись задачи — менялись и темы. Постоянным оставалось одно — *природа* культуры, власти и массы. Любые социально значимые интенции власти должны быть “разрешены” массой, приняты ее совокупным сознанием, должны найти опору в глубинных структурах ментальности, характерных для данного общества в данный момент. В этом “единстве партии и народа” —

действительная основа советской культуры. Единство власти и массы вынуждают культуру власти быть эгалитарной (хотя любая власть тоталитарного типа создается во имя новых элит), требуя взамен от массы соблюдения ритуала и повиновения. Такое повиновение, как показывает опыт советской истории, все более формализуется — от 1930-х к 1980-м годам, когда уже не требуется “единомыслие”, но происходит овнешнение идеологического ритуала, в результате чего все более расширяется “разрыв между словом и делом”, пространство, заполняемое чистым цинизмом, пока, как в перестроечную эпоху, постройка не опрокидывается вовсе, и Генеральный секретарь является лидером оппозиции... собственной партии, и для сохранения власти готов пожертвовать последними остатками ветхих идеологических одежд.

Продукт советской истории и трансформаций власти, эгалитаризм советской культуры — сложный и далеко еще не осознанный в своей значимости феномен, вбирающий в себя совершенно противоположные культурные пласты — от академических оперных театров с “народными артистами”, архитектурного ампира и придворного портрета до требований “простоты”, “понятности”, “доступности” и “изображения жизни в формах самой жизни”. Причем посещаемость официально освященных оперных театров такова же, как и реальный массовый интерес к официально освященной литературе: Ан.Иванов действительно был одним из самых читаемых авторов в 1970-е годы, также как и «Чапаев» — действительно самым популярным фильмом 1930-х годов.

Советское общество никогда не было, конечно “монолитом”, как утверждали советская официальная доктрина и западная советология. На протяжении всей советской истории в нем шли сложные, часто подспудные социо-культурные, национальные, политические, демографические процессы и расслоения. Как и всякое общество, советское было прежде всего мозаичным. Это в то же время вовсе не означает, что не существовало “органичной советской культуры”. Такая культура, несомненно, была, хотя к границам от центра все более расплывчатая. Точно так же, как был, все более расплывчатый к границам, социальный слой, на который эта культура опиралась. И советский человек, и советская культура — не теоретические абстракции, но и не абсолютные величины. Реальный социальный субстрат, на который советская культура опиралась, аккумулировал массовый социально-исторический и, конечно, эстетический опыт. Феномен, порожденный этим взаимодействием, можно назвать, вслед за В.Воздвиженским, “бедствием среднего вкуса”. Эгалитаризм советской культуры состоял не столько в примитивной опоре на “неразвитой вкус масс”, сколько в *тотальной стратегии усреднения* и пожирания анклавов автономности. Поскольку же массовый вкус есть величина доминирующая, он и в *среднем* сохранял это свое положение. Дальше начинает действовать принцип символического интеракционизма, стимулируемый властью посредством автоматизации, стереотипизации социальных реакций индивида.

Литература (искусство вообще) как социальный институт осуществляет контроль над обществом, поскольку является составным элементом системы социального контроля, а общество имеет тенденцию к трансформации, т.е. подвергается изменению как система в результате возникновения новых отношений между составными элементами или исчезновения отношений, существовавших до сих пор. Модель общества при тоталитарном режиме находится в конфликте с этой естественной тенденцией: здесь не действуют системы самопереналадки. Противоречие снимается властью как единственным реально действующим субъектом в такого рода обществе. Власть, постоянно обновляя свой “идеологический арсенал”, изменяет и формы контроля и нормализации, а с другой стороны, “приводит в соответствие” эти формы и социальные трансформации. Режим не может не заниматься выполнением этих функций, не рискуя потерять контроль и власть над обществом.

Понимание литературы как объективирующей структуры сознания и как средства объективации структуры сознания позволяет увидеть в литературе феномен, заключительная “судьба” которого зависит от способа реципиента реагировать на “литературные раздражители”. В свою очередь, понимание литературы как средства объективации ориентируется прежде всего на *педагогические* возможности литературы.

По точному замечанию румынского социолога литературы Т.Херстения, “произведение определяется не через автора, а через общественные нормы и ценности, от автора независимые, и это неизбежно приводит к тому, что именно общество через произведение определяет и представляет кому-либо статус и роль писателя”¹²⁴. В нашем случае можно говорить о том, что функции “определивателя” выполняет власть, выражающая интенции масс. В общем плане в обществе на литературу воздействуют: имманентное движение литературы, стремящейся развиваться как автономная реальность, по своей собственной логике; движение других видов общественной деятельности, стремящихся использовать литературу для своих целей — развитие по внелитературной логике; стремление всего общества координировать виды деятельности в своих пределах, сочетать и использовать их в соответствии со своими потребностями, с интегральной общественной логикой¹²⁵. В обществе тоталитарного типа происходит деформация всех трех указанных компонентов за счет переподчинения их внелитературной логике. Но все они *педагогизируются*. Распространенный тезис о “политизации эстетики и эстетизации политики” должен быть дополнен фактором педагогизации. Здесь стоит обратиться к незавершенной рукописи Ленина «О смешении политики с педагогикой», написанной им в июне 1905 года. Вождь большевиков говорил о том, что “в политической деятельности социал-демократической партии всегда есть и будет известный элемент педагогики: надо воспитывать весь класс наемных рабочих к роли борцов за освобождение... Социал-демократ, который забыл бы об этой деятельности, перестал бы быть социал-демократом”. С другой стороны, “кто вздумал бы

из этой 'педагогике' сделать особый лозунг, противопоставлять ее политике... апеллировать к массе во имя этого лозунга против 'политиков' социал-демократии, тот сразу и неизбежно опустился бы до демагогии". Ленин сравнивал социал-демократическую партию с "большой школой, низшей, средней и высшей в одно и то же время"¹²⁶. В его сознании педагогика и политика настолько взаимосвязаны, что не могут рассматриваться раздельно. Причем педагогика здесь — начальная школа (азбука), а политика — высшая. Советская культура, вырастая из такой политизированной педагогики, образовала новое политико-педагогическое пространство — педагогизированную политику, проводившуюся, разумеется, и через основные культурные институты, связанные с чтением — школу, издательство, библиотеку.

Советская издательская система представляет интерес для выявления структуры книжного рынка лишь в определенной мере: огосударствление издательской системы привело к ее полной заикленности на власть (в лице Главлита и партийных органов, утверждавших не только тематические планы издательств, но и планы редакционной подготовки рукописей), издательства практически никак не были связаны с потребителем, поскольку ни тиражи, ни цены, ни номенклатура изданий от потребителя практически не зависели (по известному принципу советского книгоиздания: "книги издаются не для того, чтобы их читали"): читательские интересы удовлетворялись лишь в определенной степени, причем одинаковым дефицитом на рынке 1970-х годов (когда спрос хоть в незначительной мере стал влиять на предложение) был и сборник стихов Мандельштама, и «Вечный зов» Ан.Иванова. Образовавшиеся "зазоры" между книгоизданием и читателем гармонизировались школой и библиотекой.

Именно в школе происходило усвоение официальной литературной антологии, формирование которой становится абсолютной прерогативой государства — через подбор книг для издания, определение авторов для серийных и подписных изданий и, конечно, через школьные программы по литературе. Подобная модель сохранялась на протяжении всей советской истории, хотя в постсталинский период общество вступает в эпоху "деидеологизации", когда при сохранении всех идеологических и силовых атрибутов власти происходит постепенная формализация и ритуализация их, начинается медленный дрейф от форм прямого террора и воспитания. Это была новая ситуация чтения — новая по сравнению с предшествующей. Но именно в предсталинской и сталинской эпохе была создана та культурная аура, в которой формировался новый тип читателя и в которой уже содержались все предпосылки последующей его эволюции.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Ал.Толстой. О читателе // Жизнь искусства (Ленинград). 1925. N 27. С. 3-4.
- 2 Ин.Оксенов. Кто он, этот читатель? // Жизнь искусства. 1925. N 29. С. 12.
- 3 Ин.Оксенов. Писатель — критик — читатель // Жизнь искусства. 1926. N 14. С. 9-10.
- 4 В.Блюменфельд. Ответ И. Оксену // Жизнь искусства. 1926. N 14. С. 10-11.
- См. также: Зел. Штейнман. Писатель — критик — читатель // Жизнь искусства. 1926. N 16. С. 6-7.
- 5 Тверяк. Писатель — критик — читатель // Жизнь искусства. 1926. N 21. С. 6-7.
- 6 См.: Жизнь искусства. 1926. N 19.
- 7 См.: Жизнь искусства. 1926. N 21. С. 7.
- 8 В.Блюменфельд. Писатель — критик — читатель // Жизнь искусства. 1926. N 24. С. 6.
- 9 В.Друзин. Ответ Иннокентию Оксену // Жизнь искусства. 1926. N 27. С. 6.
- 10 Мих.Беккер. Читатели и критика. Из бесед с читателями-комсомольцами // Литературный критик. 1933. N 6. С. 150.
- 11 Там же. С. 151.
- 12 Там же. С. 152.
- 13 Там же. С. 152.
- 14 Там же. С. 153.
- 15 Н.Острогорский. Проблемы массовой критики // Земля Советская. 1932. N 4. С. 160.
- 16 Мих.Беккер. Читатели и критика. Из бесед с читателями-комсомольцами. С. 153.
- 17 Там же. С. 154.
- 18 Мих.Беккер. Читатель и критика. Второй обзор // Литературный критик. 1933. N 7. С. 200.
- 19 Там же. С. 202.
- 20 Н.К.Крупская. Библиотека в помощь советскому писателю и литературному критику // Педагогические сочинения в 10-ти томах. Т. 8. М. 1960. С. 410.
- 21 Литература и рабочий читатель (Редакционная) // Жизнь искусства. 1927. N 20. С. 1.
- 22 Там же. С. 2.
- 23 А.Бек. Проблема изучения читателя // На литературном посту. 1926. N 5-6. С. 27.
- 24 П.Болдин. О теакритике и работниках печати в области искусства // Жизнь искусства. 1926. N 26. С. 6-7.
- 25 Адр.Пиотровский. Нужна ли квалификация? // Жизнь искусства. 1926. N 26. С. 7.
- 26 Дм.Мазнин. Знаем ли мы читателя? // На подъеме (Ростов-на Дону). 1932. N 3. С. 121.
- 27 Дм.Мазнин. О массовой рабочей критике // На литературном посту. 1932. N 8. С. 1.
- 28 Там же. С. 3-4.

- 29 Там же. С. 5.
- 30 Там же. С. 7.
- 31 Там же. С. 9.
- 32 Подробные цифровые данные содержатся в кн.: Писатель перед судом рабочего читателя: Вечера рабочей критики. Л.: Изд-во Ленингр. Совета Профсоюзов, 1928. С. 47-48. Данные неполные, т.к. не все союзы представили сведения.
- 33 Там же. С. 4.
- 34 С.Варшавский. На подъеме (Массовая красноармейская критика) // Залп. 1932. N 9. С. 60-61.
- 35 Там же. С. 61.
- 36 В.Левченко. Отзывы рабочих о творчестве донецких писателей // Литературный Донбасс (Донецк). 1935. N 8-9. С. 155.
- 37 Н.Острогорский. Проблемы массовой критики // Земля Советская. 1932. N 4. С. 158.
- 38 М.Беккер. Молодой читатель в роли критика // Молодая гвардия. 1933. N 11. С. 143.
- 39 Там же. С. 143.
- 40 В.А.Асмус. Чтение как труд и творчество // В.А.Асмус. Вопросы теории и истории эстетики. М. Искусство. 1968. С. 57-58.
- 41 См.: Iser W. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore and London: The John Hopkins UP, 1978. P. 294.
- 42 См.: Jauss H.R. Literary History as a Challenge to Literary Theory // Jauss H.R. Toward an Aesthetic of Reception. Minneapolis: Minnesota UP. 1982.
- 43 А.Кравченко. XIV съезд ВКП(б) и политико-просветительная работа // Коммунистическое Просвещение. 1926. N 1.
- 44 Н.К.Крупская. Библиотека в помощь советскому писателю и литературному критику // Педагогические сочинения в 10-ти томах. Т. 8. М. 1960. С. 409-410.
- 45 А.Топоров. Крестьяне о писателях. М. 1982. С.42-59.
- 46 См.: В.А.Салеев. Искусство и его оценка. Минск: 1977. С. 77.
- 47 С.С.Гусев, Г.Л.Тульчинский. Проблема понимания в философии: Философско-гносеологический анализ. М. 1985. С. 81.
- 48 А.А.Брудный. Понимание как компонент психологии чтения // Проблемы социологии и психологии чтения. М. 1975. С. 71.
- 49 А.Топоров. Крестьяне о писателях. М.; Л. 1930. Далее высказывания коммунаров приводятся по этому изданию с указанием в скобках страницы.
- 50 И.А.Есаулов. Читатель и целостность литературного произведения // Читатель и современный литературный процесс. Грозный: Изд-во Ч-ИГУ. 1989. С.16-17.
- 51 В.А.Грехнев. Диалог с читателем в романе Пушкина «Евгений Онегин» // Пушкин: Исследования и материалы. Т 9. М. 1979. С. 106.
- 52 В.И.Чулков. О некоторых особенностях отношений между реальным и идеальным читателем в истории русской литературы // Читатель и современный литературный процесс. Грозный: Изд-во Ч-ИГУ. 1989. С. 41-43.
- 53 С.Крылова, Л.Лебединский, Ра-бе (А.Бек), Л.Тоом. Рабочие о литературе, театре и музыке. Л.: Прибой. 1926. С. 32-33. В дальнейшем отзывы рабкоров о театре и музыке приводятся по этому изданию с указанием страниц в тексте.

54 Отзывы приводятся по: М. Алатырцев. Почва под ногами // Литературный еженедельник (Петроград). 1923. N 8. С. 12.

55 Атмосферу подобных представлений хорошо передал В.Шишков в рассказе «Спектакль в селе Огрызове».

56 См.: С.Крылова, Л.Лебединский, Ра-бе (А.Бек), Л.Тоом. Рабочие о литературе, театре и музыке. С. 56.

57 Там же. С. 60-61.

58 Там же. С. 65.

59 Там же. С. 66.

60 А.Топоров. Крестьяне о писателях. М.; Л. 1930. С. 24.

61 Мих.Беккер. Художественная литература и задачи коммунистического воспитания молодежи // Молодая гвардия. 1933. N 9. С. 135.

62 В.Гюффеншер. О статье Карла Косова и о рабочем читателе // Печать и Революция. 1928. N 3. С. 110.

63 К.Косов. Что читает немецкий рабочий? // Печать и Революция. 1928. N 3. С. 111-112.

64 Отзывы приводятся по кн.: Б.Банк, А.Виленкин. Крестьянская молодежь и книга. М.; Л. Молодая гвардия. 1929. С. 71-72.

65 Отзывы приводятся по ст.: Веже. Что читают. Лицо рабочего читателя // На литературном посту. 1927. N 9. С. 63.

66 Отзыв приводится по ст.: Б.Брайнина. Колхозный читатель о книге // Новый мир. 1935. N 8. С. 263.

67 Там же. С. 262.

68 Отзывы приводятся по кн.: Писатель перед судом рабочего читателя: Вечера рабочей критики. Л.: Изд-во Ленсовпрофа. 1928. С. 9.

69 Отзыв приводится по ст.: Л. Поляк. К вопросу о методике обработки читательских отзывов (Рабочий читатель о «Цементе») // Красный библиотекарь. 1928. N 9. С. 56.

70 Отзывы приводятся по ст.: Б.Брайнина. Колхозный читатель о книге. С. 262.

71 Отзыв приводится по кн.: Писатель перед судом рабочего читателя. С. 69.

72 Отзыв приводится по ст.: Шипов. Рабочий читатель о новой литературе // Журналист. 1927. N 2. С. 49.

73 Отзыв приводится по ст.: Л.Поляк. К вопросу о методике обработки читательских отзывов (Рабочий читатель о «Цементе»). С. 56.

74 Отзывы приводятся по ст.: Б.Брайнина. Колхозный читатель о книге. С. 264.

75 Отзыв приводится по ст.: Веже. Что читают. Лицо рабочего читателя. С. 63.

76 Отзывы приводятся по кн.: Голос рабочего читателя: Современная советская художественная литература в свете массовой рабочей критики. Л.: Красная газета. 1929. С.139-140.

77 Отзыв приводится по ст.: Б.Брайнина. Колхозный читатель о книге. С. 263.

78 Отзывы приводятся по кн.: Какая книга нужна крестьянину. М.: Долой неграмотность. 1927. С. 21-23.

79 Отзыв приводится по ст.: М.Беккер. Молодой читатель в роли критика // Молодая гвардия. 1933. N 11. С. 138.

80 Отзывы приводятся по ст.: А.Меромский. Критическое чутье деревни // На

литературном посту. 1928. N 3. С. 36.

81 Отзыв приводится по ст.: Шипов. Рабочий читатель о новой литературе. С. 48.

82 Отзывы приводятся по кн.: Б.Банк, А.Виленкин. Крестьянская молодежь и книга. С. 76.

83 Отзывы приводятся по кн.: Голос рабочего читателя. С. 10-11.

84 Отзывы приводятся по ст.: Веже. Что читают. Лицо рабочего читателя. С. 61-62.

85 Отзыв приводится по ст.: А.Меромский. Критическое чутье деревни. С. 40.

86 Отзыв приводится по кн.: Писатель перед судом рабочего читателя. С. 80.

87 Отзыв приводится по ст.: Л.Поляк. К вопросу о методике обработки читательских отзывов. Выводы в зависимости от формы // Красный библиотекарь. 1928. N 11. С. 49.

88 Отзывы приводятся по кн.: А.Топоров. Крестьяне о писателях. — М.; Л. 1930. С. 189.

89 Отзыв приводится по ст.: Ал.Исбах. Что читают. О росте рабочего читателя / / На литературном посту. 1928. N 2. С. 37-38.

90 Отзыв приводится по ст.: Шипов. Рабочий читатель о новой литературе. С. 48.

91 Отзывы приводятся по кн.: Б.Банк, А.Виленкин. Крестьянская молодежь и книга. С. 81.

92 Отзыв приводится по ст.: А.Левицкая. Читательская трибуна. Читатель в роли критика // На литературном посту. 1929. N 6. С. 68.

93 Отзыв приводится по ст.: Л.Поляк. К вопросу о методике обработки читательских отзывов. Выводы в зависимости от формы. С. 50.

94 Отзывы приводятся по кн.: С.Крылова, Л.Лебединский, Ра-бе (А.Бек), Л.Том. Рабочие о литературе, театре и музыке. С. 19-20.

95 Там же. С. 26.

96 Отзывы приводятся по ст.: Э.Коробкова, Л.Поляк. Рабочий читатель о языке современной прозы (К постановке вопроса) // На литературном посту. 1929. N 14.

97 Отзыв приводится по кн.: Писатель перед судом рабочего читателя. С. 14.

98 Отзыв приводится по ст.: Веже. Что читают. Лицо рабочего читателя. С. 64.

99 Отзывы приводятся по кн.: Б.Банк, А.Виленкин. Крестьянская молодежь и книга. С. 75-76.

100 Отзыв приводится по ст.: Шипов. Рабочий читатель о новой литературе. С. 48.

101 Отзыв приводится по ст.: А.Меромский. Критическое чутье деревни. С. 38.

102 Отзывы приводятся по кн.: Писатель перед судом рабочего читателя. С. 12.

103 Там же. С. 76.

104 Отзыв приводится по ст.: Н.Константинов. Говорит читатель // Литературный современник. 1934. N 6. С.185.

105 Отзывы приводятся по кн.: А.Топоров. Крестьяне о писателях. — М.; Л. 1930. С. 267-269.

106 Отзывы приводятся по ст.: Э.Коробкова, Л.Поляк. Рабочий читатель о языке современной прозы (К постановке вопроса). С. 61-62.

107 Отзыв приводится по ст.: Б.Брайнина. Колхозный читатель о книге. С. 265.

108 Отзыв приводится по ст.: Шипов. Рабочий читатель о новой литературе. С. 48.

109 Отзывы приводятся по кн.: Голос рабочего читателя. С. 91, 112.

110 Отзывы приводятся по кн.: Б.Банк, А.Виленкин. Крестьянская молодежь и книга. С. 77-78.

111 Отзывы приводятся по кн.: Писатель перед судом рабочего читателя. С. 13, 14, 70, 72, 74, 75, 79-82.

112 Отзыв приводится по ст.: Б.Брайнина. Колхозный читатель о книге. С. 265.

113 Отзывы приводятся по кн.: С.Крылова, Л.Лебединский, Ра-бе (А.Бек), Л.Том. Рабочие о литературе, театре и музыке. С. 24.

114 Отзывы приводятся по ст.: Веже. Что читают. Лицо рабочего читателя. С. 65.

115 Отзывы приводятся по кн.: Б.Банк, А.Виленкин. Крестьянская молодежь и книга. С. 80.

116 Какая книга нужна крестьянину. С. 22-24.

117 В 1928 году бакинский журнал «Труд» объявил даже конкурс среди читателей на лучшее окончание романа С.Семенова «Наталья Тарпова», сообщив, что лучшие варианты будут премированы, опубликованы и отосланы автору (См.: Труд (Баку). 1928. N 3. «Страничка рабочей критики»).

118 «Требования критики» приводятся по ст.: Г.Ленобль. Советский читатель и художественная литература // Новый мир. 1950. N 6. С. 209, 218, 220, 223, 224.

119 Э.Надточий. Друк, товарищ и Барт (Несколько предварительных замечаний к вопрошению о месте социалистического реализма в искусстве XX века) // Даугава (Рига). 1989. N 8. С. 115.

120 А.Иванов, Л.Нернец. Советский читатель об оборонной художественной литературе // Залп. 1934. N 11. С. 34.

121 См.: Leavis Q.D. Fiction and the reading public. London: Chatto and Windus. 1955.

122 См.: Brooks, Jeffrey. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861-1917. Princeton, 1985.

123 Б.Гройс. Соцреализм — авангард по-сталински // Декоративное искусство СССР. 1990. N 5. С. 35.

124 Цит. по.: В.Ф.Пресс. Херстенъ Т. Социология литературы в Румынии. Некоторые аспекты // Социология художественной литературы в современном зарубежном литературоведении. М.: ИНИОН АН СССР. 1976. С. 51.

125 См.: Там же. С. 66.

126 В.И.Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5-ое. Т. 10. С. 357-359.

ЗАГОТОВКА ЧИТАТЕЛЕЙ

(ШКОЛА И ИДЕОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ)

Скорее возможна заготовка читателей...

Осип Мандельштам

1

Школа является одним из ключевых социальных институтов чтения. На различных возрастных ступенях развития читателя различные институты выдвигаются на первый план. Если для взрослого массового читателя таким институтом в советских условиях являлась библиотека, то для “юного читателя” — “семья и школа”.

Роль семьи в формировании советского читателя (имея в виду по крайней мере довоенный период — 1920-30-е годы) не была ключевой. Семья утратила свое “читателеформирующее” значение в советское время по ряду причин. Основной из них является расширение социальной базы читателей-детей. Если до революции эта группа включала в себя в основном детей города, то в послереволюционное время с процессом разрушения культурной инфраструктуры города и притоком в него огромных сельских масс происходит изменение роли семьи в воспитании читательских интересов детей. “Интеллигентские дети”, дети городских культурных элит занимают все меньше места в советской школе, возможности и условия в элитных семьях для формирования в ребенке интереса к книге и круга чтения уменьшаются (часто прямо пропорционально уменьшению жилой площади и “уплотнению” городских квартир, когда для книг просто не остается места). В новых социальных группах города — прежних массах сельского населения — и вовсе отсутствовала традиция приобщения ребенка к книге, а тем более целенаправленного формирования круга его чтения.

Важную роль здесь сыграло состояние книжного рынка. Хаос первых послереволюционных лет, а затем формирование единой идеологии литературы оказали прямое воздействие на структуру книгоиздания (соотношение нового и переиздаваемого, отечественного и зарубежного, приоритетных отраслей знания, тем, жанров, авторских имен и пр.). Книжный рынок, стремительно изменяясь в 1920-30-е годы, формировал и соответствующий круг чтения, отсекая одни читательские группы (в том числе и детские) и формируя новые.

Разумеется, школа выполняла в этих условиях структурирующую фун-

кцию. По сути, круг детского чтения (если видеть здесь не только элитные группы, но именно “массового детского читателя”) формировался школой. Школа всегда выполняет функции идеологического центра, но в советских условиях ее нормирующе-контрольная функция выделена, обнажена. Это и функция синтезирования различных фрагментов “художественной жизни общества”, собственно функция культурного центра: “Искусство все больше входит в жизнь города и деревни. Кино, радио, телевидение, граммофонные пластинки с записью классической и советской музыки, репродукции картин выдающихся художников знакомят людей, живущих в самых отдаленных уголках нашей страны, с лучшими произведениями искусства. Эти средства популяризации искусства одновременно содействуют и эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Однако известно, что они оказывают на молодежь достаточно глубокое воспитательное воздействие только в том случае, если отбором художественного материала руководит школа, если школа воспитывает у учащихся способность правильно судить о произведениях искусства, правильно оценивать и в меру своих сил анализировать содержание и выразительные средства этих произведений...”¹

Эти системообразующие функции советской школы вытекали из доминирования в ней воспитательных задач над образовательными. Стратегия воспитания всегда шире (и в этом смысле всегда более террористична) стратегии обучения. Но в то же время воспитательная функция более центрирована, поскольку апеллирует к эталону, норме (идеологической, эстетической), тогда как образовательная функция, напротив, обращена на обучаемых прежде всего. В этом нормативном центре литературе принадлежала ведущая роль. Разумеется, подобная литературоцентричность была рождена не в советскую эпоху, но имела в России огромную традицию, восходящую по крайней мере к идеологии литературы у шестидесятников прошлого века.

При всех социальных пароксизмах, сотрясавших российское общество на протяжении прошедших полутора веков, этот статус литературы не был поколеблен. Попытка слома прежней литературной антологии в постреволюционную эпоху наиболее радикальными адептами новой культуры оказалась интегрированной в процесс “культурного строительства” и, таким образом, послужила лишь укреплению статуса литературы как “общественной трибуны”, “поучения” и “приговора”, “фактора воспитания” и т.д. На этом пути дороги школы и литературы в советскую эпоху не просто пересеклись, но определенно слились. Едва ли не первыми увидели эту общность пути еще в 1920-е годы рапповцы с их болезненным интересом к “организационным формам” литературной политики: “в годы наибольшей восприимчивости, в годы формирования интеллекта и эмоций роль художественного произведения как фактора социального воспитания громадна... Школа может и должна научить пользованию художественным произведением как идеологическим орудием! Если вдуматься в эту громадную задачу школьного литературного преподава-

ния, то делается ясным, что школьный фронт должен быть рассматриваем как один из фронтов литературной политики”².

Произошло, разумеется, обратное: в условиях слияния всех фронтов в единый советский “культурный фронт” литература была интегрирована школой “для целей коммунистического воспитания подрастающего поколения”. При этом задача школы как центра подготовки читателя осознавалась в советское время исключительно четко: “В сущности, литература должна подготовить из подростка сознательного пролетарского читателя. Таким образом обеспечивается пролетарской литературе широчайший читательский охват, обеспечивается вовлечение и контроль широчайших читательских масс в строительстве пролетарской культуры”, — писал рапповский критик³. Со временем произошла лишь замена классового вектора характеристики читателя на общесоветский: “Миллионы и десятки миллионов читателей готовит школа. Доходя до их сознания, воспитывая их волю, проясняя их жизненные цели, литература и обретает свою общественную силу. Эта сила тем значительнее, чем вернее принципы оценки литературы, которыми располагает читатель, чем полнее усваивает он те идеи и образы, которые несут к нему советские писатели. Подготовка таких читателей — задача школы”⁴.

При всех трансформациях школьной системы в целом сохранился характер задач, которые ставились перед преподаванием литературы в советской школе: “Ведущим положением художественной литературы среди других видов искусства обуславливается то, что задача эстетического воспитания школьников, сущность которого заключается во всемерном развитии способности правильного восприятия и понимания прекрасного в жизни и искусстве, решается главным образом на занятиях по литературе... Целью преподавания литературы в школе является идейно-эстетическое и нравственное воспитание учащихся”⁵. Отсюда — соответствующее понимание литературы: “В VIII классе должны быть обобщены сведения о литературе как форме отражения жизни и средстве идеологической борьбы... В IX классе — о литературе как форме отражения действительности и оружии общественно-политической борьбы... В X классе — о литературе в борьбе за построение коммунистического общества”⁶. Понимание литературы как “формы отражения борьбы” не было рождено, разумеется, школой, но восходило, с одной стороны, к “марксистско-ленинской эстетике” (в частности, к “ленинской теории отражения”), а с другой, питалось соответствующим уровнем массового восприятия литературы, о чем выше шла речь. В этом “отражательном” синдроме парадоксальным образом слились

— интеллигентская, идущая из XIX века, традиция взгляда на литературу как на средство идеологической борьбы;

— утилитарный подход новой власти к литературе как к средству воспитания масс;

— оптика чтения самих масс.

Советская школа оказалась не только аккумулятором российской тра-

диции, но и ретранслятором, постоянно воспроизводящим “прагматический реализм” власти и “наивный реализм” масс, вполне соответствовавший конкретно-образному мышлению ребенка. Но не на пересечении ли этих двух “реализмов” рождается соцреалистический реализм?

Еще в 1920-е годы, на стадии наиболее явного “обнажения приема”, эти “новые задачи” и соответствующие им “методы обучения” формулировались совершенно прямо. То, что впоследствии осуждалось как “наивный реализм”, в 1920-е годы называлось “методом естественных восприятий”. Согласно этому методу, например, ученики должны были уже “после прочтения нескольких страниц «Дубровского» понять неизбежность конфликта между Дубровским и Троекуровым и его трагическую развязку”. Следовало “вместе с учениками из посылок самой жизни сделать заключения. Чем правдивее, естественнее будет осмысление жизни, тем неизбежнее, логичнее будут вытекать для вас художественные выводы писателя. Нужно только держать внимание учащихся в плоскости жизненно-правдивых переживаний”. Утверждалось, что подобный метод “гармонирует с основным свойством нашей художественной литературы — умеренным реализмом”⁷.

Позже, когда произошел отход от “вульгарного социологизма”, точнее, когда примитивный марксистский классовый детерминизм был интегрирован в “советскую эстетику”, постулировалось положение, согласно которому “эстетическим началом художественного произведения нельзя пренебрегать”, но... “советская школа стремится развивать у подрастающего поколения эстетические вкусы именно на основе понимания причин и следствий прекрасных и безобразных вещей и явлений действительности”⁸. Этот метод чтения “сквозь литературу” имел именно воспитательные цели: “Школа должна выпустить культурного читателя, умеющего понять художественное значение литературного произведения, применить к жизни это понимание. От уровня тех масс читателей, которых выпускает школа, во многом зависит и сила общественного воздействия литературы. Именно на этом основана ответственность, которая лежит на всех тех, кто выполняет высокую общественную задачу — несет советскую литературу в школу”⁹.

По сути, *школа институционально оформляет круговорот литературы и жизни, прокламируемый соцреализмом, “общественно-преобразующую функцию советской литературы”*. Важно отметить, что соцреалистический круг в рецептивном измерении действительно замкнут. Как показала в своей книге «Восприятие художественной литературы школьниками» О.Никифорова, советская литература проходит в школе “полный цикл”, фактически *полностью исчерпывая* свои потенциалы. Установка школы на то, что “роль советской художественной литературы в формировании понимания действительности состоит главным образом в содействии синтезированию и обобщению юношеством своих знаний и отношения к действительности в цельное мировоззрение”¹⁰, не была, конечно, только извне идущим импульсом. Сам “учебный материал”

практически завершал процесс “синтезирования мировоззрения” именно на уровне школьного возраста. И действительно, если о романе Н.Островского «Как закалялась сталь» можно определенно сказать, что “на младших школьников особенно воздействуют события и поступки героев этой книги, на учащихся средних классов больше воздействуют характеры этих героев и внутренняя линия их поведения, а на учащихся старших классов — мысли о жизни и переживания этих же героев”¹¹, то, разумеется, ничего подобного нельзя сказать о романах Достоевского или Л.Толстого. Исчерпанность цикла восприятия советской литературы в школе прямо связана с возрастным порогом восприятия, с одной стороны, и с возможностями, заложенными в тексте, с другой. Роман Н.Островского в принципе и предполагает детского читателя — либо ребенка, либо инфантильного взрослого, который “на всю жизнь связывает свой идеал человека с образом героя, идеализированным им чаще в среднем школьном возрасте. Этот образ становится для него средством обобщения всего идеального в человеке. В своем поведении он руководствуется мыслью о том, как бы на его месте поступил бы этот герой. Именно таким идеалом был Павел Корчагин для Олега Кошевого”¹². Порог восприятия литературы детским и взрослым массовым читателем, подобным описанному выше, по большинству параметров един.

Здесь возникает более широкая проблема — о соотношении “детской” и “взрослой” литературы. Один из ведущих советских методистов М.Рыбникова так рассуждала на сей счет в 1934 году, когда советская школа оказалась на руинах “классического наследия” после многолетних революционных экспериментов: “«Робинзон» писался не для детей, также и «Гуливер» и «Дон-Кихот», но они стали классическими детскими книгами (в переработках). В дореволюционное время читались усиленно исторические романы Загоскина и Лажечникова, тоже писанные не для ребят; «Капитанская дочка», «Дубровский», «Вечера на хуторе», басни Крылова, «Муму» Тургенева, «Хаджи Мурат» Толстого, «Каштанка» и «Ванька» Чехова и десятки других книг — все это писалось не для детей, но все это стало ‘собственностью’ хрестоматий и сборников, издаваемых для ребят. Переход взрослой литературы в детскую делается иногда мгновенно. Так в наши дни все ребята зачитываются «Цусимой», так воспитатель молодого Тургенева рассказывал мальчикам в пансионе в течение ряда вечеров только что вышедшего «Юрия Милославского»... Иногда общая литература спускается к детям через некоторый промежуток времени, причем не теряя своего места среди взрослой аудитории. Таковы «Капитанская дочка», «Муму», «Ванька», таков Диккенс, Купер, Дефо и т.д.”¹³. Характерно, однако, что быстрее всего в круг детского чтения спускается именно массовая литература — от Лажечникова и Загоскина в XIX веке до Новикова-Прибоя в 1920-е годы. Исторический отрезок, отделяющий переход массовой литературы в круг чтения детей не равен времени перехода текстов Тургенева, Л.Толстого или Чехова. Здесь следует учитывать и то обстоятельство, что эти последние приходят к детям

в адаптированном виде, и их интерпретация для детей заведомо не исчерпывает их. Тогда как массовая литература (а с ней и вся “советская классика”) почти полностью доступны для детского восприятия. Что же касается интерпретации советской литературы, то здесь следует говорить, очевидно, не о глубине или оригинальности такой интерпретации, но о ее соответствии ключевым интерпретационным установкам. Именно поэтому, требуя улучшения преподавания советской литературы в школе, советские методисты постоянно настаивали на том, что “именно в изучении теоретико-литературного курса (в основе которого — ключевые понятия соцреалистической эстетики. — *Е.Д.*) лежит путь к наиболее глубокому усвоению богатейшего художественного содержания советской литературы”¹⁴.

И здесь нам предстоит остановиться на базовой категории советской школы в ее “работе по формированию многомиллионного советского читателя” — на понятии “классика”, содержащем основной набор официальной антологии и отразившем в своей трансформации в советское время динамику идеологии литературы.

2

Ретрансляция официальной литературной антологии является одной из важнейших социальных функций школы. Закрепленный школой набор писательских имен и отобранных текстов для многих является исходной и, в сущности, конечной точкой познания литературы. Однако понятие “классика”, ставшее в советское время нормативной основой, ценностным эталоном и стандартом для оценки литературного качества, имеет в российских условиях свою специфику, а в постреволюционную эпоху достигает, по точному определению Б.Дубина, “максимальной смысловой чистоты, функциональности и безальтернативности”. Самое понятие классики, безжалостно третировавшееся адептами революционной культуры от ЛЕФа до Пролеткульта, предстает в советскую эпоху в качестве “реестра фигур, текстов и норм их интерпретации, отобранных и препарированных (вплоть до отрывков и цитат) на самом высоком (социетальном) уровне общества, от лица его верховной власти, в расчете на практически всеобщую аудиторию”¹⁵. Соглашаясь с мыслью Б.Дубина о том, что к массам был обращен образ классики, рожденный советскими интеллигентскими элитами, “миссионерски-декретируемой сверху и образующей фундамент просветительской роли интеллигенции”¹⁶, остановимся на специфически школьном, “читателеформирующем” аспекте проблемы. Для этого нам предстоит обратиться к истории программ по литературе в советской школе, поскольку именно школьная программа представляет собой практически заверченный образец официальной литературной антологии и одновременно раскрывает перед нами историю превращений “классики” в советскую эпоху.

Новый пантеон русской классики начинает складываться в школе в

середине 1860-х годов, когда рядом с Кириллом Туровским и Симеоном Полоцким, Ломоносовым, Державиным, Карамзиным появляются Грибоедов, Пушкин, Гоголь⁷. В 1903 году в школу пришли Тургенев, Л. Толстой, Некрасов, Островский. Следует учитывать, однако, что дореволюционная школа не была “литературоцентричной”, и потому литература занимала здесь довольно скромное место: “Согласно действующему плану, — читаем у известного дореволюционного методиста Ц. Балатона, — церковно-славянской грамоте, церковному пению и закону божьему отводится преобладающее место — 12 часов в неделю; на все остальные предметы — русский язык, чистописание и арифметику — остается только 15 часов. Но так как из них 8 часов, назначаемые на русский язык в трех отделениях, должны иметь в себе и все элементы естествознания, географии, истории и художественного чтения, то ясно, что распределение учебного материала крайне неравномерно. Главный вред такого ‘примерного’ распределения состоит в том, что оно придает учебной системе начальной школы профессионально-церковный характер”¹⁸.

Между тем, реальной секуляризации школы, как известно, так и не произошло: после революции началось ее огосударствление и переподчинение новой доктрине. Эта новая доктрина также не предполагала расширения места литературы в школе. Напротив, ранние советские программы, менявшиеся едва ли не ежегодно, представляют собой образцы удивительной непоследовательности (позже это будет названо “левацкими шараханьями”), в полной мере отражавшей динамику пореволюционного десятилетия.

Первые советские программы по литературе 1919 года являлись фактической переработкой дореволюционных программ и не вносили в них практически ничего нового, но уже начиная с программы 1923 года революционная концепция литературы обнаружила себя в полной мере: эти программы вообще игнорировали курс литературы в старших классах, поэтому в различных школах каждый читал что хотел: в одних школах фольклор, в других — символистов, в третьих — древнерусскую литературу. Так продолжалось недолго: уже в 1925 году происходит систематизация курса, и литература превращается в иллюстративный предмет, дополняющий обществоведческие дисциплины. В 1927 году под руководством В. Переверзева создаются новые программы, куда возвращается классика, но, как потом выяснилось, “вульгарно-социологически” интерпретированная. Программы 1930/31 года обнаруживают другой перевес: в школе предлагается изучать едва ли не одних современных писателей. Наконец, к 1932 году складывается “диалектическая” концепция литературы в школе.

В методической записке к программам 1932 года читаем: “Исключить классиков из наших школьных программ по литературе нельзя. Это значило бы обнаружить полное непонимание задач изучения литературы. Классическая литература художественными средствами даст возможность широкого познания прошлой жизни. Она помогает нам восстано-

вить обстановку прошлого — жизнь и борьбу классов, их идеалы, и таким образом дает нам возможность понимать глубже исторические явления и расширять наш кругозор. Классическая литература своими художественными средствами, несомненно, поможет учащимся и лучше понять нашу современность и включиться в социалистическое строительство. Яркими картинами исторического прошлого, а в отдельных случаях и своей революционностью и разоблачением капиталистического строя, литература расширит наш кругозор и сыграет большую роль в подготовке членов коммунистического общества”¹⁹.

Этот акафист классике родился после многолетних “уклонов, ошибок и шатаний”, которыми “переболела” советская школа в революционную эпоху. Не следует при этом думать, что “реабилитация классики” стала только знаком новой, реставраторской постреволюционной идеологической доктрины. Разумеется, сам поворот к канонизации “народного прошлого” и возврат классики в школу в высшей степени культурно значимы. Но значимо и то, что этот поворот стал едва ли не единственным выходом из того тупика, в который завело школу революционное экспериментаторство. Это заставляет пристальнее взглянуть на “превращения” литературы в советской школе послереволюционного пятнадцатилетия.

В программах 1923, 1925, 1927, 1930 годов доминировал так называемый иллюстративный принцип, сводивший литературу к дополнительному чтению по обществоведческим дисциплинам. Так, основная тематика литературного курса для 5-7 классов (дети в возрасте 11-13 лет) по программам 1925 года выглядела следующим образом: «Крестьянин и помещик», «Крестьянские восстания», «Классовые противоречия в городе», «Труд и быт рабочих» и т. д.

Внутри этих тем имела своя градация. Например, основной заголовков общей программы: “Обществоведческие темы”. Для 7 класса: “Обмен между городом и деревней”. Соответствующая тема по литературе: “Город”. Литературный материал: «Медный всадник» Пушкина, «Город желтого дьявола» Горького, «Город-спрут» Верхарна, «Вечерний прилив» Брюсова, «Сломанные заборы» Полетаева.

Следующая обществоведческая тема: “Организация основных отраслей нашей промышленности и их развитие”. Тема по литературе: “Труд и быт рабочих: а) зависимость быта и техники рабочего от формы производства; б) отношение к труду у рабочего, поработанного капиталом”. Соответствующий литературный материал: произведения Серафимовича, Куприна, Синклера, Келлермана, Горького, Успенского, Некрасова.

Объяснительная записка так трактовала взаимосвязь литературы и обществоведения: “Изучая одно и то же явление общественной жизни, обществовед и словесник в центре своего внимания держат различные стороны его: первый останавливается преимущественно на экономике и политике, второй — на быте и психологии; поэтому рядом с колонкой

обществоведческих тем должна быть поставлена колонка тем литературных, логически связанная с первой”²⁰.

Собственно, говорить о курсе литературы в школе в 1920-е годы не приходится. Литература утратила здесь не только статус автора (произведения одного и того же писателя “разбивались” по темам и в таком виде “сопровождали” соответствующие обществоведческие разделы программы), но и внутренний ценностный статус (когда рядом с «Медным всадником» Пушкина идут «Сломанные заборы» Полетаева, равно иллюстрирующие тему “Город” в общем разделе “Обмен между городом и деревней”).

Леворадикальная интеллигенция, оказавшаяся после революции фундатором новой идеологической линии, отказавшись от классики, сам корпус которой был сформирован шестидесятниками, заняла позицию, которая уже в советскую эпоху будет определена как “ликвидаторская и левацкая по отношению к классическому наследию”. Марксистские обществоведы подобрали классику, сброшенную радикальными деятелями новой литературы, вернув ее на “корабль современности”, но уже, разумеется, не как литературу. “Использование классического наследства” и его “переработка в целях классовой борьбы пролетариата” были поняты как необходимость иллюстрировать литературой те или иные аспекты “борьбы классов” (скажем, «Углекопы» Золя — “Быт и стачка шахтеров”, «Сон Обломова» — “Быт помещичьей усадьбы” и т.д.). В результате литература не только утратила свой статус как самостоятельный предмет, но и полностью нивелировалась ее специфика, понятие целостности художественного текста, самое понятие литературного произведения, эволюция творчества писателя, стиралась, наконец, сама грань между литературой и нелитературой (когда приходилось иллюстрировать темы типа “Текстильная промышленность” или “Мастерская ремесленника”, а литературы в этих целях не доставало, в дело шла рабселькоровская литература, рабочие газеты и альманахи). Идеологом этих первых советских программ и автором предисловий к ним был главный марксистский историк М.Покровский.

Поворот от подобного радикализма произошел в 1925/26 учебном году и был закреплен в “Государственных программах 1925 года”. С тех пор и вплоть до начала 1930-х годов литература в школе практически полностью оказывается в руках влиятельной школы литературоведов-марксистов во главе с В.Переверзевым.

Методическая концепция Переверзева, объявленная впоследствии “вульгарно-социологической”, основывалась на создании “тематических комплексов”. Литература возникала вновь, но теперь как более самостоятельная иллюстрация. Например, к комплексной теме “Крестьянский труд и его влияние на быт и идеологию деревни” шли литературные подтемы, в которых оказывалось все — от пословиц, загадок, сказок и былин до произведений Некрасова, Вольнова и Неверова. Если раньше литературы вовсе не было как самостоятельного предмета, то теперь

она появлялась, но лишенная всякой хронологии. Обосновывалось же такое “тематическое комплектование” следующим образом: “Правильно построенный комплекс есть лучший способ создать, воспитать материалистическое монистическое миропонимание у учащихся. Последние убеждаются в монизме всех явлений жизни, в органической связи между всем существующим... Если учащиеся изучают фабрику, причем при ее изучении органически спаялись все дисциплины школьного курса, словесник должен помочь воспринять эту фабрику в ее эмоционально-эстетическом плане. Помочь средствами художественного слова почувствовать грохот и шум фабричной работы, спаянность рабочего коллектива, вчувствоваться в ‘душу’ завода и этим помочь коммунистическому мироощущению учащихся”²¹.

Согласно переверзевской концепции, история русской литературы XIX века выглядела в школьном изложении следующим образом: 1. Литературный стиль русской аристократии эпохи нарастания торгово-промышленного капитала (Грибоедов, Пушкин, Лермонтов). 2. Литературный стиль русского мелкопоместного дворянства эпохи нарастания торгово-промышленного капитала (Гоголь). 3. Стиль русского среднепоместного дворянства середины XIX века (Тургенев). 4. Литературный стиль русского крупнопоместного дворянства второй половины XIX века (Толстой). 5. Литературный стиль середины XIX века (Достоевский). 6. Литература поднимающейся крупной торгово-промышленной буржуазии (Гончаров). 7. Литература русской мелкой буржуазии конца XIX века (Чехов)²². Отвлекаясь здесь от самой историко-литературной концепции Переверзева, отметим лишь ее школьно-методический стержень: опору на “тему”, “детерминизм поведения персонажей”, перво-степенный интерес к “общественной позиции автора”, по сути, навсегда сохранившиеся в советской школе.

Отказ от переверзевского “вульгарного социологизма” вызрел, разумеется, не в школе, и даже не в литературных элитах, но стал лишь одним из знаков смены идеологических векторов, происшедших на вершинах власти. Отказ от марксистского классового детерминизма хотя и вылился в шумную кампанию борьбы с “переверзевщиной”, но ничего нового взамен не породил. Школа и вовсе не была готова к резкой смене 1929-30 годов, что в полной мере отразилось в школьном программотворчестве 1930-33 годов. Попытка отказа от социального детерминизма переверзевского образца с сохранением тематического уровня интерпретации текста породила странные гибриды школьных программ по литературе начала 1930-х годов.

Так, в 1930 году появляются программы по литературе для рабфаков, в которых вся литература делится на пять “специальных уклонов”: индустриально-технический, сельскохозяйственный, медицинский, социально-экономический и педагогический. Согласно этой тематической градации, например, «Лес» А.Островского рекомендовалось проходить на сельскохозяйственном, а «Грозу» — на медицинском и индустриально-

техническом уровнях. К “медицинскому уклону” отнесены были... «Уездный лекарь» Тургенева и «Дядя Ваня» Чехова, стихотворение Некрасова «В полном разгаре страда деревенская» (на том основании, что в нем есть строка: “Баба порезала ноженьку голую”). К “педагогическому уклону” — «Человек в футляре» Чехова. Тот же принцип был реализован и в программах по литературе для фабрично-заводских школ-семилеток, и для техникумов, и для школ фабзавуча²³.

В основе подобного программотворчества лежала попытка преодоления переверзевского “вульгарного социологизма”. Но критика переверзевских программ в начале 1930-х годов не могла быть ни последовательной, ни полной уже потому, что несла в себе чистую негацию (фактическое отрицание марксистской ортодоксии): новая идеологическая линия уже определенно реставраторского характера будет сформирована лишь к середине 1930-х годов. Пока же эта критика была по необходимости схоластичной. Рапповцы критиковали программы Переверзева за то, что он требует видеть в «Евгении Онегине» и «Герое нашего времени» “явления литературного стиля русской аристократии эпохи нарастания торгово-промышленного капитала”, но тут же утверждали, что “Пушкин не только отражал, но и наносил удары, он в области искусства выполнял задачи, в какой-то мере аналогичные тем, которые в политике ставились и выполнялись декабристами”, что “борьба литературных группировок, в сущности говоря, была борьбой классов или классовых группировок, но она велась именно в литературных терминах” или что “литературная среда — по существу особое проявление классовой борьбы, особый фронт классовой борьбы”. Рапповцы видели в школе не только особый “фронт борьбы за нового читателя”: “если школьное воспитание вообще признается одним из могущественных орудий политики, то и литературное воспитание должно рассматриваться как часть литературной политики”²⁴. В самом начале 1930-х годов это были еще только пожелания. Литература еще не заняла своего места в новой системе. Она приобрела его только к середине 1930-х годов, когда каркас нового идеологического здания советского государства стал виден в полной мере.

Возведение этого здания с середины 1930-х годов, в пост-”реконструктивный период”, шло уже полностью под знаком литературоцентричности. Никогда литература не занимала столь важного места в российской школе, как в зрелую советскую эпоху. Более того, теперь предлагалось “освободиться от отношения к литературе как к пособию для обществоведческих бесед. Нужно искать путей и методов работы над художественным произведением для целей воспитательного порядка, но методами, которые подсказываются самим материалом, т.е. художественной литературой”²⁵.

Начиная с 1933 года государственными программами литературе полностью возвращается самостоятельный статус, а сам курс литературы вновь становится хронологически выдержанным. По сути, отказавшись

от “вульгарного социологизма”, советская школа вернулась к позитивистской историко-литературной схеме, к той самой “истории генералов” (по точному определению Ю.Тынянова), с которой боролась революционная культура. Рапповский лозунг “учебы у классиков” был воспринят советской культурой, и в 1936 году, спустя всего четыре года со времени роспуска РАППа, озвучен газетой «Правда» в специальной передовой статье «Привить школьникам любовь к классической литературе»²⁶. Эта статья стала “последним ударом по вульгарному социологизму” (точнее, по ортодоксально-марксистскому истолкованию русской классики). Теперь ставилась задача не просто “научить”, но и “привить любовь”, поскольку, как объясняла «Правда», “вульгарные социологи, извращенно толкующие произведения классиков, отбивают охоту у школьников изучать классическую литературу”. Классика предстает в новой интерпретации «Правды» как сияющая вершина, подходить к которой необходимо с пietetом. Красивости (типа “художественные произведения классиков живым дыханием жизни и биением горячего человеческого сердца могут помочь нашей молодежи...” и т.д.) означали окончательное затверждение классического канона.

Принципиальных изменений в школьных программах по литературе последующих лет не произошло (не считая “ввода” и “вывода” ряда имен и произведений). Напротив, канон “классики” только твердел. Достаточно вспомнить о том общем фоне, на котором происходило формирование этого канона: торжественные, на высшем государственном уровне чествования юбилеев Пушкина (1937), Руставели (1938), Шевченко (1939), Маяковского (1940). На школу теперь были полностью возложены функции ретранслятора официального литературного канона, ведь “искусство слова (равно как и другие виды искусства) признано великой культурной силой, лучшие писатели поняты как борцы за обновление человечества, чьи гениальные творения поставлены перед трудящимися во всем блеске их силы и влияния”²⁷.

Говоря о судьбе литературы в советской школе, следует учитывать прежде всего то обстоятельство, что именно в программах отразился характер смены официальной литературной антологии и в целом — идеологии литературы, но, как подчеркивала советская методика преподавания, “при всех изменениях в структуре программы и в методах преподавания надо помнить, что должна быть достигнута главная цель — воспитание подготовленных, преданных партии, народу людей, активных и страстных борцов, хорошо владеющих идеологическим оружием — острым и метким словом”²⁸.

Сами же изменения (и, как можно видеть, часто весьма радикальные) в действительности были связаны не с отказом от прокламированной “великой цели”. Они и не были только продуктом “голого администрирования”, но стали ответом власти на изменение состава этих “людей и борцов”. Отказавшись от бывшего утопизма, власть более прагматично отнеслась и к школе, вернув классику на “корабль современнос-

ти". То обстоятельство, что это была уже *другая классика*, стало результатом сверхдиалектичности власти. Пестрота мозаики советской официальной антологии, в которой уже в зрелую советскую эпоху легко размещались Пушкин и Сурков, Достоевский и Фадеев, Гоголь и Серафимович, выростала в довольно строгую единую систему "классики". Эта система не была стройной лишь по видимости. Ее незыблемость обеспечивалась действием целого ряда интерпретационных предохранителей (что, в частности, проявилось в отборе критиков XIX века — Белинский, Добролюбов, Писарев, а с другой стороны, в полном отказе от критической традиции рубежа XIX-XX веков). Так возникал момент *преемственности*, в которой фактически "снялась" революция. Педальирование "новизны" советской литературы становилось на этом фоне относительным, поскольку и дореволюционная русская литература выступала теперь как "предтеча" советской, а "советская классика" — "прямым продолжателем передовой русской литературы".

Смена школьных программ по литературе отразила смену векторов в рамках революционной культурной парадигмы — весь спектр перехода от якобинской к термидорианской ее стадии. Главное, чего, несомненно, добилась советская школа в преподавании литературы — это *легитимация советской литературы и ее историзация*. Школа "вписала" советскую литературу в общую историю литературы и ввела этот код в сознание массового читателя.

Но литература в советской школе формировала не только новое историческое мышление, но и соответствующим образом структурировала читательскую оптику — не только в отборе имен и произведений, но и техники чтения. Базовые категории советской школы при подходе к литературному тексту ("основная мысль автора (произведения)", "идейное содержание", "идейный замысел" и пр.) были по сути лишь *рационализацией и инструментализацией оптики массового читателя*. Ретрансляция этой оптики также стала важнейшей социальной функцией советской "школы чтения". Но речь идет именно о ретрансляции и инструментализации, а не продуцировании этой оптики школой. Будучи незаменимой на начальной стадии формовки читателя, "единая, обязательная общеобразовательная политехническая советская школа" была, конечно, не единственным институтом огосударствления читателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В.Н.Шацкая, Е.Г.Савченко. О некоторых вопросах эстетического воспитания // Новая система народного образования в СССР. М. 1960. С. 514-515.

2 М.Григорьев. Внимание литературе в школе! // На литературном посту. 1929. N 23. С. 57.

3 Б.Михайлов. За перестройку литературы в школе: О школьных программах по литературе // На литературном посту. 1931. N 3. С. 40.

4 Советская литература в школе (Передовая) // Литература в школе. 1954. N 5. С. 6.

5 Н.И.Кудряшев. Литература в новой школе // Новая система народного образования в СССР. М. 1960. С. 265.

6 Н.И.Прокофьев. Об изучении теории литературы в школе // Литература в школе. 1953. N 5. С. 7.

7 А.М.Смирнов. Методы школьного чтения // Родной язык в школе. 1924. N 6. С. 119.

8 В.Н.Шацкая, Е.Г.Савченко. О некоторых вопросах эстетического воспитания. С. 514.

9 Л.И.Тимофеев. Изучение советской литературы в школе // Литература в школе. 1955. N 5. С. 13.

10 О.И. Никифорова. Восприятие художественной литературы школьниками. М. 1959. С. 200.

11 Там же. С. 204.

12 Там же. С. 202.

13 М.А.Рыбникова. Классики в детском чтении в прошлом и настоящем // М.А.Рыбникова. Избранные труды. М. 1958. С. 530.

14 Советская литература в школе (Передовая) // Литература в школе. 1954. N 5. С. 7.

15 Б.Дубин. Игра во власть: Интеллигенция и литературная культура // Свободная мысль. 1993. N 1. С. 70-71.

16 Там же. С. 75.

17 Появление этих имен в школе датируется 1864 годом, когда вышли новые программы, составленные под влиянием Н. Тихонравова (См.: Программа русского языка и словесности для желающих поступить в студенты Императорского Московского университета. М. 1864).

18 Ц.Балатон. Воспитательное чтение. М. 1908. С. 7.

19 Программы русского языка и литературы. М.: Наркомпрос. 1932. С. 42-43.

20 Программы для первого концентрa школ второй ступени (5, 6 и 7-й годы обучения). М.: Госиздат. 1925. С. 146.

21 В.Совсун. Художественная литература в школе II ступени и комплекс // Родной язык в школе. 1927. N 4. С. 142-143. См. также: В. А.Десницкий. Об иллюстрировании обществoведческих тем литературно-художественным материалом // Вопросы педагогики. Л.: Изд-во ЛГИНП. 1927.

22 См.: Программа и методические записки единой трудовой школы. 2 концентр школы II ступени. Программы общеобразовательных предметов. М.: ГИЗ. 1927.

23 См.: Русский язык в советской школе. 1930. N 3; Родной язык в фaбзавуче (Программа). М.: ГИЗ. 1930; Программы для рабфаков. М.: ГИЗ. 1930. См. также: Вл.Смолин. Литература на рабфаке: О программах по литературе // На литературном посту. 1930. N 11; Б.Михайлов. За перестройку литературы в школе: О школьных программах по литературе // На литературном посту. 1931. N 3.

24 М.Григорьев. Внимание литературе в школе! // На литературном посту. 1929.

N 23. С. 58, 59, 61, 66.

25 М.А.Рыбникова. Избранные труды. С. 227.

26 Правда. 1936. 8 августа.

27 М.А.Рыбникова. Избранные труды. С. 257.

28 Н.И.Кудряшев. Литература в новой школе. С. 275.

ВЛАСТЬ И БЕЗВЛАСТИЕ КНИГИ

(ОТ “КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ”
К “КУЛЬТУРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ”)

*Для нас достаточно теперь... культурной революции,
чтобы оказаться вполне социалистической страной.*

Владимир Ленин

1

Весь процесс создания, издания, производства, распространения и потребления книги к середине 1930-х годов оказывается под контролем государства. Целая серия директив и постановлений, начиная с 1918 года закрепляет новый социальный статус книги: “Книга должна явиться могущественнейшим средством воспитания, мобилизации и организации масс вокруг задач хозяйственного и культурного строительства”, — гласило постановление ЦК ВКП(б) от 15 августа 1931 года “Об издательской работе”¹. Разумеется, подобная “забота о книге” поддерживалась и ангажированными литературными кругами: “Планируя все наше хозяйство, направляя всю культурную жизнь нашей страны, мы не должны забывать и о литературе, осуществить рабочий контроль над книгой”, — требовал широкий литературный фронт — от Пролеткульта до РАППа².

Осуществление “контроля над книгой” приобретает отчетливые черты только к концу первого пореволюционного десятилетия как процесс тотального контроля над книжным рынком. Создание ОГИЗа (Объединения Государственных Издательств) было лишь первым шагом на этом пути. Основные издательские мощности, оказавшиеся в руках государства, позволили занять доминирующее положение на книжном рынке Госиздату (1919-1930), сменившему образованный сразу после прихода к власти большевиков, в ноябре 1917 года Литературно-издательский Отдел Наркомпроса (1917-1919).

Как известно, одним из первых шагов в этом направлении был принятый еще в начале 1918 года декрет ЦИК, которым национализировалось Контрагенство А.С.Суворина, а также большая сеть принадлежащих ему по всей России книжных магазинов, железнодорожных газетно-журнальных киосков, типографий, книжных складов и т.д. Все последую-

шие шаги новой власти были направлены на огосударствление книжных фондов, принадлежавших частным книгоиздательским и книготоргующим организациям, что и завершилось созданием единого Государственного издательства — уникального в мировой истории предприятия. Это не был единовременный акт — на пути к этой цели была предпринята новой властью целая серия шагов.

Уже 29 декабря 1917 г. ЦИК издает постановление об организации государственного издательства для монопольного выпуска произведений русских классиков. Декрет был опубликован 4 января 1918 г., а всего через месяц, 19 февраля — составленный Наркомпросом список монополизированных авторов, состоящий из 51 имени³. ЛИТО (Литературно-издательский отдел) Наркомпроса и был создан для “энергичного осуществления этого решения”. За год — с мая 1918 по май 1919 г. — только Петербургским отделением ЛИТО было издано (а точнее, переиздано стереотипным способом по сохранившимся в частных издательствах матрицам) весьма значительное число книг. В «Каталоге», который может рассматриваться и как отчет о деятельности Петербургского отделения ЛИТО, сообщаются, в частности, такие цифровые данные: “Всего выпущено в свет 5 941 000 томов, 115 разных названий... Кроме того, выпущено 27 названий «Народной библиотеки» в количестве 2 400 000 экземпляров... Общее количество отпечатанных листов равняется 182 886 687 печатн. листов”⁴. За этими цифрами, конечно, соответствующая государственная издательская политика. Так, собрания сочинений удостоились Белинский, Гоголь, Гончаров (исключая «Обломова» и «Фрегат Паллада»), Жуковский, Кольцов, Никитин, Помяловский, Салтыков, Успенский, Чехов, Чернышевский; из Достоевского были изданы только «Братья Карамазовы».

В ЛИТО Наркомпроса были апробированы стратегия и методика государственного книгоиздания, после чего 21 мая 1919 года СНК издает декрет об организации Государственного книжного издательства, куда вошел и ЛИТО Наркомпроса. Госиздат на протяжении всех 20-х годов не был монополистом на книжном рынке. Наиболее крупное негосударственное издательство «Земля и фабрика», основанное по инициативе профсоюза печатников, просуществовало с 1922 по 1930 год; открывшееся в 1922 году частное издательство «Academia» национализируется в 1924 году и просуществует уже в качестве государственного до 1938 года. Частные издательства «Время» З.И.Гржебина (1919-23), «Пучина» (1924-29), «Современные проблемы» бр. М.В. и С.В. Сабашниковых (1912-30) были значительно менее мощными, чем государственные, и на книжном рынке не могли составить им серьезной конкуренции. Зато в годы НЭПа значительно выросла книжная продукция кооперативных издательств — Книгоиздательства писателей в Москве (1912-19), «Московского товарищества писателей» (1925-34), Издательства писателей в Ленинграде «Круг» (1922-29), «Советская литература», «Недра» (1924-32), «Никитинские субботники» (1922-31), «Федерация» (1926-32).

К началу первой пятилетки частные издательства были ликвидированы. Начинается создание централизованной сети книжных издательств, завершившееся созданием “стройной системы” специализированных, типизированных и универсальных издательств как на общесоюзном, так и на республиканском уровнях. Все, что связано с изданием художественной литературы и литературной критики, оказалось сконцентрированным теперь в нескольких государственных издательствах — «Художественная литература» (до 1963 г. — Гослитиздат), «Советский писатель» (осн. в 1938 г.), академическая «Наука» (до 1963 г. — Изд-во АН СССР), подчиненная ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» (осн. в 1922 г.), партийное издательство «Правда» (осн. в 1912 г.) и советское издательство «Известия» (осн. в 1918 г.) не только издают художественную литературу, но собрали “под своей крышей” практически все центральные литературно-художественные журналы. Сюда следует добавить издательства «Искусство» (осн. в 1938 г.) и «Детская литература» (до 1963 г. — Детгиз), а также экспортно-импортные издательства «Прогресс» и «Мир», а позже «Радуга» (до 1963 г. вместо них были издательства «Иностранная литература» и «Издательство литературы на иностранных языках»).

Специализированные издательства художественной литературы создаются в республиках — «Советская Россия» (почти половина изданий которого — литература российских автономий); «Дніпро» (ранее Держлітвидав УРСР), «Радянський письменник», «Молодь», «Веселка» на Украине; Детюнизадат Азербайджанской ССР, Гослитиздат Узбекской ССР, Казгослитиздат, «Вага» в Литве, «Эсти раамат» в Эстонии, «Ирфон» в Таджикистане, «Литература да хеловнеба» и «Накадули» в Грузии. Сюда следует добавить местные (областные) издательства, крупнейшими из которых являлись «Московский рабочий» (осн. в 1922 г.) и «Лениздат» (осн. в 1918 г.).

Рост числа новых государственных издательств был задан еще в 1931 году постановлением ЦК «Об издательской работе», которым ОГИЗ был “распачкован” на множество государственных издательств. В этом постановлении художественной литературе была отведена специальная часть, где говорилось о ее “громадной воспитательной роли” и о том, что она должна “гораздо более глубоко и полно отобразить героизм социалистической стройки и классовой борьбы, переделку общественных отношений и рост новых людей — героев социалистической стройки”. Все это подкреплялось и организационно-издательскими мероприятиями — вплоть до того, что ГИХЛУ предлагалось издавать художественную литературу по секторам: синтетические художественные произведения, художественно-историческая литература, художественная с.-х. литература, художественно-индустриальная, классическая литература — русская и переводная⁵. Таким образом, в 1930-е годы под контролем государства оказался весь издательский механизм. Первостепенный интерес представляет однако государственная издательская политика, оказывавшая, в силу своей тотальности, определяющее влияние на формирование “крута чтения” и

через него — непосредственно на “читательские массы”⁶.

В 20-е годы проблема книжного рынка обсуждалась в литературных кругах весьма активно. Несомненно, ближе всего к пониманию книжного рынка как литературной проблемы подошли деятели ОПОЯЗа. Принципиальное значение в этом смысле имеют книги В.Шкловского «Третья фабрика» (М. 1926) и Т.Гриц, В.Тренина, М.Никитина «Словесность и коммерция» (М. 1929), статьи Б.Эйхенбаума «Литература и литературный быт» (На литературном посту. 1927. N 9) и «Литература и писатель» (Звезда. 1927. N 9), Ю.Тынянова «Вопросы литературной эволюции» (На литературном посту. 1927. N 10).

“Построение замкнутого литературного ряда и рассмотрение эволюции внутри его, — писал Тынянов, — наталкивается то и дело на соседние культурные, бытовые в широком смысле, социальные ряды и, стало быть, обречено на неполноту... Слепой отпор ‘истории генералов’ вызвал в свою очередь интерес к изучению массовой литературы, но без ясного теоретического осознания методов ее изучения и характера ее значения”⁷. Поставив в центр “теоретическое осознание методов” изучения массовой литературы, опоязовцы, между тем, не успели создать собственной социологии литературы, обращенной к современности. Наиболее полной реализацией идеей формальной школы в области “бытования литературы” может быть признана книга Т.Гриц, В.Тренина и М.Никитина «Словесность и коммерция», построенная на материале истории книжной лавки А.Ф.Смирдина. Авторы писали о том, что в 30-е годы XIX века начался процесс относительной (в сравнении с Западной Европой) секуляризации русской литературы и, соответственно, ее коммерциализации. Эта ситуация без труда проецируется и на пореволюционную эпоху. Но уже к концу 1920-х годов начинается процесс, который можно определить как ресекюляризация литературы для новой идеологии. Литературный быт, издатель, писатель, читатель радикально меняются. Авторы интересовались прежде всего “бытованием литературы”. Центральными персонажами при таком подходе являются не только писатель и читатель, но издатель и книготорговец, а полем их взаимодействия — рынок и коммерция. Эпоху 30-х годов XIX века авторы определяли в марксистских политэкономических категориях как “эпоху общей профессионализации писательского труда, эпоху, начинающую собой период, который можно условно назвать ‘товарным’ периодом русской литературы... Под товарным периодом русской литературы мы условно понимаем тот период, когда меценатство и литературный дилетантизм писателя-дворянина, для которого литература является побочным занятием, сменяется появлением писателя-профессионала, образующего особое сословие, которое живет продажей своего литературного труда издателю”⁸. Куда более радикален был В.Шкловский, рассуждая о фатальной “несвободе искусства”, утверждая, что всегда “рынок давал писателю голос”⁹.

Еще в 20-е годы утверждалось: “Расходимость книги — это единствен-

ный 'безмолвный' свидетель интереса читателя к книге; этим читатель сигнализирует свое отношение к данному кругу понятий и представлений, к определенной теме, ее идеологической ценности и правильности ее формулировок". Но если попытаться ответить на вопросы, сформулированные в той же налитпостовской статье — "какими каналами она идет к читателю, кто заинтересован в ее скорейшем продвижении, и, наконец, какой эффект получается от ее чтения у соответствующего типа читателя"¹⁰ — нам придется взглянуть на ситуацию шире.

Советская модель книжного рынка с самого начала была задумана как госмонополистическая. Это прежде всего означает резкое преобладание госпредложения над спросом. Описывая соответствующую модель в советском кино, М.Туровская замечает: "В идеале предполагается, что личный, или, точнее, 'приватный' спрос до конца совместится с госпредложением. На самом деле этого никогда не происходит"¹¹. Подобно соответствующему процессу в кино, монополизация литературы заняла приблизительно полтора десятилетия. И здесь в начале 1930-х годов происходит "не только смена парадигмы, но и резкий перелом в структуре". Вот как описывает этот процесс исследователь советского кино: количество названий в прокате заменяется количеством копий на название, число кинотеатров при этом растет, а частота смены репертуара падает, "точечный процесс" заменяется "линейным" — каждое название распространяется по всем кинотеатрам (их число резко возрастает) и держится долго, т.о. зрителю почти не предоставляется выбора, все смотрят все¹².

Вернемся теперь к книжному рынку. Здесь наблюдается сходный процесс: непропорциональный рост тиража к количеству выпускаемых книг — число книг растет с 3,5 тыс. печ. единиц в 1934 г. до 4,7 тыс. в 1953 г., т.е. в 1,5 раза; средний же тираж с 12,9 тыс. экземпляров в 1934 г. до 44,6 тыс. в 1953 г., т.е. почти в 3 раза¹³. Общий тираж корректирует эту ситуацию в сторону увеличения с 45 млн. экземпляров до 222,8 млн., т.е. в 5 раз. Развернутые данные по РСФСР дают картину еще более выразительную: при росте числа книг с 19,3 тыс. печ. единиц до 39,5 тыс. к 1956 году, т.е. в 2 раза, общий тираж растет с 74,8 млн. до 889,7 млн. экземпляров к тому же времени, т.е. приблизительно в 12 раз, а средний тираж одной книги в 5,7 раза — с 3,9 до 22,5 тыс. экземпляров к концу послевоенного десятилетия¹⁴.

Что же касается издания непосредственно художественной литературы, то даже советская статистика "постоттепельного" периода вынуждена была признавать, что "широкий размах послевоенного книгоиздания имел свои... минусы. Увлечение выпуском многотомных и многотиражных изданий, бесчисленные переиздания некоторых не заслуживающих того произведений неизбежно вели к затовариванию книжного рынка, хотя спрос на многие ценные произведения все еще не был удовлетворен... В период с 1948 по 1955 год выходило не более 5 тыс. изданий художественной литературы в год"¹⁵. Постепенное расширение ас-

ассортимента начинается уже в постсталинскую эпоху с возвращением в литературу некоторых писательских имен и относительным расширением возможностей. Та же ситуация и с литературно-художественными журналами, традиционно игравшими ключевую роль в структуре досоветского и советского литературного процесса: их число на протяжении всех 30-х годов катастрофически падает (в особенности в период организации Союза советских писателей и во время войны), пока не достигает минимальной отметки — 4 общесоюзных “толстых” литературных журналов в послевоенные годы.

Это процесс, изоморфный ситуации, сложившейся в советском кино: “количество названий в прокате заменяется количеством копий на название... число кинотеатров при этом растет, а частота смены репертуара резко падает”¹⁶.

Здесь, впрочем, следует отметить любопытный параллельный процесс: увеличение *объема* книги: средний листаж одной книги вырастает за период с 1928 по 1955 год почти вдвое, причем скачок приходится на послевоенное десятилетие (с 4 печ. л. в 1945 г. до 10 печ. л. в 1955 г.)¹⁷. В этом был не только ответ на массовый спрос на “толстую книгу” (огромные эпопеи, своеобразные “романы-чулки”, по образному определению Ю.Трифоновой). За этим процессом — тот же результат: резкое снижение ассортимента изданий. “Официальная антология” (Р.Эскарпи) сужается, подобно шагреновой коже, пока читатель (как, впрочем, и кинозритель) не оказывается буквально на пяточке.

Отмеченная замена точечного процесса линейным характерна не только для кино, но и для книжного рынка. Разумеется, контроль за ним не мог быть столь же абсолютным, как и за кинопроцессом, когда в руках государства находилось все — от студий и копий до киноустановок: все-таки существовали домашние библиотеки, досоветские издания. Но личные дореволюционные библиотеки гибнут в большинстве во время гражданской и второй мировой войн, а досоветские издания сохраняются в государственных библиотеках, где проходят жесткую селекцию.

Но главное — государственная библиотека становится институтом, почти монопольно влияющим на читателя, определяющим его спрос. При отсутствии телевидения книга являлась едва ли не единственным доступным продуктом культуры, потребление которого практически не было связано с внедомашней средой (близко или далеко, если есть вообще, театр, кинотеатр, музей, клуб). Высокий спрос на книгу — реальный фактор бытования советской культуры в 1930-50-е годы. Во множестве материалов о жизни массовых библиотек страны (от городской и районной до заводской и клубной) почти всегда присутствует проблема борьбы с *очередью* у абонементной стойки. Очереди — не только признак советской организации работы, но и действительный показатель читательского наплыва в библиотеки: в часы пик, после окончания смены и в выходные дни на одного библиотекаря на выдаче приходилось от 50 до 70 читателей. Огромные тиражи, какими издавались книги в СССР,

менее всего были предназначены для рынка, расходясь по “общественным фондам потребления”: до начала 1950-х годов, когда началось затоваривание рынка книжной продукцией, не пользующейся спросом, и цены на книги резко снизились, развитие домашних библиотек не поощрялось. Огромную часть тиражей составляла обязательная учебная литература (учебник нередко был единственной книгой в доме), многомиллионные переиздания классики могут быть также отнесены к этой категории книг, поскольку издаваемая классическая литература в своем ассортименте почти полностью совпадала с объемом школьной программы (и большая часть изданий классики поступала прямо в школьные библиотеки). Сначала небольшой, а затем все более разрастающийся поток прежде всего художественной литературы направлялся в систему государственных библиотек. Массовые библиотеки (государственные, профсоюзные, школьные и др.) будут оставаться действительным “очагом новой культуры” до 1960-х годов, пока “массовый читатель” не покинет их почти полностью, превратившись в “многомиллионного советского телезрителя”.

Советский читатель, где бы он ни был — в школе, на рабфаке, в институте или в заводском цеху — *формируется библиотекой прежде всего* и это обстоятельство требует непосредственного обращения к важнейшему институту, формирующему новую ситуацию чтения — к советской массовой библиотеке.

2

Советская массовая библиотека родилась из идеи “народных библиотек”. Народническая утопия натолкнулась однако на серьезные препятствия, едва ли не главным из которых было отсутствие даже начального книжного фонда, не говоря уже о необходимости систематического пополнения таких библиотек в дальнейшем.

Основной же книжный фонд был сосредоточен в научных и частных библиотеках. Если научные библиотеки, оказавшись национализированными в первые послереволюционные годы, почти не пострадали в хаосе революции и гражданской войны, то частные книжные собрания, будучи практически беззащитными (в той мере, в какой оказались беззащитными их владельцы), подверглись не только распылению, но часто и полному уничтожению. В горевших помещичьих усадьбах, брошенных их владельцами, погибло и значительное число книг. Новая власть, на первых порах почти исключительно занимавшаяся “экспроприацией экспроприированного”, не прошла, конечно, мимо “книжных богатств”.

Уже 17 июля 1918 года Совнарком издает декрет (опубликован 21 июля), согласно которому охрана библиотек и книгохранилищ была возложена на Наркомпрос¹⁸. Для этих целей в составе Библиотечного отдела Наркомпроса создается просуществовавший несколько лет Центральный комитет государственных библиотек, который в основном и зани-

мался учетом книжных собраний огромного числа ликвидированных и эвакуированных из Петрограда госучреждений и библиотек эмигрантов и распавшихся и прекративших свою деятельность обществ¹⁹.

Деятельность наркомпросовских структур ограничивалась, во-первых, в основном лишь столицами, во-вторых, “учетом”, а потому не могла оградить библиотеки от массового расхищения. Очевидно, этим можно объяснить появление “разъяснения” Наркомпроса от 8 сентября 1918 года к декрету СНК от 17 июля о том, что любые реквизиции общественных и частных библиотек отдельными лицами и учреждениями вне контроля БО Наркомпроса будут рассматриваться как “нарушение революционного правопорядка”. 25 ноября 1918 г. СНК принимает декрет о порядке реквизиции библиотек и книжных складов, в котором вновь подтвердил, что реквизиция может проводиться только “с ведома и согласия Наркомпроса”, а через месяц уже Наркомпрос утвердил инструкцию о порядке реквизиции частных библиотек. Основным моментом, привлекающим интерес к этому документу, является введение своеобразного ценза на количество книг в частной библиотеке. По этой инструкции все частные библиотеки, содержавшие свыше 500 томов и принадлежавшие гражданам, не нуждавшимся в этих книгах по работе, объявлялись государственной собственностью и изымались для системы государственных библиотек. Научные же работники должны были получить так называемые охранные грамоты.²⁰

Как бы то ни было, действия новой власти по “сохранности книжных богатств” позволили несколько оградить частные библиотеки от *бессистемного* уничтожения. Чаще всего обращается внимание исключительно на уничтожение во время гражданской войны редчайших книжных коллекций (об этом, в частности, много писалось в эмигрантской прессе тех лет), хотя иногда предпринимались попытки собрать сведения о погибших библиотеках²¹. Между тем, следует видеть и другой аспект: власть не была заинтересована в уничтожении книг, но она и не могла противостоять расхищению “книжных богатств”. Все акции власти в этой сфере были направлены на то, чтобы конфисковать, взять под государственный контроль и не допустить уничтожения и вывоза книг из страны. И власть делала все возможное для сохранения частных библиотек, но лишь затем, чтобы сохранить их для себя. *Охрана для конфискации* — стратегическая формула политики новой власти в библиотечном деле в первые после революции годы.

Огромные книжные потоки от изъятий и конфискаций частных библиотек направлялись в специально созданный в январе 1919 года при БО Наркомпроса Государственный книжный фонд, который пополнял за их счет государственные книгохранилища. Государственный книжный фонд, пережив множество реорганизаций, просуществовал до конца 20-х годов, продолжая заниматься перераспределением книг, большая часть которых шла на комплектование государственных библиотек. Именно благодаря ему центральные государственные книгохранилища (преж-

де всего Румянцевский музей в Москве, Государственная Публичная библиотека и Библиотека Академии наук в Петрограде) пополнились огромными поступлениями.

Последний путь свободного хождения книги — книготорговая сеть, переходившая в период НЭПа из государственных рук в частные, также к концу 1920-х годов оказалась полностью государственной. Это особенно важно в связи с антикварными магазинами, где в первые после-революционные годы оказалось огромное количество “вредной литературы”, поскольку обычные книжные магазины торговали вновь выходящей литературой, уже прошедшей цензуру, а к 30-м годам выходящей исключительно в государственных издательствах. “Муниципализация” книготорговой сети, начавшаяся еще 1918 году, завершилась к концу 1920-х годов ликвидацией “книжных развалов” и “толкучек”. Таким образом, к началу 1930-х годов книжный поток окончательно вливается в проложенное государством русло.

Вернемся, однако, к “библиотечному строительству”. Хаос в “библиотечном деле” продолжался в течение всех 1920-х годов. Еще в феврале 1921 года Ленин, сопоставляя данные по библиотекам РСФСР, полученные им из разных источников — от Центропечати и из библиотечной секции Московского Наробраза, — будет не только сетовать на то, что данные расходятся, и что четверть библиотек существует лишь на бумаге, но и ставить под сомнение даже ту скудную информацию по библиотекам, которая имела в его, Председателя Совнаркома распоряжении: “Насколько можно судить из сравнения погубернских данных, надежность этих цифр не очень велика — как бы не оказалась она на деле меньше, чем в 75%!”²².

Можно, разумеется, заключить, что в 1921 году, когда еще шла гражданская война, точных данных по библиотекам не было. Но вот прошло 10 лет, и Крупская, в ведении которой находилась практически вся библиотечная сеть России, выступая в июле 1930 года на совещании штабов по библиотечному походу, будет говорить: “Если бы мы вздумали сейчас спрашивать точные цифры, то из этого ничего не получилось бы. Мы не можем даже сказать, как идет счет книг: в сотнях, тысячах или десятках”²³.

Какими бы ни были победные рапорты об успехах в “библиотечном строительстве” (всесоюзная библиотечная перепись 1934 года говорила о наличии около 310 млн. томов и примерно о 215 тыс. “библиотечных точек” — массовые стационарные библиотеки, передвижки, избы-читальни, детские, школьные библиотеки; только в РСФСР было зарегистрировано 39 544 стационарных библиотек со 193 млн. книг²⁴), голос “главного библиотекаря страны” со страниц «Правды» тем же летом 1930 года протрезвляет: “Более года назад был объявлен библиотечный поход, но можно было руки себе искусать, наблюдая, во что превращается сплошь и рядом этот поход на местах: он превращается подчас в поход против библиотек и библиотекарей, книги выбрасываются из помеще-

ний, библиотекарей травят, 'чистят' библиотеки..."²⁵. Всего за год до этого Крупская следующим образом характеризовала состояние дел "на библиотечном фронте": "Единой библиотечной сети у нас на 1929 год нет. Профсоюзы обособили свои библиотеки, сделали их закрытыми. Ими могут пользоваться члены соответствующих профсоюзов. Поговаривают и о том, чтобы вырвать и детские библиотеки из общей сети. В 1921 году Ильич говорил о 50 тысячах библиотек. Теперь их только 15 тысяч, у них подписчиков не многим более 4 миллионов. Итак, сеть библиотек уменьшилась. Они перестали не то что даром, а вообще регулярно снабжаться. Снабжение от этого ухудшилось чрезвычайно. Многие библиотеки платные, берут залогов. Книжные фонды в библиотеках очень бедны. Из старых фондов пришлось выбросить массу хлама. Новые книги зачитываются до дыр и очень быстро. Надо прямо сказать: на библиотечном фронте у нас полное неблагополучие. Как же мы можем учиться, если у грамотных нет книг для чтения?"²⁶.

Данные Всесоюзной библиотечной переписи (на 1 октября 1934 г.) более чем сомнительны. Это, надо полагать, понимала и Крупская, когда писала о состоянии библиотек страны в поистине истерическом тоне. Реальны ли цифры — 310 млн. томов и 215 тыс. "библиотечных точек" на 1934 г.? По данным Госплана за 1929-1930 гг., в 15 тыс. библиотек страны было лишь 54 млн. книг²⁷. Могло ли число библиотек за неполные 3 года увеличиться в 14 раз, а книг — в 5 раз? Разумеется, нет. Произошло, очевидно, следующее. Число книг в библиотеках за годы первой пятилетки действительно увеличилось (не в 5 раз, разумеется) за счет постепенного перевода книжного потока из торговли в библиотечную сеть. До начала 30-х годов в библиотеки попадало лишь 2% от общего числа книг, выпущенных ОГИЗом (за 10 лет Объединение государственных издательств выпустило книг общим тиражом более чем 3 млрд. экземпляров). Эта цифра — 2% — была действительно увеличена (в 30-50-е годы она колебалась между 15 и 25%). Началось насыщение библиотек, а с тем — и резкая их советизация.

Говоря о количественных показателях "библиотечного строительства", нельзя не учитывать и того обстоятельства, что "книжные богатства" были распределены неравномерно. Так, из 50,5 тыс. массовых библиотек в стране в 1934 году на совхозы приходилось лишь 2% (около 1300 библиотек). Всего же в сельской местности (по РСФСР) было установлено на 1 октября 1934 года 21 523 библиотеки с 21,5 млн. книг. Таким образом, сельские библиотеки насчитывали в среднем по 1 тыс. томов, но, как показала та же перепись, сельских библиотек, имевших свыше 1 тыс. томов, было всего 5 913, а 86,5% составляли сельские библиотеки, в которых было менее тысячи книг.

Красноречивы и данные, приводившиеся в передовой статье четвертой книжки «Красного библиотекаря» за 1931 год: из общего количества — 18 тыс. — массовых библиотек в РСФСР лишь 3 тыс. библиотек имели книжный фонд, превышающий 3 тыс. томов. Общий книжный фонд

массовых библиотек составлял в 1931 году лишь 50 млн. книг (включая и дореволюционные издания). Если учесть, что дореволюционный книжный фонд сократился вдвое (изношенная, устаревшая и “идеологически вредная” литература, изъятая из библиотек), получалось, что в среднем на одного жителя РСФСР в 1931 году приходилось 0,25 книги, а в деревне — 0,1 книги. Из 113 млн. населения Российской Федерации библиотекой пользовалось 6,5 млн. человек, в среднем по России — 6% населения, а в сельской местности — всего 3%.

Следует однако учесть, что большинство этих читателей составляли учащиеся школ и вузов, читавшие “по программе”. В свете нашей проблематики важно отметить, что, по данным обследования ВЦСПС на 1 июля 1927 года, 69,9% всех выдаваемых в библиотеках книг приходилось на художественную литературу, и столь высокий процент беллетристики в структуре выдачи в массовых библиотеках сохранялся всегда — массовая библиотека всегда работала по преимуществу с художественной литературой.

Городская молодежь — самая активная и многочисленная часть читательской аудитории — не только читала в большом количестве художественную литературу, но весьма сильно зависела в выборе книг для чтения от системы пропаганды книги: во всех категориях читателей доминирует выбор книг по рекомендациям библиотекарей и рекомендательным спискам. Спрос на художественную литературу в молодежной читательской среде уже к середине 20-х годов практически полностью совпадает с будущей “официальной антологией”: из классической литературы на первом месте — будущие любимцы советской школьной программы Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Горький (причем «Мать» превышает по популярности во всех категориях читателей все “прочие произведения” Горького вместе взятые); из зарубежной литературы на первом месте стоят социальные романы Золя, Синклера, Келлермана, социальная фантастика Уэллса, революционная литература (Дж.Рид, «На заре революции» Сверчкова, «На широкой дороге» Бибика), “мужественные рассказы” Лондона; приключенческая литература (Купер, Майн Рид, Верн, Конан Дойль, Пинкертон и советская приключенческая литература — «Красные дьяволята», «В огне революции»). Данные эти тем более интересны, что к началу 1920-х годов еще не сложилась та “официальная антология”, которая сформируется благодаря канонизации властью “лучших и талантливейших писателей” лишь десятилетие спустя. Можно видеть, что эта будущая матрица была уже фактически готова — об этом говорит круг чтения городской молодежи уже в первые пореволюционные годы²⁸.

Сопоставим данные по чтению в городе со статистикой деревенских библиотек (обследование было проведено БО ГПП в августе 1923 года²⁹). Прежде всего стоит отметить, что абсолютное большинство здесь составляют читатели в возрасте до 18 лет (92%) и лишь 8% — свыше 18 лет; причем, примерно половина из них учащиеся и половина крестьяне.

Читательские предпочтения их мало чем отличались от городских. На первом месте здесь был Л. Толстой (страшился в 27 библиотеках из 39), на втором — Горький (15 библиотек), на третьем — Чехов (14), затем Жюль Верн (11), Майн Рид, Пушкин, Достоевский (10), Купер (8), Тургенев, Демьян Бедный (7), Гоголь (6), Мамин-Сибиряк, Джек Лондон (5), Гюго (4), Гамсун, Григорович, Золя, Келлерман, Сенкевич, Станюкович (3).

Но здесь имелись и свои особенности. Прежде всего они связаны с составом сельских библиотек. Средний объем их фондов — 1 500 экземпляров (19% имели свыше 5 000 книг, 17% — от 500 до 1 000 томов). Это относительное благополучие перекрывалось, между тем, проблемой комплектования: 96% библиотек заявили об острой нужде в новой беллетристике. Но и с традиционно популярной у читателей литературой дела обстояли далеко не благополучно: из 39 библиотек в 17-ти не был удовлетворен спрос на «Анну Каренину», в 3-х на Л. Толстого вообще, а также на Л. Андреева, Бальмонта, в 7-ми — на Верна. Ситуация осложнялась тяжелыми условиями, в которых находились сельские библиотеки: 67% из них состояли из одной комнаты и только 30% имели две; 59% не имели отопления, а 27% и освещения (лишь 24% были удовлетворены ситуацией с освещением и отоплением). Большинство же скорее можно отнести к книжным складам, чем к библиотекам.

С начала 1930-х годов (особенно отчетливо — с 1932 г.) библиотечная статистика начинает удвоиться, объем публикуемых цифровых данных резко сокращается, а показатели по всем параметрам чтения (количество библиотек, выдач, читателей, книг, тиражей и т.д. и т.д.) необъяснимым образом начинают расти, быстро достигая астрономических цифр (как в рассмотренном выше случае со Всесоюзной библиотечной переписью). Особенно резкий скачок совершается накануне и в период первой пятилетки. Так, БСЭ сообщает в 1934 году следующие данные: с 1925/26 по 1930/31 гг. количество читателей выросло с 5 405,8 тыс. до 11 623,7 тыс., выданных книг — с 57 553 тыс. до 94 405 тыс., библиотек — с 22 163 тыс. до 27 312 тыс.³⁰. Материалы Всесоюзной библиотечной переписи того же года показывали, что в СССР было 67 286 библиотек с 270 млн. книг; всех массовых библиотек — 50 569 с 92 млн. книг и из них 12 861 массовая библиотека с количеством книг свыше 1 000 в каждой, а в среднем приходилось по 6 500 книг на 1 библиотеку этой категории при общем фонде в 80 млн. книг³¹. По данным же официального статистического сборника «Культурное строительство СССР» за 1940 г. в 1938 г. в СССР было 77 590 массовых библиотек с 146 803 тыс. томов, а в 1939 г. — 86 266 библиотек с 166 728 тыс. томов (т.е. за 4-5 лет число массовых библиотек и их книжный фонд выросли едва ли не вдвое). Среди них еще в 1938 г. было по крайней мере 16 000 массовых библиотек с числом книг в среднем 7 000 — 5 000 и общим фондом свыше 100 млн. томов³².

Советская печать этого времени приводит поразительные факты по

увеличению фондов и читаемости в различных библиотеках страны. Так, например, сообщается, что в библиотеке Ростовского района Иваново-промышленной области в 1912 г было 4 070 книг, а в 1933 стало 40 062 книги; в 1912 г. было 1 576 читателей, а в 1933 г. — 10 340; что в Москве 2 млн. читателей и за 15 лет советской власти там возникло 11 библиотек, насчитывающих свыше 0,5 млн. книг³³. Все это должно было свидетельствовать о том, что “читатели нашей страны — рабочие, колхозники, служащие, ученые, учащиеся — уже сейчас находятся в неизмеримо лучших условиях, по сравнению с рабоче-крестьянским читателем капиталистических стран”, что “мы можем добиться таких успехов, о которых библиотеки других стран и мечтать не могут”³⁴

В общем хаосе библиотечной статистики можно, тем не менее, обнаружить некоторые закономерности: рост числа библиотек несколько замедляется, тогда как рост фондов сильно увеличивается. Сопоставление данных дает следующую картину: в 1941 г. в России насчитывалось 171 тыс. библиотек с общим фондом 355 млн. томов, в 1951 г. было уже 206 тыс. библиотек и в них 481 млн. книг, в 1953 г. — 217 тыс. библиотек и 590 млн. экземпляров книг, в 1955 г. — 219 тыс. библиотек и 775 млн. книг, в 1957 г. — соответственно 223 тыс. библиотек с книжным фондом в 922 млн. томов³⁵. Эти данные показывают, что при увеличении числа библиотек приблизительно в 1,3 раза их фонды выросли почти в 3 раза. Этот разрыв — более чем в два раза (3:1,3) — может быть объяснен лишь резким увеличением тиража, поскольку все источники пополнения фондов, практиковавшиеся ранее (конфискация и национализация частных библиотек и др.) были исчерпаны уже к 1930-м годам. Итак, происходит расширение как библиотечной сети, так и (в особенности) библиотечных фондов без расширения ассортимента, т.е. почти исключительно за счет увеличения тиражей.

Выше речь шла о “средних” абсолютных цифрах. Картина меняется, когда статистика обретает географические параметры. Так, в 1951 году 375 районных библиотек РСФСР имели менее тысячи читателей каждая. Например, Бурзянская районная библиотека (Башкирская АССР) имела лишь 770 читателей, из них только 268 взрослых; Чучковская районная библиотека (Рязанская область) — 187 взрослых читателей, а остальные 890 читателей — школьники. Если на одну районную библиотеку в Саратовской области приходилось в среднем 2200 читателей, в Брянской — 2300, в Горьковской — 2500, в Ивановской — 2600, в Вологодской — 2800, то в Астраханской области среднее число читателей районных библиотек было только немногим более тысячи. Еще более низким было количество читателей сельских библиотек. Например, Измайловской сельской библиотекой Рязанской области пользовалось всего 160 читателей (из них 118 детей), Быковской сельской библиотекой (Калининская область) — 213 (из них 150 детей). В целом, из 7 409 сельских библиотек РСФСР 2055 имели в среднем менее 180 читателей³⁶.

Зато по Москве в 1949 году только в массовых библиотеках насчиты-

валось 1 148 333 читателя. В течение года им было выдано 25 970 390 книг. Но помимо 182 массовых библиотек, в Москве (по переписи 1947 года) были библиотеки профсоюзные, школьные, ведомственные, научные и др. общим числом в 1 734³⁷. Разумеется, и эти цифры абсолютные (среди московских библиотек были крупнейшие библиотеки страны, такие как Библиотека Ленина или Центральная Историческая Библиотека). “Массовый” же читатель “обслуживался” большей частью по месту работы, но одни предприятия имели мизерные библиотеки, другие — заводы-гиганты — огромные. Так, библиотека Автозавода им. Сталина — крупнейшего предприятия Москвы содержала 78 000 книг и столько же брошюр, но помимо центральной библиотеки в шестнадцати крупных цехах завода имелись цеховые библиотеки, а в семи небольших — передвижки. Библиотеку ЗИСа ежедневно посещало 600 рабочих и служащих завода, а за 1948 г. ею было выдано 300 000 книг³⁸.

Советская массовая библиотека имела большую историю: родившись из “народной библиотеки” прошлого века, она достигла расцвета в 1930-50-е годы и, наконец, исчерпала себя в 1960-е, потеряв читателя. Именно в массовых библиотеках, общее число которых по стране достигло к 1950-м годам огромной величины, и осела основная часть книжной продукции советского времени. Еще в 1920-е годы А.Топоров констатировал: “По собственной инициативе крестьяне и рабочие очень мало покупают художественной литературы”³⁹. Эта ситуация не изменилась и позже. Советский читатель и советская книга встречались в основном в массовой библиотеке. Именно там, а не на книжном рынке, решалась “судьба книги”, именно библиотекарь и библиотека “двигали книгу в массы”. Сформировавшись в школе, читатель часто оказывался один на один с массовой библиотекой, которая была в советских условиях не просто местом хранения книг и их чтения. В 1930-40-е годы в условиях всеобщего дефицита развлечений (кафе, танцплощадок, спортивных сооружений и проч.), массовая библиотека действительно стала клубным местом, о чем мечтала еще Крупская, и ее подчиненность государственным органам просвещения, а затем — культуры вполне соответствовала ее функции.

Но нельзя не увидеть в массовой библиотеке особого рода *политико-идеологический институт*, через который происходило *огосударствление читателя* (подобно тому, как Союз писателей был институтом огосударствления писателей). Становление и функционирование этого института представляют огромный интерес, так как именно он играл ключевую роль в формовке советского читателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Постановление ЦК ВКП(б) от 15 августа 1931 г. «Об издательской работе» // Красный библиотекарь. 1931. N 6. С. 2.
- 2 Страничка рабочей критики // Труд (Баку). 1928. N 1-2. С. 28.
- 3 См.: Собрание декретов и постановлений Рабоче-крестьянского правительства по народному образованию. Пг. 1919, вып. 1. С. 154-155.
- 4 Каталог Литературно-издательского отдела. Петербургское отделение. 1919. N 1, июль. Пг.: Народный комиссариат по просвещению. 1919. С. 3.
- 5 Постановление ЦК ВКП(б) от 15 августа 1931 г. «Об издательской работе». С. 4.
- 6 Советская издательская политика в разные годы не раз была предметом серьезных исследований на Западе. См., например книги: Jarus, Marc. Press and Publishing in the Soviet Union. London, 1935; Gorokhoff, B.I. Publishing in the USSR. Bloomington, 1959; Walker, Gregory. Soviet Book Publishing Before Gosizdat. Solanus. 1988. Vol. 2.
- 7 Ю.Н.Тынянов. О литературной эволюции // Ю.Н.Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М. 1977. С. 270.
- 8 Т.Гриц, В.Тренин, М.Никитин. Словесность и коммерция (Книжная лавка А.Ф.Смирдина). М.: Федерация. 1929. С. 272, 275.
- 9 В.Шкловский. Третья фабрика // В.Шкловский. Гамбургский счет. Статьи — Воспоминания — Эссе (1914-1933). М. 1990. С.309.
- 10 А.Левицкая. Читатель в роли критика // На литературном посту. 1929. N 6. С. 66.
- 11 М.Туровская. Эволюция зрительских предпочтений: закономерности спроса // Отечественный кинематограф: стратегия выживания. М.: НИИ киноискусства. 1991. С. 68.
- 12 Там же. С. 69.
- 13 Данные приводятся по кн.: Издание художественной литературы в СССР: Статистические материалы. М.: Всесоюзная книжная палата. 1954. С. 5.
- 14 Данные приводятся по кн.: Культурное строительство РСФСР. Статистический сборник. М.: Госстатиздат. 1958. С. 440.
- 15 Печать СССР за 50 лет. Статистические очерки. М.: Книга. 1967. С. 101.
- 16 М.Туровская. Эволюция зрительских предпочтений: закономерности спроса. С.69.
- 17 Данные приводятся по кн.: Культурное строительство РСФСР. С. 440.
- 18 Сборник декретов и постановлений Рабоче-крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 2 (с 7 ноября 1918 г. по 7 ноября 1919 г.). М. 1920. С. 4.
- 19 См.: Библиотечные отделы Комиссариата просвещения // Библиографические известия. 1918. N 3-4. С. 105.
- 20 Более подробно см.: Вержбицкий Н. Три года советской власти и печатное слово: Справочник. Пермь. 1920; Берков П.Н. История советского библиофильства: 1917-1967. М. 1983. С. 77-105.
- 21 См.: Друганов И.А. Библиотеки ведомственные, общественные и частные и судьба их в советскую эпоху // Советская библиография. 1933, кн. 1-3. С. 185-214; 1934, кн. 2. С. 43-79, кн. 3-4. С. 127-167; он же. Библиотечные фонды в 1918-1923

- гг.: Библиотеки общественные и ведомственные // Советская библиография. 1935, кн. 3. С. 81-98; Минцлов С.Р. Синодик. Библиотеки, архивы и художественные коллекции, погибшие в России во время войны и революции // Временник Общества друзей русской книги. 1925, вып. 1. С. 43-51; Шилов Ф.Г. Судьба некоторых книжных собраний за последние 10 лет: Опыт обзора // Альманах библиофила. Л. 1929. С. 165-200.
- 22 Что писал и говорил Ленин о библиотеках. М.: Учпедгиз. 1932. С. 27.
- 23 Н.К.Крупская. Речь на совещании штабов по библиотечному походу // Педагогические сочинения в 10-ти тт. Т. 8. М. 1960. С. 315.
- 24 См.: Всесоюзная библиотечная перепись 1 октября 1934 г. Т. 1. М. 1936. С. 8 (в дальнейшем цифровые данные на 1934 год приводятся по этому источнику); Золотой фонд советской культуры (Передовая) // Правда. 1935. 12 апреля.
- 25 Н.К.Крупская. Книга — колхозам // Педагогические сочинения. Т. 8. С. 322.
- 26 Н.К.Крупская. В поход за библиотеку // Педагогические сочинения. Т. 8. С. 315.
- 27 Эти данные приводились в статье Н.Крупской «Современное положение дела на библиотечном фронте» (февраль 1932 г.) // Н.К.Крупская. Педагогические сочинения. Т. 8. С. 365.
- 28 Данные приводятся по ст.: Е.Медынский. Читающая рабочая молодежь г. Москвы // Красный библиотекарь. 1924. N 8.
- 29 Данные приводятся по ст.: [А. М.] Итоги обработки анкет о положении деревенских библиотек // Красный библиотекарь. 1924. N 9. С. 104-106.
- 30 Большая Советская Энциклопедия. Т. 61. М. 1934, стлб. 668.
- 31 См.: Всесоюзная библиотечная перепись 1 октября 1934 г. Т. 1. М. 1936. С. 8.
- 32 См.: Культурное строительство СССР. М. 1940. С. 9. 141. 152, 257.
- 33 В.Киров. Главное — улучшить обслуживание читателей // Красный библиотекарь. 1934. N 5. С. 4.
- 34 Там же.
- 35 Культурное строительство РСФСР. Статистический сборник. С. 393.
- 36 Данные приводятся по ст.: Неустанно расширять круг читателей (Передовая) // Библиотекарь. 1951. N 7. С. 2.
- 37 Данные приводятся по ст.: Г.Ленюль. Советский читатель и художественная литература // Новый мир. 1950. N 6. С. 204.
- 38 Данные приводятся по ст.: Н.Ковалев. Читательские конференции // Новый мир. 1949. N 7. С. 212.
- 39 А.М.Топоров. Крестьяне о писателях. М.; Л. 1930. С. 23.

КОНЕЦ ПЕРСПЕКТИВЫ

(БИБЛИОТЕКА: ОБРАЩЕНИЕ ХЛЕБОВ В КАМНИ)

Принципы побеждают, а не "примиряются"

Иосиф Сталин

“ЩИ ЩАМ — РОЗНЬ”, ИЛИ “ПРОСТАЯ ОХРАНА ИНТЕРЕСОВ
МАССОВОГО ЧИТАТЕЛЯ”

Новая власть с первых своих шагов проявила немалый интерес к книге. Уже 21 июня 1918 года за подписью Ленина был опубликован Декрет Совнаркома «Об охране библиотек и книгохранилищ», которым “все библиотеки ликвидируемых и эвакуируемых государственных учреждений, а также библиотеки отдельных обществ и лиц, поступившие в полном составе или частью в распоряжение правительственных учреждений, общественных организаций и т.д.” передавались под контроль возглавляемого Н.Крупской Отдела библиотек при Наркомпросе РСФСР. Все вопросы “дальнейшего назначения этих библиотек, распределения их, предоставления их в пользование населения, пополнения их, равно как и создание новых библиотек” передавались теперь в ведение этого Отдела. Декрет носил, в духе эпохи военного коммунизма, тотально репрессивный характер: “Все учреждения и организации, за которыми числятся или в распоряжении коих имеются какого бы то ни было рода библиотеки, обязаны не позже 15 августа с.г. довести о сем до сведения Отдела библиотек Народного Комиссариата по Просвещению; неисполнение сего правила рассматривается как нарушение революционного правопорядка и влечет за собой судебную ответственность”¹.

Через полгода, 14 января 1919 г. Совнарком принимает постановление, требующее от Наркомпроса “немедленно принять самые энергичные меры, во-первых, для централизации библиотечного дела России, во-вторых, для введения швейцарско-американской системы”². Швейцарско-американская система привлекала Ленина давно, со времен его работы в библиотеках Европы — прежде всего организацией и централизацией библиотечного дела. Вводить европейскую систему в России он предполагал насильственными методами, знакомыми еще с петровских времен. В письме в библиотечное отделение Внешкольного отдела Наркомпроса в феврале 1919 года Ленин требует организовать отчетность всех библиотек страны по единому образцу. Причем, по его требова-

нию, в формулярах отчетов должны быть “выделены (жирным шрифтом) те обязательные вопросы, за неотчет на которые заведующие библиотеками отвечают *по суду*, а затем требовать очень много не обязательных вопросов”. И тут же: “К обязательным §§ должны быть отнесены в виде вопросов *все* улучшения, применявшиеся в Швейцарии, в Америке (и в других странах)”³. Таким образом, введение швейцарско-американской системы становилось обязательным — вплоть до ответственности библиотечных работников “по суду”. В этой системе наибольший интерес у вождя большевиков вызывала централизация, которую Ленин поднимал до общегосударственной задачи: “Мы должны использовать те книги, которые у нас есть, и приняться за создание организованной сети библиотек, которые помогли бы народу использовать каждую имеющуюся у нас книжку, не создавать параллельных организаций, а создать единую планомерную организацию. В этом деле отражается основная задача нашей революции. Если она этой задачи не решит, если она не выйдет на дорогу создания действительно планомерной единой организации, вместо российского бестолкового хаоса и нелепости, — тогда эта революция останется революцией буржуазной”⁴.

Декрет о централизации библиотечного дела в РСФСР, отредактированный Лениным и опубликованный 4 ноября 1920 года, не просто связывал все библиотеки страны в единую сеть и передавал их в ведение Главполитпросвета, но предполагал снабжение всех библиотек (кроме специальных) “через местные учетные распределительные комиссии, получающие книги из Центральной распределительной комиссии при государственном издательстве”. Такие комиссии организуются “на местах” в составе представителей политпросветотдела, военкомата, наробраза и местного объединения профсоюзов, а в центре при библиотечном подотделе ГПП организуется центральный библиотечный коллектор, снабжающий уездные отделы народного образования комплектами книг для вновь организуемых библиотек разных типов⁵.

Из этого декрета ясно видно, что именно понималось под централизацией. Речь шла, как можно видеть, не столько о том, чтобы “помочь народу использовать каждую имеющуюся у нас книжку”, но о создании единой государственной системы контроля за книгой через централизацию комплектования библиотек. “Основная задача дня, — говорилось уже определенно в 1926 году, — увязка всех библиотек данного города (а потом и всей страны) в единый политико-просветительный аппарат”⁶.

Централизация касалась, разумеется, не только вопросов комплектования. Она затрагивала всю систему библиотечной работы и была направлена на радикальную перестройку библиотеки как социального института. Проследим за логикой сторонников централизации. “В чем сущность единства плана? — спрашивал Я.Куперман, и отвечал, — в том, что моменты однородные в работе отдельных библиотек, все то, что может и должно быть проведено единообразно, унифицировано (рекомендательный список, анкета для читателей, конкурс, материал для

вечера книги и пр.), — все это оговаривается единым для всех библиотек планом кампании, принципиально обязательным для них... Единство плана предполагает уже известную централизованность — план должен создаваться каким-то центральным органом. Подобие такого централизма мы имели до сих пор... Однако, это было централизованное *инструктирование*, а не централизованное *руководство*. Разница в пассивности центра в первом случае и активности его во втором (осуществление принципа обязательности). Мы видели, что при наличии централизованного инструктирования стихийность в работе лишь расцвела. Этой стихийности мы противопоставляем *единство плана, унификацию форм работы, осуществляемые при помощи централизованного руководства и коллективного выполнения на местах*⁷.

“Возможно ли массовое производство каких-либо предметов вне установления однообразных стандартных форм, единых инструкций, единого руководства?” — на этот вопрос теоретик библиотечной централизации даже не считает нужным отвечать, лишь уподобляя свой предмет задачам “массового производства каких-либо предметов”: “Так же и массовая библиотечная работа осуществима лишь при условии объединенного руководства, единого плана, однообразия методов, унификации форм”⁸. Причем, речь шла прежде всего об идеологической унификации: “Разработка единого плана заключается в том, чтобы придать ему вполне индивидуальное выражение в соответствии с политическими лозунгами именно данной кампании, ее специфическими задачами, в соответствии с общими задачами момента”⁹, а основная задача каждой политической кампании в библиотеках сводится “к массовой рекомендации, массовому продвижению, созданию массового спроса на определенный круг книг, идеологически оформляющих кампанию”¹⁰. В этой перспективе сужение спектра самостоятельности для библиотек выдвинулось не недостатком, а, напротив, преимуществом: “стеснение инициативы мест... нужно признать не только не опасным, но безусловно положительным: оно есть введение стихийности в определенное русло, залог цельности работы кампаний, достижения максимального эффекта”¹¹.

Разрабатывая принципы централизации библиотек, Крупская выделяла следующие: “при каждой библиотеке должен быть совет из читателей, куда должны непременно входить представители от организованного населения (партии, профсоюзов, КСМ, организованных женщин, союза работников социалистической культуры и просвещения и т.п.)”, “надо стремиться к слиянию партийных библиотек с ближайшими общественными городскими библиотеками. В тех случаях, когда эти последние правильно организованы, партийные ячейки получают право влиять на подбор книг и получать их вне очереди”, “в каждом городе имеется библиотека-коллектор с одним или несколькими инструкторами. Библиотека-коллектор инструктирует все библиотеки города, выясняет их потребности и сообразно им снабжает их книгами. Книги для библиотек получают коллектором непосредственно из Государственного

издательства по ордерам Наркомпроса...”, “библиотека-коллектор облегчает задачу библиотекарей, на которых до сих пор лежало комплектование своих библиотек, что было большинству библиотекарей не под силу”. На вершине этой пирамиды, по замыслу Крупской, стоит Центральная распределительная комиссия (ЦРК) — организационно-идеологический орган, который и готовит списки и занимается распределением книг. При этом Крупская, конечно, понимала, что “централизация снабжения предполагает централизацию библиотечной сети”¹².

На протяжении всех 1920-х годов вокруг централизованных библиотек шла непрерывная тяжба между Наркомпросом и профсоюзами. Лишь постановление ЦИК СССР от 27 марта 1934 г. “О библиотечном деле в Союзе ССР” положило конец этой борьбе. Этим постановлением был введен единый государственный контроль за деятельностью всех библиотек, независимо от их подчиненности. Такой контроль был возложен на Библиотечное управление Наркомпроса. По сути, этим постановлением и завершается процесс централизации и огосударствления библиотек. Разъясняя существо постановления, Крупская писала: “Какому бы ведомству, какой бы организации библиотека ни принадлежала, она создана на общественные средства, представляет собой общественное имущество, и Советское государство, которое с точностью знает, сколько в каждом крае совхозов и колхозов, школ, больниц, не может не знать, сколько существует в крае библиотек, кто какими библиотеками ведает, как о них заботятся, как берегут, как используют их для населения... Вопрос о доступе в библиотеки самых широких масс — вопрос политический, и еще более политический вопрос — это вопрос книжного состава библиотек, их работы”¹³.

Задолго до постановления ЦИК идея государственной централизации библиотек обсуждалась на страницах библиотечных изданий. Один из важных аргументов в пользу такой централизации состоял в том, что “книжный состав библиотечных пунктов единой библиотечной сети не остается всегда одним и тем же, как это наблюдается сейчас, а постоянно изменяется, обновляется в зависимости от потребностей и задач текущего дня”¹⁴. Естественно, что такая постоянная корректировка состава библиотек могла быть только централизованной, а лучше всех “потребности и задачи текущего дня” знала власть (государство-партия).

Основным вопросом централизации был, таким образом, вопрос о составе библиотек, о комплектовании библиотечных фондов. Характерно в этой связи обсуждение структуры единой сети библиотек, которое проходило в 1930 году на страницах журнала «Красный библиотекарь». Бесспорным для всех проектов был принцип, согласно которому “сеть должна быть единой, с единым планом работы, единым книжным фондом и единой материальной базой”¹⁵. В числе других был и Самарский проект, отличавшийся наибольшим радикализмом. Там предполагалось создание уже не только единого книжного фонда. Речь шла о такой структуре городских библиотек, когда город разделен на 8 приблизи-

тельно одинаковых по величине районов, в которых образуется 8 приблизительно одинаковых райотделений (филиалов); предлагалось даже установление одинакового книжного состава в райотделениях (“включать в филиалы лишь литературу 0, 1, 2 и 2-3 ступени трудности”)16.

Предлагаемая система организации единой библиотечной сети, но в более, правда, мягком виде просуществовала до начала 1930-х годов. 19 июля 1932 года коллегия Наркомпроса приняла постановление о библиотечной работе, в котором говорилось: “Извращение ленинской идеи ‘объединенной планомерной организации’ в библиотечном деле, выразившееся по ряду районов в механическом соединении всей сети библиотек, как находящихся в системе ОНО, профсоюзов, так и хозяйственных и других организаций, в механическом объединении книжных фондов, — привело к снижению ответственности организаций за состояние библиотечной работы, к обезличке, к снижению активности, самостоятельности массовых организаций в развертывании библиотечной сети”17. На смену “обезличке” пришла более гибкая модель: “Организация мощной сети коллекторов как самостоятельных предприятий в каждом областном и краевом центре и в крупнейших промышленных районах под непосредственным идеологическим руководством и контролем организаций, ведущих библиотечную работу, — неотложнейшая задача сегодняшнего дня... Снабжение сети коллекторов непосредственно из центра даст возможность избежать излишнего хождения книг, предназначенных для коллектора, через областное отделение Книгоцентра, где распространяются книги по сети своих магазинов и откуда только незначительная часть, совершенно не удовлетворяющая потребности библиотек, попадает в библиотечный коллектор”18. Здесь — прямое продолжение “ленинского стиля руководства” библиотечной работой. В письме Литкенсу 17 мая 1921 г. Ленин писал: “...надо, чтобы Вы (и мы) с абсолютной точностью знали, кого посадить (и из Центропечати, и из библиотечной) сети; обязательно из обоих учреждений), если через 1 месяц (2 нед(ели)? 6 нед(ель)?) после выхода каждой Сов(етской) книги ее нет в каждой библиотечке”19. Постановление ставило задачу снабжения библиотек на организационную основу.

Но начала новая власть не со снабжения, а с “чисток”, не с комплектования, а с изъятий. Именно в этом процессе выработывались принципы централизации. О “чистках” библиотек написано немало. Массовые изъятия из библиотек после революции сразу и прочно вошли в реестр “большевистских преступлений”. Менее всего нас интересует здесь этот “судебный” аспект проблемы. Процесс “чисток” имел свою логику и именно эта логика представляет первостепенный интерес.

Следует иметь в виду, что чистки начались сразу после Февральской революции и были лишь усилены большевиками. Процесс приобрел лавинообразный характер к лету 1918 года — библиотечные фонды сократились в целом почти вдвое и лишь к концу 1919 года вернулись к дореволюционным цифрам. Крупская видела в этом указание на выход

из кризиса: завершился “процесс очищения библиотек от негодного хлама и затем пополнение их закупленными книгами”²⁰. Здесь было, конечно, заведомое искажение ситуации: новая литература лишь *количественно* могла заполнить образовавшееся зияние, поскольку основная часть ее была брошюрной и уж никак не могла заменить изъятого “хлама”. При этом брошюры были в основном общественно-политического характера, быстро устаревали, изымались в свою очередь, изнашивались и уносились читателями из библиотек. Об этом “препятствии” в библиотечной работе писала Крупская, рассуждая о “темноте крестьян, у которых часто отсутствовало само понятие ‘библиотека’ и которые растаскивали книги по избам и разбирали их в частную собственность”²¹.

У создателей новой культуры была своя логика. Именно ею обосновывалась и новая библиотечная политика. “Знание грамоты можно сравнить с ложкой, — писала Крупская в 1923 году. — Ложкой удобно хлебать щи, но если шей нет, то, пожалуй, не к чему обзаводиться и ложкой.

Дело библиотеки поставлять миску со шами — сокровищницу знаний — владельцам ложек, людям, владеющим техникой чтения...

Однако это лишь часть задачи в области библиотечного дела. Щи шам — рознь. Надо варить их не из сена и трухи, а из достаточно питательных веществ, надо сделать варево удобоусвояемым, вкусным. Важно не просто расставить по полкам книги, надо расставить наилучшие, самые ценные, самые нужные книги, самые доступные, наиболее отвечающие на запросы читателя”²².

“Удобоусвояемое, вкусное варево”, в которое стремилась новая власть превратить чтение, было достаточно сложным продуктом. Речь шла поначалу не столько о новых “шам”, сколько о том, чтобы отобрать у “владельцев ложек” прежнюю “миску”. Так родилась первая наиболее полная инструкция 1924 г. по “пересмотру книжного состава библиотек”. Инструкция эта, подписанная председателем ГПП Н.Крупской, заведующим Главлитом П.Лебедевым-Полянским и председателем ЦБК М.Смушковой, была обращена не только к руководителям губернских отделов народного образования и политпросветов, но и к обллитам, гублитам и, наконец, отделам ГПУ²³. Эта инструкция дополняла предыдущую инструкцию Главполитпросвета 1920 года.

Как констатировал новый документ, после инструкции 1920 года “работа по изъятию устаревшей литературы” ведется очень медленно, а “в некоторых губерниях потребовалось вмешательство ГПУ, чтобы работа по изъятию началась”. Было вновь заявлено, что свою политическую и культурно-воспитательную роль библиотеки не смогут выполнять, “если не освободятся от контр-революционной и вредной литературы”. Инструкция требовала “безусловного изъятия” такой литературы не только во всех библиотеках, обслуживающих “массового читателя”, но и в научных библиотеках. В больших библиотеках изъятые книги могут быть сохранены, но “под строжайшей ответственностью заведующих, с обя-

зательством с их стороны не допускать таковые к массовому распространению”. Инструкция 1924 года лишь развивала институт “спецхранов”, которые, к слову, не были советским изобретением. В крупных библиотеках Российской империи существовали так называемые “нулевые шкафы”, в которых накапливалась революционная литература, в читальный зал не выдававшаяся. После революции ее передали в отделы редких книг. А “нулевые шкафы” продолжали пополняться, превратившись в “отделы”, а затем и в “залы” спецхранения.

Охранная грамота оставалась только у книг, вышедших в советских и партийных издательствах, а также у имеющих визу Главлита. Безусловному изъятию подлежала вся литература по философии, психологии и этике, “защищающая ментализм, оккультизм, спиритизм, теософию... и т.п.”, отдел религии должен был содержать теперь только антирелигиозную и “противо-церковную” литературу (разрешено было оставить только Евангелие, Библию, Коран), из книг, описывающих святые места, разрешалось оставить только те, что “представляют интерес с точки зрения географии, истории искусств, экскурсионного дела и т.п.”. Изъятию подлежала вся ранее издававшаяся “правительственными, церковными и черносотенно-патриотическими организациями” (куда в числе прочих были отнесены издания Троицкой Лавры и Постоянных Комиссий Народных Чтений для фабрично-заводских рабочих) “литература для народа”, агитационная литература оппозиционных партий (т. е. всех, кроме большевистской), “книжки о воспитании в духе основ старого строя (религиозность, монархизм, националистический патриотизм, милитаризм, уважение к знатности и богатству)”, “книжки, смешивающие науку с религиозными вымыслами, с рассуждениями о... безнравственности дарвинизма и материализма”, изъятию подлежали школьные учебники, “тенденциозные биографии” деятелей литературы и истории²⁴.

Особый интерес представляют изъятия беллетристики. К литературе, “возбуждающей, укрепляющей и развивающей низменные, животные и антисоциальные чувства (как, например, злоба и жестокость, половое извращение и чувство в порнографических книгах), суеверия, национализм и милитаризм (во многих исторических романах)” была отнесена практически вся массовая литература: “лубочные книжки” («Бова Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Английский Милорд Георг», «Французль Венциан», «Гуак или непреборимая верность», «Громобой», «Витязь Новгородский», «Заднепровская ведьма», «Татарский наездник Юпанча», «Пан Твардовский», издания Сытина, Балашова, Бриллиантова, Земскова, Коновалова и др.), “лубочные песенники”, “бульварные романы” («Авантюрист Казанова», «Нат Пинкертон», «Ник Картер», «Воздушное сражение», «Гарибальди», «Пещера Лейхтвейс», «Тайны Германского двора»), “уголовные романы” (Бело, Берте Борна, Буагобе, Бувье, Габорио, Горона, Леблана, Маттеи, Монтепена, Понсон ДюТеррайля, Фере, Шаветта), когда же “список по отчистке” доходил до

русских авторов, картина становилась совершенно мрачной: почти напротив каждого имени стояло в скобках: *все*. Это относилось к Арк.Аверченко, Апраксину, Буренину, А.Вербицкой, М.Волконскому, кн. В.Мещерскому, Вс.Соловьеву, Л.Шаховской (здесь названы только наиболее читаемые авторы — список состоял из 56 имен)²⁵. Попадания настолько точны, что можно предположить, будто власть действительно боролась с “дурными вкусами читающей публики”. Между тем, безукоризненный отбор был направлен на дистиллирование книжного состава библиотек, на замену “массовой литературы” “литературой для масс”.

Особенно сильно пострадали в результате изъятий детские библиотеки (здесь, очевидно, сказались педагогические пристрастия и претензии Крупской, считавшейся не только “главным библиотекарем”, но и “главным педагогом” страны). Когда дело доходило до детской литературы, тон инструкции становился обтекаемо-безапелляционным: обтекаемость формулировок вела на практике к тому, что библиотекари стремились изымать как можно больше (по принципу “лучше перестараться, чем недоглядеть”). Инструкция требовала: “Особенно важно очистить от книг с дурным эмоциональным и идейным содержанием детские отделы библиотек, из которых необходимо изъять не только книги с вышеуказанным уклоном (то, что говорилось о литературе для взрослых. — *Е.Д.*), но также и книги, не удовлетворяющие современным педагогическим требованиям”. Ясно, что под эти формулировки могло подпасть буквально все. По детской литературе даны особенно пространственные списки (два отдельных приложения), требующие изъятия целых категорий детской литературы. Прежде всего речь шла о сказках. Изъятию подлежали сказки Афанасьева, Аксакова «Аленький цветочек»; Авенариуса «Молодильные яблоки», «Сказка о Муравье-Богатыре», «Сказка о Пчелке-Мохнатке»; Васильева «Русские сказки»; Лебедева «Великие сердца», «Сильные духом»; Либровича «Сказки солнечного луча»; Лукашевича «Русские народные сказки» (все три выпуска); Онегина «Сказки в стихах»; Роговой «Русские сказки для маленьких детей»; «Сборник русских сказок для детей»; Сегюра «Волшебные сказки»; Федорова-Давыдова «Бабушкины сказки», «Котик, коток, серенький лобок», «Кума-Лиса», «Легенды и предания», «Петя-Петушок». Уже этот неполный перечень позволяет понять, что власть в это время вполне солидаризировалась с позицией наиболее радикальных литературоведов и педагогов, полагавших, что сказки “вредно влияют на неокрепшее сознание ребенка”, воспитывают суеверия, мистицизм, затемняют “материалистическую картину мира”. Через некоторое время сказки были “реабилитированы”. Прежде всего это относится к русским народным сказкам, возврат которых в “официальную антологию” должен был символизировать поворот власти от “леваческого” “опошления народного прошлого” к “воспитанию патриотизма”. Если сказки были возвращены, то повести и рассказы для детей, изъятые по инструкциям 1920-х годов (рассматриваемая инструкция 1924 г. содержала 97 имен детских писателей) так и не

вернулись к детскому читателю. То же относится и к специальному списку детских книг по истории и исторический беллетристике (список состоял из 51 автора) и к комплектам детских журналов «В школе и дома», «Галченок», «Доброе утро», «Задушевное слово», «Мирок», «Ученик»²⁶. Если учесть, что ко времени выхода этой инструкции новой детской литературы еще почти не было (ее издание только разворачивалось), не трудно себе представить, что означали изъятия такого масштаба для детских библиотек.

Детские библиотеки стали первой жертвой нарождающейся советской педагогики. «Заготовка читателей» проводилась в начале 1920-х годов самыми радикальными методами. «Чтобы определить настоящее ядро книжного материала современной детской библиотеки, следует ясно и твердо поставить цель воспитания современного ребенка, как будущего гражданина коммуниста» — писала на страницах «Красного библиотекаря» в 1924 году Е.Нелидова²⁷. Эту статью журнал поместил с оговорками о «несогласии редакции с некоторыми положениями и выводами автора». А «положения автора» сводились к следующему: да, дети требуют «самую волшебную» сказку, с самой страшной бабой-ягой, с загадочным Кошеем Бессмертным; да дети любят жалостливые и смешные книжки, они восхищаются описаниями геройских подвигов и опасных приключений у Верна, Майн Рида, Купера. Девочки любят книги о красивой любви — «им нужен быт приукрашенный, нужна любовь семейная и личная в красивой обстановке и с красивыми аксессуарами, и чем ярче все это описано, чем больше затрагивает чувство и воображение, тем, конечно, больше привлекает». Отсюда, полагает автор, «влечение к таким изобретателям буржуазно-семейного уклада и институтских романтических грез, как Чарская, Аверьянова, Мид, Махцевич-Новицкая»²⁸. Что же касается увлечения подростков Пинкертоном, Буссенаром, «Мессмендом», то здесь библиотекарь-педагог категоричен: «Такого рода литературе, конечно, не может быть места в библиотеке для детей и подростков. И посетители библиотеки должны знать, что есть книги, которых они не найдут в библиотеке, хотя и считают их интересными»²⁹. Педагог считает, что даже такая популярная в детской среде книжка, как «Красные дьяволята» Бляхина — приключения детей, помогавших красным в годы гражданской войны, — не годна для подростков. Они должны читать пусть и вовсе не увлекательную, но зато, несомненно, более полезную литературу, где можно познакомиться «с великим истинным героизмом, который ни в каких прикрасах не нуждается». Таковы «положения автора».

Детская литература является массовой литературой по определению. И в этом качестве она, конечно, деидеологична. Стремление к идеологизации круга массового чтения вело к следующим выводам: сказки следует давать «с большим выбором», предпочтительно сказки о животных и «в сопровождении бесед», цель которых — «привить критическое отношение к сказке». Автор статьи отдает себе отчет в том, что «при убогой

наличности литературы для младшего возраста на местах поневоле приходится задумываться над быстрым изъятием книг. Дети бросают ходить в библиотеку, не находя подходящих книжек”, но тут же утверждает, что “подростки не много пострадают от того, что часть устаревшей литературы будет изъята”, предлагая одних писателей “изъять безоговорочно”, других “внимательно пересмотреть”, а за это время создать новую детскую литературу, “уже совершенно лишенную даже легкого, чисто внешнего нелета старой идеологии”. В устах автора это означало: дать детям новую взрослую литературу. Литература соцреализма — эта взрослая литература для детей — как раз и отвечала этим требованиям: книги, писавшиеся для взрослых, немедленно становились достойным подросткам через “официальную антологию” — школьную программу.

Здесь, впрочем, мы подходим к другой важной проблеме — проблеме школьных библиотек. Именно со школьной библиотекой были связаны читатели-подростки. Именно здесь прежде всего формировались их читательские интересы. Как выясняется, “здоровые спросы” учащихся объясняются тем, что за чтением детей “внимательно следят педагоги, старательно продвигая к ним хорошую литературу, ограждая от скверной, постоянно держат связь с детской библиотекой”³⁰. Это все относится к интернату-семилетке им. К.Маркса в г.Ульяновске. А вот в другой семилетке, расположенной в центре города, дело обстоит плохо. Объясняется это тем, что здесь “обучаются дети наиболее зажиточной части города. В ней немало избалованных маменькиных сынков и дочек, капризных, морально изуродованных и развинченных, воспитанных боннами и не умеющих ничего делать”. Но главное — “наличие в школьных библиотеках старой литературы и, наконец, нежелание учителей бороться с чтением ее”. Из статьи библиотечного работника узнаем, что в школьных библиотеках Ульяновска от 25% до 50% литературы “подлежит немедленному изъятию по инструкции” (и это уже после всех чисток, в 1929 (!) году). Вывод библиотечно-педагогического начальства суров: “школьные библиотеки своим подбором не способствуют воспитанию будущих борцов за социализм, а уродуют и развращают детей. Не все и не всегда школьные работники желают понять это, многих нужно заставить понять. Необходимы меры: 1) обязательная, беспощадная чистка школьных библиотек, 2) установление строгого контроля за комплектованием (лучше организовать комиссию при ОНО). Без решительных мер дела не исправить”³¹.

Инструкции по “очистке библиотек” Крупская назовет “простой охраной интересов массового читателя”³². Однако чистка 1924 года привела к фактическому разграблению библиотек, о чем свидетельствует циркуляр Главполитпросвета 1926 года, содержащий обширные списки книг (тех, что не были еще уничтожены) для возврата в уездные библиотеки. Инструкция 1926 года “по пересмотру книг в библиотеках” интересна и в том смысле, что она раскрывает состояние библиотечных фондов, сложившееся к середине 1920-х годов в результате перманентных чисток.

Как выясняется из инструкции 1926 года, в числе “неправильно изъятых” оказалась практически вся дореволюционная периодика. Теперь предлагалось вернуть «Бывшее», «Голос минувшего», «Русскую старину», «Вестник Европы», «Летопись», «Русскую мысль», «Русское богатство», «Современник» (всего в списке оказалось 42 периодических издания). Иллюстрированные же журналы («Нива», «Огонек») предлагалось “использовать для вырезок”. Из философской литературы оказались изъятыми и теперь подлежали возврату Гартман и Декарт, Кант и Карлейль, Локк и Марк Аврелий, Монтескье и Ницше, Платон и Сенека, Скворода и Вл. Соловьев, Спенсер и Спиноза, Фихте и Шопенгауэр. Этот, разумеется, далеко не полный список будет все время изменяться (в сторону сокращения), но изучение и сопоставление различных списков к изъятию в поисках какой-то логики наводит на мысль о том, что до определенного времени (с большой степенью уверенности можно говорить о 1920-х годах, по крайней мере) в этой сфере царил необъяснимый хаос. Проводившиеся на Западе сопоставления говорят об отражении здесь некоей внутренней борьбы линий внутри Наркомпроса³³, но, как представляется, такой вывод вряд ли убедителен.

Очевидно, что на составление списков влияло много факторов в разное время. Прежде всего следует говорить не о “линии”, а о составе Центральной Библиотечной Комиссии, в которую входили как “мягкие”, так и “жесткие” деятели. Так, например, на изъятие религиозной литературы большое влияние оказал “мягкий” и очень влиятельный А. Покровский, полагавший, что есть более и менее вредная религиозность (и, соответственно, религиозная литература). На изъятие детской литературы (и литературы по проблемам воспитания) огромное влияние оказала Н. Крупская, бывшая здесь очень жесткой, но зато полагавшая, что не следует изымать идеалистов из библиотек — “массовик читать Канта не станет”³⁴. Это был, несомненно, сильный аргумент и он возымел действие. Целенаправленные изъятия из библиотек начались лишь в 1930-е годы. Они уже не были столь масштабными (основная работа по “очистке” библиотек была проделана в 1920-е годы), но были, несомненно, более прицельными — изъятию подлежали теперь книги “врагов народа”, официально осужденных направлений в различных науках (от генетики до марксизма), издания, не соответствующие новой политической линии партии (например, литературная сталиниана после XX съезда). В 1920-е годы ситуация была иной, не столь легко логически просчитываемой. Как можно, например, объяснить изъятие, а затем одновременный возврат в 1926 году книг и Мальтуса, и Адама Смита, первый из которых прочно располагался в демонологической преисподней марксистской политэкономии, а второй столь же постоянно значился в ее святцах как один из “трех источников марксизма”? Точно так же необъяснимы никакой логикой изъятия языковедов (Бодуэна де Куртэнэ, Грота), словарей (например, словаря Даля, русско-украинского или сербско-русского), некоторых учебников русского языка, вполне тради-

ционных историков литературы (от Овсяннико-Куликовского до Пыпина, от Мюллера до Скабичевского, от Сиповского до Буслаева), наконец, столь ценимых новой властью “революционных демократов” (от отдельных изданий Добролюбова и Писарева до журнала «Современник»), а затем их возврат. Инструкция 1926 года предполагала возврат ранее изъятой (также, очевидно, без всякого разбора) художественной литературы, где оказались Гаршин и Гюго, Диккенс и Золя, Каронин и де Костер, С.Кравчинский и И.Франко — авторы, легко усвоенные советской культурой как “критики прошлого”. Несомненно, рассматриваемая инструкция означала явное (хотя и временное) “ослабление”. Со многими оговорками (“проповедуют мешанскую мораль”, “проникнуты буржуазной идеологией”, “отражают в себе явно упадочные и реакционные настроения”) в библиотеки были все-таки возвращены многие книги: Андреев и Байрон, Бальзак и Батюшков, Белый и Боборыкин, Богданович и Боккаччо, Бунин и Вальтер Скотт, Веневитинов и Гауптман, Гейне и Гольдсмит, Гомер и Гонкуры, Гофман и Григорович, Данилевский и Данте, Державин и Додэ, Достоевский и Жуковский, Зайцев и Златовратский, Кантемир и Княжнин, Куприн и Курбский, Леопарди и Лесков, Лессинг и Ломоносов, Мамин-Сибиряк и Мельников-Печерский, Мережковский и Метерлинк, Мопассан и Нарезный, Немирович-Данченко и Основьяненко, Пильняк и Писемский, Пришвин и Козьма Прутков, Радишев и Ростан, Руссо и Сенкевич (кроме трилогии «Камо грядеши»), Стринберг и А.Толстой, Тассо и Твен, Теккерей и Тютчев, Уайльд и Флобер, Фонвизин и Франс, Хемницер и Хомяков, Чаадаев и Шиллер, Шершеневич и Языков. Этот огромный, но далеко не полный перечень авторов показывает не только явное отсутствие системы при изъятиях первых лет новой власти. Следует учитывать, что подобные изъятия были направлены не на охрану “массового читателя” — этот читатель пришел в библиотеку позже, в те годы он был еще в ликбезе. Адресатом был старый читатель библиотек — прежде всего средние слои интеллигенции, да и новым читателем в библиотеке был также читатель из интеллигентской среды, оказавшийся после революции, гражданской войны и конфискаций лишенным домашней библиотеки. Именно против этих читателей и были направлены первые чистки, в результате чего был в течение десяти лет разрушен традиционный корпус книг “официальной антологии”, а круг чтения сузился до пяточка: почти после каждого имени в приведенном выше списке значится: “Сочинения”, из чего можно заключить, что данный автор до 1926 года вообще отсутствовал в массовой библиотеке.

Инструкция 1926 года была, конечно, не только “разрешающей”. В списке литературы “широкое распространение которой желательно пресечь”, среди прочих, — Амфитеатров и Арцыбашев, Данилевский и Дюма-отец, Загоскин и Конан-Дойль, Лажечников и Потапенко, Прево и Пшибишевский, Ремизов и Сологуб³⁵.

Как же предполагалось проводить все эти “чистки” и “расчистки”

библиотек? Прежде всего инструкция требовала отделения книг рекомендуемых от нерекомендуемых и создания с этой целью двух каталогов. Каталог книг, “не подходящих для широкого распространения”, предлагалось не выставлять, но выдавать лишь по спросу тех читателей, которым “эти книги могут быть нужны для более полного и серьезного изучения вопроса”³⁶. Инструкция 1926 года констатировала, что изъятие почти не коснулось деревенских библиотек. “Если пересмотр книг для деревенских библиотек в прошлые годы тормозился отсутствием новой литературы в деревне и грозил совершенно опустошить деревенские библиотеки (выразительное признание. — *Е.Д.*), то в настоящем году положение уже настолько изменилось к лучшему, что ГПП считает своевременным настоять на том, чтобы и в деревне эта работа была окончена не позже 1 октября 1926 г.” Здесь предполагалась всяческая осмотрительность: изъятые книги избегать оставлять в библиотеке, их пересылку производить при ближайшей okazji (при поездках из вика, волкома и др. организаций в уезд), проверка книг, выданных на дом, до утверждения списков изъятия в УБК не выдавать изъятых книг на руки³⁷. Описываемая процедура может быть охарактеризована как процесс ареста книги по всем правилам работы карательных органов.

Уже инструкция 1924 года содержала подробное описание “построения аппарата, порядка и техники просмотра и изъятия устаревшей литературы”. “Компетентная комиссия” должна была состоять из представителей политпросветов, ОНО, (“наиболее активных”!) библиотечных работников, представителей партии, комсомола, профсоюзов, местных органов Главлита и, “где таковых нет, представителей ГПУ” (каковые имелись, разумеется, везде). Специалисты привлекались к работе этой “компетентной комиссии” лишь “с консультативной целью”. Комиссия должна была непосредственно проверять ход изъятия вплоть до “непосредственного просмотра сомнительных книг”. Именно тогда был расширен и ужесточен институт спецхранов. Инструкция предписывала оставленные в центральной библиотеке книги “хранить в особо запертых шкафах и выдавать исключительно для научных и литературных работ. На эти книги должны быть составлены специальные каталоги”³⁸. Фактически с этих инструкций начался процесс перманентных изъятий литературы, а “шкафы” вскоре и превращаются в “залы спецхранения”, которые на протяжении всей советской истории жили особой тайной жизнью — одновременно и расширялись (за счет новой “идеологически вредной литературы”), и сокращались (за счет возврата “ошибочно изъятых книг — два основных “выброса” приходится на периоды оттепели и затем перестройки).

Тема изъятий присутствует практически во всех официальных документах, посвященных библиотекам. Так, постановление ЦК ВКП(б) от 7 сентября 1925 года “О деревенских библиотеках и популярной литературе для снабжения библиотек” требует “закончить пересмотр наличного книжного инвентаря деревенских библиотек и изъять из них книги,

идеологически неприемлемые и устаревшие. В этих целях: а) поручить Агитпропу пересмотреть инструкцию Главполитпросвета по пересмотру книжных фондов деревенских библиотек; б) дать директиву местным парткомам об усилении внимания к проверке деревенских библиотек и участия в их работе; в) при проверке библиотек использовать пропагандистов, командированных партией в деревню; г) ГПП проверить работу по чистке деревенских библиотек в 10 уездах и о результатах проверки представить в ЦК письменный доклад к 1 декабря”³⁹. На этом фоне становится понятной причина появления инструкции 1926 года с ее категорическими требованиями к немедленной чистке деревенских библиотек, которая еще вчера грозила “совершенно опустошить деревенские библиотеки” из-за отсутствия новой литературы и вдруг “в настоящем году положение уже настолько изменилось к лучшему”, что чистка требуется немедленно. 30 октября 1927 года ЦК ВКП(б) принимает специальное постановление “О чистке библиотек от идеологически вредной литературы”; те же требования вновь звучат в постановлении ЦК 1929 года “О библиотечной работе”. И лишь затем вырабатываются закрытые каналы чисток, а сама эта тема перестает упоминаться в официальных документах. Сам по себе факт сокрытия темы изъятий, несомненно, культурно значим. Он отражает переход от открытого революционизма с характерным для него “обнажением приема” (в данном случае в сфере политико-идеологического творчества власти) к поэтике “магического реализма”, когда демонстрация приема может лишь разрушить целостность и скрытую гармонию “тотального произведения искусства”.

Отрицая “демократические прелести ‘современности’ — в виде свободы печати и вытекающее отсюда убеждение, что общественные библиотеки по своему книжному составу должны быть чужды классово-политических тенденций, что в некоторых буржуазных государствах библиотеки ‘всенародны’”⁴⁰, адепты новой библиотечной политики исходили из того, что “рабочий — цельный человек. Не укладывается это у него в голове, чтоб у нас при диктатуре пролетариата, наряду с усиленным и небывалым по размаху коммунистическим просвещением масс, могут выходить и выдаваться ему из библиотеки книги, проповедующие мистику, буржуазно-индивидуалистический анархизм и совершенно антикоммунистическую идеологию. Работа библиотеки — частица общей работы партии. И для рабочего на каждой книге, взятой из библиотеки, лежит клеймо и виза Коммунистической партии. Он не прочь покритиковать и партию, когда дело идет о частностях, но когда дело касается основных вопросов, здесь рабочий всецело доверяет партии. И вот, рабочий читатель сидит перед буржуазной книжонкой, силится одолеть ее, напрягает все свое внимание и в результате натывается на какую-то антикоммунистическую и бредовую ‘окрошку’. А между тем для рабочего уже одним фактом выхода книги в свет Коммунистическая партия как бы поручилась за ее содержание. В результате получается

растерянность и недоумение. Рабочий сбит с толку. Он не понимает и не решается признаться в этом, стыдится своего непонимания. Вред, приносимый такой литературой очевиден⁴¹.

Та “забота о рабочем” (“простая охрана интересов массового читателя”, по словам Крупской), с какой написан его психологический портрет, заставляет вспомнить о том, что инициатива в деле библиотечных чисток исходила не только сверху, но и снизу. Показательно в этом смысле выступление одного из библиотечных работников на страницах «Красного библиотекаря» в 1928 году. Первое, чем не доволен “рядовой библиотекарь”, — “печатные инструкции Главполитпросвета тоши, стары и не содержат никаких указаний на пересмотр литературы пооктябрьской”. Не страшно, если где-нибудь не изъят, например, Загоскин. Кто его возьмет в 1928 году? “Разве что престарелая бабушка, от литературных симпатий которой ни на зернышко не пострадает мировая революция. Гораздо вреднее и опаснее накопленные нами вороха макулатуры в издании последних лет. Но где найти авторитетные и исчерпывающие списки, скажем, новой беллетристики, такой, которую надо было бы разом и отовсюду изъять?” Библиотекарь не удовлетворен тем, что существующие для изъятий списки не обязательны: “нам никто не приказал строго с ними считаться, они выпускаются просто как перечень nereкомендуемой литературы⁴². Такое положение представляется нашему библиотечарю нетерпимым. Он отмечает ссылки на “необходимость руководства чтением”, утверждая, что “вредным книгам” не место в библиотеке вовсе. Тут бдительный библиотекарь пускается в сравнения: “Хотим мы того или не хотим, — чего скрывать: подлинное руководство чтением в наших библиотеках и не ночевало. Нет его. Нет никакой педагогической работы. Есть работа обыкновеннейшей подавальщицы-официантки, с той лишь разницей, что официантка нарпитовская мечется от человека к котлам и обратно, а мы мотаемся от человека к полке... И мы не плохо вертимся. За 5 часов работы отпускаем 300 человек. Но официантка каждому своему клиенту даст все-таки кусок честного хлеба, а мы сплошь и рядом по невольному недосмотру раздаем самые недвусмысленные булыжники. Так не лучше ли булыжники повыбрасывать — раз и навсегда”.⁴³ Итак, надо вовремя заботиться о непопадании в библиотеки всякой белиберды. Но и та, что уже проскочила, должна быть доизъята и выброшена. Соответствующее циркулярное распоряжение Москвы было бы в данном случае наилучшим. До недавнего времени руководство центра в этом отношении было недостаточным, но во всяком случае излишне мягким⁴⁴. Конкретным предложением было: составить “список романов, которые заведомо вредны и должны быть начисто изъяты... Пусть он (этот список. — *Е.Д.*) не будет очень большим, но он должен быть для всех библиотек обязательным... Тогда можно быть уверенным, что нигде, ни в одной массовой библиотеке города читатель не получит никчемной и запрещенной бульварщины⁴⁵. Разумеется, нами приведен крайний случай, но здесь лишь в наи-

более последовательной и концентрированной форме выражены очень распространенные в библиотечной среде настроения. Поэтому было бы большим упрощением рассматривать процесс библиотечных чисток как простое насилие власти над библиотекой. Это был, несомненно, взаимозависимый процесс.

Показательна в этом отношении дискуссия об “очистке библиотек”, которая велась на страницах «Красного библиотекаря» в 1923-24 годах. Открывая ее, А.Покровский писал: “...хотелось бы, чтобы вся работа по пересмотру книжного состава библиотек не представлялась и не была, по сущности своей, *полицейской*. Не полиция приходит отбирать недозволённые книжки, а работники просвещения, социалисты-’политпросветработники’, работники социальной культуры пересматривают состав своих библиотек, чтобы сделать их лучшими орудиями своей работы; так должно быть понято и поставлено это дело”. Здесь характерна сама попытка связать полицейской повинностью всю “библиотечную общественность” — от библиотекаря до “специалиста-’политпросветработника””, ведь, как утверждал Покровский, “власть советского правительства в России опирается, в конце концов, на элементарную сознательность, на здравый смысл и на классовые инстинкты рабочих масс”⁴⁶. Из этой простой посылки один из ведущих теоретиков новой библиотечной политики делал вывод о том, что не следует бояться случайно застрявшей “вредной книги” в библиотеке, и рассказал, как о некоем курьезе, о случае, когда библиотекаря арестовали за то, что у него сохранились годовые комплекты «Нивы», а в одном из журналов был портрет царя. Именно в ходе подобных рассуждений выработывалась еще в самом начале 1920-х годов ставшая впоследствии традиционной система аргументации “защиты интересов масс” со стороны власти. “Смысл изъятия тех или иных книг, — объяснял Покровский, — во всяком случае не в том, что мы хотим *скрыть* от читателей те мысли, с которыми мы не согласны... путем изъятий и запретов мы боремся не с чуждою *мыслью*, как таковой, а с попытками *затемнить мысль* путем обращения к страстям и дурным чувствам или *обмануть мысль* путем лживого изложения фактов. Разумеется, мы хотим, чтобы наши читатели усвоили *наши* мысли и взгляды, *наши* желания и стремления”⁴⁷. Через десятилетия эта система аргументации в массовом восприятии будет автоматизирована и потеряет свою новизну. В начале же 1920-х годов она ложилась на вполне подготовленную почву. И, напротив, “либеральные реверансы” Покровского не будут приниматься в расчет. Именно так будут истолкованы его объяснения: “нужно хорошо понять и почувствовать, что в сущности *нет книг вполне плохих и нет книг вполне хороших*. Есть книги *сравнительно* плохие и *сравнительно* хорошие; и притом, плохие или хорошие в том или ином отношении, *для той или иной цели*. И потому почти каждая книга и плоха и хороша — в зависимости от цели”⁴⁸.

Если Н.Рубакин шел к подобному выводу от особенностей читательского восприятия, то Покровский приходил к нему через формулирова-

ние задач библиотеки как института социального воспитания: “Библиотека — это мастерская с набором разнообразных орудий для разнообразных работ. Топор — плох для отделки поверхности тонких изделий, но хорош для оболванивания чурбана; лобзик плох для распилки теса, но хорош для работы из фанеры... Оставим себе и топор и лобзик. Теперь в этих наших мастерских много инструментов старых, ржавых, неуклюжих, кривых, обманывающих неловкую руку. Постараемся очистить от них мастерские, заменяя каждое старое — новым, лучшим. Но в тех случаях, когда для данной цели нового лучшего инструмента нет, оставим и ржавую пилу, и тупую стамеску, и даже топор, соскакивающий с топорища”⁴⁹. Эти “смелые предложения” тут же, однако, обставлялись множеством оговорок. Покровский считал, что “наибольшая ‘строгость’ должна быть проявлена при очистке небольших библиотек, обслуживающих рабоче-крестьянскую массу, — именно как массу, как рядовых читателей, в ответ на обычные, рядовые потребности этих читателей (все-таки именно “топор хорош для оболванивания чурбана”. — *Е.Д.*). Эта строгость очистки таких библиотек не означает, что у ‘народа’, у рабочих и крестьян отнимается право читать книги, разрешаемые для ‘интеллигенции’, для ‘начальства’. И рабочий, и крестьянин имеют право читать всякую, хоть бы и плохую книгу, если захочет. Но так как громадное большинство рабочих людей этого не захочет (что, несомненно, известно. — *Е.Д.*), то просто не расчет в большом количестве библиотек держать всякие, нелучшие и не очень нужные книги (“просто не расчет”... — *Е.Д.*)”⁵⁰. Дальше следовали “практические рекомендации”. Покровский предлагал, например, построить каталог небольшой библиотеки для массового читателя таким образом, чтобы он “приближался к рекомендательному списку книги”, а книги, оставленные в библиотеке “ради привлечения читателя, ради их занимательности, по содержанию же малоценные” в списки не включать. Эти и другие “маленькие хитрости”, тем не менее, не уберегли Покровского от разгромной критики, которая содержалась едва ли не во всех статьях в ходе дискуссии, вызванной его статьей.

Полемизировали с Покровским в основном... сами библиотекари, критиковавшие его за... “гнилой интеллигентский либерализм”. Покровскому ставилось в вину то, что он определял пользу книги по разным признакам, полагая, что в каждой можно найти что-нибудь ценное. Ему же отвечали, что “книги в работе с читателем нужно оценивать не по признакам занимательности, художественности и т.д. Классовая идеология книги — вот мерило ее доброкачественности для наших библиотек... Книга, мешающая библиотеке превратиться в проводник революционной пролетарской идеологии, — плохая книга, несмотря на все свои другие достоинства. Книга же, выявляющая и пропагандирующая классовые умонастроения и революционные взгляды пролетариата... — хорошая книга”⁵¹. Относительно либеральным идеям Покровского противостояла жесткая линия: “мы не можем ставить библиотеке в

ее работе с читателем внеклассовых целей... не предоставлять читателя его собственной участи доходить до всего своим умом, часто подвергаясь влияниям мелко-буржуазной, мещанской среды... *определенное руководство* исключает необходимость иметь в библиотеке *всякую книгу*. Оценивая книги, надо руководствоваться тем, насколько их идеология удовлетворяет целям *классового* воспитания читателя. Цель библиотеки — вовлечение читателя в круговорот идей коммунизма. *Последовательный коммунистический отбор литературы — вот собственно вся цель очистки библиотек, и только в этом отношении имеет смысл о ней говорить*"⁵². Позиция Покровского была объявлена "библиотечным либерализмом", "либеральным (читай буржуазным) подходом к очистке библиотек"⁵³.

В вопросе об "очистке библиотек" выделялось по крайней мере несколько вопросов. Например, что делать с изымаемыми книгами? Спецхраны, как известно, организовывались в крупных библиотеках, но не в этой категории библиотек находился массовый читатель. Что же касается небольших библиотек (заводских, клубных, районных, уездных), то там шел "поиск форм". Так, например, предлагалось создавать в такой библиотеке "показательный книжный музей". Развивая эту идею, Б.Борович в 1922 году писал: "Библиотека должна не только ограждать своего читателя от дрянной книги, от макулатуры, но и научить его отличать книгу; нужно показать ему, почему она забракована, что в ней плохого и т.д. и т.д. Всякие бульварные и уличные издания, явную порнографию, лубок, детские антипедагогические книжки следует собирать, сортировать по группам и помещать в показательный музей, хранящийся в особых закрытых шкафах; на оборотной стороне переплета каждой изъятой книги рекомендуется давать более или менее обстоятельный отзыв о ней и о причинах постигшей ее судьбы. Доступ к этому музею имеют лишь читатели более развитые, которые, во-первых, способны разбираться в книгах, а, во-вторых, предъявляют к ним повышенные требования и, следовательно, не поддаются заразе, исходящей от специфической уличной литературы. Впрочем, изредка музей может быть открыт и для всяких посетителей, если им тут же будут даваться дополнительные объяснения... Книги из показательного музея выдаются на дом в редких случаях и лицам, хорошо известным библиотеке в качестве культурных работников"⁵⁴. "Показательные книжные музеи" действительно создавались, но просуществовали недолго: началось полное изъятие "вредной литературы" из библиотек "низового звена". Это изъятие и судьба "музеев" были, несомненно, трезвым шагом со стороны власти, решительно порывавшей с романтизмом революционной эпохи. В самой идее музея изъятых книг была столь характерная для первых шагов новой власти в области библиотечного дела непоследовательность, ухидившая корнями в либерально-народническое экспериментаторство. С одной стороны, книги изымались, с другой, — выставлялись, но тут же помещались в "особые закрытые шкафы". Каким виделся авторам этой идеи

“массовый читатель”? Одновременно высоко сознательным (“воздержанным”?) и в то же время незрелым. Библиотека призвана была спасти его от “заразы, исходящей от специфической уличной литературы”, демонстрируя эту свою заботу о нем. Утопизм этой идеи — в ее абсолютном антипсихологизме и, напротив, сокрытие изъятой литературы куда более психологически мотивировано, куда более последовательный шаг со стороны власти — “спасать — так спасать” (или: “изымать — так изымать”).

Уже во второй половине 1920-х годов на смену романтике библиотечковедов-революционеров придет куда более циничная, но одновременно и более прагматическая “методика работы с читателем” — читательский спрос необходимо ведь было как-то удовлетворять: “Многие обычно задают такой вопрос: ‘А как быть, если спросят Вербицкую или Загоскина, или иную книгу, которую мы изымаем? Нужно ли ее нести?’ На такой вопрос мы не сможем ответить полностью. Однако и оставить его без внимания никоим образом нельзя. Тут приходится очень тактично выходить из положения. Не резко отказать в такой книге, а принести вместо нее какую-нибудь другую, на ту же тему, или, скажем, вернее удовлетворяющую ту же потребность читателя, но более приемлемую для нас. Читателям Вербицкой нужно о любви — дайте ему Овода, или другой роман, который всех без исключения захватывает. Спрашивающий Загоскина хочет исторический роман — дайте Спартака, Князя Серебряного, которые встречают всеобщую одобрительную оценку. Объясните, что не могли достать, что нет у вас таких книг, но дайте взамен такую, которая наверняка понравится и потому пристрастит читателя к чтению. Таких ходовых книг, любимых всеми, в каждой библиотеке нужно иметь по многу экземпляров, чтобы ими в нужный момент, как на удочку, ловить нового неиспытанного читателя”⁵⁵. Методика “работы с читателем” по необходимости превращалась в методику его обмана, что прямо и рекомендовалось в цитирувавшемся выше издании Главполитпросвета. Но одновременно это был прямой обман, а не самообман, как в случае с музеями.

Безусловно, “чистки” достигли намеченных целей: они проходили параллельно с приходом нового читателя в библиотеку (его уже не нужно обманывать — он просто не знал, кто такая Вербицкая). Массовый читатель рождался на глазах — к книге толкал сам процесс резкого разрушения традиционной социальной стратификации, борьба с безграмотностью, массовая тяга к учебе, которая обеспечивала новым социальным группам возможность найти свое место в изменяющейся общественной инфраструктуре. Все это качественно меняло читательскую аудиторию и состав крови “массового читателя” библиотеки.

Разумеется, изъятия книг на первых порах вызывали неприятие в библиотечной среде: “‘Чистка’ библиотек и до сего дня нередко встречается библиотекарями с негодованием. Даже часто среди опытных, заслуженных работников библиотечного дела к факту ‘чистки’ относятся как к

поступку 'дурного тона', как к невежеству 'большевистских представителей' на местах, как к каким-то 'новостям' в библиотечном деле"⁵⁶. Как можно было убедиться, такое отношение к чисткам распространялось далеко не на всех библиотекарей, но относилось прежде всего к среде "опытных, заслуженных работников библиотечного дела", т. е. к "старым библиотечным кадрам". Их время проходило. Но еще в начале 1924 года требовались разъяснения: "вопрос 'чистки' библиотек — это старый вопрос о комплектовании их, который всегда имел место в библиотечном деле. Сейчас стоит вопрос только о перекомплектовании библиотек. Наши библиотеки в большинстве случаев *собирали*, а не *подбирали* книги. И теперь приходится исправить их ошибки — сделать *отбор*"⁵⁷.

Показательно в этом отношении выступление Н.Крупской на III Пленуме Совета культурного строительства в 1933 году. Высказываясь в том смысле, что книга "может организовать и в нашем направлении и в чуждом нам направлении", Крупская вынуждена была признать, что чистки "проходили безобразно": "чистили библиотеки часто на глаз... Получалось безобразие. Списки мало помогут. Можем ли мы на все случаи дать список: вот эту книжку читай, а вот эту читать нельзя... расписать все книжки, которые можно давать читать, — это утопия, так делать нельзя. Но что нам нужно? Нужно, чтобы у библиотекаря была голова на плечах, чтобы он понимал, какая книжка организует читателя и какая — не в нашем направлении. Здесь нужна большая бдительность..." Заботясь о "голове на плечах", библиотекари часто изымали без разбора едва ли не все подряд, коль скоро "все расписать нельзя". Впрочем, здесь действовали не только они: "Не одни библиотекари чистят библиотеки, — вынуждена была признать Крупская. — У нас библиотека не защищена: приходят все, приходит комсомолец и говорит: 'Что у вас тут такое? Безобразие, чистку организуем'. Приходит работник сельсовета: 'Книжка подозрительная. Организовать чистку'. И кто только не организует чистку! А потом говорят, что библиотекари плохо чистят. Не они часто чистят библиотеки, а чистят люди посторонние, чистят из благих намерений, но дела не знают. Нужно, чтобы библиотечные фонды просматривали понимающие комиссии"⁵⁸.

Этой "самокритике" предшествовала кампания "по борьбе с изытиями" в 1932 году. Кампания эта была организована по принципу "головокружения от успехов" — "инициатива мест" была скована. Развитию этой инициативы способствовала неопределенность ключевого понятия "идеологически вредная книга". "Ликвидация" "вредной книги" в этом отношении очень напоминает "ликвидацию кулачества как класса" при неопределенности понятия "кулак". Нечто подобное наблюдается и в библиотеке. Два постановления лета — осени 1932 года резко изменили ситуацию в библиотеках. Первым было постановление Секретариата ВЦСПС от 29 августа 1932 г. "Против извращений в чистке библиотечных фондов", где говорилось: "В виду наличия совершенно явного по-

литического вреда, нанесенного извращениями в проведении чистки книжных фондов профсоюзных библиотек... и извращениями в руководстве чисткой... категорически запретить профсоюзным организациям проведение чистки книг”⁵⁹. Через месяц за подписью Наркома просвещения А.Бубнова последовало “Постановление коллегии Наркомпроса РСФСР о просмотре книжного состава библиотек”, предписывающее “немедленно прекратить массовое изъятие книг из библиотек” и “немедленно дать распоряжение всем библиотекам о недопустимости продажи книг из библиотек”⁶⁰.

Как видно из обоих постановлений, их принятие было вызвано, во-первых, составлением списков для изъятия самими библиотечными работниками — результат “инициативы мест” и, во-вторых, самовольной распродажей библиотеками изъятых книг. Речь, однако, шла вовсе не о прекращении изъятий, которые к началу 1930-х годов привели к катастрофическому оскудению библиотечных фондов, сократившихся в среднем на 50%. Речь шла о регулировании и централизации процесса.

Что же представляла собой “местная самодеятельность”? Обратимся к “материалам с мест”. “В ряде библиотек критерием для изъятия служили лишь дата издания и принадлежность автора к буржуазному классу. Мы имеем факты, когда изымались из библиотек вся дореволюционная литература, послереволюционная литература, изданная 3-4 года назад... В Северном крае, ЦЧО (Центрально-Черноземная область. — *Е.Д.*), Московской области, Ленинградской области, Нижневолжском крае наблюдаются такие возмутительные факты изъятия — опустошения книжных фондов библиотек, которые говорят не только о незнании библиотечными работниками книг, но и о преступном отношении к общественному имуществу”. В Московской области изъятые книги переводились в “специальный фонд”, в Ленинградской области — в “закрытый”, а в Западной области помимо спецфонда был создан фонд “МНД”, что расшифровывалось “Массам не давать”. Некоторые областные библиотеки сами создавали инструкции по изъятию литературы. Например, в инструкции Западной областной библиотеки было указано: “по философии следует изъять все сочинения буржуазных философов и их биографии”, по общественно-политическому разделу “предлагается изъять все книги, изданные до революции”, “передаются в специальный фонд книги, имевшие ценность как справочный и исторический материал до 1931 года” (воистину, история сокращается до одного года). Московская областная библиотека организовала “помощь” библиотекам составлением списков для изъятия. По художественной литературе здесь значились полные собрания сочинений Л.Андреева, Белого, Бунина, Брюсова, Гамсуна, Гарина-Михайловского, Гауптмана, Гюго, Гофмана, Додэ, Жеромского, Жироду, Диккенса, Лескова, Ростана, Соболя, Уайльда, Фета, Г.Манна, Метерлинка. А уж “на местах” с книжных полок исчезли Лонгфелло, де Костер, Флобер, Шиллер. Как заявил один московский библиотекарь, “такая была установка — ‘лучше перечиститься, чем

недочиститься”». Приведший перечисленные выше факты “с мест” Л. Рабинович должен был констатировать: “В результате проведенных изъятий книжные фонды наших крупнейших библиотек оказались так ошпи-панскими, что сейчас уже ряд библиотек принужден признать, что они ‘перечистились’”⁶¹. Накануне гневного осуждения “чистильщиков” главный библиотечный журнал страны поместил статью А. Тимофеева “За регулярную чистку библиотек”, автор которой (в полном соответствии с очередной директивой партийного руководства о “скорейшей чистке библиотек”) утверждал, что изымать книги следует вообще по спискам Книгоцентра, т.е. библиотека должна уподобиться книготорговой организации — только с противоположной задачей: не распространять, а изымать. Из того обстоятельства, что изымается слишком много, Тимофеев делал такой вывод: “В результате проверки для массовых библиотек явилось большой неожиданностью, что около 60% книжного фонда оказалось вычищенным. Тот факт, что в библиотеке осталось 40% книжного фонда, вселяет тревогу и говорит за то, что мы в библиотеках имели, хранили и работали с такой книгой, которая должна была быть давно изъята, а работать с такой книгой значит наносить читателю вред”. Таковы были “тревоги” всего за год до того, как грянула кампания “против чисток”⁶². Из другой разоблачительной статьи⁶³ узнаем, что в некоторых массовых библиотеках Ленинградской области в спецфондах оказались Белинский, Герцен, Гоголь, Пушкин, Тургенев, Л. Толстой (возвращенные в библиотеки еще “разрешающей” инструкцией 1926 года). В библиотеках Ленинграда в спецфонды были переведены книги Перверзева, Горбачева, Гельфанда, Родова, Майзеля, Воронского, Горбова, Эйхенбаума, Шкловского, Лелевича, Полонского — любопытный штрих к характеристике литературной борьбы 1920-х годов.

Хаос этих лет подходил к концу. В 1932 году было объявлено, что “левацкая теория” закрытых фондов и ‘ученые’ софизмы насчет устарелости и ненаучности (целых категорий книг. — *Е.Д.*)... и прочие премудрости ‘чистильщиков’ — все это помогало правым оппортунистам тормозить строительство советской, пролетарской социалистической культуры. Мероприятиями по ‘чистке’ и ‘переводу’ книг в закрытые фонды библиотекарь-массовик превращен в администратора, механически убирающего книги с полок”⁶⁴. Так завершился полный цикл уже традиционного “па” власти — шаг назад, два шага вперед: то же самое повторится с чистками-репрессиями и реорганизациями в колхозах, в административном аппарате, в партии, в армии, в среде интеллигенции и т.д. — везде та же сценография: сначала идет мощное давление со стороны центральной власти, затем “перегибы” и “головокружения” переносятся на “инициативу мест”, от которой берется спасти сама же центральная власть. Разумеется, как и прочие кампании такого рода, библиотечная кампания 1932 года обращена была вовсе не на свертывание “чисток”. Напротив, чистки стали теперь регулярно-централизованными, а списки на изъятие и выдачу — определенными и жесткими.

“Простая охрана интересов массового читателя” не ослабевала на протяжении всей советской истории.

Пройдет всего несколько лет после кампании 1932 года по борьбе с “чистильщиками” и «Литературная газета» будет писать в своей передовой статье: “нужно пересмотреть книжные полки и позаботиться об их очищении от произведений, в свое время не раскритикованных или позабытых, но продолжающих политически вредно воздействовать на массового читателя”⁶⁵. Это было в августе 1937 года. Речь шла о книгах новых врагов. Комсомолец с улицы или работник сельсовета уже не могли вмешиваться в процесс чистки. Власть освободила библиотекаря от местного произвола. Изъятие книг организовывалось совершенно иначе теперь, после радикального изменения ситуации “на библиотечном фронте” в начале 1930-х годов.

НА БИБЛИОТЕЧНОМ ФРОНТЕ...

В библиотечных дискуссиях 1920-х годов завершилась целая эпоха в истории библиотечного дела в России. Сам характер этих дискуссий и предметы споров — о массовости библиотек, о привлечении читателей, о библиотечных фондах и комплектовании, о читательских предпочтениях — отражали переход основной массы библиотечных работников от “народнического культурничества” к идеологии огосударственного чтения. Но главное, что отличает ситуацию 1920-х годов — органика перехода с характерным для подобных переходных состояний соотношением “старых кадров” и “бродильных идей”.

Противостояние этих лет вылилось поначалу в спор между (в терминах этих лет) “бибнапостовцами” и “библиотекистами”. Первые никакой реальной силы не представляли, выражая лишь идеи наиболее радикального крыла нового поколения “практиков библиотечного дела”, полагавших, что библиотечная работа должна опираться на читателей-активистов и рабочую критику. Наиболее активными сторонниками этих идей были А.Бек и Л.Тоом. В своей статье «На библиотечном фронте», опубликованной в N 17-18 журнала «На литературном посту» за 1927 год, первый утверждал, что сторонники “смушковской линии” и “смушковского духа” (М.Смушкова была в 1920-х годах одним из руководителей библиотечного дела в стране — она занимала важнейшие посты в Библиотечном управлении ГПП, была главным редактором журнала «Красный библиотекарь» и “правой рукой” Крупской в “библиотечном строительстве”) утверждают в библиотечном деле “нейтрализм”, не верят в высокий уровень сознательности народных масс и потому увлекаются “методикой” и “техникой” библиотечного дела, тогда как библиотеки должны быть “вовлечены в литературно-классовую борьбу, кипящую в стране”.

Сила в этом споре была на стороне “библиотекистов”, которые реально и руководили библиотеками страны. Из этого, разумеется, вовсе

не следует, что последние были менее радикальными, чем их пролеткультовские критики (которые печатались поначалу в рапповских изданиях). Напротив, именно “нейтраллисты” (М.Смушкова, А.Покровский, Н.Крупская, которая, конечно, не называлась, но имела в виду прежде всего, и другие) были сторонниками и проводниками политики чисток и “защиты интересов массового читателя”. Но, оставаясь искренними революционными идеологами, несли в себе немало той “интеллигентской шаткости” и “народопоклонства”, той веры в необходимость “воспитания широких трудящихся масс”, которые исчерпали себя к концу революционной эпохи.

Можно предположить, что в действительности в этом споре отразилась продолжавшаяся до начала 1930-х годов борьба за библиотеки между Главполитпросветом и Культотделом ВЦСПС, завершившаяся полной победой партийно-государственной структуры. В этом противостоянии столкнулись две концепции библиотеки: главполитпросветская, “смушковская”, утверждавшая политико-идеолого-воспитательную функцию библиотек и профсоюзная, “культурническая”, в которой библиотеке отводилось место в системе “организации отдыха трудящихся”. За этим спором стояла продолжавшаяся с 1920 года борьба “пролетарского государства” с профсоюзами, перешедшая из острой формы 1920-21 годов, времени “дискуссии о профсоюзах”, в форму скрытой групповой борьбы в партийных элитах. О том, что эта борьба “на профсоюзном фронте” не разрешилась X съездом РКП(б) в марте 1921 года и продолжалась в течение всех 1920-х годов, говорит и тот факт, что резолюция съезда политпросветов в мае 1926 года отражала ситуацию “временного перемирия”, когда обе стороны договорились о “необходимости сочетания отдыха и развлечения с политико-просветительными и воспитательными задачами”⁶⁶.

Как и всякое перемирие, это было лишь переходным этапом. Следует помнить, что фактически реализованная Сталиным троцкистская идея “огосударствленных профсоюзов”, с которой в 1920 году спорили не только “рабочая оппозиция”, но и Ленин и Бухарин, не была лишь идеологемой, но имела вполне конкретные “организационные” последствия. В нашем случае речь шла о совершенно определенных вещах: сможет ли государство в полной мере контролировать профсоюзные библиотеки, составляющие значительную часть всех библиотек в стране, будут ли эти библиотеки комплектоваться тем же путем, что и государственные, будут ли там изыматься те же книги и т. д.⁶⁷ Иными словами, речь шла о том, будет ли контроль за библиотеками тотальным. Вот почему “смушковская линия” как линия *компромиссная, переходная* доминировала в 1920-е годы. И сколько бы ни говорили “бибнапостовцы” о том, что из современного “практицизма” вырастает “плохо проводимый классовый подход к делу руководства чтением, к делу воспитания читателя”, что “вопрос об искоренении интеллигентских, мелко-буржуазных читательских черт в рабочем читателе (а ведь эти черты прививаются рабочему,

особенно молодому, той же мелко-буржуазной литературой), о воспитании и закреплении в них пролетарского подхода к книге почти совсем не ставится в современной библиотечной теории и практике”, сколько бы ни говорили они о “бесклассовом нейтралитете культурничества” и “библиотекистском нейтрализме”, сколько бы ни заклинали: “проблема изучения читателя почти совпадает с проблемой изучения общественной психологии... Все основные проблемы марксистского литературоведения упираются сейчас в проблему изучения читателя”⁶⁸, их линия в *это время* победить не могла.

Поворотным пунктом в “борьбе на библиотечном фронте” стал 1931 год, а непосредственным детонатором нового взрыва — книга А.Топорова «Крестьяне о писателях», вышедшая в 1930 году в Ленинграде, которой суждено было стать последним исследованием “читательской массы” и на десятилетия закрыть эту тему. Книга А.Топорова дает последний снимок эмпирического читателя пореволюционной эпохи. Фрагменты читательской критики в коммуне «Майское утро» публиковались А. Топоровым на страницах журнала «Сибирские огни» в 1927 (N 6) и 1928 (N 1, 2, 5) годах и уже тогда вызвали необычайный интерес и самые противоречивые оценки в столице. Сельский учитель, поставивший небывалый культурный эксперимент, был, конечно, в понятиях тех лет, “культурником” и “народолюбцем”. Критика его работы после выхода его книги в 1930 году на страницах рапповских и близких РАППу изданий исключительно характерна. Эта критика направлена прежде всего против “объективистской методологии” А.Топорова.

“Метод Топорова *неправилен в корне*. Его установка ошибочна, неверна, политически реакционна”, — писал налитпостовский критик в статье «Против топоровщины»⁶⁹. Топоров утверждал: “Рабоче-крестьянская критика художественной литературы — непосредственна. Она идет из нутра и выражается просто, сердечно, образно, живо. Это и делает ее выше и полезнее критики профессиональной. Резкое отличие низовой критики от верховной состоит в том, что первая мудрые мысли и глубокие чувства высказывает коряво, коротко, нескладно, но сильно, а вторая — копеечные идейки и пресыщенные и притупленные чувства вывертывает высокопарно и непонятно”⁷⁰. Критика этого тезиса как “высшей степени наивности, если не более того” знаменательна. Мысль о приоритете профессиональной критики над массовой на рубеже 1930-х годов была еще достаточно спорной, “народники” и “рабочелюбцы”, “хвостисты” и “культурники” все еще наивно полагали, что фундаментом новой культуры должна стать именно “низовая, демократическая критика”. Рапповцы, проводившие “партийную линию в литературе”, напротив, утверждали теперь, что идеологическая, воспитывающая “критика сверху”, безусловно, более “народна”, поскольку выражает истинные, “коренные интересы народных масс”, которые еще сами не доросли до их осознания. Вот почему они оценивали Топорова как “левака”, “человека, поверхностно разбирающегося в литературе,

не понимающего классовой природы искусства”⁷¹. Это выразилось в основной установке сибирского экспериментатора: “мой рабочий критерий — строжайшее беспристрастие”⁷². Рапповский критик попал в самую точку: “Метод Топорова уходит своими корнями в народничество, беспринципное культуртрегерство. *Ползучий эмпиризм* в применении к читательской действительности — вот что представляет собою этот метод. Он никуда *не ведет читателя, не воспитывает его, не поднимает на нужную высоту общественного и художественного сознания*”. М.Беккер утверждал тут же: “задачей культурной революции является не пассивное культурничество, идейное водительство”⁷³. И здесь он, конечно, был прав.

Оппоненты Топорова вовсе не отрицали полезности его опыта. Они лишь искали в его эксперименте подтверждения своей культурной утопии: “*По-настоящему* ‘кружок’ Топорова должен был воспитать в своей среде рецензентов массовой художественной литературы, подлинно сознательных читателей. *По-настоящему* из кружка Топорова должны были за девять лет выйти руководители массовых читок и низовых литературных кружков. Ничего невозможного в этом нет. Право, девять лет в наших условиях — это целая вечность”⁷⁴. Не анализ массового читателя, а *руководство им* — вот вывод, “по-настоящему” и последовательно вытекающий из установки: “Литература, являясь своеобразной отраслью общественно-идеологической пропаганды, должна привлекаться в качестве орудия борьбы за коммунистическое мировоззрение”⁷⁵. Как конкретно реализовать эту установку? “Мы предлагаем: основной рабочий критерий — строжайшее пристрастие. Не плестись в хвосте, а руководить — такова задача. Направлять высказывания, исправлять, организовывать сознание читателя, корректировать его ошибки — таковы должны быть функции настоящих и будущих Топоровых”⁷⁶.

“Объективизм” Топорова будет оцениваться куда более жестко спустя несколько лет, в разгар коллективизации, когда выявится “объективно-классовая суть его ‘беспристрастия’, как ‘беспристрастия’, помогающего кулаку”⁷⁷. “В массовой работе, — читаем на страницах журнала «Земля Советская», органа РОПКП (Российского Объединения пролетарско-колхозных писателей), полностью следовавшего в фарватере РАПП, — момент исследования мы всегда подчиняем определенной, вполне сознательной политической цели... Можно ли говорить о беспристрастии, как ‘рабочем принципе’, когда перед нами со всей остротой стоит задача сделать критику партийной? Нет, тысячу раз нет! Партийность — это открытая ‘пристрастность’, это воинствующая борьба против либерального объективизма... Не мнение нужно было навязывать низовому критику, а учить его методу, при помощи которого этот критик уже самостоятельно давал бы оценки произведениям”⁷⁸. Итак, “реакционные”, “вредные” взгляды Топорова вырастают из “‘народнического’, эсеровского отношения Топорова к крестьянству как носителю ‘самобытного’, ‘народного’ ума”⁷⁹.

Мы потому столь подробно остановились на рапповской критике Топорова, что она не была собственно рапповской. Уже после ликвидации РАППа все основные установки этой критики будут повторены: вновь будет сказано о “фетишизации аудитории”, о “чрезмерном объективизме”, о том, что “недостаточно быть фиксатором чьих-то высказываний, надо еще быть организатором и пропагандистом”⁸⁰. Здесь следует говорить не о рапповской критике “народничества”, но о фундаментальном пересмотре всего взгляда на “массы” и, в частности, на “потребителя художественной продукции”. Только в этом контексте становится ясным характер “библиотечной революции” 1931 года.

Главным препятствием для утверждения идеологии огосударствления читателя была прежняя библиотечная теория и сформированная в ней концепция чтения и читателя. Основное влияние на развитие советского библиотековедения в 1920-е годы оказала рубакинская библиопсихология, которая, как уже говорилось, не была сколько-нибудь цельной теоретической концепцией, хотя ближе всего подошла к проблеме психологии чтения и обосновывала методику воздействия на читателя. Н.Рубакин, а тем более его многочисленные последователи, исходили из воспитательного воздействия книги и, соответственно, утверждали идеологически-формирующую функцию библиотеки.

Основной теоретической предпосылкой рубакинской теории было положение об отсутствии в художественном тексте “объективного” содержания. Из одной работы в другую Рубакин повторял в разных вариантах одну излюбленную мысль: “Мы знаем не книги, не чужие речи и не их содержание, — мы знаем наши собственные проекции их и только то содержание, какое в них мы сами вкладываем, а не то, какое вложил автор или оратор. Свое мы при этом принимаем за чужое. Сколько у книги читателей, столько у нее и содержаний. Сходство содержаний обусловлено не тождественностью книг у разных читателей, а сходством читательских мнений”⁸¹, “Слово, которое мы читаем или слышим, не имеет никакого содержания кроме того, которое мы в него вкладываем в процессе чтения”⁸², “Что такое содержание книги в действительности, — этого никто, решительно никто из читателей вполне точно и определенно знать не может. Оно — мираж, который представляется каждому отдельному его наблюдателю иным, особым, в зависимости от этого наблюдателя... Сколько разных читателей, столько и разных содержаний у одной и той же книги или речи... А где же само содержание, т.е. каково оно? Этого никто не знает и знать не может. Оно — вещь в себе, как говорит Кант... Что бы ни писали о книгах и их авторах историки литературы и критики, мы, читая их, узнаем вовсе не их, а только те психические переживания, какие возбуждены в нас их словами”⁸³. Сколько бы ни упрекали Рубакина советские критики начала 1930-х годов в том, что он проповедует “субъективный идеализм”, что он использует “вредные идеалистические теории” — от Потемкина до Гумбольдта в лингвистике, от Беркли и Тэна до Лосского и Маха в философии, дело

было, разумеется, не в “идеализме” Рубакина: выискивание “философских корней” было лишь знаком ситуации начала 1930-х годов.

Рубакинским “измышлениям” давался “убедительный ответ марксистской психологией: ...противопоставлять психику отдельного человека коллективу нет оснований”⁸⁴. Что же касается собственно природы чтения, то и здесь рубакинская теория объявлялась “отражением идеалистических теорий психологии”, а самому Рубакину вменялось в вину стремление “на основе солипсизма обосновать бихевиористическую теорию психологии читателя”⁸⁵. Постоянные утверждения о том, что теория Рубакина “сигнализирует об опасности, которая угрожает марксистскому библиотековедению на участке психологического обоснования работы с читателем”⁸⁶, что Рубакин “скатывается к ультраидеалистическим представлениям о психическом”⁸⁷, были, конечно, лишь политико-идеологическим камуфляжем. Авторитет Рубакина в советском библиотековедении в 1920-е годы был исключительно высок, и разрушить его было чрезвычайно трудно (отсюда — тяжелая артиллерия философских софизмов). Оставаясь “либеральным народолюбом”, Рубакин построил “воспитательную” теорию чтения, которая на первых порах поддерживалась новой властью, но лишь до определенных пор: эта теория была совершенно непригодна в качестве “орудия” для формовки “массового читателя” — она была слишком психологизированной и индивидуализированной, опиралась на идею самостоятельной интерпретации текста, что категорически не соответствовало новой концепции чтения.

Теория Рубакина называлась теперь не иначе как “рубакинщина”: “Библиопсихология — это субъективно-идеалистическая теория библиотечной работы, даже не пытающаяся подделаться под марксизм... Рубакинщина — смертельный враг марксистско-ленинского мировоззрения. Она должна быть разоблачена до конца”⁸⁸. Адепты новой теории чтения утверждали, что “в упорной борьбе, которую Рубакин и его последователи ведут за признание примата в чтении психофизиологических особенностей организма и против признания определяющего значения содержания воспитательной работы, нельзя не видеть борьбы с ленинским содержанием воспитательной работы, борьбы с пропагандой коммунизма, борьбы за ‘аполитизм’ библиотечной работы, за ‘внеклассовый’ характер библиотеки”⁸⁹. Здесь был вопрос порога, за который Рубакин, а с ним и библиотеоретики старой школы перейти не могли. Теперь потребовалось обоснование не только воспитательной функции библиотеки (в чем была несомненная заслуга Рубакина и всего раннего советского библиотековедения), но обоснование единой государственной системы комплектования библиотек, массовых чисток, новых методов работы с “массовым читателем”; речь шла и о новой “стратегии чтения” — по единому каноническому “содержанию”.

“Библиотечная дискуссия” 1931-32 годов, стремительно перешедшая в проработки и чистки, была своеобразной прелюдией к последующим затем “литературным боям”: после перестройки “системы потребления”

книги пришло время для перестройки “системы производства” литературы. Библиотечная кампания проводилась по традиционной системе — для “теоретической” экзекуции подбирались фигуры отнюдь не случайные — это были практически все руководители библиотечного дела в стране в 1920-е годы, большая часть которых вышла из дореволюционной интеллигенции и были, конечно, не свободны от “родимых пятен народничества”, хотя верно служили новой власти, убежденные, что “служат народу”. Было здесь и своеобразное отражение внутривластной борьбы: многие “старые большевики”, вышедшие из интеллигенции, “окопались” в системе Наркомпроса под руководством А.Луначарского и Н.Крупской. С приходом в 1929 году А.Бубнова на пост Наркома просвещения РСФСР, переведенного сюда с поста начальника Агитпропа ЦК (1922-23 гг.), а затем начальника ПУРа (1924-29 гг.), и бывшего креатурой Сталина, ситуация резко изменилась. Едва ли не все сподвижники Крупской 1920-х годов оказались теперь противниками “партийной линии”. “Книжно-библиотечная дискуссия” была направлена прежде всего против них: “Любой вопрос культурной работы не может в настоящее время рассматриваться вне обострившейся классовой борьбы. Это же обстоятельство мы должны иметь в виду и при подходе к вопросу о работе массовой библиотеки, где необходимо особенное внимание к вопросам социального состава читателей, к классовой направленности содержания книги, к делу руководства чтением”⁹⁰. В таком контексте на “фронте культуры, где классовый враг выступает часто в замаскированной и скрытой форме”⁹¹, противники “генеральной линии” в библиотечном деле немедленно объявлялись представителями различных уклонов.

“Правый уклон” был представлен не только Н.Рубакиным, но и Л.Хавкиной (до 1929 г. директор Института библиотековедения), вся работа которой, как теперь утверждалось, была “насквозь пропитана идеологией буржуазных дам, которые во время оно ‘ходили в народ’ ‘с аптечками и библиотечками’ (Чехов)”⁹². Этот ернический тон по отношению к “пламенным революционерам”, определявшим в 1920-е годы характер библиотечной политики, — точный показатель нового идеологического вектора. Л.Хавкина, памятуя ленинские заветы, продолжала восхищаться “американо-швейцарской системой”, что теперь квалифицировалось не иначе, как “преклонение перед ‘цивилизацией’ империализма”⁹³. Лозунгу американских библиотек “Каждая книга — каждому читателю” противопоставлялся теперь лозунг “советской массовости” — “в первую очередь охватить необслуженных библиотечной сетью рабочих, колхозников, и батрацко-бедняцкие группы”⁹⁴. Не понимали “народнические дамы” и сущности “реконструктивного периода” в библиотечной работе: “существо перестройки — от *библиотекаря-одиночки*, отгороженного от массы, — к *библиотекарю-‘организатору’ общественности*, умеющему организовать, руководить массами, ставить всю работу под контроль масс”⁹⁵. Находясь “в плену народнических схем”, старые “библиотеч-

ные кадры” продолжали настаивать на приоритете читательского интереса: “библиотека существует для читателя, — писала Л.Хавкина, — поэтому читатель должен быть предметом ее забот и внимания, интересы читателя всегда должны быть на первом месте”⁹⁶. Это утверждение было объявлено теперь “ложным и буржуазным по сути”. Вместо “бесклассовости” предлагался новый путь: “Библиотеки являются идеологическим оружием классов, которые используют библиотеки для обработки, воспитания читателей в направлении, определяемом интересами классовой борьбы... Удовлетворяя спрос, совпадающий с установкой ЦК, настойчиво, вместе с тем, тактично *преодолевая* мелкобуржуазный спрос широких трудящихся масс города и деревни, *переключая, перевоспитывая* в сторону продвижения нужной для социалистического строительства литературы, библиотеки обязаны решительно отметить спрос на литературу, протаскивающую идеологию классового врага. *Не фетишизм спроса, а классовый подход к спросу и общее усиление руководства читателем*”⁹⁷.

“Читательский интерес” начал двоиться: “интересу познавательному” противопоставлялся теперь “интерес действенный”. И в самом деле, если “книга в руках пролетариата является не самоцелью, а орудием для достижения своих классовых целей”⁹⁸, то задача чтения приобретает совершенно новый характер. “Буржуазные” же авторы, напротив, направляют свое внимание “не на то, чтобы сделать книгу орудием классовой борьбы и социалистического строительства, а на то, чтобы возможно глубже и на возможно более длительный срок втянуть рабочего и крестьянина, приходящего в библиотеку, в чтение”⁹⁹. Все это было объявлено теперь буржуазным “идеалистическим извращением марксистского учения о поведении масс. Политический смысл этого извращения — ослабление классовой бдительности политпросветработников, в частности библиотекарей, самоизоляция политпросветучреждений, отвлечение их от обслуживания решающих задач социалистического строительства и тем самым торможение последнего”¹⁰⁰.

Главными виновниками того, что советское библиотековедение попало в “болото субъективного идеализма и солипсизма”¹⁰¹ были объявлены, вслед за Н.Рубакиным и Л.Хавкиной, А.Покровский — ведущий теоретик библиотечного дела в стране, Я.Ривлин, А.Банк, А.Виленкин, Б.Борович — основные исследователи массового читателя в 1920-е годы. Так, Покровский продолжал утверждать, что “должна строиться новая народная библиотека, учреждение демократическое по своей организации, народу служить, народу принадлежать, народом управляться”¹⁰². На это теперь следовал ответ: диктатура пролетариата “вскрывает всю ложь ‘надклассовой’ культурной работы”¹⁰³. Покровский — один из главных идеологов чисток 1920-х годов, так и оставшись “народником-просветителем”, объявляется теперь “реакционным контрабандистом”, который “шаг за шагом, в каждом слове дает развернутую ‘программу’ реакционных элементов, выступает против марксизма-ленинизма”¹⁰⁴.

Представитель “старой большевистской гвардии”, Покровский сохранил в 1920-е годы какие-то “социал-демократические иллюзии”. Он, например, полагал, что “подбор книг, говоря принципиально, — дело каждой библиотеки”, что в комиссии по чистке нужно вводить людей, “любящих книгу, независимо от их социально-классового положения”, что в библиотеке нужно иметь книги разных партий, “тогда сторонники других партий не вправе будут упрекнуть библиотеку за недобросовестный односторонний подбор книг и характер работы”¹⁰⁵. По этому поводу было теперь сказано, что Покровский “ориентирует библиотеку не на социалистическое строительство, а на классовых врагов”¹⁰⁶.

Он, далее, полагал, что нельзя отвращать от библиотеки “любителей благочестивого чтения” и следует иметь в библиотеке основную религиозную литературу, а уж задача библиотекаря “кропотливо воспитывать читателя и прививать ему взгляды на прочных научных основаниях”¹⁰⁷. Об этом теперь было сказано, что “за такое ‘коммунистическое воспитание’ может ратовать любой социал-фашист”¹⁰⁸. Покровский полагал также, что художественная литература должна воспитывать “чувства симпатии, общественные чувства, как, например, общительность, чувства товарищества, склонность к устройству общих начинаний, увлечение работой на общую пользу, живое интернационалистическое чувство, радость труда и коллективного товарищества”¹⁰⁹. Все это теперь объявлено было “надклассовым”. Относительно “кадрового обеспечения библиотечной работы” Покровский утверждал, что здесь “в особенности желательна молодежь из средних и высших учебных заведений”, что “людям из рабочей и крестьянской среды трудно стать библиотекарями, им недостает книжного знания”, что библиотекарю должна быть присуща “широта интересов, взглядов и связанная с этим терпимость к чужим мнениям”, что “работа внешкольника просветительная”, и поэтому “он должен отыскать в душе представителя другого мнения опорные пункты для возбуждения в нем сомнений, для переработки его взглядов”¹¹⁰. Теперь ему отвечали: “Мы признаем задачу переработки взглядов, но не путем терпимости к ним, а путем непримиримой критики”¹¹¹. Тем же страдали и исследователи массового читателя Я.Ривлин, А.Банк, А.Вилленкин, Б.Борович. Они отстаивали, как теперь выяснилось, “не революционное, меньшевистское фаталистическое понимание взаимоотношения человека и среды”, стремились к “превращению библиотеки в самодовлеющий механизм”, хотели “забронировать в человеческом поведении особую область, подведомственную библиотеке и оторванную от задач борьбы за социализм”¹¹². Вывод звучал как приговор: “‘Бесклассовый’, ‘беспартийный’, аполитичный подход к изучению читателя объективно приводит в конечном счете к отвлечению масс от борьбы за социализм, усыпляет их бдительность, ослабляет руководящую роль пролетарского авангарда в процессе социального формирования широких трудящихся масс, отдает рабочего читателя на волю стихии, тогда когда эта стихия еще не завоевана, когда она еще порождает капитализм и

капиталистическую идеологию. Такого рода изучению читателя нужно положить конец всерьез и навсегда”¹¹³. Это был действительно конец *исследованию читателя*. Ему на смену пришла *работа с читателем, руководство чтением*.

Все же вместе “буржуазные библиотековеды”, “насквозь, до корней волос пропитанные буржуазной идеологией, они — против диктатуры пролетариата, против социализма, против ленинского учения о культурной революции”¹¹⁴ должны были продемонстрировать “оппортунистические ошибки старого библиотечного руководства Главполитпросвета”¹¹⁵, что значило — оппортунизм Крупской.

К “старым большевикам” были подверстаны ученые-книговеды М.Щелкунов, автор фундаментального исследования «История, техника, искусство книгопечатания» (М.; Л. 1926) за механицизм, отсутствие классовости и чисто материально-техническое определение книги, а не трактовку ее как “идеологического инструмента”; А.Ловягин, автор «Основ книговедения» (Л. 1926) за то, что полагал, будто книга родилась из инстинкта пытливости, сопереживания и поэтического творчества (теперь это было определено как “продукт буржуазной социологии Спенсера и Канта”¹¹⁶; М.Куфаев, автор «Истории русской книги в XIX веке» (Л. 1927) и «Проблем философии книги» (Л. 1924) за ... “мистику и дуализм”: он полагал, что начало книги в слове, что книговедение изучает книгу как событие; и еще многие другие книговеды. В результате следовал вывод, что “в настоящее время теоретическое книговедение находится приблизительно в таком состоянии, в каком находилась механика во времена Архимеда и история во времена Геродота”¹¹⁷.

“Старым затасканным идеям выразителей буржуазного либерализма” был положен конец. Читательский интерес, приоритет которого эти “формалисты и эклектики” пытались отстаивать “объективными статистическими исследованиями” (статистические методы теперь определялись как “вредные и оппортунистические”¹¹⁸, как “методология ползучего эмпиризма”¹¹⁹) был совершенно “вытравлен из библиотечной теории и практики”.

“Левый уклон” был представлен Л.Клейнбортом, Вяч.Полонским, А.Бекон и Л.Тоом. Все они “выступали на литературном фронте”. Так, “меньшевик Клейнборт” утверждал, что существует “два полюса на фоне пролетарского читательства: рабочая масса и рабочая интеллигенция... Масса остается массой, лишенной элементарных умственных навыков”, что “трудно было бы указать другой слой читателей, который в такой степени стоял бы на страже старых форм и заветов русской литературы, как читатели-пролетарии”¹²⁰. Это “отрицание активности масс” вытекало, как теперь выяснялось, из “реставраторской, контрреволюционной линии троцкизма в вопросах литературы”¹²¹. Другой “оппортунист”, “подпевало Троцкого Полонский” “выдвигал лживую теорию иммунитета рабочих масс по отношению к классово-чуждым произведениям

буржуазного искусства”¹²². “Меньшевиетские подголоски Бек и Тоом”, напротив, отстаивали “теорию ‘пролетарско-коммунистической цельности’ рабочего читателя в противовес читателю-интеллигенту, ‘основным свойством’ которого, якобы, является раздвоенность”. Утверждалось, что это “меньшевиетское ‘рабочелюбие’” основывалось на “воинствующей меньшевиетской теории Переверзева”, что “на деле” они стремились “к тому, чтобы обеспечить все условия для буржуазного влияния на рабочие массы, обеспечить свободу буржуазной печати... разоружить пролетариат в борьбе с классовыми врагами и в борьбе за критическое усвоение культурного наследства... сохранить отношения литературы и масс такими, какими они сложились при капитализме, сохранить культурную гегемонию буржуазии, содействовать ей в культурном порабощении рабочего класса”¹²³. Таким образом, “бойцы за реставрацию капитализма выступили единым фронтом в вопросе о взаимоотношениях литературы и масс, писателей и читателей”¹²⁴.

Одним из основных персонажей в этой борьбе на левом фланге уже собственно “библиотечного фронта” оказался ученый секретарь заочных библиотечных курсов при педфаке II МГУ В.Невский, который сгруппировал в своей лаборатории ведущих психологов, педагогов и библиотечковедов 1920-х годов. Из 15 выпусков курсов (общий их объем должен был составлять 120 печатных листов) 9 были практически полностью посвящены проблемам психиатрии — в них разрабатывались вопросы влияния книги на психопатов, психоневротиков, идиотов, преступников: «Предмет и методы современной психологии» (вып. 1 — редактор Л.Выготский), «Основные направления современной психологии» (вып. 2 — редактор Л.Выготский), «Естественно-научные предпосылки психологии» (вып. 3 — редактор К.Корнилов), «Элементы общей психологии» (вып. 4 — редактор К.Корнилов), «Элементы дифференциальной психологии» (вып. 5 — редактор К.Корнилов), «Педология и детская психология» (вып. 6 — редактор А.Залкинд), «Психофизиология труда и психотехника» (вып. 7 — редактор И.Шпильрейн), «Элементы психопатологии, криминологии и патологической педологии» (вып. 8 — редактор А.Залкинд), «Элементы социальной психологии» (вып. 9 — редактор К.Корнилов). Как можно видеть, в идеале заочные библиотечные курсы ЦИЗПО должны были на деле соединить библиотечковедение с психологией, поставив рубакинскую идею библиопсихологии на реальную научную основу. Весь этот “научный арсенал” не был, однако, востребован. Напротив, в ходе “библиотечной дискуссии” все это было названо “целым букетом реакционной идеологии”¹²⁵, чему, несомненно, способствовал непрофессионализм Невского как ученого. Активный “организатор науки” и идеолог, радикально-революционные идеи которого в 1920-е годы имели поддержку в ГПП, лишившись такой поддержки в начале 1930-х годов, оказался удобной мишенью для борцов с “левачеством”.

Разумеется, сам Невский не был психологом и действительно грубо

и дилетантски пытался скрестить библиотеку с парапсихологией и психиатрической клиникой. Так, в статье “Учение о конституциях и изучение читателей” (вып. 3) он следующим образом рассуждал о типологии физического роста читателей: “Длинные люди обычно отличаются некоторой медлительностью в своих ответных реакциях на воздействия среды... но в то же время высокие люди более мощны по своим реакциям вследствие больших запасов нервных материалов (‘большие тела обладают большей массой’): они немножко ‘тяжелодумы’, по терминологии обыденного языка, но редко ‘пустодумы’”. Из этого следовал такой “практический вывод”: “при прочих равных условиях ‘длинному’ типу можно дать с гораздо меньшим риском беллетристическую книгу, полную сексуальных деталей, но ценную для характеристики разложения буржуазии, нежели типу ‘короткому’: ‘длинный’ читатель менее податлив на внешние половые раздражения, нежели ‘короткий’, и в то же время он более способен к отвлеченному мышлению, сосредоточению внимания на ‘основной идее’ книги, будучи мало задеваем ее непосредственными сексуальными деталями”. В статье «Неврология, эндокринология и изучение читателя» наш библиопсихолог рассуждал по поводу учения о функциях желез внутренней секреции: “Какое значение могли бы иметь эти сведения, если бы библиотекарь (сам или с помощью врача) научился их получать? Во-первых, педагогический подход к отдельным гипогипертипам, конечно, был бы различен: гиперсексуалов, например, необходимо охранять от литературы, очень откровенно рисующей половые отношения, чтобы не усиливать и так уже повышенную направленность их интересов в эту сторону. Для гипосексуальных людей (с недостаточной деятельностью половых желез) такая литература не только безопасна, но а наоборот, может быть даже полезна так же, как вспрыскивание спермокринина (действующего начала мужских половых желез) или принятие внутрь оварина (гормона женской половой сферы)”¹²⁶. Психоинженерная задача во всех этих рассуждениях буквально выпирает: рубакинская посылка (библиотекарь обязан учитывать психологию читателей) предельно радикализуется (библиотекарь обязан влиять на читательскую психику). Дилетантизм и прямолинейность построений Невского сделали его удобной мишенью для критики. “Реакционный бред маститого библиотекаря”, “Против путаницы и ‘левацких’ уклонов”, “Против идеалистических извращений в в психологии библиотечного дела” — так назывались теперь статьи, где рассматривалась деятельность Невского и руководимых им курсов.

Непосредственным же поводом к разгрому библиопсихологии послужили тезисы Невского ко Всесоюзному библиотечному съезду “Книжно-библиотечное дело на путях к будущему”, опубликованные в десятой книжке «Красного библиотекаря» за 1930 год. Эти тезисы в один голос были объявлены “путаной, ложной ‘левацкой’ теорией о перспективах библиотечного строительства”¹²⁷. “Левацкого” в этих тезисах было действительно немало. Так, Невский утверждал, что “неумолимое колесо

истории обрекает на постоянное уничтожение не только отдельные дисциплины, но и целые области культуры, например, религию, право, а в дальнейшем, может быть, и искусство". В другом месте он предлагал "создание единого центра книжно-библиотечного дела, включающего в себя: Управление бумажным и полиграфическим производством, Комитет по делам печати, ассоциацию всех издательств, Главлит, объединения книготорговой сети, Центральную книжную палату, Институт рекомендательной библиографии, ЦБК и единое библиотечное хозяйство". Все эти предложения были дружно осмеяны "библиотечной общественностью", но как "левацкие" были "заклеймлены" и другие идеи Невского. Так, он требовал учета в библиотечной практике "новых идей советской педагогики переходного периода" и делал упор на "трудовых процессах" и "трудовых навыках" за счет ослабления "политического воспитания". В другом тезисе он утверждал, что "библиотекарь должен быть прежде всего специалистом своего дела, знатоком книги, а не викторин и прочих клубных развлечений (массовая болезнь так наз. массовых библиотек)". По этому поводу оппоненты В.Невского заявляли, что "требовать узкого специалиста-книжника и бороться против использования массовых форм, против работы, связанной с массами, способствующей выработке организационно-общественных навыков, означает на деле тащить назад библиотекаря, еще увеличивать его аполитичность и отрыв (его и библиотеки) от текущих политических и хозяйственных задач". Наконец, Невский в самой категорической форме настаивал: "В процессе подготовки книг к печати первое слово должно быть представлено библиотекарю и читателю, а не редакционным отделам издательств и не литам", а "широкое создание нового массового автора... должно проходить через те же библиотеки". Эта идея — отстранение редотделов и литов была объявлена "неверной", "утопической и вреднейшей": "Обострение классовой борьбы требует укрепления литов, а не их уничтожения"¹²⁸. В целом же, предсъездовские тезисы Невского были выставлены в качестве "антипартийной платформы", против которой надлежало бороться на библиотечном фронте. Они были объявлены "примером неверно понятых задач, неверных 'левацких' перспектив библиотечного строительства... 'головкружением' в вопросах теории и методики библиотечного строительства"¹²⁹.

В реакции власти на "платформу Невского" ясно прослеживается начавшийся на рубеже 1930-х годов дрейф идеологической доктрины в сторону от левого революционаризма, ее трансформация в идеологию государственной институционализации. Характерно, что эта новая идеологическая линия более диалектична (что сообщает ей своеобразную последовательность): она совмещает в себе множество риторических фигур — осколков. Это своеобразный симбиоз народнических и пролеткультовских фантазий (требование "массовости") и революционного радикализма, одобренного государственным централизмом (требование чисток и "литов"). На этом фоне тезисы Невского действительно воспри-

нимаются как “путаные” и “противоречивые”: прежняя чисто революционная принципиальность выглядит теперь, на фоне гибкой линии власти излишне жесткой и прямолинейной. Власть научилась диалектике, которая симулировала “учет особенностей и сложностей текущего политического момента”.

В покаянном письме в редакцию «Красного библиотекаря», опубликованном спустя год после публикации тезисов, Невский отрекался от своих “заблуждений” (письмо было также в форме тезисов, каждый из которых начинался со слов “недооценка”, “неувязка”, “ошибочные мысли”, “забвение огромного значения...”, “неправильное освещение вопросов...”, “неверные установки”, “безусловно неправильно” и т. д.), а в редакционном послесловии к письму тезисы были названы “целой концепцией враждебных, реакционных взглядов и настроений, враждебных диктатуре пролетариата и всему социалистическому строительству”¹³⁰. Последний же номер журнала за этот год открывался приказом замнаркома просвещения о снятии с поста главного редактора и расформировании редколлегии журнала. За приказом следовала статья «Против гнилого либерализма» нового главного редактора «Красного библиотекаря» с осуждением прежней редакции за попустительство и публикацию “реакционного бреда” Невского. В этой статье Невский был назван “буржуазным идеологом, насквозь пропитанным антисоветскими теориями, во всей своей ‘теории’ проводящий враждебную советскому строительству концепцию... антисоветским теоретиком, оскалившим свои волчьи зубы... оголтелым клеветником, которому не по нутру классовая правда рабочего класса, который против государственного аппарата, который не признает построения социализма, не видит никаких перспектив”, а его тезисы “антисоветским документом, документом клеветническим”, где он “оклеветал партию, советскую власть, пролетарскую общественность”¹³¹. В этой смеси обвинений — вершина новой диалектики власти, основанной на признании за собой полного права наследования *одновременно всех* концепций — и революционных, и реставрационных и потому сурово карающей всякого, кто стремится к “чистоте” теории.

Перед теорией библиотечного дела и ставились теперь следующие задачи: “вскрыть подлинное лицо наших теоретиков, разоблачить враждебную нам сущность их теории... установить место библиотеки в системе классового воздействия пролетарского государства, определить специфические особенности библиотеки в ряду других средств пропаганды и агитации, определить точнее содержание библиотечной работы как приводного ремня культурной революции и социалистического строительства, установить и обосновать методы библиотечной работы, необходимые для получения определенных эффектов от проводимых мероприятий, определить место библиотечной педагогики в общей педагогике, создать марксистский фундамент психологии в применении к библиотечной работе (классовая психология и ее приложение к библиотечной

работе, психология восприятия читаемого и психология читателя, средства воздействия на читателя для переключения от книги к действию и т.п.)... заново обосновать теорию организации и техники библиотечного дела (абонемент, организация его работы, планирование библиотечной работы, каталогизация, пополнение библиотеки, вовлечение советской общественности в работу библиотек, изучение эффективности библиотечной работы и т. д.)”¹³². Как можно видеть, речь шла о радикальном пересмотре всей библиотечной “теории и практики”. Осознание этой задачи и можно считать результатом разгрома “левацкого уклона на библиотечно-книжном фронте”. Но здесь же — и начало борьбы “на психологическом фронте”. Не случайно статьи, где критиковалась библиопсихология, назывались «Против механистических извращений в психологии», «Против идеалистических извращений в психологии библиотечного дела» и т. д. До окончательной “победы на психологическом фронте” было еще пять лет. Лишь в 1936 году, с принятием постановления ЦК ВКП(б) “О педологических извращениях в системе наркомпросов”, с революционным экспериментированием в психологии и педагогике будет покончено. Для советской библиотеки, основанной на принципах педагогики, воспитания, это постановление имело ключевое значение, во всяком случае, не меньшее, чем для советской школы, ведь “работники библиотек, являясь постоянным проводником книги в массы, играют особую роль консультантов для читателя. К ним обращается и родитель с просьбой рекомендовать хорошую полезную книгу о том, как воспитывать детей, как разрешить какой-либо отдельный вопрос в подходе к своему ребенку; к библиотекарю же обращается и учитель за советом порекомендовать новинки, книги, которые вооружали бы его в непосредственной работе с детьми”¹³³.

Революционная психоинженерия не была, конечно, отвергнута. Напротив, в основном советская система воспитания (в том числе через школу, библиотеку, литературу) базировалась на революционной “перековке” и “формировании нового человека”. Другое дело, что эксперимент не должен был более восприниматься как эксперимент. Новой, советской эпохе не требовались больше идеологи и “пламенные революционеры”-“народолюбцы”, поскольку “заботу о народе” взяло на себя государство. Нужны были новые кадры.

“КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ”

Идея создания массовых библиотек с самого начала столкнулась с отсутствием “библиотечных кадров”. Наиболее квалифицированные (со специальной подготовкой и стажем) библиотечные работники были сконцентрированы в городе и, главным образом, в крупных научных библиотеках. Состав же библиотекарей в деревне не отвечал элементарным профессиональным требованиям, тогда как основной упор в “массовом развертывании библиотечной сети” делался именно на деревню, что ес-

тественно вытекало из воспитательно-идеологической концепции, изначально положенной в основу библиотечного строительства в СССР: библиотека была призвана “обратить в новую веру” “наиболее отсталую” часть населения страны — крестьянство, составлявшее до 80% всего населения.

По данным обследования БО ГПП, к началу 1924 года образовательный уровень библиотечных работников в деревнях был следующим: лишь 2,9% имели высшее образование, 70,4% имели среднее, 6,7% — незаконченное среднее, 2,9% — домашнее образование и 17,1% — низшее образование; еще драматичнее была ситуация с библиотекарями, имеющими специальную библиотечную подготовку — они составляли 21%, но из этого числа высшее библиотечное образование имел лишь 1% библиотекарей, у остальных за плечами были лишь библиотечные курсы от двухнедельных до двухмесячных, остальные не имели никакой специальной подготовки; отсутствие подготовки не компенсировалось при этом стажем работы, поскольку лишь 1,6% имели опыт библиотечной работы свыше 10 лет, 14,8% — от 5 до 10 лет, 24,6% — от 3 до 5 лет, 30,3% — от 1 года до 3 лет и 13,9% — менее года, 14,8% — вообще не имели стажа работы в библиотеке (таким образом, лишь 15% библиотекарей имели досоветский стаж библиотечной работы); помимо этого, 59% библиотекарей не состояли в библиотечных объединениях и не проходили никакой переподготовки; средняя зарплата в библиотеке составляла от 8 до 15 рублей в месяц; 12,7% были членами партии и 21,3% — комсомольцами, 66% — беспартийными¹³⁴.

Разумеется, властью были приняты “самые решительные меры” к тому, чтобы “укрепить” этот основной участок “библиотечного фронта” — были открыты специальные библиотечные институты, бибтехникумы, биботделения при пединститутах. Но пройдет 10 лет, и в разгар “культурной революции” Крупская будет вновь говорить о том, что “на фронте библиотечных кадров мы имеем форменный прорыв”¹³⁵. Основания для подобного утверждения были: по данным 1933 года, 36% библиотекарей не имели никакой библиотечной подготовки, 24% имели семилетнее образование и либо годичный стаж библиотечной работы, либо библиотечную подготовку на краткосрочных курсах. Таким образом, до 60% библиотекарей были неподготовленными “новичками”, что создавало высокий уровень “текучести библиотечных кадров” (и, соответственно, запущенность, несистематичность работы с фондами). Но и из остальных 40% лишь 25% могли быть названы профессиональными библиотекарями, поскольку остальные 15% составляли библиотекари, имевшие образование в объеме библиотечного техникума (очного или заочного), а также работники с незаконченным средним образованием, имеющие стаж до двух лет¹³⁶.

Как можно видеть, за 10 лет не изменилось ничего — вплоть до фигурирующих тех же 60%. Отчасти такая ситуация была связана с резким расширением библиотечной сети в период с 1924 по 1933 год, требую-

шей все новых и новых “кадров”. Но главная проблема была, очевидно, не в этом, и даже не в низких окладах библиотекарей (постановлением ЦК ВКП(б) от 7 сентября 1925 года “О деревенских библиотеках и популярной литературе для снабжения библиотек” ставка деревенского библиотекаря была доведена до уровня ставки сельского учителя), а в государственной библиотечной политике, направленной на “очищение библиотек от старых кадров”.

Эти — кадровые — библиотечные чистки менее известны, чем книжные. Между тем, они сыграли исключительную роль в формировании нового института библиотеки. Очевидно, что “старые библиотечные кадры”, сосредоточенные в основном в городе, в своем большинстве не удовлетворяли новую власть. Критика в их адрес продолжалась на протяжении всех 1920-х годов. И хотя еще в 1923 году была проведена специальная “экспертиза” всех библиотекарей страны, и через 10 лет в печати будет повторяться: “сколько еще дряни обывательской, а порою и классово-враждебной ютится в наших библиотеках...”¹³⁷, “бывших людей, бывших дам-патронесс, делающих ‘ученое лицо’, в наших библиотеках, особенно в так называемых научных библиотеках, не мало. Этот социальный мусор должен быть немедленно выброшен... нам надо выдвигать на библиотечную работу... *своих*, пролетарских библиотекарей”¹³⁸.

Государство сознательно создавало “кадровый прорыв на библиотечном фронте”: как ни плоха была ситуация массового непрофессионализма библиотечных работников, в глазах власти она была, несомненно, лучше той, при которой квалификация была несоветской. Такие библиотекари не понимали “новых задач и методов работы”: “чистки книг”, “руководство читателем”, операции с каталогами и т. п.

В “новых условиях”, когда “библиотеки должны быть превращены в культурно-политические штабы, содействующие активно мобилизации масс на выполнение в минимальные сроки пятилетнего плана социалистического строительства, при помощи книги повышающие идеологическую боеспособность рабочего, бедняка, батрака и колхозника в борьбе с классовым врагом, должны быть ярким огоньком новой культуры и быта в районах коллективного земледелия и социалистических городов”¹³⁹, потребовался принципиально новый тип библиотечного работника.

В одной из инструктивных статей «Красного библиотекаря» читаем: “поставить целиком и полностью на службу классовым целям пролетариата библиотечную сеть смогут такие кадры библиотекарей, которые безраздельно связали свои судьбы с делом рабочего класса, которые всецело подчинили свою работу задачам социалистического наступления и идут в передовых рядах фронта классовой борьбы против нэпмана, кулака, вредителя и попа, которые не на словах, а на деле проводят генеральную линию партии... Наличные кадры, главным образом, городские ни по своему образовательному уровню, ни по социальному составу не могут быть признаны удовлетворяющими требованиям современности... необходимо проверить наличный состав библиотечных работников

с точки зрения соответствия его политическим и социальным требованиям, поставив работу библиотекаря под контроль читателей — рабочих и крестьян”. Очередной “смотр библиотечных работников” должен был показать, “превратились ли библиотеки из мест выдачи книг в орудие переделки, перевоспитания масс в коммунистическом духе”¹⁴⁰. Функция “выявления политического лица библиотекаря” возлагалась на специальные “смотровые комиссии”, состоявшие из представителей партии, комсомола, профсоюзов, ОНО, политпросвета, читательского актива, рабпроса, работников промышленных предприятий, колхозов и совхозов, обслуживаемых библиотекой, а для детской библиотеки еще и представителей пионерской организации.

Комиссия должна была собирать сведения о библиотекаре от читателей. Помимо опросов и сбора сведений о “политическом лице библиотекаря” при помощи “актива добровольцев из рабочих, бедняков, батраков, колхозников” комиссии вменялось в обязанность изучение его анкеты. О том, что именно следовало изучить в работе библиотекаря, ясно из следующих пояснений: “Важно выявить не только пригодность библиотекаря с точки зрения его специальной подготовки и умения организовывать работу, но и выяснить общественно-политическое лицо его, проверить участие в общественной работе, определить, каковы взаимоотношения библиотекаря с читательскими массами, с активом, с общественными организациями”. При этом указывалось, что “в отношении снятия с работы библиотекарей необходимо проявить максимум осторожности, поскольку большинство библиотекарей недостаточно квалифицировано и произвести массовую их замену сейчас невозможно. Безусловно, снятию подлежат все классово-чуждые, враждебно-настроенные к советской власти, тайные и явные вредители, все, кто идет по стопам вредителей из библиотеки Днепропетровского дорпрофсожа”¹⁴¹.

“Вредительство на библиотечном фронте” было обнаружено в 1929 году. И о фактах такого рода сообщалось, по крайней мере, в течение последующих пяти лет. Началось с “днепропетровского вредительства”, о чем сообщалось в специальном циркуляре ВЦСПС N 242 от 16 октября 1929 года. В библиотеке Днепропетровского дорпрофсожа, как выяснили “правоохранительные органы”, “орудовала шайка белогвардейцев”, были “вскрыты факты гноения и затирания коммунистической литературы”. Из этого следовал вывод: “Контр-революционное вредительство в библиотеке Днепропетровского дорпрофсожа является прямым продолжением экономического вредительства и напоминает, что библиотека является одним из фронтов классовой борьбы”¹⁴². Впоследствии печать сообщала о все новых фактах: то о “шайке культурных вредителей” на Екатерининской железной дороге, которые уничтожали коммунистическую литературу и “продвигали” религиозную, то о фактах изъятия и выдачи запрещенных ранее книг (в Николаевской области, во Владимире), то о случаях изъятия партийной литературы из библиотек (в Харькове), то о продаже политических книг как макулатуры (Одесса) и

т.п.¹⁴³. Затем последовали и выводы: “Образованию вредительских организаций содействовали социальный состав верхушечной части интеллигенции и ее отношение к Октябрьской революции. Вместе с Октябрем мы получили в советский аппарат большое количество враждебных, классово чуждых нам сил”¹⁴⁴.

Главным способом изменения состава библиотечных работников являлось “выдвиженчество” из “социально-ценных групп населения”. Эти “группы” менее всего были готовы к квалифицированному выполнению библиотечной работы, но именно из них рекрутировались “новые библиотечные кадры”, о чем в партийных постановлениях проявлялась “неустанная забота”: “забронировать 20% из окончивших весной 1926 года совпартшколы I ступени (2.500 чел.) для стационарных библиотек и 10% из окончивших весной 1926 года совпартшколы II ступени (350 чел.) для работы по уездным передвижным фондам” (постановление ЦК ВКП(б) от 7 сентября 1925 года “О деревенских библиотеках и популярной литературе для снабжения библиотек”)¹⁴⁵. По постановлению ЦК ВКП(б) “О библиотечной работе” от 30 октября 1929 года был организован Московский библиотечный институт (хотя в нем, как и в Ленинградском, Харьковском и Нижегородском пединститутах, принималось лишь 50 человек в год), кроме этого в стране существовало 3 библиотечных техникума, а также сеть краткосрочных курсов и политпросветотделений при педтехникумах. Это же постановление требовало проверки библиотечных работников с точки зрения их соответствия “политическим требованиям, привлекая к этой проверке рабоче-крестьянского читателя”. Постановление 1929 года требовало увеличения среди библиотечных работников “удельного веса рабочих и крестьян” через закрепление окончивших комвузы и совпартшколы на библиотечной работе и “более четкое регулирование социального состава” обучающихся на библиотекарей¹⁴⁶.

Вполне в духе времени, перед “кадрами” ставились теперь задачи в ультимативно-угрожающей форме: библиотекарь “несет ответственность перед партией и пролетарским государством за всю свою работу, за каждую выдаваемую книгу”¹⁴⁷.

Еще в начале 1920-х годов библиотекарь рисовался в виде такого массовика: “это — человек, по своему характеру и склонностям, общительный, живой, ‘соседский’ — всем приятный и нужный. Он является активным участником и инициатором всяких общественных начинаний, он умеет быть и становится притягивающим центром для всего окружающего населения, — тем фокусом, той почвой, куда стекается вся коллективная энергия, весь общественный инстинкт”¹⁴⁸. В “библиопсихологической” интерпретации Рубакина библиотекарь — “возбудитель эмоций и стремлений. Он формовщик общественного мнения. Он организатор самых глубоких недр души как каждого отдельного читателя, так и читающей массы, а через ее посредство и массы не читающей... Библиопсихология дает библиотекарю сделаться силой, страшной силой, и

ю может сделаться всякий библиотекарь, а русский тем более, потому что перед ним — светлое будущее, перед ним определенный идеал этого будущего, перед ним полная возможность работать для его осуществления ‘во всю’...”¹⁴⁹. Рубакинский “психологизм” находился в общем русле поисков в сфере психологии в пореволюционные годы. Библиотекарь же — уже как *партийный деятель* вполне подходил под соответствующие психологические характеристики своего времени. В сборнике “Очерки культуры революционного времени”, рекомендованном для изучения по библиотечной подготовке, найдем статью А.Залкинда «Психические черты активного члена РКП(б)». Из нее узнаем, что “окружение, работа, учеба в партии есть важнейшая предпосылка постепенного и резкого изменения психики партийца, установления в ней новых (т.н. условных) рефлексов, и угасания тех ‘безусловных’, которые остаются характерными для беспартийного, благодаря отсутствию на него специфического влияния партийной среды”. Психолог “самым категорическим образом утверждает, что коммунистическая партия выделяет сейчас совершенно особую, невиданную еще, вполне организованную психофизиологическую установку, установку настоящего перманентного революционного бойца”. А.Залкинд предложил “психограмму партийца”, в которой выделял: “революционный моноидеизм — сосредоточенность целиком на идее революции”, “динамизм — действенность и быстрота темпа нервно-психических процессов”, “авангардизм — идеологическое ‘предстояние’ широким трудовым массам”, “эмоции риска, связанные с напряженностью борьбы”, “пионерство — искание новых методов и путей”, “контрольный анализ — аналитическое отношение к окружающему”, “синтез — непрерывная сводная ‘мозговая’ работа”, “повышенная сублимация — превращение низшего вида энергии (половой) в высшую мозговую и нервную”, “социоцентризм — противовес индивидуалистическому эгоизму”¹⁵⁰.

Все эти черты должны быть присущи и библиотекарю как активному партпропагандисту. Когда же “психологизм” отпал, остались запечатленные на скрижалях советского библиотековедения требования Крупской, для которой библиотекарь — это уже не только “душа дела”, “энтузиаст” и т. д., от него требуется “умение подходить к массе, работать с массой, знать ее запросы, умение направлять ее интересы в определенное русло, будить самостоятельность читателей, вести среди них большую инструктивную работу. Советский библиотекарь должен быть человеком образованным и политически подкованным, советский библиотекарь — ответственный участник социалистической стройки”¹⁵¹.

В дальнейшем требования конкретизируются, основное внимание будет уделяться библиотекарям, непосредственно занятым обслуживанием читателей. В передовой статье «Абонемент — важнейший участок библиотечной работы» журнал «Библиотекарь» (1947, N 2) будет напоминать, что именно “на абонементе осуществляется руководство чтением, поэтому именно здесь читателя должны обслуживать высококвалифи-

цированные, всесторонне образованные, политически грамотные библиотекари”¹⁵². О том же говорила и Крупская в ноябре 1938 года на совещании библиотечных работников, посвященном 15-летию журнала «Красный библиотекарь»: “Нашим библиотекам нужны, прежде всего, хорошие работники на выдаче”¹⁵³. К библиотекарю были обращены и чеканные формулировки передовых статей «Правды». Между двумя специально посвященными библиотеке передовыми «Правды» — 15 лет, но требования не изменились — 1937 год: “Библиотекарь не просто технический работник, не механический раздатчик книг. Он пропагандист и агитатор большевистской культуры. Вся работа его должна быть пропитана духом большевистской идейности, партийности”¹⁵⁴; 1951 год: “Советский библиотекарь — активный борец за развитие социалистической культуры, неутомимый пропагандист всего нового, передового, прогрессивного...”¹⁵⁵ Но, разумеется, главное в “работе кадров” — это “*работа с людьми*”. В нашем случае речь идет о “*руководстве чтением*”.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Об охране библиотек и книгохранилищ. Декрет СНК // Что писал и говорил Ленин о библиотеках. М.: Учпедгиз. 1932. С. 20.

2 Постановление СНК от 14 января 1919 г. // Там же. С. 20.

3 Письмо Ленина во Внешкольный отдел Наркомпроса // Там же. С. 22.

4 Приветственная речь Ленина на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию // Там же. С. 23.

5 Декрет о централизации библиотечного дела в РСФСР // Там же. С. 24.

6 Я.Е.Киперман, Б.В.Банк, Е.В.Концевич. Библиотечные кампании. Опыт организации, методы работы, материалы, результаты. М.; Л.: Долой неграмотность. 1926. С. 3.

7 Там же. С. 13.

8 Там же. С. 15.

9 Там же. С. 16.

10 Там же. С. 17.

11 Там же. С. 20.

12 Н.К.Крупская. Централизация библиотечного дела // Педагогические сочинения в 10-ти томах. Том 8. М.: Изд-во АПН РСФСР. 1960. С. 29-31.

13 Н.К.Крупская. Читательским рабочим конференциям // Педагогические сочинения Т. 8. С. 489.

14 За социалистическую перестройку библиотечного дела (Передовая) // Красный библиотекарь. 1931. N 4. С. 7.

15 А. Плетнев. Структура единой сети библиотек // Красный библиотекарь. 1930. N 11. С. 8.

16 Там же.

17 Постановление коллегии Наркомпроса РСФСР о библиотечной работе от 19

июля 1932 г. // Красный библиотекарь. 1932. N 7. С. 1.

18 Л.Рабинович. За боевые темпы в реализации постановления СНК о библиотечной работе // Красный библиотекарь. 1932. N 7. С. 4.

19 В.Ленин. Тов. Литкенсу // Что писал и говорил Ленин о библиотеках. М.: Учпедгиз. 1932. С. 20.

20 Н.К.Крупская. Распределение книжных богатств // Педагогические сочинения. Т. 8. С. 21.

21 Там же. С. 22.

22 Н.К.Крупская. Наши задачи // Педагогические сочинения. Т. 8. С. 68-69.

23 Инструкция по пересмотру книг в библиотеках. М.; Л.: Долой неграмотность. 1926.

24 Там же. С. 39-42.

25 Там же. С. 45-47.

26 Там же. С. 47-52.

27 Е.Нелидова. К вопросу о комплектовании детской библиотеки (В связи с изъятием вредной и устаревшей литературы) // Красный библиотекарь. 1924. N 8. С. 55.

28 Там же. С. 56.

29 Там же. С. 57.

30 И.Кротова. Школьные библиотеки // Красный библиотекарь. 1929. N 7. С. 51.

31 Там же. С. 53.

32 Н.К.Крупская. "Орехи" Главполитпросвета // Педагогические сочинения. Т. 8. С. 68-69.

33 См.: В.Wolfe. Krupskaya Purges the People's Libraries // Survey, 1969, No. 72, p. 141-155. См. также: S.Fitzpatrick. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca and London: Cornell UP, 1992, p. 91-114 (глава "The Soft Line on Culture and Its Enemies").

34 Н.К.Крупская. "Орехи" Главполитпросвета // Педагогические сочинения. Т. 8. С. 68-69.

35 Инструкция по пересмотру книг в библиотеках. М.; Л.: Долой неграмотность. 1926. С. 5-24.

36 Там же. С. 4.

37 Там же. С. 34.

38 Там же. С. 42-44.

39 Постановление ЦК ВКП(б) (от 7 сентября 1925 года) "О деревенских библиотеках и популярной литературе для снабжения библиотек" // Красный библиотекарь. 1925. N 10. С. 117.

40 Г.Беус. Классовое в библиотечном деле // Красный библиотекарь. 1924. N 4-5. С. 7.

41 С.Крылова, Л.Лебединский, Ра-бе (А.Бек), Л.Тоом. Рабочие о литературе, театре и музыке. Л.: Прибой. 1926. С. 30.

42 А.Клименко. Пуританизм или элементарная логика // Красный библиотекарь. 1928. N 12. С.46.

43 Там же. С. 48.

44 Там же. С. 49.

45 Там же. С. 50.

- 46 А.Покровский. К очистке библиотек // Красный библиотекарь. 1923. N 1. С. 15.
- 47 Там же. С. 16.
- 48 Там же. С. 18.
- 49 Там же. С. 19.
- 50 Там же. С. 20.
- 51 Б.Бажанов. К очистке библиотек // Красный библиотекарь. 1924. N 2-3. С. 32.
- 52 Там же. С. 33-34.
- 53 Г.Беус. Между двух стульев // Красный библиотекарь. 1924. N 2-3. С. 35, 37.
- 54 Б.О.Борович. Пути сближения книги с читателем: Опыт методологии культурной работы в библиотеке. Харьков: Труд. 1922. С. 69-70.
- 55 Ф.Доблер. Книгоношество // Массовая работа в библиотеке. Сб. статей. М.; Л.: Долой неграмотность. 1927. С. 36.
- 56 Н.Фридьева. Современные запросы городского читателя и активность библиотеки (Наблюдения и опыт городской районной библиотеки) // Красный библиотекарь. 1924. N 1. С. 54.
- 57 Там же. С. 54.
- 58 Н.К.Крупская. Библиотека должна войти в быт (Выступление на III Пленуме Совета культурного строительства) // Педагогические сочинения. Т. 8. С. 394-395.
- 59 Против извращений в чистке библиотечных фондов (Постановление Секретариата ВЦСПС от 29 августа 1932 г.) // Красный библиотекарь. 1932. N 8-9. С. 6.
- 60 Постановление коллегии Наркомпроса РСФСР о просмотре книжного состава библиотек от 4 октября 1932 г. // Красный библиотекарь. 1932. N 8-9. С. 6.
- 61 Л.Рабинович. Об извращениях в просмотре книжного состава библиотеки // Красный библиотекарь. 1932. N 7. С. 23-24.
- 62 См.: А.Тимофеев. За регулярную чистку библиотек // Красный библиотекарь. 1931. N 5-6. С. 97-99.
- 63 Н.Осьмаков. О "чистке" и "чистильщиках" массовых библиотек // Красный библиотекарь. 1932. N 8-9. С. 7-11.
- 64 Там же. С. 12-13.
- 65 Литературная газета. 1937. 15 августа.
- 66 От редакции. Послесловие к статье А.Гана «Ответ нашим критикам. Мальбрук в поход собрался» // Красный библиотекарь. 1927. N 12. С. 26.
- 67 Как отражение этой борьбы показательна брошюра Н.Рабичева «Больные вопросы библиотечной работы профсоюзов».
- 68 А.Бек. Проблема изучения читателя // На литературном посту. 1926. N 5-6. С. 24-25.
- 69 М.Беккер. Против топоровщины. О книге «Крестьяне о писателях» // На литературном посту. 1930. N 23-24. С. 57.
- 70 А.Топоров. Крестьяне о писателях. М.; Л.: ГИЗ. 1930. С. 24-25.
- 71 М.Беккер. Против топоровщины. О книге «Крестьяне о писателях». С. 58.
- 72 А.Топоров. Крестьяне о писателях. М.; Л.: ГИЗ. 1930. С. 57.
- 73 М.Беккер. Против топоровщины. О книге «Крестьяне о писателях». С. 59.
- 74 Там же. С. 59.
- 75 Там же. С. 60.

- 76 Там же. С. 59.
- 77 Н.Острогорский. Проблемы массовой критики // Земля Советская. 1932. N 4. С. 161.
- 78 Там же. С. 162.
- 79 Там же. С. 163.
- 80 М.Беккер. Художественная литература и задачи коммунистического воспитания молодежи. // Молодая гвардия. 1933. N 9. С. 138.
- 81 Н.Рубакин. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиотечную психологию. Л.: ГИЗ. 1929. С. 83.
- 82 Там же. С. 84.
- 83 Н.Рубакин. Что такое библиотечная психология. М.: Колос. 1924. С. 12.
- 84 П.Гуров. Что дает библиотекарю библиопсихология Н.Рубакина // Красный библиотекарь. 1930. N 2. С. 52.
- 85 Там же. С. 55.
- 86 Там же. С. 55.
- 87 Там же. С. 54.
- 88 Л.Шифман. Что такое рубакинщина? Библиопсихология как буржуазная теория чтения и работы с читателем // Красный библиотекарь. 1932. N 1. С. 23.
- 89 Там же. С. 21.
- 90 Б.Банк, А.Виленкин, И.Осьмаков. За реконструкцию работы массовой библиотеки // Красный библиотекарь. 1931. N 1. С. 14.
- 91 Там же. С. 13.
- 92 За социалистическую перестройку библиотечного дела (Редакционная) // Красный библиотекарь. 1931. N 4. С. 10.
- 93 Там же. С. 10.
- 94 И.Крипс., М.Фишман. Вытравим идеологию буржуазных библиотековедов // Красный библиотекарь. 1931. N 2. С. 12.
- 95 Там же. С. 15.
- 96 Л.Б.Хавкина. Руководство для небольших и средних библиотек. М. 1930. С.117.
- 97 И.Крипс., М.Фишман. Вытравим идеологию буржуазных библиотековедов. С. 15.
- 98 Л.Шифман. Против идеалистических извращений в психологии библиотечного дела // Красный библиотекарь. 1931. N 10. С. 16.
- 99 Там же. С. 16.
- 100 Там же. С. 18.
- 101 И.Новосадский. Книжно-библиотечную дискуссию — на высшую ступень // Красный библиотекарь. 1931. N 10. С. 23.
- 102 А.Покровский. Библиотечная работа. О культурной и социальной работе народной библиотеки. М.: ГИЗ. 1922. С. 8.
- 103 А.Колянова. Против реакционных контрабандистов // Красный библиотекарь. 1931. N 12. С. 6.
- 104 Там же. С. 8.
- 105 А.Покровский. Библиотечная работа. О культурной и социальной работе народной библиотеки. С. 40.
- 106 А.Колянова. Против реакционных контрабандистов. С. 8.
- 107 А.Покровский. Библиотечная работа. О культурной и социальной работе на-

родной библиотеки. С. 36.

108 А.Колянова. Против реакционных контрабандистов. С. 9.

109 А.Покровский. О работе с беллетристкой // Труды I Всероссийского съезда библиотечных работников Красной армии и флота. М. 1922. С. 87.

110 А.Покровский. Библиотечная работа. О культурной и социальной работе народной библиотеки. С. 88.

111 А.Колянова. Против реакционных контрабандистов. С. 10.

112 Л.Шифман. Против буржуазных путей изучения читателя // Красный библиотекарь. 1931. N 8. С. 23.

113 Там же. С. 24.

114 А.Колянова. Против реакционных контрабандистов. С. 10.

115 И.Новосадский. Книжно-библиотечную дискуссию — на высшую ступень. С. 19.

116 Там же. С. 22.

117 Там же. С. 25.

118 И.Осьмаков. "Творчество" буржуазных библиотековедов // Красный библиотекарь. 1931. N 8. С. 9. 14.

119 А.Попов. О путях социалистической реконструкции библиотечной работы // Красный библиотекарь. 1931. N 4. С. 22.

120 Л.М.Клейнборг. Русский читатель-рабочий. Л.: Изд-во Ленгубсовета профсоюзов. 1925. С. 5-34.

121 Дм.Мазнин. Знаем ли мы читателя? Из доклада о массовой рабочей критике на производственном совещании критиков РАПП // На подъеме (Ростов-на-Дону). 1932. N 3. С. 123.

122 Там же. С. 123.

123 Там же. С. 124-125. См. также: В.Ермилов. Против неоменьшевизма в пролетарском литературном движении. Что такое идеологическая фирма "Тоом-Бек"? // На литературном посту. 1930. N 18. С. 9-38.

124 Там же. С. 125.

125 Л.Шифман. Заочные библиотечные курсы ЦИЗПО. Против механистических извращений в психологии // Красный библиотекарь. 1931. N 4. С. 30 (примечание редакции).

126 В.Невский. Неврология, эндокринология и изучение читателя // Естественнонаучные предпосылки психологии. М.: БЗО при II МГУ. 1929. С. 79, 88-89.

127 М.Фишман. Против путаницы и "левацких" уклонов // Красный библиотекарь. 1931. N 1. С. 9.

128 Е.Филатова. "Теория", ставящая палки в колеса // Красный библиотекарь. 1931. N 2. С. 4.

129 М.Фишман. Против путаницы и "левацких" уклонов. С. 12.

130 В.А.Невский. Письмо в редакцию. От редакции // Красный библиотекарь. 1931. N 10. С. 26-28.

131 А.Любимов. Против гнилого либерализма // Красный библиотекарь. 1931. N 12. С. 3.

132 П. Гуров. За создание новой библиотечной теории на основе ленинизма // Красный библиотекарь. 1931. N 4. С. 26.

133 А.Кубарева. О педологических извращениях в системе наркомпросов // Крас-

ный библиотекарь. 1936. N 8. С. 4.

134 См.: А.М. Итоги обработки анкет о положении деревенских библиотек // Красный библиотекарь. 1924. N 9. С. 103-104.

135 Н.К.Крупская. Важный участок социалистической стройки // Педагогические сочинения. Т. 8. С. 418.

136 См.: там же. С. 418.

137 Дм.Мазнин. Знаем ли мы читателя? Из доклада о массовой рабочей критике на производственном совещании критиков РАПП. С. 134.

138 А.Любимов. На библиотечном фронте неблагоприятно // Красный библиотекарь. 1931. N 4. С. 15-16.

139 К.Храпко. Библиотеку под контроль масс // Красный библиотекарь. 1930. N 4. С. 3.

140 Там же. С. 3.

141 Там же. С. 4-5.

142 Уроки днепропетровского вредительства // Красный библиотекарь. 1929. N 10. С. 7-8.

143 Об этих фактах сообщала, в частности, «Правда» 16 декабря 1929 г.

144 В.Дедюхин. Вредительство и задачи библиотечных работников // Красный библиотекарь. 1931. N 1. С. 8.

145 Постановление ЦК ВКП(б) от 7 сентября 1925 года "О деревенских библиотеках и популярной литературе для снабжения библиотек" // Красный библиотекарь. 1925. N 10. С. 117-118.

146 Постановление ЦК ВКП(б) от 30 октября 1929 года "О библиотечной работе" // Красный библиотекарь. 1929. N 10. С. 3.

147 Павелкин. За большевистскую партийность в библиотечной работе // Красный библиотекарь. 1932. N 4. С. 15.

148 Б.О.Борович. Пути сближения книги с читателем. Харьков: Труд. 1922. С. 80-81.

149 Н.А.Рубакин. Работа библиотекаря с точки зрения библио-психологии. К вопросу об отношении книги и читателя // Читатель и книга. Методы их изучения. Сб. статей. Харьков: Труд. 1925. С. 40.

150 А.Б.Залкинд. Психические черты активного члена РКП(б) // Очерки культуры революционного времени. Сб. статей. М.: Работник Просвещения. 1924. С. 97.

151 Н.К.Крупская. Важный участок социалистической стройки // Педагогические сочинения. Т. 8. С. 417-418.

152 Абонемент — важнейший участок библиотечной работы (Передовая) // Библиотекарь. 1947. N 2. С. 4.

153 Красный библиотекарь. 1939. N 2. С. 71.

154 Библиотечное дело (Передовая) // Правда. 1937, 31 августа.

155 Важный участок культурного строительства (Передовая) // Правда. 1951. 28 июля.

ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ

(ОТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ЧИТАТЕЛЯ К ИДЕАЛЬНОМУ)

Для экспансии литературы в быт требуются, само собой, — особые бытовые условия.

Юрий Тынянов

1

“Народность” советской библиотеки не была рождена революцией, но вызрела в России задолго до нее. Ее корни — в народнических “общедоступных библиотеках”. Уже в XIX веке эта доступность понималась в российских народнических кругах специфически: речь шла о резком спрямлении пути читателя к библиотеке. Точнее, о резком, если не сказать, революционном, преобразовании “народа” в “читателей”. На первом месте оказалась, таким образом, не библиотека, которая (по западному образцу) должна стать общедоступной, но ее потенциальный посетитель, которого следовало путем перманентного воспитания превратить в читателя и совершенствовать его в этом качестве. В центре внимания оказался не читатель, не “читающая публика”, но нечитающая масса. Разумеется, для этого были в России социально-исторические предпосылки, которые привели к образованию новых форм организации и постановки библиотечного дела, к изменению содержания и методики работы библиотек. Именно во второй половине XIX века в России вызрела, а затем заняла доминирующее положение социально-педагогическая концепция библиотечного дела.

Обратимся к работе одного из ведущих библиотекведов 1920-х годов Я.Ривлина «Методические течения в области библиотековедения», опубликованной в 1925 году. Автор ставит в этом очерке “практическую” задачу: “подчеркнуть педагогическое содержание библиотечной работы и отметить непосредственную связь ее с педагогикой и внешкольной педагогической психологией”¹.

Рассматривая различные точки зрения на задачи библиотек, Ривлин указывает на их недостаточность с позиций социальной педагогики. Он отвергает как буржуазные и элитарные т.н. “библиофильскую” и “образовательно-утилитарную” концепции организации библиотек.

“Библиофильская” концепция представлялась ему особенно опасной: “Библиотека — это книги, а не читатели, — излагал он суть “библиофильского” подхода к “библиотечному строительству”. — Работа библиотекаря сводится к организации книг по определенным правилам библиотечной техники — в целях наилучшего их охранения и использования. Никакой речи о работе с читателем, об изучении его, о помощи ему в каком бы то ни было виде, а, тем более, о руководстве его чтением”². Критика “библиофильской концепции” приводит исследователя к отрицанию библиофильства как такового. Полагая, что в основе библиофильства лежит “исключительно индивидуальный интерес”, Ривлин вполне в духе времени утверждал, что “библиофилия социологически более соответствует тем хозяйственным периодам, когда интересы отдельного хозяйства, отдельного производителя (в более широком смысле) являются решающими. Таковы эпохи натурального и феодального хозяйства, ремесленной и мануфактурной промышленности и период первоначального накопления”. Ясно, что “в новых исторических условиях” библиофилия “отмирает”³.

Неприемлемой (“педагогически недостаточной”) представлась Ривлину и т.н. “образовательно-утилитарная” библиотечная концепция, которая развивалась в России Л.Хавкиной с дореволюционных времен до начала 1930-х годов. В основе этой концепции лежал либерально-народнический принцип “просвещения масс”. Хавкина, популяризовавшая американский опыт в своих многочисленных книгах и статьях, настаивала на том, что задача библиотеки — помощь читателю в его самообразовании, которое приведет к выработке научного мировоззрения. Эти идеи были исключительно популярны в России с конца XIX века вплоть до начала 1930-х годов.

Ривлин полагал, что “утверждению образовательно-утилитарных начал в наших библиотеках содействовала война. Широкая деревенская масса, разбуженная войной, хлынула в библиотеку, где был единственный человек, который мог все ‘обсказать’. Стихийно в центре библиотечной работы вместо книги встал читатель; пришлось читать вслух газету и устраивать чтение вообще; библиотека вынуждена была удовлетворять всевозможные нужды читателя, постепенно стала все больше проникаться элементами клубного характера”⁴. Отсюда — новый уровень радикализации “действенной” библиотечной концепции — “социально-педагогический период истории библиотек” (“коллективистический”, по терминологии Ривлина). Этот этап хронологически совпадает с пореволюционной эпохой. Ему соответствуют и новые теоретические установки. Так, Н.Рубакин на первое место выдвигает уже не знание, а понимание и сознание, и основой библиотечной работы он считает не распространение знаний, но “содействие умственному и эмоциональному развитию читателя”. Именно Рубакиным и его кругом была выдвинута идея, согласно которой библиотека — это орудие общества в борьбе за лучшее будущее, орудие для распространения не только научных зна-

ний, не только понимания, т.е. критического отношения к окружающему, но и “общественного настроения”. Отсюда следовали конкретные рекомендации по формированию книжного состава “библиотечного ядра”, по созданию особых “рекомендательных каталогов” (вскоре практически полностью заменивших традиционные каталоги из-за их “объективизма” в массовых библиотеках) и “системы чтения”, построенных на следующих принципах:

- изучение не наук, а областей жизни;
- непосредственная связь чтения с “практикой жизни” и повседневной деятельностью читателя;
- результативность чтения, необходимость в усвоении знаний законов природы, истории и “человеческого духа”;
- соответствие книги уровню развития читателя.

Фактически вся библиотечная теория 1920-х годов в лице Н.Крупской, А.Покровского, Б.Боровича, Д.Балики, В.Невского, М.Смушковой, Я.Кипермана, Е.Хлебцевича, И.Цареградского, Е.Медынского и др. обосновывала, развивала и “проводила в жизнь” социально-педагогическую концепцию библиотек (в этом, сугубо интеллигентски-народническом контексте следует оценивать и библиотечные чистки: здесь идеалы интеллигенции совпали с интересами власти), выдвигая на первый план именно *формовку читателя*, а в книге и знании видя не цель, но лишь средство (“орудие”) для воспитания масс.

“Вложить педагогическое содержание в библиотечную работу” — под этим девизом прошел и первый Всесоюзный съезд библиотекарей в июле 1924 года. Затем идеи “социально-педагогического течения” в библиотечной теории и практике были обращены и на научные библиотеки, что нашло свое закрепление в решениях конференции научных библиотек РСФСР, состоявшейся 7—11 декабря 1924 года и прошедшей под лозунгом “Библиотека — это читатель”.

В организационном смысле последовательное проведение “социально-педагогической точки зрения на задачи библиотеки” имело поистине революционные последствия, что особенно ясно видно в проекции на недалекое библиотечное прошлое. У Ривлина читаем: “Социально-педагогический характер имела у нас работа библиотечек агитационно-пропагандистских кружков и кружков самообразования революционных партий. Если смотреть на библиотеку, как на собрание книг, сорганизованное и использованное по определенным правилам, — странно, конечно, говорить здесь о библиотечках агитационно-пропагандистских кружков и кружков самообразования, в которых был один-два десятка книг, а то и брошюр. Но если под библиотекой понимать совокупность мероприятий, направленных к использованию книги для содействия читателю в выработке им своего научного мировоззрения, то именно эти библиотечки окажутся подлинными библиотеками”⁵. Как можно видеть, “социально-педагогическая концепция” открывала перед библиотекой светлое будущее.

Исходя из этих перспектив, Б.Борович в 1925 году требовал: “Нужно ввести иные приемы и методы работы, нужно создать иную обстановку, иные орудия умственного труда, придать иной характер всему учреждению, — словом, надо влить совершенно новое содержание в самое понятие библиотеки”, библиотека “должна всемерно содействовать возбуждению именно тех, а не других эмоций; она должна подталкивать со своей стороны к тем, а не другим поступкам; она должна активно участвовать в жизни своего читателя. Задача дня — возбуждать в широких массах активность, самодеятельность, бодрость, любовь к жизни, к борьбе, к творчеству, стремление к просвещению, чувства коллективизма и пр. и пр.”⁶

Эти установки имели под собой безусловный “практический фундамент”. Действительно, как писал тот же Борович ранее, в 1922 году в книге «Пути сближения книги с читателем», “библиотека является сейчас в России наиболее привычным и близким населению учреждением; и всякая культурно-просветительная работа неизбежно начинается с библиотеки... она часто является на месте чуть ли не единственным культурным учреждением, очагом просветительного воздействия”⁷. Поскольку же “массового наплыва читателей в библиотеку” не наблюдалось (“из многих мест, от провинциальных библиотекарей, раздаются горькие жалобы на то, что дело не ладится: открыты библиотеки, имеются книги, но нет читателя, не идет он. И не идет именно тот, кто и раньше не шел, та масса, ради которой и для которой создаются новые библиотеки, тот российский серячок, которого и необходимо просветить и поднять”⁸), Борович говорил о том, что “тут повинны и сами библиотеки”, что они не могут “превратить серячка в читателя”, что “нужно активно создавать читателя”⁹.

Функции библиотеки, таким образом, резко расширились: “библиотека должна сделаться культурно-общественным центром, должна превратиться в очаг общенности, должна стать излюбленным местом отдыха и культурного общения, она должна превратиться в библиотеку-клуб. Если библиотека не сумела занять такое место, если она не развила широкой просветительной и культурной работы, она обречена на серое существование”¹⁰. А чтобы это произошло, “необходимо строго учитывать психологию широкой массы; во всех своих начинаниях необходимо исходить от того, что свойственно и близко этой массе, что ей понятно, что соответствует ее развитию, вкусам, ее бытовым особенностям”¹¹. Менее всего речь шла, однако, о том что библиотека должна “пойти за читателем”. Средства и цели здесь резко смещены: “нужно не ломать, а гнуть; нужно приспособляться, но лишь настолько, чтобы приспособлять самому, чтобы, вставши рядом, тянуть за собой, подымать, двигать”¹².

Социально-педагогическая концепция института библиотеки имела двойные результаты: с одной стороны, культ книги замещался культом читателя, с другой (на “новом этапе”), читатель с его интересами все

исключался из библиотечной практики, а сама библиотека превращалась в нечто значительно большее, чем место хранения и потребления книги.

В первые пореволюционные годы наибольший интерес вызывают поэтому у адептов новой культуры избы-читальни. Именно сюда направлялись огромные книжные потоки. Н.Крупская в 1918-1923 годах вообще полагала, что именно изба-читальня — идеальный прообраз библиотеки будущего, и к расширению их сети направлялись огромные усилия: в 1920-21 годах их числилось около 100 тысяч. Но как ни дорога была идея, в 1922 году Н.Крупская должна была признать, что стоило только снять избы-читальни с государственного снабжения, “как они почти повсеместно закрылись... население их не поддержало и они начали стихийно закрываться”¹³. Между тем, когда в начале 1920-х годов речь шла о библиотеках, имелись в виду прежде всего сельские библиотеки, избы-читальни, передвижки и т.п. Об этом следует помнить, чтобы оценить роль институтов этого рода в “новых условиях”: как говорил на I съезде избачей зав. Агитпропом ЦК ВКП(б) В.Кнорин, “библиотека, наряду с партийной ячейкой, избы-читальней и школой является одним из четырех главных опорных пунктов, через которые партия воздействует на мозг, быт и настроения широких крестьянских масс”¹⁴.

Это превращение библиотек в своеобразные агитпункты “на местах” — последовательная линия новой власти: “Для коммуниста — утверждал в 1923 году теоретик библиотечного строительства А.Покровский, — задача библиотеки — коммунистическое просвещение и коммунистическое воспитание”¹⁵, “Нужно твердо помнить, — вторила ему М.Смушкова, один из руководителей и организаторов “библиотечного строительства”, — что основная задача библиотеки это не просто распространение книг, а через распространение наилучших, наиболее нужных книг содействие делу строительства социализма. Эту задачу библиотекарь должен преследовать каждым шагом своей работы”, еще конкретнее: “нельзя пропагандировать просто хорошие книжки. Нужно пропагандировать, продвигать те или иные книжки, исходя из общих и очередных задач партии и советской власти. Целесообразно положить в основу своей работы план работы горсовета и своей повседневной работой содействовать успешному проведению намеченных последним мероприятий”¹⁶.

Библиотека как институт огосударствления чтения и читателя строилась на руинах традиционной библиотеки. Призыв передовой статьи «Правды» (от 12 апреля 1935 г.) “использовать библиотечные богатства для целей коммунизма, для партийной политико-воспитательной работы, сделать массовую советскую библиотеку центром политического просвещения и народной культуры... пропитать всю работу библиотекаря нашей целеустремленностью, партийностью, вытравить дух нейтральности и культурничества, придать большевистский размах библиотечному делу”¹⁷ означал лишь закрепление нового статуса и функций библиотеки. Превращение же библиотеки в клуб — длительный процесс, начав-

шийся сразу после революции. В статье с программным названием “Библиотекарь как творческий организатор жизни” главный библиотечный журнал страны еще в 1924 году учил: “Библиотекарь должен суметь создать в библиотеке полуклубное настроение”. На практике это означало, что не следует требовать, например, тишины в библиотеке — напротив, “пусть разговоры с собеседником ведутся в библиотеке возможно непринужденной, без всякой предвзятой мысли и совершенно не считаясь с остальными слушателями”. Все это — “ступени”, по которым “поднимается работа от библиотеки к своему должному завершению — клубу”¹⁸.

Поставив в центр библиотечной работы формовку нового читателя, сторонники “социально-педагогической точки зрения на задачи библиотеки” сознательно разрушали старый институт библиотеки. Не следует однако думать, что власть, на рубеже 1930-х годов отказавшаяся от “леваческих загибов”, возвращала библиотеку в прежнее русло: возвращение на стены библиотек портретов классиков лишь подчеркивало новизну института советской библиотеки. Поворотное постановление ЦК ВКП(б) от 30 октября 1929 года “О библиотечной работе” начиналось с требования “решительно перестроить библиотечную работу в соответствии с возрастающим ее политическим значением, превратить библиотеки в культурные центры, активно содействующие мобилизации масс...”, а специальный пункт постановления содержал требование “развить массовые формы библиотечной работы... с тем, чтобы библиотека обслуживала важнейшие политические, хозяйственные и культурные задачи, действительно стала бы опорной базой повышения политического и культурного уровня трудящихся масс...”¹⁹ Это было почти буквальное повторение идей “культурников”, но приспособленное к “реконструктивному периоду”. Библиотека попадала в прямую зависимость от “требований момента”, каковые диктовались партийными органами. При этом подчеркивалось, что “библиотека из культурного учреждения, работающего бюрократическими методами вне завода или над заводом, превращается в массовую культурную организацию завода”, и “суть нового этапа не в появлении отдельных новых форм библиотечной работы, а в рождении новой системы библиотечной работы”²⁰. В установочной статье «Красного библиотекаря» читаем: “Бригада становится опорным участком, опорным пунктом библиотечной работы. Библиотечное обслуживание цеха должно быть приспособлено к социалистической организации, к производственно-территориальной обстановке завода, к смене, к этажам, к мастерским и т.п. Библиотечная работа входит как составная часть в план культуробслуживания и культурного обеспечения промфинплана, в культурно-политические обязательства социалистического договора бригады и цеха”²¹.

Эпоха культурной революции стала временем окончательного утверждения подчиненного и обслуживающего характера института библиотеки: “Мы говорим: библиотека — проводник коммунизма, библиотека

— орудие практического содействия социалистическому строительству (пятилетка, производственное просвещение, помощь ударничеству и т.д.), но проведение коммунизма — в первую голову пятилетки — осуществляется рабочими на фабриках и заводах, колхозниками — в колхозах, возглавляется соответствующими советскими и хозяйственными организациями, под общим руководством ВКП(б)”. Из этого следовало, что “библиотекам нужно взять решительный курс на отказ от бремени хранения ‘вечных ценностей’, перестраиваясь на практическое содействие *определённым* общественно-политическим организациям (а не заниматься пропагандой вообще), на выполнение их практических, конкретных предложений, вступить на путь, проделываемый в наши дни школой, — в этом направлении будет развиваться и перестраиваться библиотечная работа в СССР”. Отсюда — радикальное изменение всей системы библиотечной работы: “методы библиотечной работы должны строиться из предпосылки, что библиотека составляет единое звено социалистического наступления, являясь одним из опорных пунктов культурной революции и борьбы за выполнение задач плана нашего социалистического строительства”²².

Культурная революция лишь перевела в “практическую плоскость” то, что теоретически было обосновано интеллигентами 1920-х годов. Уже в это время Покровский так формулировал “социальные цели библиотечной работы”: политическая грамотность, социалистическое, классовое воспитание, антирелигиозное влияние (например, “работа с беллетристикой для воспитания социальных чувств, революционных настроений, классового сознания, социалистических идеалов”)²³. На библиотеки возлагались и новые функции. Так, разъясняя постановление ЦК ВКП(б) от 15 августа 1931 года “Об издательской работе”, главный редактор «Красного библиотекаря» утверждал, что “библиотеки должны стать лабораториями, где должна производиться проверка качества книги как инструмента культурной и политической работы и даже создания новой массовой и детской книги”²⁴. Несомненно, что эта наиболее фантастическая (на первый взгляд) функция была выполнена советской библиотекой наиболее успешно, если увидеть во всей советской литературе продукт “культурной и политической работы” и одновременно — результат “творчества масс”.

Все это “обновление” коснулось не только массовых библиотек, но распространялось и на специальные и научные библиотеки. Оценивая первый номер теоретического журнала «Библиотекведение и библиография», рецензент «Красного библиотекаря» писал: “Нужно, чтобы работники специальных библиотек перестали фетишизировать книгу, перестали смотреть на нее как на самоцель, чтобы они твердо усвоили, что книга есть орудие социалистической стройки и только с этой стороны она для нас представляет ценность... необходимо, чтобы специальные библиотеки обслуживали *массы рабочих*”, для этого от научных и специальных библиотек требовалась “*коренная ломка системы библио-*

течной работы”²⁵. Эти же мысли будут повторены Н.Крупской 3 октября 1937 года в беседе с директорами научных и краевых (областных) библиотек²⁶. Как бы то ни было, к концу 1930-х годов была выполнена задача, сформулированная ею: “превратить библиотеку, даже самую маленькую, в идеологический центр, помогающий делу строительства социализма. Тесно связать библиотеку не только с читателем, но и со всеми культурными, партийными, хозяйственными и профсоюзными организациями”²⁷.

В 1939 году “библиотечная общественность” могла праздновать победу на “библиотечном фронте”: “Можно с уверенностью сказать, что наши библиотеки являются подлинными очагами большевистской культуры, активными агитаторами и пропагандистами”²⁸.

Партийно-государственный институт чтения был создан.

2

Первый этап развития библиотечной сети был связан с привлечением читателя в библиотеку. Формирование читателя из нечитающей массы происходило через пропаганду библиотеки.

В целях такой пропаганды библиотеки рекомендовалось размещать в центре населенного пункта — на площади, вблизи рынка, возле “потребкооперации”, чтобы библиотека “сама бросалась в глаза”. Здание следовало выкрасить в светлый цвет и разукрасить плакатами типа: “Дом без книги, что тело без души”, “Да здравствует книга!”, “Не проходи, не заглянув!”, “Войди, прохожий, отдохни”, “Да здравствует книга — могучее орудие борьбы за истину и справедливость”, “Книги — это корабли мысли”, “Книга — это амбар, куда одни положили свои мысли и оттуда другие берут их”, “Дом без книги, что комната без окон” и т.п. Целая система “привязок читателя к библиотеке” вплоть до детальных рекомендаций по оформлению интерьера библиотеки (“на окнах — занавески, цветы, на стенах — плакаты и картины; мебель — легкая, в один цвет, приятная для глаза; кругом желательны дорожки, в углах — сорные ящики и плевательницы. Самая обстановка должна как-то сама собой облагораживать, внушать стремление сохранить уют, привязать к учреждению”)²⁹ основывалась на вполне реалистической предпосылке: “Толпа наша еще неподвижна, инертна, не проявляет самостоятельно ни инициативы, ни интереса; но она легковерна, она любит зазывания, идет на рекламу, поддается внушению... если для иного предпринимателя решительно все пути хороши, чтобы обмануть массы и тем увеличивать свой денежный капитал, то для культурника почти все пути хороши, чтобы просветить массы и тем увеличивать идейный капитал народа”³⁰.

“Библиотечная реклама” — это прежде всего “вечера книги”, ставшие едва ли не единственным зрелищным мероприятием на селе. Такой “вечер” оформлялся лозунгами типа: “Всем, кто сердцем юн и молод —

в руки книгу, серп и молот”, “Книга — руководитель, толкователь жизни”, “Не хочешь господских уз — заключи с книгой союз”, “Да здравствует книга — источник знания!”, “Книга высушивает болота и сбивает пески”, “Что в жизни случается, все в книге отмечается”, “Кто с книгой дружит, тот не скучает и не тужит”, “Поубавится мученья, коль возьмешься за учење”, “Эй, ребята, нужно приналець, и к газете, книжке всех привлечь”, “Хорошо в твоей избе, а в читальне лучше!”, “Ставь, как в кузне наковальню, на селе избу-читальню!”, “В избе-читальне ты получишь на всякий твой вопрос ответ. Тебе там растолкуют приказы, новости, декрет”, “Мы невежества вериги разобьем посредством книги”, “Для мозолистых рук книга — надежный друг”, “Лучше книги нет друга для молота и плуга”, “Раньше книга была барской, нынче стала пролетарской”, “Помни: книга и труд к светлой жизни приведут”, “Держи книгу в руках — не останешься в дураках”³¹.

Здесь же исполняются частушки — продукт творчества библиотечных работников:

По заводу я пошла,
Нову книжечку нашла.
Не пилося мне, не елось, —
Прочитать скорей хотелось.

Вы, девчоночки, ходите
С комсомольцами гулять —
Комсомольцы вас научат
Книжки Ленина читать.

Не пойду я на гулянку,
Моя карамелина,
А пойду в библиотеку —
Мне гулять не велено.

Твой миленок гармонист —
Хорошо играет:
А мой Миша коммунист —
Книжечку читает.

Эй, подваливай, ребя,
Утешай скорей себя,
Вышли книжки новые,
Красные — бордовые.

Наши книги — наше знамя.
В этих книгах навсегда
Наш Ильич остался с нами

Для победы и труда.

Впрямь лафа для человека
Это вот библиотека:
Книжку стоит в руки взять —
Обо всем легко узнать.³²

Основной упор в библиотечной пропаганде делается на полезности книги, ее утилитарности, противопоставляемым бессмысленности веры и церкви («Не служи молебны, не молися в храме, а в читальне почитай. Книжки все тебе расскажут, с ними ты узнаешь, как поправить урожай»³³).

Новая библиотека изначально формировалась как своеобразный культурный центр — одновременно и клуб и агитпункт. Эта неотдифференцированность функций может быть объяснена тем, что рухнувший центр — церковь, не могла быть заменена узкофункциональным институтом библиотеки. Не случайно библиотека часто и превращалась непосредственно в центр антирелигиозной пропаганды. Приведем характерную заметку, опубликованную в одном из номеров «Красного библиотекаря» за 1924 год в разделе «Библиотечная жизнь в СССР». Ее автор — Антон Скиталец сообщает: «Приехав на работу в библиотеку, я договорился с местной ячейкой РКП об организации кружка 'безбожников'. Собрали организационное собрание комсомольцев, учителей и коммунистов. Я делал доклад о задачах кружка и методах антирелигиозной пропаганды. Меня поддержали. На первом собрании записалось в кружок 10 человек. Поехал в уком, литературы у нас не было никакой, кроме книжек Толстого, Мелгунова, Князькова, Ренана, но ими работы вести нельзя. В укоме мне помогли, направили в коллектор губоно, где я отобрал библиотечку в 30 книг и получил несколько номеров журн. «Религии и науки» и «Безбожника». Приехав, подготовился по книжке Минина «Религия и коммунизм» и сделал доклад в библиотеке. Народу было человек 50. Всех заинтересовало. назначили на воскресенье собрание — чтение Ярославского «Религия для верующих и неверующих». Никогда я не запомню такого скопления народа, — библиотеку буквально забили, — и того вдумчивого отношения к чтению. После чтения велись прения. Помню слова одного крестьянина: 'Эта книга — что ни слово, то иголка, — и колет и не чувствуешь, а между тем, поворачивает все в человеке. Говорить и спорить о чем? К тому, что сказал автор книги, говорить нечего. Ясно всем, всякая религия обман и каждого бога народ создал сам. То, чему мы раньше верили, — надо бросить'. Все соглашались. И все номера «Безбожника», журн. «Религия и наука» и антирелигиозная библиотека были взяты у меня с бою. Отказать я не мог, да и нельзя было. Слишком остро встал вопрос и безбожник Емельян перевернул все верх дном. Теперь у нас в библиотеке каждое воскресенье идут беседы. Есть программа. Выписываем газ. «Безбожник», прораба-

тываем доклады. В кружке около 30 человек. Посещаемость церкви пала заметно, и поп анафемствует у себя в квартире 'антихристов', отводя душу в разговоре с церковным старостой. Организовали "живую газету", в ней отвели уголок безбожникам. К нам примыкает молодежь. По последней разверстке книг из губоно получили кое-что новое, опять материал для чтения. Попоедством мы не занимаемся, зато под критику религиозных учений мы подводим фундамент научной мысли, организуем ряд докладов по мироведению. Читать будут учителя. Тут и происхождение человека и земли, и астрономия и т. д. С зимы хотим перебросить работу в соседнюю волость, там расшевелить товарищей"³⁴.

Как бы то ни было, превращение библиотеки в клуб стало естественным результатом послереволюционных социальных сдвигов, но следует видеть и то, что и для самой библиотеки такая трансформация имела очень серьезные последствия: она стремительно теряет собственно библиотечные функции, превращаясь в "очаг новой культуры" и изменяя в соответствии с этим методы работы. Библиотека работает все более "вне библиотечных стен", занимаясь передвижками, выносом книг на заводы, в цеха, организуя книгоношеские пункты и красные уголки в столовых, общежитиях, рабочих казармах, больницах и т. д. Эта работа по "выходу книги в жизнь" в 1920-е годы становится едва ли не основной: "Пора выбросить лозунг: нет массовой библиотеки без книгоношества. Библиотека, которая не выносит своих книг за стены, которая не ведет наступления с книгой на читательскую среду, находящуюся в районе ее деятельности — плохая библиотека, и не выполняет основного своего назначения — нести книгу в массы"³⁵.

Вынос работы за пределы библиотеки сопровождался и изменением работы внутри самой библиотеки. Разрушение традиционной библиотеки изнутри было связано с формированием т.н. "библиотечных советов". Бибсоветы — идея Л.Троцкого, с которой он выступил в июле 1924 года на Всесоюзном библиотечном съезде. Бибсовет являлся органом коллективного руководства библиотекой и в идеале должен был объединить читателей с библиотекарями. С другой стороны, он должен был стать фактором контроля над библиотекой. В бибсовет (городских, клубных, фабрично-заводских библиотек) входили представители комитетов ВКП(б), ВЛКСМ, женотделов, правления клуба, культкомиссии (от профсоюза), представители собрания читателей и, наконец, библиотекарь. Согласно уставу бибсовета, он участвует в комплектовании библиотеки, утверждает списки книг для закупки. Причем, председателем бибсовета не должен был быть библиотекарь. Скорее всего, им становился представитель партиячейки, поскольку, согласно уставу, если бибсовет состоял из 5 человек, 2 места в нем резервировались для представителей парторганизации (1 место для представителя библиотеки, 1 — для представителя кружка "друзей книги" (т.е. от "читательского актива") и 1 — для представителя совета клуба). Таким образом, бибсовет означал прежде всего партийный контроль над библиотекой³⁶.

“Читательский поход” под девизом: “Книгу — в массы” носит в 1920-е годы радикальный характер. Читатели должны участвовать не только в работе библиотеки, но и в работе издательств. Пропагандистом этой “формы рабочего влияния на книгу” выступает на рубеже 1930-х годов РАПП. В статье «“Полпредство” рабочего читателя», опубликованной в журнале «На литературном посту», читаем: “Рабочий редсовет — орган связи издательства с рабочей читательской общественностью, орган общественного контроля над издательской работой для наилучшего удовлетворения запросов пролетарского читателя. В центре внимания редсоветов — массовая многотиражная книжка, которая должна в понятной форме говорить о волнующих миллионы трудящихся явлениях действительности, глубоко и правильно вскрывать социальное значение этих явлений. Идеологическая нечеткость, поверхностность, объективистское фиксирование, схематизм жестоко бичуются рабочим читателем, резко осуждаются его ‘полпредством’ — редсоветом”. Но тут же выясняется, что издательства “не руководят в должной степени литературно-политическим ростом членов редсовета”, каковые, по мнению налитпостовского автора, являются “резервуаром новых издательских кадров”. Этим “новым кадрам”, как узнаем из той же статьи, требуется, однако, специальный семинар по литературе, который все никак не организуется из-за “перегруженности членов совета и их разносменной работой на предприятиях”. И вот этим “кадрам” поручается не только рецензирование рукописей, но и рекомендация их в печать³⁷.

Этот “демократизм без берегов” как атавизм революционной эпохи уже доживал свои дни. Ситуация радикально меняется в начале 1930-х годов, когда вместо лозунгов “пропаганды книги”, “привлечения читателей в библиотеку”, “книгу — в массы” и т. п. выдвигается новое требование: *руководство читателем*.

3

Идея “руководства чтением” вызрела в первые пореволюционные годы. Однако до 1930-х годов она не была методизирована и сводилась лишь к пересмотру фондов. Но уже в это время концепция “руководства” обосновывалась наиболее левыми библиотечными теоретиками. Так, В. Невский энергично отстаивал такой подход к библиотечной работе, “когда читателю дается не столько то, что ему хочется, сколько *то, что ему нужно*. Разве лекарственные средства прописываются врачом-терапевтом по вкусу или желанию больного? — спрашивал В. Невский. И тут же, продолжая аналогию, отвечал: Нет! Они даются по их объективному назначению. Пора бы и книгу — *это сильнейшее психотерапевтическое средство* — выдавать не по принципу ‘чего изволите’... а по признаку объективной пользы”³⁸.

О том же заботились и левые литературные журналы: “Рабочему хочется услышать голос посланцев своих — близких ему писателей и по-

этов, — писал на страницах петроградского «Литературного еженедельника» его сотрудник Мих. Алатырцев. — Однако читателя нужно воспитывать. Нельзя печатать в «Еженедельнике» очень понятные, но безграмотные стихи. Нужно при доступности материала не забывать и о художественности... Воспитывать, воспитывать и воспитывать читателя, вот лозунг сегодняшнего дня. Всячески предостерегать его от гнильи литературы, отображающей осколки былого, осколки класса умирающего с его патологией, с его педерастией, нимфоманией, онанизмом, невротичностью». После подобного набора характеристик (почему-то сексуального, а не классового порядка) автор утверждал, что воспитывать читателя следует путем публикации на страницах литературных изданий исключительно читательских «посланцев», каковыми являются «близкие ему писатели и поэты»³⁹.

Вопрос о том, как воспитывать, и был наиболее актуальным в начале 1920-х годов: «Как культурно-просветительный центр библиотека должна руководить читателем нового типа, должна помогать ему в выработке взглядов, понятий, миросозерцания. Вопрос лишь в том, каковы формы, методы и пределы этого руководства? Где грань, отделяющая руководство от агитации и библиотекаря от агитатора?»⁴⁰ Сам поиск этой грани в пореволюционные годы характерен. Библиотековеды «старой школы» отчетливо понимали, что речь идет о «партийности или беспартийности культурного просвещения, с одной стороны, и о политичности или внеполитичности (аполитичности) просвещения, с другой»⁴¹. Вот почему Б.Борович предлагал различать «партийное просвещение» и «культурно-просветительную работу», утверждая, еще в 1922 году, что «просвещение, которое ведется партией для своих членов, может и должно быть партийным; партия может и должна вести свою линию и в работе с беспартийной массой. Но широкая просветительная работа, ведущаяся для поднятия общего культурного уровня населения, — работа как общественных, так и государственных учреждений может и должна быть только внепартийной»⁴².

Подобный либерализм первых пореволюционных лет был однако относительным. Настаивая на том, что «народное просвещение должно быть всесторонним и не может обходить текущих вопросов жизни; оно должно быть также и политическим просвещением или оно вовсе существовать не может и не будет», один из главных библиотекосведов «старой школы» требовал «определенно поставить грань между политическим просвещением и партийной пропагандой». Грань, между тем, оказывалась призрачной: «Необходимо дать широкое политическое просвещение трудящимся массам, но это просвещение имеет ведь и определенные практические цели (еще бы! — Е.Д.): оно должно помочь *трудящимся* наилучше устроить свою жизнь, должно научить их бороться за светлые идеалы будущего, должно *защищать интересы труда и трудящихся*. Вот... обязательная общая линия политического просвещения в настоящих условиях: просвещение в интересах трудящихся — это социа-

листическое просвещение в духе коллективизма... Руководя чтением, библиотекарь должен исходить из этой общей линии работы, должен составлять и соответствующие списки литературы, давать определенные указания и справки... библиотека со всеми своими начинаниями явится тогда той рабочей лабораторией, где куется сознание, где перерабатывается один материал и создается другой". Эта установка порождает знакомую уже логику: "Поскольку книга должна содействовать формированию *определенной* личности, нам вовсе безразлично, каков автор и какие идеи он проводит; мы должны внимательно относиться к тенденциям произведения и не поощрять того, что противоречит основной линии — защите интересов труда"⁴³.

Отсюда берет истоки непрекращающийся спор между теми, кто полагал, что "легкая", даже "бульварная", "лубочная" литература необходима в библиотеке для "завлечения читателя" (А.Покровский и др.) и теми, кто последовательно настаивал на очищении книжных фондов от "вредного хлама". "Как орудие культуры и просвещения, книга должна быть не только не вредной, но полезной, но содержательной, но стоящей", — утверждал Борович, предлагавший разработать для начинающего читателя списки "ударных книг", одновременно и полезных, и увлекательных. Из этой идеи впоследствии родится т.н. "плановое чтение", активно внедрявшееся по "рекомендательным спискам" и "библиографическим рекомендательным указателям" в 1930-50-е годы. "Плановое чтение", по которому читатель записывался на определенный "план чтения" и читал "в нужном направлении", опиралось на реальный феномен, который можно обозначить как чистый лист читательского сознания с отсутствующим горизонтом читательского ожидания. Обосновывая свои идеи, Борович писал: "Если читатель не предъявляет никаких требований и не имеет своих запросов, то чтение начинается с 'ударных' книг... от ударных — к некоторым произведениям классиков, от них — к критике, публицистике и истории литературы. От исторических романов — к научно-популярной литературе по истории, а затем к солидным историческим трудам и монографиям; от путешествий и приключений через географическую беллетристику к научно-популярным и научным книгам по географии. К чтению по общественным знаниям можно подойти тоже через беллетристику: от ударных книг к более легким произведениям классиков и современных писателей, затем — к т.н. идейной беллетристике классиков (напр.: «Отцы и дети», «Новь», «Что делать?» и др.) и, наконец, — к популярной и научной литературе по обществоведению, философии, естествознанию"⁴⁴.

Здесь заслуживает внимания сама установка, согласно которой "горизонт ожидания" можно искусственно формировать, проходя через определенные "стадии", в результате чего чтение перестает быть самоценным процессом, но обретает телеологическую перспективу и "растет", пока не "дорастает" до "вершины" — "общественно-политической литературы". Этот проект рекомендовался для библиотек, но фак-

тически перед нами — модель, внедренная в советской школе. Идеально пригодная для чистого лица детского сознания, эта система, начиная с 1930-х годов, фактически и была закодирована в школьной программе. Проблема чтения, таким образом, вовсе не замыкалась “в стенах библиотеки”, ставшей настоящей “лабораторией чтения”, как того и хотели революционные теоретики. По этой “восходящей” модели учились каждый ребенок в советской школе. Детская же библиотека была полностью подчинена этому принципу, позволяющему “библиотекарю направлять интерес ребенка в нужную сторону, рекомендовать ему ту литературу, которая будет полезна читателю в образовательном и воспитательном отношении”, ведь “библиотекарь... уточняет спрос читателя, направляет его интерес на ту литературу, которую считает полезной для читателя”⁴⁵.

Идея “планового чтения” обосновывалась в 1920-е годы одновременно и “правым” и “левым” флангами “библиотечного фронта” (затем, по классическому советскому образцу, adeпты “правых” и “левых” “уклонов” будут заклеимлены, а их идеи — реализованы). Слева наиболее последовательным сторонником планового чтения был В. Невский. Ему эта идея импонировала своей “организованностью” и “рациональностью”. С присущим ему радикализмом, Невский довел столь дорогую ему концепцию до логического завершения. С одной стороны, он связал ее с проблемой комплектования библиотечных фондов, с другой — с “читательской массой”. В вопросе комплектования Невский занял крайнюю позицию: “отбор должен идти гораздо дальше, чем он идет: в библиотеках нужно оставлять только наилучшие книги, а не ‘безвредные’ и ‘удовлетворительные’: ведь рядовой читатель может прочесть во всю свою жизнь не больше 1000-2000 книг; этим предельным количеством наилучших книг и нужно ограничить состав наших общедоступных библиотек (+500-1000 книг на ‘индивидуальные вариации’); пора бы уж отказаться от того фетишистического отношения к книге, которое с благоговением смотрит почти на каждый печатный лист! Если бы 1/2 всех книг, выходящих из-под станка, сжигать, не выпуская из типографии, — от этого не было бы никакого вреда для человечества... кроме пользы. Во всяком случае, если из библиотек на-вовсе не изымать посредственную литературу, так в каталог ее безусловно включать не следует: там должна быть только избранная и безусловно — рекомендуемая литература; книги нейтрального характера — ‘безвредные’ и ‘удовлетворительные’ — подлежат ‘условному изъятию’: они хранятся в библиотеке на всякий случай, по особым спискам, — для индивидуального пользования, — не будучи включены в каталог — предмет массового пользования и орудие руководства массовым чтением”. Что касается “читательских масс”, то и здесь действовала та же логика: библиотекарям “следовало бы взяться за *отбор читателей*, — поставив одних на передний план нашего внимания, других полуигнорировать...”⁴⁶.

Сама же структура планового чтения виделась радикальному рефор-

матору следующим образом: “во всех системах чтения, чтение научно-популярной литературы перемежается с чтением художественных произведений, или вводящих в круг тех или иных научных вопросов (роман Иенсена «Ледник», как введение в историю человеческой культуры; роман Волк-Фенриса «Финансовая повесть», как введение в изучение вопроса о финансовом капитале и т.д.), или закрепляющих определенные взгляды и симпатии влиянием на эмоционально-волевую сферу читателя (роман Ренэ Марана «Батуала» — для закрепления отрицательного отношения к колониальной политике буржуазии; роман Е.Замятина «Чрево» — для закрепления положительного отношения к свободе половых отношений и т.д.)”⁴⁷. План становится самодовлеющим: “библиотека будет выдавать своим читателям только избранные книги (а не то, что читатель спросит)”⁴⁸. Невский понимал при этом, что “от планового чтения происходит естественный отбор среди читателей: выделяются группы, наиболее заслуживающие внимания, и отодвигается в сторону распыленный, бессистемный, безрезультатный читатель-обыватель, — клиент не планового, а индивидуального чтения”⁴⁹.

Система взглядов Невского представляет собой внутренне стройный, завершенный образец казарменно-коммунистического огосударствления чтения в *классово-революционном* своем изводе. Спору нет, в *советских* условиях он не мог реализоваться полностью, поскольку отсекал (на классовой основе) огромные массы читателей. С заменой классового террора власть вовлекает в сферу действия книги как “идеологического арсенала воспитательной работы партии” *все* общество. На этой почве классовый изоляционизм преодолевается. В целом, методы и идеи Невского оказались востребованными “в новых исторических условиях” — расширилась лишь сфера их применения. Но за счет расширения этой сферы произошло отсечение некоторых наиболее радикальных сторон революционной доктрины. Способствовало этому и противодействие библиотечному радикализму уже в 1920-е годы библиотекаеведов “старой формации”.

Так, А.Покровский, хотя и согласный с тем, что огромное число читателей (городские служащие, домохозяйки и др. “прочие взрослые”) “пассивны в советском государстве и ненадежны или безнадежны в борьбе за социализм”, что “перевоспитать эту громадную массу взрослых людей, перевести их в ‘советский актив’ — дело пока совершенно невыполнимое”, тем не менее возражал против того, чтобы игнорировать запросы этих читателей, выдвигая в качестве аргументов следующие “небезразличные для государства” моменты: нужно влиять на “политические настроения” этого слоя, нужно влиять “на качество служебной работы даже общественно-пассивных работников”, “самое важное — у этих пассивных граждан есть дети” и через книгу в семье можно оказывать влияние на воспитание детей “в нужном нам направлении”⁵⁰.

В основу отбора книг для рекомендации был положен классовый принцип: “Подходя к какому-нибудь коллективу заводских рабочих, мы

знаем их отношение к заводчикам, их взгляд на хозяина, выжимающего прибавочную стоимость; мы почти безошибочно определим отношение к этому вопросу и каждого отдельного рабочего. Мы можем заранее сказать, как, в общем, примут эти рабочие ту или другую книгу, восхваляющую якобы отеческую заботливость фабриканта-благотелья. Всякий рабочий, вообще говоря, *должен так, а не иначе* отнестись к этой книге: таков закон классового общества, закон классовой борьбы, классовой психики.

Но ведь эта психика дает много отклонений в зависимости от разных побочных обстоятельств. Так, на разных производствах существуют разные условия труда: в одном и том же предприятии имеются разные цехи, весьма отличные друг от друга; далее, в одном и том же цехе рабочие занимают всевозможные должности, оплачивающиеся по-разному. Чем лучше условия труда данного рабочего, тем меньше в нем накопилось ненависти и тем мягче он отнесется к книжке; наоборот, чем тяжелее его труд и ниже его заработная плата, тем больше злобы, тем резче отзвук⁵¹.

Иногда, впрочем, очарованная классовостью теория 1920-х годов учитывала социально-возрастной фактор: “Так, этому молодому неискушенному, жизнерадостному рабочему не следует давать тончайших узоров Метерлинка или психологического оголения героев Достоевского: ему нужен здоровый реализм, ему нужна сильная грубоватая правда, нужна отрывистая простая речь. А потому красноармейцу, который в течение всей империалистической, а затем и гражданской войны был на фронте, который еще не отдохнул от той сгушенной атмосферы, от того постоянного напряжения, — следует ли давать ему сейчас хотя бы и художественное описание жутких картин этой недавней эпопеи? В подавляющем большинстве случаев этого делать не следует: сейчас этот читатель должен передохнуть после всего пережитого; он нуждается в иных впечатлениях, в иных восприятиях. Вот перед нами группа рабочей молодежи, еще не втянутой в юношеские организации и лишь только что начавшей знакомиться с книжкой — всего два-три легких рассказа совместно прочитали. Хоть несколько зная психологию юношеского возраста и его потребности, учитывая общие бытовые условия жизни, помня классовые особенности данной группы, мы не дадим этим читателям сразу политической литературы или социологических романов: начнем, вероятно, с героических походов, с “советского приключенчества”, — с того, что влечет молодежь своей неизведанностью и опасностью, своей смелостью и динамичностью”⁵².

Эти примитивная классовость, детерминированность и школярская возрастная психология в 1930-50-е годы снимаются в идеальном читателе. Именно в послевоенные годы “руководство чтением”, “плановое чтение” как важный признак нового, идеального читателя приобретают законченную форму, застывают в чеканных формулах, годных для учебника по библиотечному делу: “Руководство чтением является важней-

шей, неотъемлемой частью работы каждого советского библиотекаря, помогающего читателю в повышении идейно-теоретического и культурного уровня, в приобретении специальных знаний. Библиотекарь раскрывает перед читателями книжные богатства библиотеки и указывает им путь к овладению знаниями”⁵³. “Плановое чтение” призвано было поставить под контроль “самообразования” неучащуюся молодежь. Процесс “перековки” выглядел, в полном соответствии с соцреалистической эстетикой, следующим образом (“из опыта библиотеки им. И.З.Сурикова Коминтерновского района Москвы”):

“19-летняя комсомолка З.Н.Соломатина, имевшая семилетнее образование записалась в библиотеку в конце 1950 года. В это время она работала контролером-браковщицей одной из пошивочных операций на обувной фабрике имени Капранова. Девушка окончила технические курсы и стала браковщиком-контролером по приему готовой обуви, что требует знания всего технологического процесса. З.Н.Соломатина указывает, что ее производственному и общекультурному росту во многом содействовала библиотека.

При первом знакомстве с З.Н.Соломатиной библиотекарь установила, что она обладает навыками самостоятельного выбора книг. Читательница пользуется фабричной библиотекой, где берет техническую литературу. Постепенно у библиотекаря сложилось впечатление о З.Н.Соломатиной, как об очень вдумчивой читательнице, интересующейся многими вопросами, но без определенной системы.

— Не желаете ли вы посмотреть, что прочитано вами за последнее время? — спросила однажды Н.И.Лебедева З.Н.Соломатину. Это предложение вызвало у читательницы большой интерес.

— В самом деле, — ответила читательница, — книг я брала много, а какие же я знания получила?

Библиотекарь вместе с т.Соломатиной начала просматривать ее формуляр. Девушка убедилась, что читает она бессистемно, без всякого плана. Н.И.Лебедева предложила ей посмотреть формуляр т.Богомолова, читающего по плану.

— Я покажу вам формуляр одного читателя, который интересуется вопросами происхождения жизни на земле. Поглядите, книг он взял немного, но как всесторонне и глубоко они освещают тему.

З.Н.Соломатина с интересом всматривалась в записи взятых юношей книг. Умелый подбор книг привлек ее внимание. Н.И.Лебедева показала вложенный в формуляр текст плана чтения «Новое в науке о происхождении и развитии жизни на земле», которым руководствовался т.Богомолов в выборе литературы. Затем она рассказала читательнице, какую пользу планы приносят читателю.

— Я бы тоже хотела читать по плану... Но есть ли планы чтения по другим вопросам? — спросила девушка.

Библиотекарь показала читательнице первый выпуск планов чтения. Читательница неторопливо просматривала листок за листком и, нако-

нец, остановилась на одном. На этом листке было напечатано: «Каким должен быть советский человек». Выбор этой темы не был случайным. Читательница проявляла большой интерес к этим вопросам. В частности, три из одиннадцати книг, указанных в плане, были девушкой прочтены. Одна из самых ответственных задач в руководстве чтением — выбор первого плана чтения — была решена.

В дальнейшем читательница изучила литературу по темам: «Героическая борьба коммунистов зарубежных стран против разбойничьего империализма» и «В защиту мира!»⁵⁴.

Приведенный фрагмент из журнала «Библиотекарь» — чистый образец высокого соцреалистического текста. Идеальный читатель, в которого вырастает на наших глазах “т.Соломатина”, — соцреалистический персонаж. Она и живет в пространстве литературного текста — с экспозицией (производственная характеристика), завязкой (“Я покажу вам формуляр одного читателя”), кульминацией (“Я бы тоже хотела читать по плану...”), развязкой (“Читательница неторопливо просматривала листок за листком и, наконец, остановилась на одном. На этом листке было напечатано: «Каким должен быть советский человек»”). Идеальный читатель вообще вырастает в соцреализме как литературный персонаж, проходящий все стадии соцреалистического роста — от несознательности к сознательности, его подстерегают опасности (“развлекательная литература”, козни “буржуазных библиотекосведов”), его воспитывают (“руководство чтением”, “плановое чтение”, “библиотечное дело — постоянная забота партии”) и, наконец, он попадает в мир прекрасного — выбор плана чтения «Каким должен быть советский человек».

Но “плановое чтение” имело и другой культурно значимый аспект — оно превращало разные произведения в литературный цикл, тематизировало литературу в массовом сознании и, наконец, придавало некую цель самому процессу чтения (как у “т.Соломатиной” — “книг я брала много, а какие же я знания получила?”).

Несомненно, идеальной формой для такого рода “работы с читателем” был “читательский кружок”, который специально предназначался для “руководства чтением”. В начале 1930-х годов руководством кружками занимался в основном РАПП, деятели которого полагали, что “кружки могут руководить всей библиотечной работой”⁵⁵. Организацией кружков на предприятиях РАПП стремился распространить свое влияние не только на писателей, но и на “читательский актив”, борясь с “беспризорным чтением”. И действительно, если “тысячи читателей являются непризорными и читают всякий хлам”, следовало их “призреть” и “направить их чтение в необходимое русло”⁵⁶.

“Кружковое чтение” не было очередным рапповским лозунгом. И после ликвидации РАППа эта идея сохранила свою привлекательность. “Что читает комсомол?” — спрашивал со страниц «Молодой гвардии» М.Беккер, и, отвечая, выделял три читательские группы: 1) “вполне организованные читатели (учащиеся ФЗУ, рабфаковцы, второступен-

цы, литкружковцы). Их чтением руководят”; 2) “наиболее значительная в количественном отношении, вербуетя из читателей-одиночек. Чтением этой группы никто по-настоящему не руководит”; 3) “комсомольцы, не читающие литературы ‘ни при какой погоде’”. “Каковы же наши задачи по отношению к этим группам?” — спрашивал М.Беккер. “Руководить группой неорганизованных читателей и пробудить интерес к литературе в тех, которые не стали читателями, — таковы две стороны одной и той же задачи, которую необходимо осуществить с помощью комсомола, Союза советских писателей и органов Наркомпроса”⁵⁷. Обе стороны “одной и той же задачи” и решались читательскими кружками, превратившимися в форму контроля и нормализации чтения. В послевоенные годы сеть таких кружков сильно увеличивается, но происходят и функциональные изменения. Задача *привлечения* читателя уступает место задаче *надзора* за чтением и *контроля* за читательской реакцией. Так, на страницах «Библиотекаря» читаем: “Преобладающее значение, разумеется, должно иметь самостоятельное чтение на дому. Однако на такое чтение не всегда можно полагаться. Так, например, анализ многих произведений классической литературы, изображающих эпоху и обстановку, мало известную членам кружка, потребует чтения вслух на занятиях с попутными комментариями руководителя”⁵⁸. Именно в кружках идея руководства чтением получает вполне завершённую форму.

Усилению этой — “руководящей” — функции библиотеки способствовала и реорганизация системы учета читателей, превратившаяся из формального мероприятия в процедуру с политико-идеологическими функциями. Уже в 1920-е годы ставился вопрос о том, чтобы связать перерегистрацию читателей с “учетом целей чтения” и соответствующим расширением анкеты при записи читателя в библиотеку: “Нам недостаточно формального учета: прибыл, выбыл, состоит. Прибыл — это хорошо, но хотелось бы знать, что руководило им при желании получить книгу”⁵⁹. А в 1940-х годах в библиотеках вводятся т.н. “аналитические формуляры” читателей — исключительно “в целях рационализации руководства чтением”⁶⁰. В такой формуляр вносилось множество сведений о читателе — “о его интересах и запросах, о даваемой им оценке прочитанных книг, об отношении его к советам библиотекаря. Записи должны показывать политическую направленность руководства чтением, помощь библиотекаря читателю”⁶¹. В специальные “дневники чтения” следовало заносить “наиболее интересные и характерные отзывы читателя о книгах, оценки, даваемые им отдельным произведениям, рекомендуется записывать по возможности дословно. Систематическое ведение записей в формуляре читателя помогает уяснить весь процесс педагогической и пропагандистской работы библиотекаря, определить, насколько активно и целенаправленно влияет он на содержание и последовательность чтения того или иного читателя”⁶². Эти формуляры и дневники не велись, разумеется, библиотекарями регулярно из-за отсутствия времени, но те, что сохранились, показывают “процесс и результат”

руководства чтением во всей полноте. Весь процесс смещения читательских интересов сохранился в этих записях.

Вот читатель, интересовавшийся зарубежной научной фантастикой, переходит к чтению советской научно-популярной литературы: “Читатель, в возрасте 22 лет, окончил 5 классов, продавец. Ежедневно посещает библиотеку. Читает журналы «Крокодил», «Огонек» и книги научно-фантастического характера. Я подобрала научно-популярные книги, которые помогли бы ему критически подойти к содержанию любимых им фантастических романов. Побеседовав с ним о книге Жюль Верна «Из пушки на Луну», предложила книгу К.Э.Циолковского «Грезы о земле и небе», которую он охотно взял. К следующему разу мы составили следующий список занимательных книг: Перельман Я. «Ракетой на Луну», Баев К.Л. «Обитаемы ли планеты?», Перельман Я. «Занимательная астрономия», Ильин М. и Сегал В. «Как человек стал великаном», Келлер Б.А. «Преобразователи природы растений», Ильин М. «Человек и стихия». Параллельно я рекомендовала ему доступные и интересные статьи из журналов «Вокруг света» и «Знание — сила». Тов. Пахомов почитал уже ряд книг по составленному нами списку. Взял недавно на дом предложенный мною рекомендательный указатель «Занимательное чтение» (выпуск 1). Еще не возвратил указателя, только сказал: ‘Как интересно в нем рассказывается о разных вещах’. После беседы с библиотекарем просил подготовить ему несколько общественно-политических книг и художественных произведений”.

Вот другой читатель, увлекавшийся путешествиями, переориентировался на чтение книг “по родной стране”: “Читатель Гордеев, 19 лет, рабочий, окончил 6 классов. Интересуется путешествиями. Рассказала ему, что книг о путешествиях много и для подбора их можно воспользоваться указателем В.А.Касименко «Как люди открывали землю». С моей помощью он составил для себя список «Русские путешественники» и с увлечением читает книги на эту тему. Я дополнила список книгами Барков А. и Половинкин А. «Физическая география» (учебник для 5 кл.) и Михайлов Н. «Над картой Родины». Рекомендовала пользоваться географической картой. Спустя некоторое время т. Гордеев заявил, что он приобрел карту и по ней находит и отмечает маршруты путешествий. Тов. Гордеев попросил дать ему на дом библиографические указатели и по другим вопросам”⁶³.

Разумеется, далеко не всегда руководство чтением было столь успешным. Со временем оно вырождается в формальную “нагрузку” (по общественно-политической литературе), когда читателю дается с интересующей его книгой книга по “нужному” отделу.

Недостижимым образцом для руководства чтением в массовых библиотеках могла служить соответствующая система в армии. Отношения политруководства армии с библиотековедами “старой школы”, занимавшими в 1920-х годах ключевые посты в библиотечном деле, были далеко не безоблачными, доказательством чему может служить эпизод с

публикацией в «Книгоноше» (1924, N 7 (38)) рецензии А.Покровского на сборник «В помощь библиотекарю», изданный ВВРС. Авторы сборника утверждали, что «библиотека должна прежде всего содействовать тому, чтобы у красноармейцев не было страха перед войной, чтобы война была для них делом понятным, естественным, необходимым и даже интересным». А.Покровский, напротив, полагал, что «библиотека должна стоять в стороне от этой военщины». До этого Покровский увидел в старательно рекламируемой армейскими библиотеками и действительно весьма популярной книге Бляхина «Красные дьяволята» «милитаризм, увлечение войной как войной, воинскими доблестями, с полным забвением дурных и вредных сторон всякой воинственности»⁶⁴. В открытом письме-ответе Покровскому, подписанном армейскими политработниками, утверждалось, что «его 'социалистические' антимарксистские суждения по вопросам, касающимся задач военной, антирелигиозной и прочей нашей пропаганды» должны быть только его «личным мнением»⁶⁵. Уверенность политработников основывалась на реальных успехах армейской пропаганды (в том числе и через библиотеку).

Судя по составу наиболее читаемых в красноармейских библиотеках книг⁶⁶, армейское политуправление имело все основания утверждать, что читательский спрос в этих библиотеках приблизился к идеалу. Оказали свое воздействие, разумеется, специальные акции по регулированию спроса. Достаточно упомянуть приказ ПУРа N 256 за 1924 год, содержащий перечень книг для библиотечной работы, и фактически определивший номенклатуру книг при комплектовании армейских библиотек.

Обобщая более чем десятилетний опыт работы армейской библиотечной сети, Б.Ризер говорил: «В Красной Армии, конечно, не может быть и речи о биологическом или психологическом подходе к читателю. Мы давно отказались также от руководства чтением по социальным признакам. Мы подходим к читателю, при изучении его запросов руководствуясь прежде всего его служебным положением и специальностью и задачами боевой и политической подготовки»⁶⁷. Большую роль в формировании читательских интересов красноармейцев (а следует помнить, что через службу в армии прошло практически все мужское население страны в наиболее важном для формирования читательских пристрастий возрасте) сыграл установленный Политуправлением РККА «литературный минимум», состоящий из 30 «лучших художественных произведений классической и советской литературы, которые рекомендованы были для первоочередного чтения красноармейцам и младшим командирам за время нахождения в Красной армии»⁶⁸. Изменилась и структура библиотечного обслуживания в армии. Здесь полностью отказались от передвижных библиотек (как слишком свободной формы чтения) и свернули ротные библиотеки за счет усиления полковых, что также имело политико-идеологические основания: «Мы не передоверяем сейчас такое большое дело, как работа с большевистской печатью, с большевистской книгой неопытному ротному библиотекарю, а доверяем только специа-

листу — начальнику полковой библиотеки, а также командирам и политрукам подразделения”⁶⁹.

Несомненно, именно в армии сложилась идеальная модель руководства чтением и тотального контроля за книгой. Конечно, за исключением соответствующего “организационного обеспечения”, та же модель распространялась и на массовые библиотеки: “Библиотека должна помочь читателю уяснить, выявить направленность своего интереса в чтении. Вслед за этим необходимо сделать подбор идеологически выдержанной литературы, помогающей в... воспитании марксистско-ленинского мировоззрения”⁷⁰, “Углубленная работа с читателем, руководство его чтением, систематизация этого чтения в области художественной литературы сейчас особенно необходимы, так как в библиотеки вливается новый читатель из рабочих и колхозников, читатель неопытный, который нуждается в определенном руководстве со стороны библиотекаря”⁷¹. Эти установки середины 1930-х годов в ждановскую эпоху получают завершенную форму, будут конкретизированы, доведены до блеска формул:

— *о воспитательной роли библиотекаря.* “Библиотекарь является советчиком, руководителем читателя в выборе книг. Он должен активно направлять читателя по пути, который способствует усвоению советской социалистической идеологии... Устранение от активного, действительного руководства чтением граничит с безыдейностью и аполитичностью и снижает роль библиотекаря — проводника социалистической идеологии — до уровня механического раздатчика книг”⁷², “Библиотекарь осуществляет руководство чтением, повседневно руководя читателями, беседуя с ними при выдаче литературы на абонементе, развивая у них интерес к книгам, наиболее ценным в воспитательном и образовательном отношениях”⁷³;

— *о принципах подбора литературы для читателей.* “Предлагая читателю книгу, нужно каждый раз задавать себе вопрос: какое значение будет она иметь для идейного воспитания и культурного роста читателя, для выработки у него марксистско-ленинского мировоззрения”⁷⁴, “Неразборчивость в рекомендации книг, проявленная библиотекарем или библиографом, может иногда принести читателю, особенно молодому, непоправимый вред в формировании его мировоззрения”⁷⁵;

— *о целях и функциях библиотеки:* “Работа библиотеки должна носить большевистский наступательный характер... Различны пути, различны методы руководства чтением разных групп читателей. Цель же одна — помочь большевистской партии и Советскому государству...”⁷⁶

4

В 1925 году «Красный библиотекарь» опубликовал обширную статью А.Котельникова «О руководстве чтением», где автор представил следующую схему: руководство чтением подразделяется на индивидуальное

и коллективное, а они, в свою очередь, делятся на непосредственное и заочное. Непосредственное индивидуальное руководство чтением включает в себя

- помощь читателю при выборе книг по каталогу;
- личный выбор книг для читателя;
- беседа с читателем о прочитанном;
- беседа с читателем о правилах чтения;
- личные справки по запросам читателей.

Заочное индивидуальное руководство подразделяется на следующие формы работы с читателем:

- карточный каталог во всех видах;
- программы чтения;
- анкеты о чтении;
- повестки читателям о книгах.

Непосредственное коллективное руководство чтением предполагает:

- громкие читки;
- устные рецензии;
- рассказывание;
- устная и живая газета;
- кружки читателей.

Наконец, коллективное заочное руководство чтением — это:

- рексписки;
- иллюстрированный каталог-плакат;
- книжная выставка;
- открытые рекомендательные полки;
- стенная газета⁷⁷.

Во множестве форм и методов мы не найдем, кажется, главного “орудия пропаганды книги” — самой книги. Это обстоятельство объясняется довольно просто — отсутствием доступа читателей к книжным полкам.

В 1924 году на страницах «Красного библиотекаря» началась дискуссия, открывшаяся статьей А.Кухарского «К вопросу о нормальной постановке руководства чтением»⁷⁸. Идеи автора статьи вызвали дружный “отпор” со стороны библиотекведов. Кухарский отрицал целесообразность каталогов, плакатов, рексписков и других “форм и методов руководства чтением” и доказывал, что единственно эффективным является свободный доступ читателя массовых библиотек к полкам. Он справедливо полагал, что каталог не может служить не только руководством, но даже и справочным пособием для “500 читателей, являющихся в библиотеку для обмена книг в продолжение одного часа”. Предложение Кухарского было простым: “пустите читателя к полке и он сам, перелистав, бегло просмотрев несколько страниц, выберет себе то, что для него необходимо”. Оппоненты отвечали: “при свободном доступе к полкам никакого руководства чтением нет... Воспитание, условия существования в прошлом определяют читательские интересы и не дают воз-

возможности зачастую даже культурному читателю самостоятельно добраться до чтения той литературы, до которой мы должны поднимать наших читателей в интересах коммунистического перевоспитания общества. Для того, чтобы читательские интересы, изуродованные социально-экономическими отношениями прошлого — выправить, нужно руководство опытного библиотекаря-политпросветчика. Без этого никаким свободным доступом читателя к полкам не поможешь”⁷⁹.

Кухарский резонно утверждал: “Аннотация, плакат и прочее являются производным элементом от книги. Сначала книга, ее просмотр, проработка, шифровка, а затем карточка, плакат, иллюстрация. Это этапы в работе библиотекаря. Зачем же вы читателю предлагаете аннотацию, плакат и лишь потом книгу?” Ему отвечали: “А затем, уважаемый тов.-Кухарский, чтобы не предоставлять читателя самому себе”⁸⁰. С точки зрения оппонентов, “вопрос ‘нормального руководства чтением’ только выставками, только свободным доступом к полкам — отнюдь не разрешается. Суть вопроса заключается как раз в выработке нормальных видов каталога”⁸¹.

На том в 1925 году спор и закончился, а через 5 лет мы узнаем об эксперименте ленинградской библиотеки «Василеостровский металлист», где открыли доступ читателя к полкам⁸². Это событие было объявлено тогда “революцией в библиотечном деле”⁸³. Сторонники плакатов и викторин, однако, не успокоились: “Можно ли на основании такого куцега опыта решить большой вопрос о свободном доступе? — Нам думется, что нет. Желать разрешить его с размаху, значит подходить несерьезно к крупным проблемам руководства читателем... система открытого доступа должна быть методом руководства читателем, — это вне сомнения. Мнение, что читатель перерос библиотекаря и поэтому библиотекарь должен быть отстранен — неверно... Если читатель вырос (это факт несомненный), то ему нужен другой, более квалифицированный библиотекарь... Но следует твердо помнить, что библиотекарь есть руководитель, организатор чтения, а не хранитель полки, хотя бы и открытой... прежде чем начать массовый переход к системе открытого доступа, мы должны получить ответы на вопросы: улучшается ли с таким переходом руководство читателем со стороны библиотекаря? Каким образом? Можно ли это доказать? Не берет ли читатель вредных книг? Не становится ли его чтение более неплановым, хаотичным, разбросанным? Не теряется ли он перед книжной полкой, беря все, что попадается?”⁸⁴ Вопросам не было конца. Сторонники открытого доступа к книгам должны были доказать эффективность своего метода не с точки зрения удобства пользования библиотекой, увеличения числа читателей (эти доводы никого не убеждали), но с точки зрения руководства чтением. Предлагалось с этой целью “выбрать некоторое количество читателей (не меньше ста), за которыми библиотека будет специально следить и на качестве чтения (новый характерный показатель — *Е.Д.*) которых библиотека должна доказать целесообразность или нецелесообразность нового метода работы”⁸⁵.

Большое беспокойство вызывало то обстоятельство, что “иные читатели могут не разобраться в массе представленных им книг, они могут запутаться и растеряться и, выбрав книги неудачно, вовсе отбиться от чтения... иные возьмут книги, что им понравится, но пользы от них с точки зрения политпросветработы будет немного (мешанская литература, идеологически чуждая и т. д.)”⁸⁶. Вопрос ставился и так: “Открытые полки или открытая библиотека?”, ведь “при открытых полках мы предоставляем читателю свободу в пределах рекомендуемой книги; открытая библиотека расширяет эти пределы, включая книги, только терпимые”, ведь “отнюдь нельзя считать, что в библиотеке имеется только рекомендуемая литература”⁸⁷. Так, в библиотеке “Василеостровского металлиста” были обнаружены поистине страшные издания: полные собрания сочинений Л.Андреева (да еще в двух изданиях), академическое издание Баратынского, все произведения (включая «Переписку») Гоголя. Отсюда следовал вопрос: “Нужно ли в таком случае открывать все книгохранилище с его дворянскими и буржуазными потрохами и говорить читателю: бери любую, все хороши. Мы считаем, что это не нужно, что этим оказывается читателю плохая услуга и создается опасность засорить его чтение неудачным материалом. Нам нужна не ‘открытая библиотека’, а ‘открытые полки’ с действительно рекомендуемой литературой... Конечно, отдельным читателям, при явно выраженном желании может быть предоставлено для осмотра все книгохранилище, но как система это нежелательно и не нужно”. С другой стороны, “как раз по педагогическим соображениям некоторым читателям навряд ли целесообразно предоставить неограниченное право на ‘свободную полку’”⁸⁸.

Главная же проблема, возникшая в связи со свободным доступом — функции библиотекаря. Г.Брылов и И.Осьмаков, обосновывая свой эксперимент в Ленинграде, говорили о том, что читатель не просто “вырос”, но “перерос библиотекаря”⁸⁹. Это утверждение, естественно, и вызвало самое серьезное неприятие: “Предоставив читателю больше самостоятельности, библиотекарь, однако, вовсе не должен устранять себя, не отказываться от своей активной роли, иначе он окажется на поводу у стихии”⁹⁰. Авторы идеи “открытых полок” говорили о “фиктивности руководства читателем”, о “свободе выбора читателя”, на которую не должен влиять библиотекарь. Это был, конечно, прямой отказ от системы руководства чтением и воспитания читателя в библиотеке. Сторонники прежней системы во всем продолжали идеи библиотекведов “старой школы”, полагавших, что во имя “просвещения масс” опасен не только прямой доступ читателя к полке, но даже “рекомендация с полки”: “Рекомендация с полки на практике превращается в механическую выдачу книг, — писал Б.Борович еще в 1922 году, — но внешние ‘приличия’ соблюдены, и внешнему глазу кажется, что книга подобрана. Мы настаиваем, поэтому, чтобы техника выдачи была отделена от приемов рекомендации: это два разных дела, которые делаются в различное время и различными людьми. С полки может производиться *только* вы-

дача, но никак не рекомендация книги: рекомендация же производится до выдачи — при помощи каталогов, справочников, личной беседы и индивидуального списка”⁹¹. Как можно видеть, либеральные интеллигенты народнической закалки были куда более строгими в том, что касается идеологической правоверности “читательских масс”.

И все же, сторонники открытого доступа победили. И дело здесь было, конечно, не в отказе от “социально-педагогической точки зрения на библиотеку”. О чем вообще велся спор и почему только к началу 1930-х годов был открыт (да и то далеко не везде) свободный доступ к полкам? Когда читателя “допустили” к книгам,

- “идеологически вредного” в библиотечных фондах уже ничего не было, они к этому времени были стерилизованы;
- система перманентного изъятия книг была отработана;
- соответствующая централизованная система комплектования библиотек была налажена;
- каталоги были “педагогизированы”.

“Руководство чтением” пошло своим ходом.

5

“Обслуживание читателей на абонементе имеет целью содействовать социалистическому перевоспитанию масс, превращению всего населения в активных и сознательных строителей бесклассового коммунистического общества”⁹². Это означало прежде всего “организацию помощи читателю в выборе книг”. Этой функции была подчинена новая система библиотечных каталогов.

В выборе книг в массовых библиотеках каталоги никогда не играли существенной роли. По статистике, на самостоятельный выбор читателя всегда приходилось до 50% выдачи, 30% — на рекомендацию библиотекаря, а остальные — на различные формы наглядной и письменной рекомендации⁹³. Таким образом, выбор книг почти наполовину зависел от библиотеки. Здесь же следует учитывать, что большое число читателей составляли учащиеся и в их 50% “самостоятельного выбора” всегда была значительная доля (до 70%) “программной литературы”. Таким образом, “самостоятельный выбор” в абсолютных величинах был невелик.

Ясно поэтому, что библиотека, стремившаяся свести самостоятельность читателя к минимуму, должна была учитывать множество факторов внебиблиотечного выбора (хотя, следует иметь в виду, и такой внебиблиотечный выбор был уже сильно ограниченным регулированием книжного рынка, что относится как ко вновь издаваемой и переиздаваемой литературе, так и к “расчистке” и изъятию запрещенной литературы из букинистической сети, которая в 1930-е годы уже полностью находилась под контролем государства, а “хождение” запрещенной литературы регулировалось соответствующими уголовными статьями).

Одним из основных факторов являлась “взаимная рекомендация книг”, составлявшая, по статистике, среди рабочих 8,5%, а в крестьянской среде 4-5% спроса⁹⁴. На этот “регулируемый средой спрос” библиотека не имела влияния, хотя постоянно доказывалась необходимость использования форм взаимной рекомендации в библиотечной практике. Так, отмечалось, что в прошлом “фактором классового воспитания взаимная рекомендация становилась лишь в той степени и мере, в какой она организовывалась и направлялась революционной социал-демократией. Во всех других случаях она приводила лишь к усилению влияния буржуазной идеологии на рабочих”, что “новые условия” создали “небывалые предпосылки для развертывания взаимной рекомендации и взаимного руководства чтением, что, наконец, “взаимная рекомендация, взаимопомощь в чтении становятся особенно типичными для эпохи культурной революции, формой проявления классовой солидарности и взаимопомощи, орудием преодоления разрыва между передовиками и отстающими внутри рабочего класса, средством подтягивания передовиками отстающих до осознания ими себя участниками ударной бригады мировой пролетарской революции”⁹⁵. В 1931 году задача ставилась такая: “Именно потому, что библиотека перерастает из замкнутого ‘учреждения’, где библиотекарь ‘руководит’, а читатели ‘читают под его руководством’, в массовую организацию, в которой библиотекарь, действуя в качестве исполнителя и проводника партийного влияния и помощника заводских организаций, организует рабочих для планового использования книги, факт взаимной рекомендации книг рабочими читателями должен быть тщательнейшим образом учтен и использован как один из рычагов расширения и углубления библиотечного похода”⁹⁶. В результате библиотеке вменялись некоторые следственно-полицейские функции, например, “оценка совпадения взаимной рекомендации с воспитательными задачами, вытекающими из генеральной линии партии; выяснение источников и корней взаимной рекомендации, враждебной этим воспитательным задачам”, “разоблачение и преодоление враждебной нашим воспитательным целям взаимной рекомендации”. Однако, все попытки превратить взаимную рекомендацию в “движение”, да еще и стремление “организационного закрепления этого движения и внесения его в планируемую библиотекой работу по руководству чтением”⁹⁷ были бесплодны. Отчасти это было связано с предлагаемыми формами взаимной рекомендации:

- организовать в цехе группу или бригаду для коллективной проработки определенной книги или “круга чтения”;
- вывесить в цехе вызов на прочтение определенной книги, адресованный к конкретным рабочим цеха;
- поместить в стеновке отзыв об определенной книге с призывом с ней ознакомиться;
- организовать в цехе выставку или витрину рекомендуемых книг;
- включить продвижение отдельных книг в план работы обществен-

ной организации, с которой связан данный читатель;

— добиться включения в договоры ударных бригад наряду с производственными показателями по соревнованию определенных обязательств по прочтению и по разработке конкретных книг;

— взять шефство по руководству чтением над малограмотным рабочим или сезонником;

— взять обязательство руководить чтением жены-домохозяйки и других членов семьи.

Внутри библиотеки предлагалось введение новых форм регулирования взаимной рекомендации:

— доски вызова на прочтение определенных книг у соответствующих отделов открытого ассортимента;

— вызовы и подписные листы на организацию кружка, бригады или группы совместного чтения на определенную тему;

— читательские вкладыши в книги, стоящие на открытом абонементе (“Я, такой-то, рекомендую книгу таким-то, по таким-то мотивам”);

— отведение уголков для организации книжных выставок самими читателями (“Мы, рабочие такого-то цеха или бригады, рекомендуем эти книги, кому, для чего”);

— организация экскурсий в библиотеку из товарищей по цеху, — еще ею не пользующихся;

— объявления, подписные листы с заявкой на определенную лекцию, консультацию или иную помощь со стороны библиотеки⁹⁸.

Ясно, что все эти “формы работы” были направлены на поглощение последних анклавов неконтролируемого не чтения даже — спроса, на “огосударствление” по определению неформального общения “на почве книги” и призваны были формализовать круг такого общения и, соответственно, свести его к минимуму.

Но *неэффективными оказались практически все формы собственно библиотечной рекомендации*. По опросам ГИИПа, проводившимся в 1930 году, 87% читателей ответили, что библиотекарь никак не стимулирует читательский спрос и в лучшем случае ограничивается формальным предложением читателю конкретной книги. В 30% случаев “стимулирование чтения” со стороны библиотекаря привело к отрицательной реакции читателя. 87% опрошенных заявили, что библиотекарь не пытается установить отношение читателя к возвращаемой книге, 73% читателей сообщили, что библиотекарь не пытается конкретизировать запросы читателей, 99% посетителей библиотек ответили, что библиотекарь не делал никаких попыток стимулировать плановость в чтении, только в 0,6% случаев библиотекарь был в состоянии, указывая читателю книгу, дать ее характеристику⁹⁹. Можно сделать вывод, что вся система “руководства чтением” была совершенно фиктивной. Из этого делался, между тем, вполне “диалектико-материалистический” вывод: “Когда организационные формы вступают в конфликт с задачами работы, организационные формы должны быть решительно сломаны и перестроены в соответствии

с этими задачами”¹⁰⁰. Сломать “устаревшие формы” означало в начале 1930-х годов “сломать стойку”, отделявшую книгу от читателя.

Успехи в формировании нового читателя определялись отнюдь не столько использованием тех или иных форм воздействия (эти формы непрестанно менялись, многие из них были, как можно видеть, совершенно неэффективными, многие быстро формализовались и отмирали, многие изначально были мертвы), но всей совокупностью принципов механизма функционирования книги в советских условиях. В условиях библиотеки — главного института государственного чтения — переналадка механизма особенно видна. Может быть, в большей степени, чем в издательской системе (замкнутой на принципах издательской политики), или в системе советской книжной торговли (являющейся лишь посредником и продуктом производства и потребления книги¹⁰¹). Вот почему бои именно на “библиотечном фронте” представляют несомненный интерес.

Сторонники открытого доступа и “ликвидации стойки” были вполне откровенны: “Задача реконструкции абонементов значительно шире вопроса об открытии доступа читателя к книгам... В условиях американской библиотеки открытый доступ есть наиболее рафинированный способ сокрытия классовых целей библиотечной работы, наиболее совершенный способ введения в обман рабочего читателя, ибо, представляя читателю возможность ‘свободно’ выбирать книгу, выдвигая принцип свободного идеологического самоопределения читателя, библиотека на самом деле ограничивает его тщательно подобранным в интересах господствующего класса ассортиментом, тенденциозной аппаратурой и услугами консультанта... Открытый доступ в Америке есть лишь одна из многочисленных вариаций буржуазно-демократической ‘свободы’. Для советского библиотекаря ‘свобода есть осознанная необходимость’, и в силу этого понимания свободы читателя он не может ограничиться открытием доступа читателя к книгам, а должен *ввести открытый доступ в тщательно продуманную систему педагогических воздействий*, имеющих целью помочь читателю осознать необходимость чтения определенных книг. Поэтому попытки толковать открытый доступ в советской библиотеке как меру, направленную к ‘освобождению’ читателя от руководства, недооценка элементов стихийности в процессе социального формирования масс (а следовательно и в их чтении) в условиях современного периода, попытки в связи с этим недооценивать или снижать регулируемую роль библиотеки должны вызывать непримиримое к себе отношение как попытки, основанные на непонимании своеобразия воспитательного процесса современного периода”¹⁰².

Тем временем, ключом к книжным полкам оставался каталог. Массовый же читатель к работе с каталогом готов не был. По данным обследования ГИИПа, проведенного в библиотеках Ленинграда весной 1930 года, 27,6% испытанных читателей-рабочих не умели пользоваться титульным листом книги, 63,4% затруднялись в пользовании оглавлением,

41% не умели использовать пояснения, вводимые для облегчения пользования книгой, 53% не обладали навыком пользования статистической таблицей, 47,4% не умели пользоваться словарем¹⁰³.

Эти обстоятельства, с одной стороны, и общая социально-педагогическая установка, с другой, привели к тому, что каталоги потеряли свои объективно-указательные функции, все более превращаясь в расписанные на карточки рекомендательные списки литературы по отделам. Вначале из массовых библиотек был вытеснен алфавитный каталог. Ему на смену пришел каталог систематический. Затем последний заменяется предметным каталогом.

Атаки на систематический каталог начались еще в 1920-е годы: “Форма систематического каталога отжила свой век. Систематический каталог является отражением старой библиотечной политики ‘нейтралитета’, когда вся литература пользовалась одинаковым вниманием, и читателю предоставлялось самому выбирать, что ему прочесть. Наша политика — политика активной классовой пропаганды и агитации: поэтому в своей работе мы должны выпятить на первый план пролетарскую и близкую к нашей идеологии литературу, сгруппировав ее не по авторам, а по темам, чтобы даже формой распределения книг привлекать внимание к определенным вопросам. Опыт... показал громадное преимущество предметного указателя перед систематическим”¹⁰⁴. Структура предметного каталога уже в 1924 году выглядела таким образом, что, например, художественная литература входила в раздел “Разное” (в одном ряду с рубрикой “Половая жизнь”), а все персоналии были сведены в один раздел “Деятели” (по принципу: “... Верхарн, Володарский, Воронский, Гегель, Герцен, Гладков...”). Следует, впрочем, заметить, что подобный алфавитный “нейтрализм” позволялся только научным (!) библиотекам¹⁰⁵.

Для беллетристики в массовых библиотеках предлагалась такая рубрикация: а) за свободу, право и справедливость; б) сильные волей и духом; в) среди ссыльных и заключенных; г) грядущее; д) долг гражданина; е) пролетарии все — братья; ж) трудовая интеллигенция; з) жизнь пролетариев; и) труд и капитал; к) жизнь под землей; л) путешествия и приключения; м) на дне жизни; н) женская доля; о) дети; п) о евреях; р) среди моряков; с) о войне и военных; т) далекие от труда; у) как жилось народу прежде; ф) купеческий быт; х) о духовенстве¹⁰⁶.

Предметный каталог такого рода объявлялся, например, В.Невским “самым демократическим, настоящим рабоче-крестьянским каталогом”¹⁰⁷, утверждалось, что “существующие библиотеки мечтают о предметном каталоге”¹⁰⁸. Действительно, предметный каталог позволял не только “направлять” чтение, но идеально отвечал “предметно-тематической” структуре массового читательского восприятия, продуцировавшегося со школы (книги “о революции”, “о войне”, “о подвигах”, “о борьбе за мир”, “о дружбе между народами” и т.д.). Кроме того, предметный каталог был очень удобен для селекции книг и отвечал “стой-

ной” системе абонементов. Как утверждал Б.Борович, “как только читатель заинтересуется книгой вообще, следует его перевести на работу с каталогами, следует всяческим путем руководить его чтением; выбор же книг прямо с полки ведет к несистематическому случайному чтению, ведет к верхоглядству”¹⁰⁹.

Тут однако выяснилось, что и сторонники открытого доступа вовсе не собирались расставаться с “воспитательными” каталогами: “Открытие ассортимента обязывает к пересмотру вопроса о библиотечной обработке книги. Книга при новой организации библиотеки должна быть обработана не только технически, но и педагогически. Книга должна быть так ‘одета’, чтобы в этой ‘одежде’ заключался максимум элементов, обеспечивающих сознательный подход читателя к ее выбору... Реконструкция библиотеки не умаляет, а напротив многократно усиливает роль рекомендательно-справочной аппаратуры: ... разнообразных по построению и оформлению рекомендательных каталогов, библиографических указателей, кругов чтения, программ и т. п.”¹¹⁰ Даже более того, “если раньше, при закрытой системе работы педагогически необработанную книгу можно было еще терпеть в библиотеке, то при открытом доступе такой книге на открытой полке не место”¹¹¹.

Что означала “педагогическая обработка книги”, можно понять из разъяснений Н.Крупской, которая в 1936 году следующим образом рассуждала об аннотациях: “Издательства начинают уверять, что в аннотацию никакую политическую оценку вводить нельзя, что тут важен объективизм. Может быть, для расстановки книг на полках нужно иметь аннотацию очень упрощенную, но наряду с этой аннотацией должна быть марксистская оценка книги. Это дело не простое, как правильно давать оценку книги. Это очень большой вопрос, и нужно быть хорошим марксистом для того, чтобы к этому правильно подойти”¹¹². Превращение аннотации в оценочный текст-рецензию — давняя идея Н.Крупской, которая еще за 10 лет до того в приветствии II Всероссийскому библиографическому съезду утверждала, что “надо создать условия, при которых руководство чтением ложилось бы не только на библиотекаря; важно, чтобы сам читатель мог ориентироваться в каталоге и выбирать ту книжку, которая ему нужна. Поэтому необходимо, считаясь с уровнем подготовки широких масс, чтобы каталоги давали отзывы, написанные популярным языком, чтобы эти каталоги носили такой характер, который позволил бы человеку, даже не очень привычному к книге, быстро ориентироваться и находить то, что ему надо”¹¹³.

В послевоенные годы “идейно-политическая направленность библиотечных каталогов” будет неустанно подчеркиваться. В 1950 году пройдет очередная кампания “против формализма и объективизма в библиотечной теории”. Формализм и “непонимание роли каталогов как средства пропаганды книги и руководства чтением в целях коммунистического воспитания масс” были обнаружены в работах заведующего кафедрой библиотечных фондов и каталогов Московского государственного

библиотечного института Е.Шамурина, который “рассматривает каталоги как перечни книг, не вскрывает идеологической роли каталогов”, из его работ “выходит, что каталоги являются лишь справочным аппаратом, что они лишь регистрируют книжные богатства”. Все это было объявлено “объективистским пониманием роли каталогов”, тогда как, гласила передовая «Библиотекаря», “каталоги советских библиотек являются средством пропаганды книг и руководства чтением. От состояния каталогов, их идейной направленности, их организации во многом зависят успех работы советских библиотек... В связи с этим теоретическая разработка вопросов построения каталогов имеет большое политическое и культурное значение”¹¹⁴. В послевоенные годы постоянно осуждаются “некоторые библиографы” за “увлечение ‘регистрационной’ библиографией”, ведущей к “принижению значения рекомендательной библиографии, призванной сыграть немаловажную роль в деле идейно-политического воспитания читателей”. Этим “некоторым библиографам” настойчиво разъяснялось, что “пренебрежительное отношение к рекомендательной библиографии, откликающейся на злободневные политические темы, содействующей изучению политики советского государства, должно быть решительно осуждено. Необходимо бороться с попытками увести библиографическую работу в сторону от задач идейно-политического воспитания народа, от задач социалистического строительства”¹¹⁵.

Тенденция к превращению каталогов в “рекомендательно-библиографические пособия”, возникшая еще в 1920-е годы, превратилась, наконец, в “новую теорию каталогов”, объявленную вершиной “советской библиографической науки”. “Победоносное шествие” этой теории началось после идеологических постановлений ЦК ВКП(б) 1946 года. Согласно ей, “читательский систематический каталог является по существу основным рекомендательно-библиографическим пособием для читателей библиотеки. Отсюда вытекает необходимость использования методов рекомендательной библиографии при создании читательского систематического каталога”¹¹⁶. Теперь, как утверждалось, и не нужно “рассматривать каталоги как исчерпывающие перечни всех книг, имеющихся в библиотеке, вне зависимости от их идейной и научной ценности”. Напротив, на каталог предлагалось смотреть как на “важнейшее средство, помогающее читателю в выборе ценнейшей литературы”, заботясь в то же время об “освобождении читательских каталогов от устаревшей литературы”. “Разве нет книг, которые стареют?” — резонно спрашивал Л.Левин, а потому “разве постоянный просмотр читательского систематического каталога в целях освобождения его от устаревшей литературы не является обязанностью составителя каталога?”¹¹⁷.

Радикальный пересмотр функций библиотечного каталога привел к полному изменению его структуры: “Коль скоро мы считаем, что читательские систематические каталоги должны служить целям руководства чтением, то нельзя останавливаться на полпути. Надо превратить эти

каталоги в рекомендательно-библиографические пособия со всеми вытекающими отсюда последствиями... никакой принципиальной разницы между читательским систематическим каталогом и рекомендательной библиографией нет... Поэтому к читательским систематическим каталогам следует предъявить те требования, которые мы предъявляем к рекомендательно-библиографическим пособиям"¹¹⁸. Поставленная с ног на голову, теория каталогов утверждала теперь: "Нельзя отрицать важность правильного описания и классификации книг для создания каталога. Но эти процессы не являются главными в создании каталога"¹¹⁹.

И, конечно, итогом такого переворота должна была стать идея, согласно которой не каталог описывает книги, имеющиеся в библиотеке, а наоборот, книги должны собираться (а в идеале, видимо, — и создаваться и издаваться) в соответствии с требованиями соответствующих отделов каталога. Пока что эта установка выглядела так: "Основной порок при создании каталога заключается в том, что главное внимание обращается на то, в какой отдел поместить книгу, а не на то, из какой литературы должен состоять соответствующий раздел каталога"; отсюда — требование "централизованной каталогизации"¹²⁰, что в комплексе с уже осуществляемым централизованным комплектованием массовых библиотек давало искомый результат.

Ясно, что каталог переставал быть зеркалом библиотечных фондов, превращаясь в идеологический фильтр, абсолютно непригодный для своих прежних — указательных функций, и обречен был на умирание. Пользоваться таким каталогом в поисковых целях было, разумеется, бессмысленно. Столь мощный фильтрующий механизм, в какой превратился каталог, был призван оградить читателя от вредных и случайных влияний. Между тем, это была уже вторая система защиты читателя от книги. Первая — механизм комплектования библиотек.

Массовые библиотеки в России еще с XIX века не были свободны в комплектовании. С 1890 года осуществлялось государственное регулирование и контроль за пополнением книжных фондов. И все же, как показал А.Рейтблат, в комплектовании "народных читален" не было монополии, но сплетались интересы различных учреждений и политических сил: либеральной интеллигенции, государства, земства (в котором уже сочетались интересы ряда социальных групп и институтов), что и привело к тому, что "фонды земской библиотеки носили компромиссный характер", когда каждый из влиявших на комплектование "стремился включить в фонды издания, репрезентирующие его ценности"¹²¹. Как бы то ни было, контроль за комплектованием *не был тотальным*. Речь шла лишь о влияниях, "перетягивании одеяла", о компромиссах и т.д., то есть об обычной борьбе за влияние на читателя.

Совсем другую картину можно наблюдать в советской библиотеке: "Комплектование библиотеки должно быть направлено к одной основной и все себе подчиняющей цели: мобилизации сознания и активности трудящихся, обслуживаемых данной библиотекой, на выполнение тех

задач, которые стоят перед партией, в частности тех задач, которые партия поставила себе на данном участке работы, в данном районе, на данном предприятии, в колхозе. Поэтому подбор книг для библиотеки должен осуществляться на основе как общих задач партии в данный период, так и на основе учета особенностей данного района, данного предприятия”¹²².

Уже постановление ЦК РКП(б) от 7 сентября 1925 года “О деревенских библиотеках и популярной литературе для снабжения библиотек” гласило: “Предложить Агитпропу разработать практические мероприятия по устранению существующего параллелизма и вытекающего отсюда нерационального расходования средств в деле снабжения книг разными организациями (шефы, профсоюзы, кооперация и т.п.), объединив руководство снабжением библиотек при Губполитпросветах”¹²³. “Рационализация” снабжения библиотек книгами означала прежде всего монополизацию процесса комплектования. На фоне массовых изъятий такая централизация, возложенная к тому же на Агитпроп и Губполитпросветы, была связана прежде всего с мощным усилением партийного контроля за библиотечными фондами.

В это же время выдвигается требование “научить низового библиотекаря комплектовать свою библиотеку применительно к задачам локализации политпросветработы”¹²⁴. Такая локализация означала лишь одно: “Комплектование библиотек и продвижение книг должны быть тесно увязаны с производственными планами хозяйственных предприятий, партийных, культурных, профессиональных и других организаций района действия библиотеки”¹²⁵. Никак комплектование не было связано с запросами самих читателей. Это — традиция, восходящая еще к библиотековедам “старой школы”. “При покупке книг, — учил Б.Борович “низового библиотекаря” еще в 1922 году, — необходимо считаться с требованиями читателя; однако, это не значит, что нужно целиком подчиняться ему и быть лишь его техническим аппаратом. Нельзя проходить мимо читателя, нельзя игнорировать его спрос и вкусы; но, учитывая это, надо их улучшать, подымать, изменять, надо вести определенную, культурническую линию, надо бить в одну точку. Крайне интересны, нужны и показательны заявления читателей по вопросу о приобретении той или иной книги, и следует тщательно собирать их в письменном виде. Но это — лишь сырой материал, требующий надлежащей обработки. Вовсе не должна библиотека покупать какую-нибудь малоценную или лубочную книгу, если требования на нее заявлены хотя бы и группой читателей. Последнее слово принадлежит в этом вопросе руководителю, который ведет библиографические работы, знает книгу, изучает вкусы и настроения и должен решать, нужна ли библиотеке данная книга или, наоборот, вредна”¹²⁶.

Новое поколение советских библиотековедов было куда откровеннее: “Необходимо, чтобы содержание книги соответствовало классовым задачам библиотеки. Из того, что нравится Рокамболь и др., можно сделать только один вывод: пролетариат СССР должен обзавестись своей

приключенческой литературой, не менее занимательной, чем Рокамболи, но содержание которой отвечало бы основной задаче библиотеки — быть проводником коммунизма в массы... старая занимательная беллетристика была рассчитана на обеднение читательской психики или, в лучшем случае, стремилась повергнуть его в состояние спячки. Поэтому комплектование должно быть рассчитано на полное исключение такой литературы из библиотек. Книг-усыпителей не нужно. Мы нуждаемся в книге-союзнике, в книге-орудии коммунистического воспитания”¹²⁷.

Торжество подобных принципов комплектования и позволило в 1930-е годы “открыть доступ к книжным полкам”. В предшествующий такому открытию период библиотеки полностью изменили “состав крови” — “вредное” было изъято, “полезное” приобретено. “Открытие” абоне-мента и сопровождалось соответствующими требованиями к комплектованию фондов: “самый ассортимент книг должен выполнять в несоизмеримо большей степени регулирующие чтение функции, чем их должен был выполнять ассортимент, отделенный от читателя стойкой”. Причем, “ассортимент, открываемый для читателя, должен быть достаточно широким по тематике, но ограниченным в отношении количества названий в пределах отдельной темы”, поскольку “тенденция к расширению ассортимента неизбежно должна привести к снижению требований к включаемым в ассортимент книгам, а это в свою очередь на определенном этапе приведет к превращению открытого ассортимента из орудия регулирования чтения в его противоположность”. Все было направлено к тому, чтобы “свести к минимуму элементы случайности в выборе книги”¹²⁸.

Главным итогом происшедшей в 1930-е годы “реконструкции работы массовых библиотек” стало завершение их “огосударствления” — как институциональное, так и идеологическое. Можно сказать, что в это время окончательно сформировалась советская концепция библиотеки как института государственного контроля за чтением и книгой. Способность адептов новой доктрины к ее озвучению освобождает от необходимости формулировать основные ее постулаты. Здесь достаточно привести четкие формулировки этого времени, лишь для большей четкости выделив основные позиции:

1. Чтение является “мощным фактором социального формирования”.

2. В условиях диктатуры пролетариата оно означает “своеобразный процесс освоения коллективного опыта борьбы рабочего класса, синтеза революционной теории и практики, преодоления противоречия между опытом имеющимся и опытом, нужным для продуктивного участия в социалистическом строительстве”.

3. На этапе “развернутого социалистического наступления... обостряется необходимость подчинения чтения задачам строительства”, выражающаяся в “возрастающем значении организованного вмешательства осуществляющего диктатуру пролетариата в процесс чтения трудящихся масс”.

4. Процесс регулирования чтения включает в себя: а) вовлечение в чтение нужных читателей (политика регулирования читательского состава); б) рационализация чтения (“активное вмешательство в процесс чтения в целях дачи массам нужных в этом направлении навыков”); в) подбор нужных книг (политика ассортимента, комплектования); г) пропаганда книги (“продвижение нужных книг в нужное время до нужных читателей”).

5. Библиотека есть “специальный воспитательный аппарат”, существующий для выполнения перечисленных выше целей регулирования чтения.

6. Библиотека решает эти задачи не монополично: “вовлекать и регулировать чтение должен весь воспитательный процесс в целом, используя для этого все орудия и средства, находящиеся в распоряжении воспитывающего класса”. Весь процесс чтения должен быть направлен “на коммунистическое перевоспитание масс, преодоление классово враждебных влияний, путем организации педагогического процесса”, который понимается универсально¹²⁹. Путь побед на библиотечном фронте был, таким образом, путем к созданию нового — идеального читателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Я.Ривлин. Методические течения в области библиотековедения (опыт социологического обзора) // Читатель и книга: Методы их изучения. Сб. статей. Харьков: Труд. 1925. С. 6.

2 Там же. С. 9.

3 Там же. С. 14. О трудных для библиофильства пореволюционных годах см.: П.Берков. История советского библиофильства (1917-1967). М. 1983. С. 45-168.

4 Я.Ривлин. Методические течения в области библиотековедения (опыт социологического обзора). С. 21.

5 Там же. С. 33.

6 Б.О.Борович. Пути изучения читателя // Читатель и книга: Методы их изучения. Сб. статей. С. 69, 71-72.

7 Б.О.Борович. Пути сближения книги с читателем: Опыт методологии культурной работы в библиотеке. Харьков: Труд. 1922. С. 5-6.

8 Там же. С. 6.

9 Там же. С. 6.

10 Там же. С. 7.

11 Там же. С. 7.

12 Там же. С. 8.

13 Н.К.Крупская. Избы-читальни // Педагогические сочинения в 10-ти томах. Т. 8. М.: Изд-во АПН РСФСР. 1960. С. 55.

14 Цит. по.: Б.Банк, А.Виленкин. Деревенская беднота и библиотека: Опыт исследования читательских интересов. Л.: Долой неграмотность. 1928. С. 6-7.

15 А.Покровский. Опасность НЭПа и библиотечная работа // Красный библиоте-

карь. 1923. N 2-3. С. 9.

16 М.Смушкова. Очередные задачи библиотечной работы в городе // Массовая работа в библиотеке. М.-Л.: Долой неграмотность. 1927. С. 3-4.

17 Золотой фонд советской культуры (Передовая). // Правда. 1935. 12 апреля.

18 А.Охлябинина. Библиотекарь как творческий организатор жизни // Красный библиотекарь. 1924. N 10-11. С. 87, 88, 90.

19 Постановление ЦК ВКП(б) "О библиотечной работе" (от 30/X 1929 г.) // Красный библиотекарь. 1929. N 10. С. 3.

20 А.Попов. О путях социалистической реконструкции библиотечной работы // Красный библиотекарь. 1931. N 4. С. 17.

21 Там же. С. 18.

22 П.Гуров. За создание новой библиотечной теории на основе ленинизма // Красный библиотекарь. 1931. N 4. С. 27-29.

23 А.Покровский. О целях библиотечной работы в городе // Красный библиотекарь. 1927. N 5. С. 19-23.

24 И.Семеньев. Книгоиздательство, книгораспространение и библиотеки // Красный библиотекарь. 1931. N 10. С. 10. Другими словами: "Библиотека является передатчиком и проводником литературной и издательской продукции в самые широкие читательские массы, и она же, естественно, по самому своему положению должна быть тем органом, через который литературная и вся советская общественность принимает обратную волну — результаты читательского восприятия, обратные токи от читателя к автору и издательству" (А.В.Лебедев. Всесоюзный съезд писателей и библиотека // Красный библиотекарь. 1934. N 4. С. 14-15).

25 Красный библиотекарь. 1931. N 8. С. 15-16.

26 Н.К.Крупская. Беседа с директорами научных и краевых (областных) библиотек // Педагогические сочинения. С. 660-666.

27 Н.К.Крупская. По ленинскому пути // Педагогические сочинения. С. 669.

28 Коммунистическое воспитание трудящихся и задачи библиотек (Передовая) // Красный библиотекарь. 1939. N 9. С.3.

29 См.: Б.О.Борович. Пути сближения книги с читателем: Опыт методологии культурной работы в библиотеке. С. 9-13, 96.

30 Там же. С. 16.

31 Массовая работа в библиотеке. М.; Л.: Долой неграмотность. 1927. С. 110-111; Вечер книги в деревне. М.: Долой неграмотность. 1925. С. 37-39.

32 Я.Е.Киперман, Б.В.Банк, Е.В.Концевич. Библиотечные кампании: Опыт организации, методы работы, материалы — результаты. М.; Л.: Долой неграмотность. 1926. С. 24-25. См. также: Вечер книги в деревне. М.: Долой неграмотность. 1925. С. 93-95.

33 Вечер книги в деревне. С. 95.

34 А.Скиталец. Антирелигиозная работа в библиотеке // Красный библиотекарь. 1924. N 4-5. С.169.

35 Ф.Доблер. Книгоношество // Массовая работа в библиотеке. М.; Л.: Долой неграмотность. 1927. С.32.

36 См.: Е.Синицина. Организация читателей при библиотеке // Массовая работа в библиотеке. М.; Л.: Долой неграмотность. 1927. С. 15-18; Б.Банк. О читательском

активе // Красный библиотекарь. 1927. N 8. С. 25-31.

37 М.Сим. "Полпредство" рабочего читателя // На литературном посту. 1931. N 13. С. 46-47.

38 В.Невский. Из записной книжки библиотечного инструктора. 2. "Энциклопедия" или "справочник электротехника"? // Красный библиотекарь. 1923. N 2-3. С. 22.

39 М.Алатырцев. Почва под ногами // Литературный еженедельник (Петроград). 1923. N 8.

40 Б.О.Борович. Пути сближения книги с читателем: Опыт методологии культурной работы в библиотеке. С. 47.

41 Там же. С. 47.

42 Там же. С. 48.

43 Там же. С. 50-51, 57.

44 Там же. С. 56-57.

45 М.Эфрос. Руководство чтением юных читателей // Библиотекарь. 1949. N 12. С. 29, 31.

46 В.Невский. Из записной книжки библиотечного инструктора. 6. Плановое чтение // Красный библиотекарь. 1924. N 12. С. 18.

47 Там же. С. 19.

48 Там же. С. 20.

49 Там же. С. 21.

50 А.Покровский. О целях библиотечной работы в городе // Красный библиотекарь. 1927. N 5. С. 19.

51 Б.О.Борович. Пути изучения читателя // Читатель и книга: Методы их изучения. Сб. статей. С. 76-77. См. также: Я.В.Ривлин. К вопросу о значении профессии в читательстве. Сборник статей по библиотечной работе. Вып. 2. М.: Красная новь. 1923.

52 Там же. С. 80-81.

53 Г.Бабанов. О некоторых вопросах руководства чтением // Библиотекарь. 1952. N 2. С. 28.

54 Там же. С. 30.

55 С.Купер. Беспризорные // На литературном посту. 1930. N 15-16. С. 143.

56 Там же. С. 148.

57 М.Беккер. Художественная литература и задачи коммунистического воспитания молодежи // Молодая гвардия. 1933. N 9. С. 132-133.

58 Е.Коршунова. Литературный кружок в библиотеке // Библиотекарь. 1947. N 2. С. 39.

59 Л.Переплетчикова. Перерегистрация и учет читателей // Красный библиотекарь. 1928. N 4. С. 63.

60 Р.Кибрик. Аналитический формуляр читателя // Библиотекарь. 1951. N 12. С. 25-26.

61 Р.Кибрик. Об учете опыта работы с читателем // Библиотекарь. 1950. N 6. С. 41.

62 Там же. С. 42.

63 Там же. С. 44.

64 А.Покровский. О работе с беллетристикой. Сборник статей по библиотечной работе. Вып. 3. М.: Красная новь. 1924. С. 20.

65 К вопросу о военном воспитании и библиотечной работе (Ответ А.Покровскому) // Красный библиотекарь. 1924. N 8. С. 26-29.

66 См.: Е.Хлебцевич. Какие книги больше всего читаются в массовых библиотеках рабоче-крестьянской Красной армии // Красный библиотекарь. 1924. N 6.

67 Б.Ризэр. Работа с красноармейским читателем // Красный библиотекарь. 1937. N 2. С. 16.

68 Там же. С. 17-18.

69 Там же. С. 18.

70 Э.С.Чертенко. О самообразовательном чтении в библиотеках // Красный библиотекарь. 1935. N 6. С. 28.

71 А.В.Лебедев. Всесоюзный съезд писателей и библиотека // Красный библиотекарь. 1934. N 4. С. 16.

72 Выше идейный уровень библиотечной работы (Передовая) // Библиотекарь. 1946. N 9-10. С. 17-18.

73 За высокоидейное руководство чтением (Передовая) // Библиотекарь. 1949. N 5. С. 3.

74 Там же. С. 3-4.

75 Выше идейный уровень библиотечной работы (Передовая) // Библиотекарь. 1946. N 9-10. С. 17.

76 За высокоидейное руководство чтением (Передовая) // Библиотекарь. 1949. N 5. С. 3-5.

77 А.Котельников. О руководстве чтением // Красный библиотекарь. 1925. N 3. С. 50.

78 Красный библиотекарь. 1924. N 8.

79 М.Мищенко. К вопросу о руководстве чтением (Ответ т.Кухарскому) // Красный библиотекарь. 1925. N 1. С. 44.

80 Там же. С. 45.

81 В.Звездин. Еще раз о нормальной постановке руководства чтением // Красный библиотекарь. 1925. N 1. С. 47.

82 См.: Г.Брылов, И.Осьмаков. Библиотечная работа клуба "Василеостровский металлист" // Красный библиотекарь. 1929. N 1, 2, 3.

83 А.К. К вопросу об открытом доступе к полкам // Красный библиотекарь. 1929. N 5-6. С. 45.

84 Там же. С. 46.

85 Там же. С. 46.

86 Б.Левинтов. Полегче на повороте (К вопросу об "открытых полках") // Красный библиотекарь. 1929. N 5-6. С. 47.

87 Там же. С. 48.

88 Там же. С. 49.

89 См.: Г.Брылов. О друзьях и врагах открытого доступа // Красный библиотекарь. 1930. N 12.

90 Б.Левинтов. Полегче на повороте (К вопросу об "открытых полках"). С. 50.

91 Б.О.Борович. Пути сближения книги с читателем: Опыт методологии культурной работы в библиотеке. С. 46.

92 Э.Хейфец. Формы и методы обслуживания читателей на абонементе // Крас-

ный библиотекарь. 1938. N 6. С. 34.

93 См., например: Б.Банк, А.Виленкин. Крестьянская молодежь и книга. М.; Л.: Молодая гвардия. 1929. С. 199-204.

94 См.: Б.Банк, А.Виленкин, И.Осьмаков. За реконструкцию работы массовой библиотеки // Красный библиотекарь. 1931. N 1. С. 16.

95 А.Виленкин. Взаимная рекомендация книг рабочими читателями // Красный библиотекарь. 1931. N 5-6. С. 80.

96 Там же. С. 81.

97 Там же. С. 81.

98 Там же. С. 84-85.

99 См.: Б.Банк, А.Виленкин, И.Осьмаков. За реконструкцию работы массовой библиотеки. С. 16-19.

100 Там же. С. 20.

101 "Советский книжный рынок" формируется лишь в постсталинский период, что было связано с расширением книжного ассортимента и разбалансированностью тиражей, не учитывавших спроса (а следовательно, с перманентным дефицитом книг). Несомненно, что этот процесс, в свою очередь, был результатом изменений структуры спроса, происшедших вследствие относительного уменьшения давления на читателя и, в частности, с резким падением статуса библиотек. Не следует при этом смешивать "книжный рынок", который оставался лишь в зародышевом состоянии, с "черным рынком книг", на котором находилась (в разные периоды) практически вся потребляемая обществом книжная продукция (в особенности в период книжного голода 70 — начала 80-х годов).

102 См.: Б.Банк, А.Виленкин, И.Осьмаков. За реконструкцию работы массовой библиотеки. С. 20-21.

103 Там же. С. 16.

104 П.Гуров. О работе с беллетристикой // Красный библиотекарь. 1927. N 2. С. 30.

105 Д.Балика. Схема рубрик предметного каталога научных книг // Красный библиотекарь. 1924. N 9. С. 76-77.

106 Б.О.Борович. Пути сближения книги с читателем: Опыт методологии культурной работы в библиотеке. С. 41.

107 Цит. по: Б.О.Борович. Пути сближения книги с читателем. С. 36.

108 Там же. С. 37. См. также: Б.Борович. Как создать предметный каталог: Практические указания. Харьков: Труд. 1923.

109 Б.О.Борович. Пути сближения книги с читателем. С. 28.

110 См.: Б.Банк, А.Виленкин, И.Осьмаков. За реконструкцию работы массовой библиотеки. С. 25.

111 С.Романов. Педагогическая обработка книг // Красный библиотекарь. 1931. N 5-6. С. 74.

112 Н.К.Крупская. Выполним указания Ленина о библиотечной работе (Вступительное слово на Всесоюзном совещании по теоретическим вопросам библиотековедения и библиографии) // Педагогические сочинения. С. 626.

113 Н.К.Крупская. Приветствие II Всероссийскому библиографическому съезду // Педагогические сочинения. С. 160.

114 За высокую идейность, против формализма и объективизма в библиотечной теории (Передовая) // Библиотекарь. 1950. N 3. С. 1, 2.

115 Выше идейный уровень библиотечной работы (Редакционная) // Библиотекарь. 1946. N 9-10. С. 18.

116 Л.Левин. Систематический каталог как рекомендательно-библиографическое пособие // Библиотекарь. 1953. N 5-6. С. 31.

117 Там же. С. 29-30.

118 Там же. С. 31.

119 Там же. С. 32.

120 Там же. С. 32-33.

121 А.Рейтблат. От Бовы к Бальмонту: Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века. М. 1991. С.174-175.

122 Павелкин. За большевистскую партийность в библиотечной работе // Красный библиотекарь. 1932. N 4. С. 12.

123 Постановление ЦК РКП(б) от 7 сентября 1925 года "О деревенских библиотеках и популярной литературе для снабжения библиотек" // Красный библиотекарь. 1925. N 10. С. 117.

124 А.Виленкин. Из библиотечного блокнота. Задачи локализации политпросветработы и комплектование деревенской библиотеки // Красный библиотекарь. 1927. N 2. С. 35.

125 За социалистическую перестройку библиотечного дела (Редакционная) // Красный библиотекарь. 1931. N 4. С. 5.

126 Б.О.Борович. Пути сближения книги с читателем. С. 64.

127 П.Гуров. О работе с беллетристикой // Красный библиотекарь. 1927. N 2. С. 25-26.

128 Б.Банк, А.Виленкин, И.Осьмаков. За реконструкцию работы массовой библиотеки. С. 24.

129 Там же. С. 14.

СЧАСТЬЕ КОРЧАГИНА

(ИДЕАЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ)

*Германия известна Лютером.
Двадцатые годы Татлиным.
Штаты сильны компьютером.
Россия — читателем.
Он разум и совесть будит.
Кассеты наладили.
В будущем книг не будет?
Но будут читатели.*

Андрей Вознесенский

*Ну, читатель, не церемонюсь я с тобой, — можешь и ты не церемониться со мной:
— К черту...
— К черту!*

И au revoir — до встречи на том свете...

Василий Розанов

1

Понятие “идеальный читатель” употребляется здесь едва ли не в буквальном, терминологическом смысле. Идеальный, или концепированный читатель — своеобразный аналог автора — носителя концепции, воплощенной в тексте; это и читатель, который моделируется автором как реципиент (“собеседник” у Мандельштама, “друг в поколеньи” у Баратынского). Но в нашем случае автором является сама власть, а читатель, по аналогии, *продукт сотворчества власти и массы*. Это и своеобразный “горизонт ожидания” власти. Речь, таким образом, идет о величине во всех смыслах идеальной, хотя ее создание потребовало, как мы могли видеть, вполне материальных усилий и затрат. Рассмотреть “материальное измерение” идеального читателя вряд ли возможно в рамках только историко-литературного исследования — это предмет социологии и культурной антропологии. Здесь нас занимают некоторые собственно историко-культурные аспекты явления.

М.Бахтин полагал, что диалог всегда предполагает наличие некоторого третьего собеседника, формально не участвующего в процессе общения, но играющего роль некоей “точки отсчета”, по отношению к

которой реальные коммуниканты упорядочивают свои позиции¹. Таким “наадресатом” в нашем случае является власть, стремящаяся к максимальному воздействию на участников диалога. Несомненно, что чистая власть в качестве такого “наадресата” радикально отличается от традиционных “третьих в диалоге” (“суд Божий”, “суд истории”, “требования совести” и т.д.), хотя и есть соблазн этих “третьих” вынести в один знаменатель. Нельзя, однако, не учитывать, что в нашем случае “амбиции третьего” столь всеохватны и подкрепляются столь мощными аргументами, что практически не оставляют возможности для участников диалога самоопределиться. В этом случае мы вправе говорить о смерти диалога, предпринятой смертью его участников как полноценных коммуникантов.

Трудно не согласиться с советским эстетиком: “Восприятие искусства в условиях социалистической действительности, когда целенаправленное эстетическое воспитание масс рассматривается как одно из важнейших условий формирования нового человека, всесторонне развитой личности, как прогресс подлинного искусства, принадлежащего народу, конечно, сильно отличается в своей основе от восприятия искусства массовым реципиентом в условиях буржуазного общества”². Отличия, несомненно, есть. Прежде всего, обратим внимание на постулировавшуюся в советской эстетике идею “целостного” рассмотрения реципиента. Такая целостность, неотдифференцированность не только должна была демонстрировать “морально-политическое единство советского общества”, но логически вытекала из общей концепции рецепции, развиваемой в советской эстетике. Здесь имелись два полюса. Так, Г.Апресян утверждал, что нельзя даже ставить вопрос о “теории групп зрителей”, отрицая наличие реципиентов различного уровня подготовленности к восприятию и оценке произведений искусства³. С другой стороны, Е.Корнилов призывал к ориентации на уже сложившуюся художественную оценку массового реципиента⁴.

Между двумя этими крайностями в советской теории рецепции существует очевидная связь (хотя одну из них представляет один из самых официозных советских эстетиков, а другую — “радикально настроенный” аспирант, важны собственно обозначенные тенденции), обе они — продукт советского внутрикультурного процесса: идеальный читатель сам “творит” собственную теорию. Един и результат — формирование “потребительского” (“кулинарного”, по терминологии Х.Р.Яусса) искусства, характеризующегося тем, что оно не требует смены горизонта ожиданий от реципиента, а наоборот, полностью оправдывает его ожидания, продиктованные сложившимися критериями художественного вкуса, тем самым удовлетворяя потребности реципиентов в воспроизведении привычных “образцов прекрасного”; “эстетическая дистанция” (дистанция между “горизонтами ожидания” читателя и произведения) в этом случае сводится к нулю⁵. И уже по этому закону создаются новые тексты и перечитываются классические⁶. Идеальный читатель по опре-

делению лишен культурно-критического иммунитета, он не в состоянии читать текст (современный или классический) “вопреки” сформированному и привычному — стереотипизированному — эстетическому опыту (даже чтение “вопреки” здесь всегда есть чтение “наоборот” — по тем же рецептивным законам). Наблюдаемое сращение корпуса официальной антологии и читательских требований — одно из верных подтверждений такого положения.

Обратимся к статистике чтения московской молодежи конца 1940-х годов. В 1948 году, проверяя эффективность “пропаганды лучших произведений советской литературы” в связи с двухлетием постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», Московский библиотечный кабинет Управления культурно-просветительных учреждений разослал в московские библиотеки анкету о чтении молодых рабочих и учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО. Из 780 молодых читателей 390 назвали любимой книгой «Молодую гвардию» А.Фадеева, 170 — «Как закалялась сталь» Н.Островского, 108 — «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого, 77 — «Два капитана» В.Каверина, 38 — «Люди с чистой совестью» П.Вершигоры, 34 — «Непокоренные» Б.Горбатова, 23 — «Порт-Артур» А.Степанова, 18 — «Чапаев» Д.Фурманова, 15 — «Зою» М.Алигер, 13 — «Петр Первый» А.Толстого, по 12 — «Спутники» В.Пановой, «Василия Теркина» А.Твардовского, «Хождение по мукам» А.Толстого. Перед нами — весь официальный литературный пантеон: “советская классика” + произведения, получившие Сталинскую премию.

Дело, однако, не только в предложении, но в уже сформированном школьной программе читательском спросе: анкеты показали, что читатели хотели бы прочитать «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого (168 ответов), «Два капитана» В.Каверина (105), «Молодую гвардию» А.Фадеева (88), «Люди с чистой совестью» П.Вершигоры (80), «Порт-Артур» А.Степанова (67), «Бурю» И.Эренбурга (38), «Хождение по мукам» А.Толстого (31), «Непокоренные» Б.Горбатова, «Кружилиху» В.Пановой, «Угрюм-река» В.Шишкова (по 29 ответов), «Спутники» В.Пановой и «Дым Отечества» К.Симонова (по 22 ответа), «Василия Теркина» А.Твардовского (20), «Ветер с юга» Э.Грина (18), «Педагогическую поэму» А.Макаренки и «Счастье» П.Павленко (по 16 ответов), «Они сражались за Родину» М.Шолохова и «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова (по 12 ответов).

Этот читательский «горизонт ожидания» был сформирован всем предшествующим читательским опытом. Как показала анкета, этот опыт (без учета классической и переводной литературы) сводился к следующему набору текстов: из 843 молодых рабочих 765 читали «Детство», 742 — «В людях», 625 — «Мои университеты» М.Горького, 460 — «Владимир Ильич Ленин» В.Маяковского, 735 — «Чапаев» Д.Фурманова, 736 — «Как закалялась сталь» Н.Островского, 640 — «Молодую гвардию» А.Фадеева, 547 — «Непокоренные» Б.Горбатова, 491 — «Зою» М.Алигер, 470 — «Два капитана» В.Каверина, 719 — «Белеет парус одинокий» В.Катаева,

429 — «Василия Теркина» А.Твардовского. Перед нами — полный перечень программы советской средней школы и апофеоз «руководства чтением». Более того, читатели требуют усиления такого руководства. Из 217 пожеланий, высказанных в ответах на анкету, по улучшению работы библиотек 112 содержат требования об организации помощи в выборе книг (просьбы о составлении рекомендательных списков, планов чтения, указания в каталогах «лучших книг» и т.д.)⁷.

Ту же ситуацию наблюдаем и в среде сельской молодежи. Здесь, в отличие от города, библиотека играла большую роль, организовывая всевозможные громкие читки. Меньшее число сельских молодых людей было связано с учебными заведениями (и, соответственно, с программами по литературе), будучи занято непосредственно в сельскохозяйственном производстве. Здесь библиотека сама шла «на помощь читателю». Из материалов обследования сельских читателей библиотек Пришекснинского района Вологодской области узнаем, что в колхозах и МТС района комсомольцами, клубными работниками и сельскими библиотекарями было проведено в 1946 году несколько тысяч чтотков новых произведений советской литературы. Среди книг — «Рожденные бурей» и «Как закалялась сталь» Н.Островского, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Непокоренные» Б.Горбатова, «Поднятая целина» М.Шолохова, «Радуга» В.Василевской, «Народ бессмертен» В.Гроссмана, «Порт-Артур» А.Степанова, «Сын полка» В.Катаева, «Чайка» Н.Бирюкова, «Панфиловцы на первом рубеже» А.Бека, «Записки партизана» П.Игнатова... Словом, весь рекомендательный набор средней школы.

Следует при этом учитывать, что «современная советская литература» занимала в структуре чтения ведущее место. Так, в том же Пришекснинском районе Вологодской области анкетой было установлено, что 36% книг, прочитанных сельской молодежью, составляла советская литература, 14% — русская классика и 23% — переводная литература. Это соотношение: 1 к 2 — верный показатель действенности руководства чтением. По составу прочитанные книги опять почти полностью совпадают со школьной антологией. Это относится не только к современной литературе, но и к классической, где доминируют Пушкин, Лермонтов, Решетников, Помяловский, Л.Толстой, Тургенев, Григорович, Лесков, Чехов, Мельников-Печерский, Данилевский, а в переводной — Шекспир, Сервантес, Гюго, В.Скотт, Барбюс, Купер, Ж.Верн, Майн Рид, Дюма, Дефо, Марк Твен, Джованьоли, Войнич, Джек Лондон⁸.

Идеальный читатель как чистый продукт власти рождается на страницах печати. Вместо косноязычных топоровских коммунаров в различных статьях возникают знакомые соцреалистические профили: «Пахари, конюхи, овощеводы, доярки, огородницы в свободные от работы часы с увлечением читают классическую и современную художественную литературу, хорошо ориентируются в ней, любят и ценят книги. Высокие требования предъявляют колхозники к современной художественной литературе. Нам нужны такие книги, которые учитывали бы рост на-

шего сознания, рост нашей культурности, подлинно художественные произведения, которые хотелось бы много, много раз читать', 'Нам нужны книги о самых близких и дорогих людях, о героях, о будущем человеке. В нашей стране, которая стремительно идет вперед, литература обязана заглядывать в будущее'... 'Книга — первый помощник в работе', — говорят колхозники. Таким образом, мы видим, что книжная полка в доме колхозника становится обычным явлением»⁹.

Глядя на эту соцреалистическую идиллию, не следует впадать, однако, и в другую крайность. Так, широко распространено мнение о том, что соцреалистическую литературу вообще никто не читал и вся огромная соцреалистическая литературная продукция — лишь потемкинские деревни. Статистика говорит, как мы могли убедиться, об обратном. Но читались не только "советская классика" или получившие Сталинскую премию книги. Читалась и местная соцреалистическая литературная продукция.

Вот характерные данные по Иркутску. В библиотеках вузов Иркутска в 1955 году было 1953 книги иркутских писателей. В течение года эти книги выдавались 15937 раз. Окунемся в провинциальную литературную жизнь Иркутска. Прежде всего обращает на себя внимание высокая обращаемость книг местных авторов, этого, так сказать, глубокого слоя соцреалистической литературы. Итак, прозаики (первая цифра — количество книг в библиотеках, вторая — количество выданных): Балябин В.И. «Голубая Аргунь» — 21 — 273, Дворецкий И.М. «Тайга весенняя» — 30 — 281, Кузнецова А.А. «Атенев и его рысаки» — 5 — 9, ее же «В Чулымской тайге» — 7 — 36, ее же «Иришка-пулеметчица» — 4 — 12, ее же «Повести» — 7 — 49, ее же «Приключения Гаврилки Губина» — 7 — 9, ее же «Свет-трава» — 29—495, ее же «Твой дом» — 31 — 538, ее же «Чертова дюжина» — 27 — 557 (всего: 117 экземпляров книг Кузнецовой выдавались 1705 раз), Кунгуров Г.Ф. «Артамошка Лузин» — 15 — 379, его же «Бессмертное имя» — 8 — 10, его же «Золотая степь» — 23 — 54, его же «Моя Родина непобедима» — 8 — 33, его же «Письмо Ленину» — 9 — 24, его же «Повести и рассказы» — 29 — 333, его же «Путешествие в Китай» — 24 — 165, его же «Рассказы» 7 — 10, его же «С подарками на фронт» 11 — 28, его же «Свет не погас» — 15 — 423, его же «Сказки» — 17 — 38, его же «Аратская революция» — 5 — 30, его же «Топка» — 11 — 47, его же «Тыловые рассказы» — 12 — 25 (всего: 194 экземпляра книг Кунгурова выдавались 1599 раз), Маляревский П.Г. «Здравствуй, жизнь!» — 66 — 1587, его же «Канун грозы» — 36 — 120, его же «Костер» — 12 — 59, его же «Не твое, не мое, а наше» — 7 — 23, его же «Сказка» — 5 — 9, его же «Счастье» — 10 — 23, его же «Чудесный клад» — 16 — 39 (всего: 152 экземпляра книг Маляревского выдавались 1850 раз), Марков Г.М. «Дед Фишка. Партизан дед Фишка» — 14 — 19, его же «Письмо в Маревку» — 13 — 17, его же «Солдат пехоты» — 29 — 262, его же «Строговы» — 170 — 3218 (всего: 226 экземпляров книг Маркова выдавались 3517 раз), Седых К.Ф. «Даурия» — 118 — 2345, Таурин Ф.М. «К одной цели»

32 — 471, Тычинин В.В. «Большая Сибирь» — 26 — 136. Как можно видеть, наибольшей популярностью пользовался роман «Строговы» будущего Первого секретаря Союза советских писателей Г.Маркова. Та же ситуация и с местными поэтами: 561 экземпляр книг местных поэтов выдавались 1071 раз. Среди наиболее популярных местных поэтов — А.С.Ольхона (его сборник «Байкал» выдавался 59 раз, «Большая Ангара» — 37 раз, «Енисейская легенда» — 34 раза), И.И.Молчанов-Сибирский (сборник «Мои товарищи» выдавался 27 раз, «Полевая почта» — 21 раз, «Рождение радости» — 21 раз, «Синие Саяны» — 20 раз), К.Ф.Седых (его книги стихов выдавались: «Родная стапь» — 47 раз, «Сердце» — 36 раз, «Забайкалье» — 31 раз) и т.д.¹⁰

Таким образом, можно говорить об «углублении» соцреализма, его широкой распространенности в массовой читательской среде. И уж никак нельзя согласиться с тем, что соцреализм вообще не читался, а провинциальный — тем более. Как можно, видеть «руководство чтением» давало вполне ощутимые результаты.

Важнейший признак идеального читателя — полное отождествление себя с героем, переходящее в желание заменить литературный персонаж, превратить жизнь в литературу. Когда советская критика писала о том, что читатель «хочет, чтобы книга рождала любовь, ненависть, мечты, жажду действия, чтобы в ней была настоящая жизнь, чтобы герои книги безраздельно владели его воображением»¹¹, здесь не следует видеть только «желаемое». Напротив, критика в этом случае лишь повторяла голоса самих читателей: «Невольно болеешь их заботами, забывая свою жизнь, живешь их жизнью» (о «Тихом Доне» М.Шолохова), или — о «Мужестве» В.Кетлинской: «Мне очень хотелось действительно быть с ними (с героями), строить город своими руками, перенести все трудности и стать настоящей комсомолкой» (Захарова, учащаяся, 17 лет, Павлов-Посад), «Невольно хочется быть с ними, жить их горестями, радоваться их радостями» (студентка Соловьева, 18 лет, Сталинград), «Моя жизнь далеко не бледная, — однако мне захотелось жить и работать с ними» (Агапитова, студентка-комсомолка, 20 лет, Москва), «Как хочется самой вместе с этими комсомольцами работать, веселиться, горевать... Как хочется поехать на Дальний Восток! Если не пришлось строить этот новый город в самом начале, так хоть сейчас работать там, с этими жизнерадостными, непоколебимыми строителями города» (Беспалова, учительница, 18 лет, село Каминка Челябинской области)¹². Архивы советских писателей — от «мастеров» до провинциалов и редакции газет и журналов — от центральных до местных — содержат сотни тысяч подобных читательских писем.

Моделью для подобной «сублимативной», по словам М.Слонима, самоидентификации явился герой романа Н.Островского «Как закалялась сталь» Павел Корчагин. Когда М.Слоним писал о том, что «популярность этого образа перед Второй мировой войной, во время и после нее приняла размеры настоящего культа»¹³, в том не было и доли пре-

увеличения. Создание корчагинского мифа (ставшего частью героического мифа советской литературы¹⁴) было столь мощным и стремительным, что уже буквально через год после публикации романа мы узнаем о “корчагинском чуде”, о беспрецедентной популярности романа и его главного героя в самой широкой читательской среде. Первые свидетельства “буквально всенародного чтения и обсуждения” романа находим в статье Н.Любович «Н.Островский и его читатели», опубликованной в июльской книжке «Нового мира» за 1937 год, автор которой цитирует множество писем-исповедей читателей самых разных возрастов и профессий, увидевших в герое Н. Островского “образец для подражания”, “жизненный пример”¹⁵. Объявленные “любимой книгой советской молодежи” роман Н.Островского и “любимым литературным героем” Павел Корчагин зажили особой читательской жизнью.

Так возникает феномен, который, вслед за С.Трегубом и И.Бачелисом, можно определить как “Счастье Корчагина”. В их статье, а затем — и книге с одноименным названием этот феномен описан столь полно и красочно, что достаточно лишь пройти за авторами по страницам многочисленных читательских отзывов, чтобы убедиться в том, что “на наших глазах со страниц книги герой переходит в жизнь и продолжает идти в ней своим путем. Человек из книги становится реальным лицом нашей реальной жизни. Совершается тот полный цикл взаимодействия литературы и действительности, который делает книгу Островского книгой большой судьбы. Образ Корчагина был подсказан писателю не только его биографией, — он был подсказан целым поколением сверстников. Воплощенный пером умного, искреннего художника, этот образ прошел через короткую историю своего книжного существования, чтобы оказать огромное влияние на читателей, увлечь, взволновать, ответить каким-то необходимым потребностям сознания, возбудить интерес и фантазию и, наконец, снова перевоплотиться в жизнь, дать начало многим подобным себе”.

Корчагинский феномен, феномен массового заражения, объясняют авторы, связан с тем, что “судьба литературного героя вышла из книжных берегов и широкой волной переплеснулась в жизнь”¹⁶. И действительно, авторы приводят бесконечный перечень материалов, говорящих о том, что герой романа перешагнул “из книги в жизнь”: на фронте книгу читают ночью при лучине и днем под бомбежкой, читают в землянках, блиндажах, окопах, читают вслух и про себя как откровение, книгу находят в вещмешках убитых бойцов, для одних она становится талисманом, для других — учебником жизни, о Корчагине бойцы пишут в письмах и дневниках как о самом личном и дорогом, сравнивая себя с любимым литературным героем, ища в нем поддержки, видя в нем жизненный пример... Таким, зачарованным советской литературой, находим мы идеального читателя в военные годы.

В послевоенное время его обобщающий портрет уже более эпически всесторонен. Это — “многомиллионная интеллигенция из народа”, “ак-

тивные читатели и городских и деревенских библиотек являются в большинстве своем культурными людьми с богатым запасом прочитанного; основные образы и мотивы русской, а отчасти и западной классики освоены ими, вошли в их сознание, как неотъемлемая часть их собственного духовного достояния”, “массовый просмотр библиотечных формуляров приводит к заключению, что как раз в той части их, которая относится к советской художественной литературе, вообще преобладают *черты сходства, а не различия* у самых разнообразных групп и категорий современных читателей... Сколько-нибудь *заметных различий* между отдельными категориями читателей (в частности, рабочими и интеллигенцией), различий, которые носили бы *принципиальный* характер, в общем отношении читателей к советской художественной литературе и ее основным, ведущим произведениям сейчас не наблюдается... можно говорить о складывающемся единстве в основном, в решающем — *о единстве вкусов и единстве критериев оценки* литературных произведений. Если взглянуть внимательней, то мы ясно увидим, что в этом сказывается ценнейшее качество нашего великого народа — *его морально-политическое единство*”, “читатель находит в художественном произведении отклик на самые сокровенные свои раздумья и чувства... он лучше проникает в окружающую его действительность, он лучше осознает, чему он был свидетелем и участником, — и еще выше становится его патриотическая гордость за нашу социалистическую страну, за ее людей, его товарищей по труду и борьбе”, “в характере положительного героя литературного произведения, в поведении этого героя, во всем его интеллектуальном и моральном облике читателя — и в первую очередь молодые читатели — находят слитыми воедино такие черты, которые способствуют их собственному формированию и росту”, “если читатель отыщет в книге писателя доброкачественную художественную пищу, он не отнесется к ней, к этой книге, как к предмету развлечения (или, тем более, отвлечения от действительности); нет, для него характерно активное восприятие художественного произведения, активно входящего в его жизнь и деятельность”, “процесс общения читателя с книгой — это, по сути своей, процесс глубоко интимный, протекающий, так сказать, ‘с глазу на глаз’... Однако именно это, сплошь и рядом незамечаемое со стороны, воздействие и является особенно важным и значительным. Постепенные, ‘молекулярные’ изменения, которые производит в человеческой душе не одна и не несколько книг, а вся совокупность образов и идей советской литературы, в большей или меньшей своей части становящаяся достоянием читателя, — играют первостепенную роль в формировании советского человека, в его росте и развитии, в выработке его мироощущения и миросозерцания”, “иным стал в массе своей наш читатель, расширился его кругозор, углубилось его историческое мышление, образовалась у него настоятельная потребность исторически осмысливать прошлое и настоящее”¹⁷. Идеальный советский читатель вовсе не пассивный объект внешнего воздействия, но требовательный субъект

творчества. Его постоянные интервенции в сферу писательского творчества, кажется, обращены на самого себя; писатель здесь — лишь часть читательской массы и потому его творчество должно быть зеркальным отражением уровня творческого потенциала читателя: “Советский читатель вырос и поэтому требует богатой идеями и содержанием литературы и отворачивается от суррогатов искусства, от схематизма в искусстве, от упрощенчества в искусстве. Советский читатель требует, чтобы искусство помогало ему лучше понимать действительность, чтобы произведения искусства были полноценными”¹⁸, “Читатели хотят больше интересных книг о самоотверженном труде советских людей, о воспитании коммунистической сознательности и принципиальности, о дружбе и товариществе, о здоровом быте, о физической закалке молодежи, чтобы эти произведения воспитывали любовь и уважение к труду на фабриках, заводах, в колхозах, совхозах, МТС, в лесу, на рудниках и шахтах”¹⁹ — этот традиционный набор “читательских пожеланий” (“читатель вырос”, “читатель ждет...”, “писатели в долгу перед читателем” и т.д.) на протяжении всей истории советской литературы звучал постоянным рефреном не только с трибун и со страниц газет. Стоит обратиться к материалам бесчисленных читательских конференций, чтобы увидеть эту требовательность в действии.

О том, что идеальный читатель состоялся, говорят не только изменения в структуре спроса, но и изменение отношения к тем или иным произведениям. Характерный пример — читательская судьба «Жизни Клима Самгина» М.Горького.

Как известно, Горький был одним из самых читаемых авторов в рабочей среде задолго до его канонизации, опережая по популярности Л.Толстого²⁰. В своей книге «Русский читатель-рабочий» Л.Клейнборт приводит многочисленные высказывания (в том числе и стихотворные славословия в адрес Горького на страницах рабочих изданий) и цифровые данные о необычайной популярности Горького в рабочей читательской среде в 1912-13 годах (заметим, что книга Л.Клейнборта вышла в 1925 году, когда Горький еще вовсе не занимал в советской литературе того места, какое ему будет уготовано позже). С ростом статуса Горького в литературе его популярность, напротив, стремительно уменьшается. Собственно, разрыв Горького с массовым рабочим читателем произошел в эпоху «Несвоевременных мыслей», точно так же как ранее произошел его разрыв с читателем из “привилегированной среды”, когда Горький сменил свой босяцкий индивидуализм на левый радикализм. Временный разрыв Горького с “революцией люмпенов” привел к полному отторжению от него рабочего читателя. В эпоху «Несвоевременных мыслей» его поносили отнюдь не только официальные советские издания за “предательство интересов рабочего класса” и “интеллигентское ренегатство”. Куда интереснее реакция нового рабочего читателя на горьковский отказ принять большевистскую революцию. Именно рабочая и солдатская среда отвернулась от Горького (в крестьянской среде

Горький никогда и не пользовался столь широкой популярностью). Приводя многочисленные письма и заявления в адрес Горького его вчерашних почитателей не только с полемикой, но с открытыми угрозами в адрес писателя, Л.Клейнборг задается вопросом: могли ли гневные инвективы Горького в адрес “толпы”, “люмпена”, “сора славянского”, “дряни”, “пены” и т.п. “найти какое ни на есть сочувствие в рабочем, фанатически поддерживавшем власть большевиков?.. матросы были также против писателя, как и рабочие, ибо нападки на него исходили из самой гуши красных масс”²¹.

Вряд ли есть нужда говорить о том, что «Жизнь Клима Самгина» встретила самый прохладный прием в массовой читательской среде. “Скучная книга” — этот приговор находим почти во всех читательских отзывах той поры: “Книга «Жизнь Клима Самгина» М.Горького — скучная”, “Книга занята скучной и растянутой философией, на которую Горький на этот раз не поспешил. Но у него, очевидно, не хватило философии для всей книги, о чем свидетельствуют его переливания из пустого в порожнее, повторение одних и тех же сцен и слов... Вся эта философия читается настолько скучно, что ее стараешься прочесть как можно скорее, не стесняясь пропусками отдельных мест”, “Повесть — местами захватывающая, а местами скучная; много ненужных философских рассуждений”, “Много ненужной растянутости, мелочей, веет от нее давно минувшим...” — из отзыва в отзыв повторяется рабочими читателями одно и то же²².

Проблема “Жизни Клима Самгина” есть во многом проблема читателя. Читательская судьба этой книги Горького всегда складывалась очень трудно. Незавершенная, композиционно рыхлая, перегруженная отвлеченными и авторским желанием вместить в роман все пережитое, поставив эксперимент на себе самом, книга как будто бы писалась без расчета на какого бы то ни было читателя. Тем более ясно, что массовому читателю “интеллигентские переживания” героев были и вовсе чужды. Клим Самгин — этот, может быть, самый сумеречный герой в русской литературе XX века, неожиданно однако находит “друга в поколеньи” спустя 20 лет.

В 1949 году московская библиотека им.Горького провела анкету среди своих читателей. Было собрано 466 анкет читателей самых разных социальных групп (124 рабочих, 114 служащих, 134 — учащихся школ и техникумов, 60 студентов, 22 домохозяйки, 12 “прочие”, с законченным высшим образованием лишь 40 человек). Из 466 читателей «Мать» прочитали 451 человек, «Детство» — 441, «В людях» — 439, «Дело Артамоновых» — 390, «Мои университеты» — 368, «На дне» — 354, «Фому Гордеева» — 294. На этом замыкается объем программы советской средней школы. Но сразу за этой границей — «Жизнь Клима Самгина». Роман прочли 239 человек. Причем, этот роман стоит на первом месте среди ответов на два последующих вопроса: “Какие произведения Горького вы хотели бы прочесть?” и “Какие произведения Горького вам хо-

телось бы перечитать?”²³.

Что так заинтересовало читателя в этом романе? Философия ли ренегатства? Опыт ли Горького, столько раз изменявшего себе самому и поставившего точку в собственном творчестве этим романом-опытом на себе самом? Или, может быть, права была советская критика, трактовавшая этот феномен следующим образом: “Настойчивая, самостоятельная работа миллионов советских людей над изучением истории партии, влияние сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)», не могли не сказаться на изменившемся отношении читателей к такому произведению, как «Жизнь Клима Самгина»”²⁴? Сказался прежде всего, конечно, статус Горького в официальной антологии. Сказалась мифологизация “буревестника революции” в советской школе. Роман, наконец, был все-таки прочитан широким читателем, конечно, не адекватно, чему способствовали усилия советской критики, убеждавшей, что в своем романе Горький показал “приемы и способы маскировки врагов большевизма, врагов марксизма-ленинизма, проникших в русское освободительное движение”²⁵, что главное в романе — это “раскрытие исторических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции и разоблачение буржуазного индивидуализма”²⁶. Резкое изменение читательского отношения к этому роману Горького — несомненное свидетельство реальных возможностей воздействия на “широкую читательскую массу” посредством всего института “продвижения книги к читателю”. Это тем более существенно, что речь в данном случае идет о книге отнюдь не “читабельной” и уж никак не безупречной с точки зрения “чистоты идеологии”. Возможность “продвинуть” такую книгу, не только “обезопасив” ее, но и “поставив на службу коммунистическому воспитанию молодежи”, говорит и о резком снижении “сопротивляемости” читателя, чего никак нельзя было сказать о нем еще в 1920-е годы и что является одной из главных характеристик идеального читателя как продукта власти.

2

Сферой раскрытия идеального читателя стали читательские конференции, которые в послевоенные годы превратились в своеобразное торжество соцреалистической культуры. Институт читательских конференций как бы завершал постройку. По точному определению парторга ЗИСа, “читательские конференции, в сущности говоря, являются последним звеном в той огромной работе, которую ведут цеховые парторганизации и заводской партийный комитет по пропаганде идей, заложенных в художественной литературе”²⁷.

Обращает на себя внимание совершенный параллелизм читательской конференции и школьного урока литературы. Институт таких конференций со временем и превратился в своеобразные постоянно действующие курсы по переподготовке вчерашних учащихся школы, которые,

будучи заняты на производстве, не следили, разумеется, за “новинками советской литературы”. Эта связь отчетливо видна в подборе тем для конференций и вопросов для обсуждений. Так, в качестве тем предлагались (не считая, конечно, конференций по конкретным произведениям): “Великая Отечественная война в советской литературе”, “Образ большевика в произведениях советских писателей”, “Моральный облик человека Сталинской эпохи”, “Советская молодежь в изображении советских писателей”, “Образ В.И.Ленина в литературе” и т.д. — почти полный набор “вольных тем” на выпускных сочинениях в средней школе. Тут же готовятся и темы для выступлений (например, по «Молодой гвардии»):

- характеристика организаторов «Молодой гвардии»;
- образы комсомольцев;
- партийное руководство и образы коммунистов;
- поколение старых большевиков в романе;
- моральный облик молодого человека Сталинской эпохи;
- художественные приемы и особенности романа.

Перед нами здесь — полный набор тем для “разбора” романа, который предлагался школьным учебником²⁸.

В одном из “репортажей” с читательской конференции читаем мнение обиженного участника: “Лектор Петров в своем заключительном слове позволил себе сказать, что т.С. ‘плохо подготовилась’, что т.А. ‘занималась критиканством’. Относительно т.Д. лектор сказал, что она готовилась ‘добросовестно’ и потому создалось впечатление, что другие недобросовестно отнеслись к делу”²⁹. Читатель не доволен нарушением “правил игры”: конференция хотя и превратилась в урок, но все-таки без оценок. Лектор же в данном случае повел себя в полном соответствии с логикой “мероприятия”, решив оценить работу его участников.

Будучи совершенно советским мероприятием, читательская конференция характеризовалась высокой степенью формальности. Самое отчуждение читательских мнений и читательских высказываний от реальной читательской реакции здесь, несомненно, велико. Еще в 1920-е годы, призывая библиотекарей вводить тетради читательских отзывов о прочитанных книгах, «Красный библиотекарь» наставлял: “легкомысленно поступает тот библиотекарь, который оставляет без внимания отзывы неверные и спорные. Читатель, давший хороший отзыв о плохой книге, или, наоборот плохой отзыв о хорошей книге, может оказать библиотеке плохую услугу, и тетрадь читательских рецензий в этом случае сыграет отрицательную роль... оценка той или иной книги, вызывающая у вас хотя бы частично сомнения в ее правильности, не должна быть оставлена без последствий”³⁰. Не будем гадать, о каких “последствиях” идет здесь речь, заметим лишь, что библиотекарю, несомненно, дано знать, какой отзыв “правильный”, а какой — нет. Читательские конференции призваны были стать уроком “правильных отзывов”.

Когда в 1954-55 годах началась борьба с “формализмом в проведении

литературных читательских конференций”, выяснилось, что “многие библиотеки все свое внимание уделяют 5-6 читателям, желающим выступить на конференции. Этим читателей обеспечивают всей необходимой дополнительной литературой, организуют для них консультации, проверяют и редактируют тексты их выступлений и т.д. При этом никакой работы со всей массой читателей не ведется”³¹. Критиковались теперь и методисты, вменявшие в обязанность библиотекарям не только готовить для выступавших подробные планы выступлений или даже развернутые тезисы, но и оказывать выступающим “помощь в построении его выступления, править погрешности языка и стиля”³². “На местах” эти советы доводились до абсурда. Так, вошла в практику система, при которой районная библиотека готовила, размножала и рассылала в сельские библиотеки тексты “выступлений читателей”³³.

В передовой «Библиотекаря» читаем теперь: “Читательские конференции, которые должны строиться на активности их участников, нередко проводятся для проформы, превращаются в скучные, безжизненные мероприятия”³⁴, в другой передовице библиотеки критикуются за то, что “активно рекомендуют читателям лишь сравнительно небольшую группу произведений. Им посвящаются выставки, плакаты, конференции... При таком положении значительная часть нашей богатой и разнообразной литературы как бы отодвигается от читателей на второй план, незаслуженно остается в тени”³⁵. Между тем, отчуждение читателя от книги — не “недостатки работы библиотек”, но фундаментальная предпосылка создания “идеального читателя”.

Разумеется, своеобразной нишей являлась личная библиотека, состав которой в советское время, однако, сильно изменился. Уже в послевоенные годы личные библиотеки могли формироваться исключительно за счет того, что имелось на книжном рынке, поскольку в революцию, гражданскую войну, а затем во время Отечественной войны основной массив личных библиотек погиб. Книжный же рынок, находившийся под полным контролем государства, позволял формировать частную библиотеку в полном соответствии с направляемым властью “массовым читательским интересом”. В основном в личных библиотеках оказывались высокотиражные издания дореволюционной литературы и “советской классики”. Причем в основном “избранные произведения”—одномники, поскольку выпуск многотомников и собраний сочинений был в 1930-40-е годы практически прекращен.

Развитие личных библиотек начало поощряться с начала 1950-х годов. Так, в 1951 году «Комсомольская правда» даже посвятила специальную передовую статью, содержащую призыв к молодежи создавать личные библиотеки³⁶. Это было связано, во-первых, с затовариванием книжного рынка (в 1951 году цены на книги были резко снижены), а во-вторых, как теперь утверждалось, “одной из отличительных черт личной библиотеки советского человека является ее общественный характер... личные библиотеки в нашей стране дополняют государственную и об-

шествленную сеть библиотек, способствуя распространению знаний среди трудящихся³⁷; в-третьих, библиотеки были практически не в состоянии “переварить” поток читателей и были не просто перегружены, но находились на пределе возможностей обслуживания (нехватка помещений, сотрудников, книг); наконец, в-четвертых, все каналы пополнения личных библиотек находились теперь полностью в руках государства и практически отсутствовала опасность “засорения” их “вредной литературой” (ей теперь неоткуда было взяться). Поэтому без всяких опасений можно было говорить о том, что “личная библиотека советского человека — надежный и необходимый помощник в его работе по повышению идейно-политического уровня”³⁸.

Вообще же, роман власти с библиотекой как институтом контроля за чтением и книгой завершится лишь к концу 1960-х годов, когда читатель покинет библиотеки, отдав предпочтение телевидению. Массовые библиотеки будут брошены тогда властью и обречены будут влачить жалкое существование. Заброшенные и покинутые всеми, они станут последним прибежищем пенсионеров — тех самых “бывших”, что не находили себе места в новых библиотеках в 1920-е годы. “Тех самых” по возрасту, но не по жизненному и читательскому опыту. Старый “активный читатель”, в отличие от “бывших” в 1920-е годы, помнил библиотеку как свою. Он уже не знал, кто такая Вербицкая, и охотно читал советскую массовую литературу, поглощая буквально все — от толстых журналов до серии «ЖЗЛ», от Ан.Иванова до Ю.Семенова, от И.Стаднюка до братьев Вайнеров, от К.Симонова до Ю.Бондарева, от Э.Асадова до Р.Рождественского — фаворитов советского книжного рынка 1970-х годов³⁹. Это была, наконец, *своя библиотека и свой писатель*.

3

В канун первого съезда советских писателей Н.Крупская обращалась к писателям и критикам со словами о необходимости “научиться слушать правильно организованные высказывания масс о книжках”⁴⁰. “Правильно организованные” — исходящие от некоего абстрактного читательского субстрата, иными словами, от идеального читателя. В 1933 году, в разгар “литературной учебы”, слова эти были куда как актуальны.

Знал ли советский писатель своего читателя? Этим вопросом задался в 1929 году Кабинет по изучению читателя художественной литературы при Главполитпросвете. Были собраны высказывания 22 писателей. Лишь немногие из них могли конкретизировать свои представления о собственном читателе. Так, А.Новиков-Прибой называл своим читателем рабочих, совслужащих и моряков; А.Богданов — рабоче-крестьянскую молодежь; наиболее конкретно высказался по этому поводу Б.Лавренев: “Преимущественный контингент моих читателей составляет квалифицированная верхушка рабочих и служащих. Особенно высоки цифры читаемос-

ти по союзам металлистов, печатников и строителей. В этих союзах наибольший процент падает также на технический персонал и рабочую верхушку⁴¹. И если в отношении критики мнения писателей самых различных литературных направлений — от А.Караваевой и Ф.Гладкова до Е.Замятина было единодушно и резко негативным, то о влиянии читательских отзывов на собственное творчество писатели имели различные взгляды. Так, Вс.Иванов говорил о том, что “никогда читателем не интересовался”, А.Чапыгин сетовал на то, что творческих импульсов общение с читателями не дает и лишь отнимает время; Артем Веселый и вовсе заявил, что в читательских письмах находит “удручающее убожество”, а “выступления читателей бестолковы”. Многие писатели говорили о том, что они прислушиваются к читательским голосам, но влияния читателей не испытывают. Так думал Е.Замятин, Ф.Гладков, видевший в читателе “живой материал”, об этом писали В.Шишков и Л.Леонов. Большинство же писателей говорили о том, что не могут писать без общения с читателем. В этом смысле высказывались П.Низовой, А.Новиков-Прибой, А.Богданов, А.Караваева, Н.Ляшко, Ф.Панферов, Б.Лавренев, М.Колосов, В.Катаев, А.Серафимович⁴².

В своих «Заметках и размышлениях» Б.Эйхенбаум писал: “Писатель в нашей современности — фигура в общем гротескная. Его не столько читают, сколько обсуждают, потому что обычно он мыслит неправильно. Любой читатель выше его — уже по одному тому, что у читателя как у гражданина по специальности, предполагается выдержанная, устойчивая и четкая идеология. О рецензентах (критиков у нас нет, потому что нет разницы в суждениях) и говорить нечего, — они настолько выше и значительнее любого писателя, насколько судья выше и значительнее подсудимого⁴³. Гротескность этой фигуре придавала готовность “самого себя высечь” (“массовая читательская критика” и была своеобразными розгами): уходя от критики, писатель с готовностью отдавал себя “на суд читателя”. В особенности это “читателепоклонство” относится к пролетарским писателям — вне зависимости от “литературного стажа” — от М.Карпова до А.Серафимовича:

Карпов: “...Писатель будет находиться под общим контролем читательской массы, она будет давать писателю общие директивы... Произведения создаются уже не лично одним писателем, а и читателем, посредством его указания, его критики”.

Серафимович: “Писатель вне своего класса существовать не может... Это мы видим на примере пролетарских писателей... Так вот, товарищи, я хочу перед вами отчитаться в том, что я сделал в своей художественной работе... рабочий класс в массе дает читателей-критиков... он почувствовал силу создать свою литературу, питать ее, направлять, корректировать... Я почувствовал своего читателя, я почувствовал эту связь... я чувствую его требования, ту выправку, которую он вносит в мою работу... дают же отчет перед рабочими массами, отчет о своей деятельности, о своей работе партийные, советские, профсоюзные работники, наши хозяй-

стенники. И разве художник не должен дать отчет о своей деятельности, о своей работе рабочему читателю?”⁴⁴.

Если в 1920-е годы апология читателя царила в основном в среде пролетарских писателей, то начиная с 1930-х годов славословия в адрес читателя становятся признаком едва ли не всех писательских выступлений и должны были, очевидно, означать признание писателями идеи народности-всенародности искусства. Новое “хорошее отношение” к читателю приобрело новое — эстетическое качество в советской литературе и легло в фундамент народности — одной из главных категорий соцреалистической эстетики.

Обрисовывая тех, “для кого я пишу и чьему суду я полностью подчиняюсь”, Е.Зозуля перечислял: “для передовых слоев советской рабочей интеллигенции. Для тех, которые прошли и проходят самый лучший из университетов и самую лучшую из школ — школу советского строительства, которая простирается от фронтов до научных кабинетов, от забойных уголков в шахтах до тиши строгих палат ленинских библиотек”. Именно в 1930-е годы в писательской среде рождается не только новый мир в литературе, но и новый, идеальный читатель, “отличный от читателей всего мира, советский читатель, читатель-строитель, читатель-боец”⁴⁵. Вот его портрет: “Советский читатель открыт для всего радостного, сильного, ясного, четкого, серьезного и веселого. Он не заражен предрассудками навязанных и отвердевших классических форм. Когда он читает стихи, перед его глазами не плещется ямбический ‘дядя самых честных правил’. Он не ужасается от того, что читаемое им произведение ‘ни на кого не похоже’. Он и не выражает требования, чтобы литература во что бы то ни стало была ‘не похожа’... Он не страдает скукой и жизненной пустотой для того, чтобы искать, как чеховская акушерка, ‘атмосферы’. Он ценит хороший стиль. Он ценит ясную речь, но брезгливо отворачивается, когда хороший стиль должен прикрывать отсутствие мысли. Он и не бежит по улице, не несется с дикими криками, как несутся в провинции за вором, если замечает небрежности, явные ляпсусы, какие-нибудь ошибки или срывы. Он занят, прежде всего серьезно занят. Советский читатель самый занятой во всем мире и он знает, что любая работа не обходится без ошибок, ляпсусов и срывов. Он знает, что этому надо помочь не улюлюканьем, не разбойничьим свистом, а товарищеской помощью, поддержкой и самокритикой. Он не консервативен, не анархичен, не истеричен. Он готовится к чтению так же, как настоящий советский писатель должен готовиться к письму. Он хочет от советского литературного произведения полновесной мысли и полноценных чувств. Он хочет художественного обобщения”⁴⁶. Этот литературный персонаж и есть идеальный советский читатель.

Пройдет четверть века, и в середине 1950-х годов мы получим возможность проследовать вместе с писателем из Казани А.Абсалямовым по его родной Татарии, любуясь природой края и плодами труда советских людей: “Вот она, наша жизнь, вот они, поистине богатырские дела

нашего советского человека', — думал я, мысленно причисляя сюда и покорителей целины и строителей на далекой Ангаре. И вдвойне стало радостно на сердце оттого, что именно такой человек, который, как в сказке, творит все эти чудеса, является читателем и героем наших книг, что книги эти ему нужны, что он любит их. Обо всем этом невольно думалось мне, когда я несколько месяцев тому назад ехал за Волгу на читательскую конференцию по приглашению наших читателей⁴⁷.

Писателю из Татарии вторит его карельский коллега А.Тимонен, для которого читатель — “верный и требовательный друг”. Раскрывая “тайны” собственного творчества, писатель из Карелии пишет: “Чувство локтя читателя — большое чувство. Обычно, прежде чем мы сядем за письмо к своему другу или знакомому, мы задумаемся над тем, какие вопросы его интересуют, и стараемся писать так, чтобы ему было интересно читать. А когда мы сядем за письменный стол, чтобы написать книгу — написать сотням и тысячам друзей, — думаем ли мы сто или тысячи раз над тем, чем интересуется наш читатель, каковы его наболевшие вопросы, и достаточно ли тщательно мы подбираем слова, чтобы наши мысли были более доходчивы?.. Мы должны чувствовать, что за нашей работой следят с любовью, вниманием и требовательностью наши лучшие, верные друзья — советские читатели, герои кипучей созидательной жизни, строители коммунистического общества, настоящие герои наших книг⁴⁸”.

И, наконец, ленинградский писатель Вс.Кочетов утверждает: “не было и нет такого селения на огромных пространствах нашего государства, где бы так или иначе не обсуждались проблемы развития советской литературы. На заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, в научных учреждениях, в воинских частях, в учебных заведениях — всюду проходят читательские конференции, читательские собрания, встречи читателей с писателями”. Такая вот картина всеобщей поглощенности литературой встает из-под пера будущего главного редактора «Литературной газеты» и «Октября». Это и понятно, ведь “наш читатель умный, требовательный, очень внимательный и, что чрезвычайно важно для нас, отнюдь не равнодушный. Прошли те времена, когда литератор пописывал, а он, читатель, почитывал. У нас каждая новая книга, если она написана рукой не равнодушной, если в ней подняты острые проблемы современности, немедленно вызывает горячий читательский отклик. Все меньше и меньше становится таких читателей, которые смотрят на книгу как на ‘чтиво’, на средство скоротать досуг, и все больше таких, которые видят в книге учебник жизни, которые ждут от книги ответов на вопросы, выдвигаемые жизнью⁴⁹”. Завершал свои заметки Вс.Кочетов знаменательной мыслью о “народе-читателе”. Тут, конечно, “жизнь в ее революционном развитии”, но есть и “правда жизни”: советская литература создавалась массой и властью, творя своего, идеального читателя и одновременно сама творилась им в бесконечном цикле “взаимодействия литературы и жизни”.

Одним из характерных признаков массовой культуры является то, что она не требует от реципиента сотворчества, будучи основанной на чистом потреблении (такова, например, корчагинская мифология). Одним из результатов общей массовизации культуры явилось разрушение традиционных институтов чтения. В итоге одна часть читателей превращается в “мастеров советской литературы”, другая — большая — в чистых потребителей, в “советского массового читателя”. На всей советской литературе лежит эта печать компромисса, подгонки интенций власти и массы. Можно утверждать, что и логика трансформаций соцреализма, и характер изменений соцреалистического стиля (от грубоватой псевдонародности «Поднятой целины» до кристально чистого «Кавалера Золотой Звезды» и далее — до разбавленного “острыми” сценами «Вечного зова», бесконечного и “благородного”, подобно латино-американо-индийским фильмам) сохранили следы этих отношений. В конце концов, не в этом ли следовании за “быстротекущим днем” и сказалась народность советской литературы?

Идеальный читатель, по сути, замыкает цепь соцреалистической эстетики: “литература идет в жизнь”, заземляясь в читателе, который, в свою очередь, аккумулирует ток для нового коллективного творчества. Этот бесконечный процесс сотворения нового мира вырастает из органической недостаточности жизни — в читателе, авторе, тексте, в реальности, наконец; он перемалывает не только индивидуальные судьбы, но целые национальные культуры. Единственное, что противостоит этому “творчеству жизни” — самая *творческая жизнь*. Впрочем, это уже органически иной феномен.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. 1979. С. 149-150.

2 Салеев В.А. Искусство и его оценка. Минск: Изд-во БГУ. 1977. С. 95.

3 Апресян Г.З. Категории эстетического воспитания // Вопросы теории эстетического воспитания. М.: Изд-во МГУ. 1970. С. 97.

4 Корнилов Е.А. Об одной из закономерностей развития советской театральной критики // Материалы X научно-теоретической конференции аспирантов. Ростов: Изд-во РГУ. 1969. С. 73.

5 См.: H.R.Jauss. *Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics*. Minneapolis: Minnesota UP. 1982. P. 31.

6 См.: M.Friedberg. *Russian Classics in Soviet Jackets*. New York: Columbia UP. 1962.

7 Данные приводятся по ст.: П.Гуров. Что читают молодые читатели московских библиотек из советской художественной литературы // Библиотекарь. 1948. N 8. С. 33-35.

8 Данные приводятся по ст.: А.Бобров. О чтении сельской молодежи // Библиотекарь. 1946. N 9-10. С. 36-38.

- 9 Э.Лусс. Читатели-колхозники // Красный библиотекарь. 1940. N 5. С. 71-72.
- 10 Данные приводятся по ст.: Жилкина Л.К. Читатели и книги (Заметки библиотекаря) // Новая Сибирь (Иркутск). 1955, кн. 33. С. 277-284.
- 11 Я.Роцин. Голос читателя // Литературное обозрение. 1939. N 11. С. 70.
- 12 Там же. С. 71, 73.
- 13 M.Slonim. Soviet Russian Literature: Writers and Problems 1917-1977. New York: Oxford UP. 1977. P. 187.
- 14 См.: Н.Günther. Der sozialistische Übermensch. Stuttgart-Weimar: Verlag J.B.Metzler. 1993. S. 155-183; R.Mathewson. The Positive Hero in Russian Literature. Stanford: Stanford UP. 1975. P. 247-250.
- 15 См.: Н.Любович. Н.Островский и его читатели // Новый мир. 1937. N 7. С. 255-262.
- 16 С.Трегуб, И.Бачелис. Счастье Корчагина // Знамя. 1944. N 4. С. 122, 127, 147. См.: Е.Добренко. Метафора власти: Литература сталинской эпохи в историческом освещении // München: Otto Sagner, 1993. С. 294-297.
- 17 Г.Ленобль. Советский читатель и художественная литература // Новый мир. 1950. N 6. С. 207, 208, 210, 211, 215, 227.
- 18 С.А.Шварц. Рост советского читателя и задачи писателей // Сибирские огни. 1936. N 3. С. 97.
- 19 Жилкина Л.К. Читатели и книги (Заметки библиотекаря) // Новая Сибирь (Иркутск). 1955, кн. 33. С. 287.
- 20 См.: Л.М.Клейнборг. Русский читатель-рабочий. Л.: Изд-во Ленинградского совета профсоюзов. 1925. С. 115.
- 21 Там же. С. 174.
- 22 Голос рабочего читателя: Современная советская художественная литература в свете массовой рабочей критики // Л.: Красная газета. 1929. С. 73-78.
- 23 Данные приводятся по ст.: Г.Ленобль. Советский читатель и художественная литература. С. 226-227.
- 24 Там же. С. 227.
- 25 Там же. С. 227.
- 26 А.Дементьев, Е.Наумов, Л.Плоткин. Русская советская литература. Л. 1954. С. 79-81. Такая трактовка романа стала канонической во всей советской литературе о Горьком (см.: П. Строков. Эпопея М.Горького «Жизнь Клима Самгина». М. 1962; Л.Резников. Повесть М.Горького «Жизнь Клима Самгина». Петрозаводск. 1964; Н.Жегалов. Роман М.Горького «Жизнь Клима Самгина». М. 1965; Б.Вальбе. «Жизнь Клима Самгина» в свете истории русской общественной мысли. М. 1966; И. Вайнберг. «Жизнь Клима Самгина» М.Горького. М. 1971).
- 27 Н.Ковалев. Читательские конференции // Новый мир. 1949. N 7. С. 209.
- 28 См.: Е.Коршунова. Как проводить читательские литературно-критические конференции // Библиотекарь. 1947. N 6; Вейцман В. Художественная литература служит делу преобразования советской деревни // Библиотекарь. 1949. N 10.
- 29 Н.Бойков. Неудачная читательская конференция // Библиотекарь. 1953. N 10. С. 43-44.
- 30 В.Варанкин. «Мысль читателя» и ее место в работе библиотеки // Красный библиотекарь. 1928. N 3. С. 32-33.

31 Г.Плеский, Я.Прайсман. Повысить качество подготовки и проведения читательских конференций // Библиотекарь. 1953. N 3. С. 8.

32 Левин Г.М. Читательская конференция по художественной литературе. М.: Трансжелдориздат. 1950. С. 15.

33 Л.Рейтшбарг. Против формализма в проведении литературных читательских конференций // Библиотекарь. 1954. N 5. С. 16.

34 Против формализма в библиотечной работе (Передовая) // Библиотекарь. 1954. N 6. С. 2.

35 Выше уровень пропаганды художественной литературы (Передовая) // Библиотекарь. 1955. N 2. С. 3.

36 Твоя библиотека (Передовая) // Комсомольская правда. 1951, 21 июня.

37 В.Осипов. Личные библиотеки советских людей // Библиотекарь. 1952. N 12. С. 28-29.

38 Там же. С. 28.

39 См.: Mehnert K. The Russians and Their Favorite Books. Stanford: Stanford UP, 1983.

40 Н.К.Крупская. Библиотека в помощь советскому писателю и литературному критику // Педагогические сочинения в 10-ти томах. Т.8. М. 1960. С. 413.

41 Э.Коробкова, Л.Поляк. Писатель о читателе // На литературном посту. 1930. N 5-6. С. 100.

42 Там же. С. 101-103.

43 Б.Эйхенбаум. Мой современник. Словесность. Наука. Критика. Смесь. Л. 1929. С.133.

44 Цит. по кн.: Писатель перед судом рабочего читателя: Вечера рабочей критики. Л.: Изд-во Ленсовпрофа. 1928. С. 17, 84.

45 Ефим Зозуля. Для кого? // Красная новь. 1931. N 8. С.175.

46 Там же. С. 177.

47 А.Абсалямов. Читатель и писатель // Дружба народов. 1957. N 5. С. 166.

48 А.Тимонен. Верный и требовательный друг // На рубеже (Петрозаводск). 1954. N 7. С. 129, 131.

49 В.Кочетов. Писатель и читатель // Нева. 1955. N 1. С. 173.

БИБЛИОГРАФИЯ

- А.В. Рабочий читатель о новой и старой художественной литературе. // Книга и Профсоюзы. 1927. N 1.
- А.Л. Прислушайтесь к тому, что они говорят // Книга и Профсоюзы. 1927. N 7-8.
- Абдуллин Р.Г. Читательский спрос и проблема его изучения в издательстве // Книга: Исследования и материалы. Сб. 13. М. 1966.
- Абонемент — важнейший участок библиотечной работы (Передовая) // Библиотекарь. 1947. N 2.
- Абрамов К.И. Библиотечное строительство в первые годы Советской власти: 1917-1920. М. 1974.
- Абсалямов А. Читатель и писатель // Дружба народов. 1957. N 5.
- Авербах Л. Культурная революция и вопросы современной литературы. М.; Л. 1928.
- Авербах Л. Спорные вопросы культурной революции. М. 1929.
- Аверин П. Связь детской библиотеки со школой // Красный библиотекарь. 1928. N 3.
- Агеева Е. За четкую классовую линию в библиотечной работе // Красный библиотекарь. 1930. N 2.
- Адалис А. Второй план // Проблемы поэтики. Сб. статей. М.; Л. 1925.
- Аджемян Х. Реакционный бред маститого библиотекаря // Правда. 1931, 3 января.
- Айзерман Л.С. Уроки, литература, жизнь. М. 1965.
- Айхенвальд Ю. Похвала праздности. М. 1922.
- Актуальные проблемы чтения современных школьников. Сб. научных трудов ЛГИК им. Н.К.Крупской. Т. 35. Л. 1977.
- Алатырцев М. Почва под ногами // Лит. еженедельник (Пг.). 1923. N 9.
- Алексеев Н. «Поднятая целина» на районной партконференции // Сибирские огни (Новосибирск). 1936. N 1.
- Алферов В.Н. Возникновение и развитие рабселькоровского движения. М. 1970.
- Апресян Г.Э. В.И.Ленин и проблема народности искусства. М. 1955.
- Апресян Г.Э. В.И.Ленин о связи искусства с народной жизнью // Вопросы философии. 1957. N 1.
- Апресян Г.Э. Категории эстетического воспитания // Вопросы теории эстетического воспитания. М. 1970.
- Апресян Г.Э. Эстетика и художественная культура социализма. М. 1984.
- Арест Я.И., Добрушин В.А. Библиотечные коллекторы. М. 1973.
- Арефьева Е.П. Пропаганда книги и руководство чтением в трудах Н.А.Рубакина // Книга: Исследования и материалы. Сб. 12. М. 1966.
- Аринина Н.Л. Эстетический вкус как проблема социологии. М. 1967.
- Асмус В.А. Чтение как труд и творчество // Асмус В.А. Вопросы теории и истории эстетики. М. 1968.
- Афанасьев М.Д. За книгой: Книга и чтение в жизни советского рабочего. М. 1987.
- Бабанов Г. О некоторых вопросах руководства чтением // Библиотекарь. 1952.

Бажанов Б. К очистке библиотек // *Красный библиотекарь*. 1924. № 2-3.

Балика Д. Аналитический и синтетический методы изучения читательства: К вопросу о работе научных библиотек массового пользования в деле изучения читательства // *Библиотечное обозрение*. 1927, кн. 1-2.

Балика Д. Еще о научной постановке изучения читателя // *Красный библиотекарь*. 1925. № 11.

Банк Б. В. Изучение интересов советских читателей. М. 1954.

Банк Б. О читательском активе // *Красный библиотекарь*. 1927. № 8.

Банк Б., Виленкин А. Деревенская беднота и библиотека: Опыт исследования читательских интересов. М.; Л. 1927.

Банк Б., Виленкин А. Крестьянская молодежь и книга: Опыт исследования читательских интересов. М.; Л. 1929.

Банк Б., Виленкин А. Рабочий покупатель книги: Опыт обследования фабрично-заводских книжных киосков. Л. 1930.

Банк Б., Виленкин А. Рабочий читатель в библиотеке. К вопросу о рационализации педагогической работы библиотек. М.; Л. 1930.

Банк Б., Виленкин А., Осьмаков И. За реконструкцию работы массовой библиотеки // *Красный библиотекарь*. 1931. № 1.

Барабаш Ю. О народности. М. 1970.

Баренбаум И.Е. История книги. М. 1984.

Баренбаум И.Е. Советская интеллигенция — читатель 30-х годов // *Советский читатель (1920-1980-е гг.)*. Сб. научных трудов СПбИК им. Н.К.Крупской. Т. 132. СПб. 1992.

Баренбаум И.Е. Читатель в СССР: Вопросы методики и практики социологических исследований. М. 1985.

Барыкин В.Е. Проблемы переиздания художественной литературы // *Книга: Исследования и материалы*. Сб. 55. М. 1987.

Бек А. Из очерков по психологии читательства // *Октябрь*. 1927, № 10.

Бек А. На библиотечном фронте // *На литературном посту*. 1927. № 17-18.

Бек А. Проблема изучения читателя // *На литературном посту*. 1926. № 5-6.

Бек А., Тоом Л. Лицо рабочего читателя. М.; Л. 1927.

Беккер М. Молодой читатель в роли критика // *Молодая гвардия*. 1933. № 11.

Беккер М. Против топорования. О книге «Крестьяне о писателях» // *На литературном посту*. 1930. № 23-24.

Беккер М. Художественная литература и задачи коммунистического воспитания молодежи // *Молодая гвардия*. 1933. № 9.

Беккер М. Читатели и критика. Из бесед с читателями-комсомольцами // *Литературный критик*. 1933. № 6.

Беккер М. Читатель и критика. Второй обзор // *Литературный критик*. 1933. № 7.

Беккер М. Читатель Николая Островского // *Красная новь*. 1936. № 5.

Белавенцева Г.Н. Изучение интересов читателей городских и областных библиотек РСФСР // *Библиотеки СССР. Опыт работы*. Вып. 19. М. 1962.

Беленькая Л.И. Ребенок и книга. М. 1969.

- Беленькая Л.И.* Социально-психологическая типология читателей-детей. М. 1974.
- Белецкий А.* Об одной из очередных задач историко-литературной науки (изучение истории читателя) // Наука на Украине (Харьков). 1922. N 2.
- Белик А.* Эстетика и современность. М. 1967.
- Беляева Л.И.* Психологический анализ восприятия художественной литературы. М. 1973.
- Берков П.Н.* История советского библиофильства: 1917-1967. М. 1983.
- Берлинер В.* Читательские типы // Красный библиотекарь. 1927. N 3.
- Беус Г.* Классовое в библиотечном деле // Красный библиотекарь. 1924. N 4-5.
- Беус Г.* Между двух стульев // Красный библиотекарь. 1924. N 2-3.
- Библиография к дискуссии на библиотечном фронте // Красный библиотекарь. 1931. N 9.
- Библиотеки к съезду писателей (Письмо Наркомпроса) // Красный библиотекарь. 1934. N 5.
- Библиотечная активная работа: Формы и методы библиотечной работы, применяемые в Красной Армии. М. 1925.
- Библиотечная работа в деревне. М.; Л. 1926.
- Библиотечная работа в Красной Армии. М.; Л. 1926.
- Библиотечное дело (Передовая) // Правда. 1937, 31 августа.
- Библиотечное дело в период НЭПа. 1921-1929. N. 1-2. М. 1991.
- Библиотечные отделы Комиссариата просвещения // Библиографические известия. 1918. N 3-4.
- Б-ич И.* Лицо деревенского читателя // Резец. 1928. N 21.
- Блинков И.* Молодежный покупатель книг // Книга молодежи. 1934. N 11-12.
- Блюм А.В.* За кулисами "Министерства правды": Тайная история советской цензуры: 1917-1929. СПб. 1994.
- Блюм А.В.* Писатели о книге и чтении (По материалам неопубликованных сборников и антологий 1920-х гг.) // Советский читатель (1920-1980-е гг.). Сб. научных трудов СПбИК им. Н.К.Крупской. Т. 132. СПб. 1992.
- Блюменфельд В.* Ответ И.Оксену // Жизнь искусства (Л.; М.). 1926. N 14.
- Блюменфельд В.* Писатель-критик-читатель // Жизнь искусства (Л.; М.). 1926. N 24.
- Бобров А.* О чтении сельской молодежи // Библиотекарь. 1946. N 9-10.
- Богданов А., Богоявленский А.* Работа с читателем. Иркутск, 1921.
- Болдин П.* О теакритике и работниках печати в области искусства // Жизнь искусства (Л.; М.). 1926. N 26.
- Борис К.* Что показал опыт читательских конференций в Ростове // Красный библиотекарь. 1927. N 11.
- Борович Б.О.* Пути сближения книги с читателем: Опыт методологии культурной работы в библиотеке. Харьков. 1922.
- Борович Б.О.* Пути изучения читателя // Читатель и книга. Методы их изучения. Сб. статей. Харьков. 1925.
- Брайнина Б.* Колхозный читатель о книге // Новый мир. 1935. N 8.
- Брылов Г.* О читательских интересах рабочего // Книга и профсоюзы. 1926. N 6.
- Брылов Г.* Читательские отзывы о книгах и принцип коллективности // Красный

библиотекарь. 1928. N 4.

Брылов Г., Вейс Н., Сахаров В. Писатель перед судом рабочего читателя. Вечера рабочей критики. Л. 1928.

Брылов Г., Лебедев Н., Сахаров В. Популярность литературы среди рабочих / *Красный библиотекарь*. 1929. N 4.

Букин В.Р. О художественном воспитании. Л. 1970.

Бутенко И.А. Книги для детей: общественные потребности и их удовлетворение // Книга: Исследования и материалы. Сб. 60. М. 1990.

Бутенко И.А. Социодинамика читательских интересов (60-е — конец 80-х годов) // Книга: Исследования и материалы. Сб. 64. М. 1992.

Бутковский Г. О читателе-критике, о проблемах комсомола и о прочем (По поводу статьи М.Беккера «Молодой читатель в роли критика») // Молодая гвардия. 1934. N 3.

Бялик Б. Писатель и читатель // Нева. 1956. N 6.

Важный участок культурного строительства (Передовая) // Правда. 1951. 28 июля.

Вайман С.Т. Учение Лессинга о художественном восприятии в свете марксизма // Ученые записки Сталинабадского ПИ Т. 24. Филологич. сер. Вып 12. Сталинабад. 1959.

Вайман С.Т. Художественный адресат // Ученые записки Сталинабадского ПИ Т. 24. Филологич. сер. Вып 12. Сталинабад. 1959.

Вайсман И. О чем говорят читатели // Просвещение Сибири. 1935. N 8.

Ван-Везен Ю. Журнал, критик, читатель и писатель // Жизнь искусства (Ленинград). 1924. N 22.

Ванслов В.В. Народность искусства // Вопросы марксистско-ленинской эстетики. М. 1956.

Варанкин В. "Мысль читателя" и ее место в работе библиотеки // Красный библиотекарь. 1928. N 3.

Варшавский С. На подъеме (Массовая красноармейская критика) // Залп (Ленинград). 1932. N 9.

Васильева Е. ЗИЛ: молодой читатель // Литературное обозрение. 1976. N 12.

Вахеметса А.Л., Плотников С.Н. Человек и искусство. М. 1968.

Веже. Что читают. Лицо рабочего читателя // На литературном посту. 1927. N 9.

Вержбицкий Н. Писатель и читатель: О чем говорят письма, адресованные Гослитиздату // Книга и пролетарская революция. 1937. N 4.

Вержбицкий Н. Три года советской власти и печатное слово: Справочник. Пермь. 1920.

Вечер книги в деревне. М. 1925.

Вечер рабочей критики // Художественная литература. 1931. N 4-5.

Вечера рабочей критики. М.: Изд-во ЦКЖД «Гудок». 1927.

Вечные спутники: Советские писатели о книге, чтении и библиофильстве. М. 1983.

Виленкин А. Взаимная рекомендация книг рабочими читателями // Красный библиотекарь. 1931. N 5-6.

Виленкин А. Из библиотечного блокнота. Задачи локализации политпросветработы и комплектование деревенской библиотеки // Красный библиотекарь. 1927. N 2.

Виленкин А. "Потенциальные" читательские интересы деревни и их изучение //

Красный библиотекарь. 1926. N 3.

Виноградов И. Когда раздвигается занавес (О специфике восприятия произведений искусства) // Литература в школе. 1965. N 5.

Винокур Г. Культура чтения // Винокур Г. Культура языка. Очерки лингвистической технологии. М. 1925.

Витязев П. Частные издательства в Советской России. Пг. 1920.

Внерабочее время трудящихся. Новосибирск. 1961.

Волков Н. Восприятие картины. М. 1969.

Воплощение идей В.И.Ленина в практике библиотечного строительства в развитом социалистическом обществе. М. 1980.

Вопросы идеологической работы КПСС. Сборник документов. М. 1973.

Вопросы печати. Сборник статей. Л. 1959.

Воровский В. Читатель и писатель // Воровский. Эстетика. Литература. Искусство. М. 1975.

Воронский А. Писатель, книга, читатель: Художественная проза за истекший год // Красная новь. 1927. N 1.

Вот что говорят о поэзии. // День поэзии. М. 1960.

Всесоюзная библиотечная перепись 1 октября 1934 г. М. 1936.

Вулис А. Образ и образованность // Литературная газета. 1970. 8 апреля.

Выходцев П. Народность и социалистический реализм // Искусство принадлежит народу: Сб. ст. о социалистическом реализме. Л. 1960.

Выходцев П. Некоторые проблемы народности советской литературы // Русская литература. 1958. N 2.

Выходцев П. О народности литературы // Звезда. 1958. N 6.

Выше идейный уровень библиотечной работы (Передовая) // Библиотекарь. 1946. N 9-10.

Выше уровень пропаганды художественной литературы (Передовая) // Библиотекарь. 1955. N 2.

Газетный и книжный мир. Справочная книга. М. 1925.

Гастфер Е. Изучение детских читательских интересов // Красный библиотекарь. 1927. N 7.

Галинкин Л.И., Тугов Я.М. Руководство чтением как процесс // Советское библиотековедение. 1976. N 6.

Ган А. Ответ нашим критикам. Мальбрук в поход собрался // Красный библиотекарь. 1927. N 12.

Гей Н. Народность и партийность литературы. М. 1964.

Геллер М. Машина и винтики: История формирования советского человека. Лондон. 1985.

Герасимов Б. Опыт изучения читательских интересов методом кружковой работы // Красный библиотекарь. 1927. N 8.

Гинзбург С. Что читает служащий // Книга и профсоюзы. 1926. N 6.

Глаголева Н.А., Келлерман С.Е. Пропаганда художественной литературы (Из опыта массовых библиотек Ленинграда). М. 1957.

Гладков А.К. Страна читателей // Комсомольская правда. 1966. 14 сентября.

Гладков Ф. К работникам библиотечного дела // Красный библиотекарь. 1935.

Говоров А.А. История книжной торговли в СССР. М. 1976.

Голомшток И. Тоталитарное искусство. М. 1994.

Голос рабочего читателя. Современная советская художественная литература в свете массовой рабочей критики. Л. 1929.

Голубков В.В. Методика преподавания литературы. М. 1952.

Горева Г.Н. Учащийся ПТУ — читатель художественной литературы. Проблема литературно-художественного развития, библиотечного обслуживания и руководства чтением // Советский читатель (1920-1980-е гг.). Сб. научных трудов СПбИК им. Н.К.Крупской. Т. 132. СПб. 1992.

Горовиц В. Рабочий читатель и художественная литература // Книга и революция. 1929. № 15-16.

Горовиц В. Что читает рабочая молодежь // Красный библиотекарь. 1929, № 4.

Горохов Г. Литературные запросы деревни // Читатель и писатель. 1928. 28 октября.

Гоффеншефер В. Крестьяне о писателях-современниках // Молодая гвардия. 1929. № 10.

Гоффеншефер В. О статье Карла Косова и о рабочем читателе // Печать и революция. 1928. № 3.

Григорьев М. Внимание литературе в школе! // На литературном посту. 1929. № 23.

Григорьев Я.В. К изучению истории советского библиотековедения // Книга: Исследования и материалы. Сб. 12. М. 1966.

Григорьев Я.В. В.И. Ленин и библиотечное дело // Книга: Исследования и материалы. Сб. 20. М. 1970.

Григорьев Я.В. Советское библиотековедение на завершающем этапе культурной революции // Ученые записки МГБИ. Вып. 9. М. 1962.

Гроссман Б. Слово читателю! // Комсомольская молодежь. 1934. № 18.

Грязнов Н. Герои Горького — призыв к борьбе (Читатель о художественной литературе // Что читать? 1936. № 4.

Гудков Л. Социальный процесс и литературные образцы // Массовый успех. М. 1989.

Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Библиотека как социальный институт // Методологические проблемы теоретико-прикладных исследований культуры. М. 1988.

Гудков Л., Дубин Б. Литература как социальный институт: Статьи по социологии литературы. М. 1994.

Гудков Л., Дубин Б. Литературная культура: процесс и рацион // Дружба народов. 1988. № 2.

Гудков Л., Дубин Б. Разность потенциалов // Дружба народов. 1988, № 10.

Гудков Л., Дубин Б. Уже устали?: Социологические заметки о литературе и обществе // Литературное обозрение. 1991. № 10.

Гудков Л., Дубин Б., Рейтблат А. Книга — чтение — библиотека // Зарубежные исследования по социологии литературы. М. 1982.

Гулев Л. Массовая литработа в клубе. М.; Л. : Долой неграмотность. 1927.

Гумилев Н. Читатель // Цех поэтов. Альм. 3. Пг. 1922.

Гумилевский Л. Искусство литературной живописи // Журнал для всех. 1917. N 10-12.

Гуров П. За создание новой библиотечной теории на основе ленинизма // Красный библиотекарь. 1931. N 4.

Гуров П. Новая библиотека и запросы читателя // Печать и революция. 1922. N 7.

Гуров П. О работе с беллетристикой // Красный библиотекарь. 1927. N 2.

Гуров П.И. Психология и библиотечная работа. Вологда. 1929.

Гуров П. Что дает библиотекарю библиопсихология Н.Рубакина // Красный библиотекарь. 1930. N 2.

Гуров П. Что читают молодые читатели московских библиотек из советской художественной литературы // Библиотекарь. 1948. N 8.

Гуриштейн А. К проблеме народности в литературе // Новый мир. 1940. N 7.

Гусев В. Колхозная библиотека и ее читатель // Красный библиотекарь. 1935. N 1.

Гусельников В. Счастье Адриана Топорова. Барнаул. 1965.

Гущин А. Продукция ГИХЛа — перед судом пролетарской общественности // Художественная литература. 1932. N 4.

Давыдов Ю.Н. Искусство и элита. М. 1966.

Данько Е. О читателях Чарской // Звезда. 1934. N 3.

Дар Д. Письмо молодому другу: Попытка разобраться во взаимоотношениях читателя и писателя // Звезда. 1966. N 12.

Дедюхин В. Вредительство и задачи библиотечных работников // Красный библиотекарь. 1931. N 1.

Десницкий В.А. Об иллюстрировании обществоведческих тем литературно-художественным материалом // Вопросы педагогики. Л.: Изд-во ЛГИНП. 1927.

Дзюбинский С. Массовый читатель о художественной литературе. Из опыта одной заводской библиотеки // Новый мир. 1934. N 9.

Диамант Х. Библиотека и читатель // Рабочий читатель. 1925. N 3.

Динамика чтения и читательского спроса в массовых библиотеках. Сб. научных трудов. М. 1977.

Динерштейн Е.А. Начало советского книгоиздания // Книга: Исследования и материалы. Сб. 15. М. 1967.

Динерштейн Е.А. Положившие первый камень: Госиздат и его руководители. М. 1972.

Динерштейн Е.А., Белая Л.А., Сонкина Ф.С. Современная практика переиздания литературы в СССР. М. 1972.

Диспут о романе Ф. Панферова «Бруски» на собрании кружков МАПП 18 сентября 1930 года // Октябрь. 1930. N 12.

Дифференцированное руководство чтением детей. М. 1983.

Добренко Е. Искусство принадлежать народу: Формовка советского читателя // Новый мир. 1994. N 12.

Добренко Е. Метафора власти: Литература сталинской эпохи в историческом освещении. Мюнхен. 1993.

Добрынина Н.Е. Основные направления изучения читательских интересов //

Библиотеки СССР. Опыт работы. Вып. 35. М. 1967.

Друганов И.А. Библиотеки ведомственные, общественные и частные и судьба их в советскую эпоху // Советская библиография. 1933, кн. 1-3; 1934, кн. 2, 3-4.

Друганов И.А. Библиотечные фонды в 1918-1923 гг.: Библиотеки общественные и ведомственные // Советская библиография. 1935, кн. 3.

Друзин В. Ответ Иннокентию Оксену // Жизнь искусства (Л.; М.). 1926. N 27.

Дубин Б. Динамика печати и трансформация общества // Вопросы литературы. 1991. N 9-10.

Дубин Б. Игра во власть: Интеллигенция и литературная культура // Свободная мысль. 1993. N 1.

Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Идея классики и ее социальные функции // Проблемы социологии литературы за рубежом. М. 1983.

Дуденкова А.И. А.Н.Толстой о "творчестве читателя" // Вопросы русской литературы. Вып 2. Львов. 1966.

Евгенова И.В. Советская художественная литература как объект читательских интересов // Советское библиотековедение. 1976. N 5.

Егоров А.Г. Народность советского искусства // Вопросы философии. 1955. N 6.

Елина Е.Г. Литературная критика и общественное сознание в Советской России 1920-х годов. Саратов. 1994.

Еремеев А.Ф. Производство искусства как процесс // Вопросы философии. 1965. N 8.

Ермилов В. Против неоменьшевизма в пролетарском литературном движении. Что такое идеологическая фирма "Тоом-Бек"? // На литературном посту. 1930. N 18.

Ермилов В. Рост пролетарской интеллигенции и вопросы тематики художественной литературы // Красная новь. 1936. N 8.

Ечистова В. Вечер рабочей критики по «Поднятой целине» М.Шолохова. М. 1934.

Жабицкая Л.Г. Психологический анализ критериев оценки литературного произведения старшими школьниками. Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М. 1966.

Жданов Н. К вопросу о народности в литературе // Звезда. 1938. N 2.

Желобовский И. К вопросу о политической работе в детской библиотеке // Красный библиотекарь. 1924. N 4-5.

Жилкина Л.К. Читатели и книги (Заметки библиотекаря) // Новая Сибирь . Вып. 33. Иркутск. 1955.

За высокоидейное руководство чтением (Передовая) // Библиотекарь. 1949. N 5.

За высокую идейность, против формализма и объективизма в библиотечной теории (Передовая) // Библиотекарь. 1950. N 3.

Загорский М. Как реагирует зритель? // ЛЕФ. 1924. N 2(6).

Задачи детской библиотеки (Передовая) // Библиотекарь. 1949. N 8.

Залкинд А.Б. Очерки культуры революционного времени. М. 1924.

За социалистическую перестройку библиотечного дела (Передовая) // Красный библиотекарь. 1931. N 4.

Звездин В. Еще раз о нормальной постановке руководства чтением // Красный библиотекарь. 1925. N 1.

Зеленов Л.А. Процесс эстетического отражения. М. 1969.

- Зелинский К.* Книга, рынок, читатель // ЛЕФ. 1924. N 3(7).
- Зиновьев Г.* Новый великий почин: Рабкоровское и селькоровское движение. Л.; М. 1925.
- Зозуля Е.* Для кого? // Красная новь. 1931. N 8.
- Золотой фонд советской культуры (Передовая) // Правда. 1935. 12 апреля.
- Зоркая Н.А.* В поисках теории // Книга в социалистическом обществе. N 2. Таллин. 1985.
- Иванов А., Чернец Л.* Советский читатель об оборонной художественной литературе // Залп (Ленинград). 1934, N 11.
- Иванова Л.В.* Издание художественной литературы в годы Великой Отечественной войны // Книга: Исследования и материалы. Сб. 55. М. 1987.
- Ивашенко А.* Проблема народности литературы // Октябрь. 1951. N 7.
- Из писем читателей о Горьком // Октябрь. 1937. N 6.
- Издательское дело в первые годы советской власти (1917-1922): Сб. документов и материалов. М. 1972.
- Издательское дело в СССР (1923-1931): Сб. документов и материалов. М. 1978.
- Изменения социальной структуры советского общества: Октябрь 1917-1929. М. 1979.
- Ильина В.В.* О чтении учащихся профессионально-технических училищ // Советское библиотековедение. 1985. N 4.
- Ильина В.И.* Особенности восприятия языка художественных описаний // Ученые записки I МГПИИЯ. Т. 8. М. 1954.
- Ильина Н.* Литература и "массовый тираж" // Новый мир. 1969. N 1.
- Инструкция по пересмотру книг в библиотеках. М.; Л. 1926.
- Инструкция эмиссарам Московского библиотечного отдела. М. 1919.
- Исбах А.* О росте рабочего читателя // На литературном посту. 1928. N 2.
- Исбах А.* Что читает коломенский рабочий // На литературном посту. 1926. N 2.
- Искусство и народ. М. 1966.
- История литературы и художественное восприятие. Тверь. 1991.
- История русского читателя. Вып. 1-4. Л. 1973-1982.
- История русского читателя. Сб. научных трудов. Л. 1982.
- Кабалевский Дм.* Прекрасное пробуждает доброе. М. 1973.
- Кабалкина Э.* Подготовка библиотеки к юбилею А.С.Пушкина // Красный библиотекарь. 1936. N 7.
- Казан М.С.* Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л. 1971.
- Как и для чего нужно изучать читателя. М. 1926.
- Как изучать читательские интересы детей. М. 1930.
- Как проверять рукописи и книги для деревни. М. 1926.
- Как читают книгу малограмотные // Красный библиотекарь. 1931. N 5-6.
- Какая книга нужна крестьянину. М.; Л. 1927.
- Калитин Н.И.* Искусство быть читателем. М. 1962.
- Канторович В.* В поисках "формулы пристрастия" // Литературная газета. 1969, 5 февраля.
- Канторович В.* Литература и читатель: Заметки о социологии чтения. М. 1976.
- Канторович В.* От имени "литературного населения" // Литературная газета. 1968, 31 июля.

- Канторович В. Социология и литература // Новый мир. 1967. N 12.
- Канторович В. Социология чтения // Вопросы литературы. 1975. N 2.
- Канторович В. Чтение — это труд и творчество (Социологический анализ аудитории читателей произведений художественной литературы) // Молодой коммунист. 1975. N 4.
- Карклина Н. О вечерах читательской критики // Культурный фронт. 1927. N 13.
- Касаткина Н. Красный библиотекарь и работа с детьми // Красный библиотекарь. 1928. N 12.
- Кассиль Л.А. Дело вкуса. М. 1964.
- Катерова Т.Р. К вопросу об изучении читателя и массовой национальной книги 20-30-х гг. // Советский читатель (1920-1980-е гг.). Сб. научных трудов СПБИК им. Н.К.Крупской. Т. 132. СПб. 1992.
- Келтуяла В.А. Основы историко-материалистического подхода к изучению литературного произведения // Родной язык в школе. 1924. N 6.
- Керекес Я. В борьбе за марксистско-ленинское книговедение (О работе УНИКа) // Книжный фронт. 1933. N 12.
- Керженцев П. Книга и читатель // Читатель и писатель. 1927. 24 декабря.
- Кибрик Р. Аналитический формуляр читателя // Библиотекарь. 1951. N 12.
- Кибрик Р. Об учете опыта работы с читателем // Библиотекарь. 1950. N 6.
- Кибрик Р. Пропаганда книг в широкой рабочей массе // Красный библиотекарь. 1924. N 1.
- К-ий Д. О писателе, читателе и критике // Книга и профсоюзы. 1927. N 2.
- Кино и зритель. М. 1967.
- Кино и зритель. М. 1968.
- Киперман Я.Е., Банк Б.В., Концевич Е.В. Библиотечные кампании. Опыт организации, методы работы, материалы, результаты. М.; Л. 1926.
- Киров В. Главное — улучшить обслуживание читателей // Красный библиотекарь. 1934. N 5.
- Клейнборт Л.М. Русский читатель-рабочий. Л. 1925.
- Клецкая Э.М., Петровичева Л.И. Советская интеллигенция как читатели (1917-1930) // Советский читатель (1920-1980-е гг.). Сб. научных трудов СПБИК им. Н.К.Крупской. Т. 132. СПб. 1992.
- Клименко А. Писатель и читатель современности // Литературный еженедельник. 1923. N 8.
- Клименко А. Пуританизм или элементарная логика // Красный библиотекарь. 1928. N 12.
- Книга в жизни молодежи. Минск. 1971.
- Книга и чтение в жизни небольших городов. Вып. 1-4. М. 1969-1973.
- Книга и чтение в жизни советского села. Вып. 1-7. М. 1972-1978.
- Книга и чтение в зеркале социологии. М. 1990.
- Кобелева А. Юный читатель о книгах (Заметки библиотекаря) // Новый мир. 1947. N 7.
- Ковалев Н. Читательские конференции // Новый мир. 1949. N 7.
- Ковалева Л. Талант читателя. М. 1967.
- Коган Л.Н. Искусство и зритель // Симпозиум "Проблемы художественного

восприятия". Л. 1968.

Козан Л. Рабочий-читатель и художественная литература // Красный библиотекарь. 1927. N 4.

Козан Л.Н. Художественный вкус: Опыт конкретно-социологического исследования. М. 1966.

Козан Л. Что читают женщины // Красный библиотекарь. 1927. N 6.

Кожевников Г.А. Партия — организатор рабселькоровского движения. Саратов. 1970.

Козьмин М.Б. Советский читатель и пути изучения его взаимоотношений с художественной литературой // Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая литература. М. 1970.

Колосько Н.М. Из истории организации сети массовых библиотек в первые годы советской власти (1917-1920 гг.). Минск. 1953.

Кольцов М. Писатель и читатель СССР // Правда. 1931, 30 июня.

Колянова А. Против реакционных контрабандистов // Красный библиотекарь. 1931. N 12.

Коммунистическое воспитание трудящихся и задачи библиотек (Передовая) // Красный библиотекарь. 1939. N 9.

Кон И. Формирование личности и психология юношеского чтения // Библиотекарь. 1977. N 1.

Константинов Н. Говорит читатель // Литературный современник (Ленинград). 1934. N 6.

Кордес-Борисова В. Антирелигиозная кампания в детских библиотеках // Красный библиотекарь. 1925. N 4.

Коробкова Э. Из книг по изучению читателя // Красный библиотекарь. 1927. N 1.

Коробкова Э. Как узнать, что думают крестьяне о наших книжках: Указания политпросветработникам деревни об изучении читательских интересов крестьян (С приложением 4-х книжек для практической проработки). Бесплатное прил. к журн. «Изабчтальня». 1926. N 7. М. 1926.

Коробкова Э., Поляк Л. Крестьянский читатель о художественной литературе // На литературном посту. 1930. N 21-22.

Коробкова Э., Поляк Л. Писатель о читателе // На литературном посту. 1930. N 5-6.

Коробкова Э., Поляк Л. Рабочий читатель о языке современной прозы (К постановке вопроса) // На литературном посту. 1929. N 14.

Коротков Н. Эстетическое восприятие и проблема оценки // Проблема ценностей в философии. М.; Л. 1966.

Коршунова Е. Как проводить читательские литературно-критические конференции // Библиотекарь. 1947. N 6.

Коршунова Е. Как проводить читательские литературно-критические конференции в сельских библиотеках // Красный библиотекарь. 1936. N 6.

Коршунова Е. Литературно-критические читательские конференции по произведениям А.М. Горького // Красный библиотекарь. 1940. N 3.

Коршунова Е. Литературный кружок в библиотеке // Библиотекарь. 1947. N 2.

Костюк А.Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. 1963. N 2.

Котельников А. О руководстве чтением // Красный библиотекарь. 1925. N 3.

Котомка Л. Читатель о повести А. Малышкина «Севастополь» // Художественная литература. 1932. N 7.

Кочетов В. Писатель и читатель // Нева. 1955. N 1.

Кочетов В. Читатель ждет. Наш судья — читатель. // Кочетов В. Кому отдано сердце. Публицистика. М. 1970.

Красноармейский читатель об оборонной книге // Рост. 1934. N 3.

Краткая история рабочего класса. М. 1968.

Кривошеева А. Критик и читатель // Литературный современник. 1939. N 6.

Крипс И., Фишман С. Вытравим идеологию буржуазных библиотековедов // Красный библиотекарь. 1931. N 2.

Кротова И. Школьные библиотеки // Красный библиотекарь. 1929. N 7.

Крупник Е.П. Психологический анализ содержания и структуры интересов учащихся к произведениям художественной литературы. Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М. 1966.

Крупская Н.К. О детской литературе и детском чтении. М. 1979.

Крупская Н.К. Педагогические сочинения в 10-ти томах. Т. 8. Библиотечное дело. Избы-читальни. Клубные учреждения. Музеи. М. 1960.

Крылова С., Лебединский Л., Ра-бе (А. Бек), Тоом Л. Рабочие о литературе, театре и музыке. Л. 1926.

Кубарева А. О педологических извращениях в системе наркомпросов // Красный библиотекарь. 1936. N 8.

Кубиков И. Влияние общественных группировок на восприятие искусства и литературы // Путь. 1920. N 7.

Кудряшев Н.И. Литература в новой школе // Новая система народного образования в СССР. М.: Изд-во АПН РСФСР. 1960.

Кудряшев Н.И. Об основных условиях успешного преподавания литературы в школе // Литература в школе. 1954. N 4.

Кузьмичев В. О психологии читателя // Журналист. 1929. N 12.

Культура чувств. М. 1968.

Культурная революция в СССР (1917-1965 гг.). М. 1968.

Культурник В. Читатель Трехгорной мануфактуры // На литературном посту. 1926. N 5-6.

Культурное строительство РСФСР. Статистический сборник. М. 1958.

Культурное строительство СССР. М. 1940.

Купер С. Беспризорные // На литературном посту. 1930, N 15-16.

Купер С. Лицо рабочего читателя // Звезда. 1929. N 9.

Куприянова К., Юделевич М. Из опыта работы школьных библиотек // Библиотекарь. 1949. N 8.

Куфаев М.Н. Библиофилия и библиомания. Л. 1927.

Кухарский А. О нормальной постановке руководства чтением (К вопросу о предметном каталоге) // Красный библиотекарь. 1924. N 2-3.

Л.Б. Что читает рабочая молодежь // Красный библиотекарь. 1928. N 4.

- Лавров Н.П. Книгоиздание и литературный процесс. М. 1988.
- Лавров Н.П. Читатель — писатель — издатель: механизм взаимодействия (опыт Госиздата) // Книга: Исследования и материалы. Сб. 58. М. 1989.
- Лакшин В. Писатель, читатель, критик // Новый мир. 1965. N 4; 1966. N 8.
- Ларина Т. Руководство чтением юных читателей — Библиотекарь. 1952. N 4.
- Ларионов Н. Книга в массе // На литературном посту. 1927. N 8.
- Лахусен Т. Между инженерами: Любовь и жизнь социалистического текста (О романе Василия Ажаева «Далеко от Москвы») // Revue des Études Slaves. Paris. 1995.
- Лебедев А.В. Всесоюзный съезд писателей и библиотека // Красный библиотекарь. 1934. N 4.
- Левин Г.М. Читательская конференция по художественной литературе. М. 1950.
- Левин Л. Систематический каталог как рекомендательно-библиографическое пособие // Библиотекарь. 1953. N 5-6.
- Левинсон А.Г. Старые книги, новые читатели // Социологические исследования. Вып. 3. М. 1987.
- Левинтов Б. Легче на повороте (К вопросу об «открытых полках») // Красный библиотекарь. 1929. N 5-6.
- Левицкая Е. Опыт изучения читательских интересов (по данным анкеты читателя «Роман-газеты») // На литературном посту. 1929. N 2.
- Левицкая Е. Читатель в роли критика // На литературном посту. 1929. N 6.
- Левченко В. Отзывы рабочих о творчестве донецких писателей // Литературный Донбасс (Сталино). 1935. N 8-9.
- Легуве Э. Чтение как искусство. М. 1979.
- Лекаренко Д., Невский В. Читательский спрос рабочей молодежи // Красный библиотекарь. 1935. N 6.
- Ленин В.И. О печати. М. 1959.
- Ленин и современные проблемы воспитания юного читателя. М. 1980.
- Ленюль Г. Советский читатель и художественная литература // Новый мир. 1950. N 6.
- Лерман А. Дорогу рабочей критике // Книга и Профсоюзы. 1927. N 5.
- Лившиц С. Работа с исторической литературой среди школьников // Библиотекарь. 1949. N 8.
- Литература и рабочий читатель (Передовая) // Жизнь искусства (Л.; М.). 1927. N 20.
- Литература и социология. М. 1977.
- Литературное произведение и читательское восприятие. Калинин. 1982.
- Литературные интересы юношества // Просвещение Сибири. 1931. N 3.
- Лобанцев Я.Л., Шевелев Ф.А. Некоторые особенности восприятия поэтических произведений (Опыт конкретно-социологического исследования) // Ученые записки Уральского ГУ. Т. 68. Сер. филос. Вып. 1. Свердловск. 1967.
- Ломов И. Пятилетний план беспартийного культурничества // Молодая гвардия. 1929. N 13.
- Лотман Ю. О содержании понятия «художественная литература» // Проблемы поэтики и истории литературы. Сб. статей. Саранск. 1973.
- Лукьянов Б. Об объективных критериях оценки художественных произведений.

М. 1965.

Лусс Э. Читатели-колхозники // Красный библиотекарь. 1940. N 5.

Любимов А. На библиотечном фронте неблагополучно // Красный библиотекарь. 1931. N 4.

Любимов А. Против гнилого либерализма // Красный библиотекарь. 1931. N 12.

Любович Н.Н. Островский и его читатели // Новый мир. 1937. N 7.

Ляндрес С. Позаботимся о читателе // Вопросы литературы. 1961. N 5.

Ляшенко И.Ф. Проблема народности искусства в марксистско-ленинской эстетике. Автореф. дис. / канд. филос. наук. Киев. 1955.

Мазнин Дм. Знаем ли мы читателя? Из доклада о массовой рабочей критике на производственном совещании критиков РАПП // На подъеме (Ростов-на-Дону). 1932. N 3.

Мазнин Д. О массовой рабочей критике // На литературном посту. 1932. N 7, 8.

Малинов Л. Рабочие читатели о наших писателях // На литературном посту. 1927. N 8.

Малыхин Н.Г. Общественное значение книги // Книга: Исследования и материалы. Сб. 3. М. 1960.

Малыхин Н.Г. Очерки по истории книгоиздательского дела в СССР. М. 1965.

Мандельштам О. О собеседнике // Мандельштам О. О поэзии. Л. 1928.

Марголина С. Пионерские библиотеки и пионеры в библиотеке // Красный библиотекарь. 1927. N 5.

Марголина А. Формирование читательских навыков у детей и подростков // Красный библиотекарь. 1928. N 1.

Марков М.М. Об эстетической деятельности: Некоторые закономерности процессов восприятия искусства и художественного творчества. М. 1957.

Марченко Т. Искусство быть зрителем. Л.; М. 1966.

Маршак С.Я. О талантливом читателе // Писатели и книги. Вып. 1. М. 1960.

Масленников Н. Антираeligioзная пропаганда и сельская библиотека // Красный библиотекарь. 1923. N 2-3.

Маслова О.М. Социологические исследования читательской аудитории в 20-30-х годах // Социологические исследования. 1977. N 4.

Массовая работа в библиотеке. М.; Л. 1927.

Массовый читатель о художественной литературе // Новый мир. 1934. N 9.

Массовый читатель и книга. М. 1925.

Матвеева И. Изучение рабочего читателя в 30-е годы // Советский читатель (1920-1980-е гг.). Сб. научных трудов СПбИК им. Н.К.Крупской. Т. 132. СПб. 1992.

Маширов А. Искусство и психология масс // Жизнь искусства (Ленинград). 1921. N 8.

Маяковский В. "Вас не понимают рабочие и крестьяне" // Собр. соч. Т. 9. М.; Л. 1931.

Медриш Д. "Сквозь миллионы глаз..." // Вопросы литературы. 1961, N 11.

Медынский Е. Читающая рабочая молодежь г. Москвы // Красный библиотекарь. 1924. N 8.

Мезенцев П. Эстетическое восприятие. Кишинев. 1968.

- Меромский А.* Критическое чутье деревни // На литературном посту. 1928. N 3.
- Меромский А., Путник П.* Деревня за книгой. Опыт изучения массового читателя по крестьянским письмам. М. 1931.
- Металлург и литература // Просвещение Сибири. 1934. N 12.
- Методы обслуживания читателей в массовых библиотеках. М. 1938.
- Миц В.* О научной постановке изучения читателя // Книгоноша. 1924. N 42.
- Мицлов С.Р.* Синодик. Библиотеки, архивы и художественные коллекции, погибшие в России во время войны и революции // Временник Общества друзей русской книги. 1925, вып. 1.
- Михайлов Б.* За перестройку литературы в школе: О школьных программах по литературе // На литературном посту. 1931. N 3.
- Мищенко М.* К вопросу о руководстве чтением // Красный библиотекарь. 1925. N 1.
- Молодой редактор. О воспитании кадров литературных редакторов (Передовая) // Литературная газета. 1951, 6 сентября.
- Молчанова А.С.* На вкус, на цвет...: Теоретический очерк об эстетическом вкусе. М. 1966.
- Моргенштейн И.Г.* Доступность книги в условиях ее дефицита // Книга: Исследования и материалы. Сб. 56. М. 1988.
- Мысли о литературе. Трибуна читателя // Новый мир. 1955. N 4.
- Мяло К.* Оборванная нить: Крестьянская культура и культурная революция // Новый мир. 1988. N 8.
- На читательской конференции рабочих-железнодорожников // Журналист (Большевистская печать). 1931. N 1.
- Назаров А.И.* Книга в советском обществе. М. 1964.
- Назаров А.И.* Октябрь и книга: 1917-1923. М. 1968.
- Назаров А.И.* Очерки истории советского книгоиздательства. М. 1952.
- На культурной работе. Дневник деревенского библиотекаря. М.; Л. 1927.
- Нагоряков Н.Н.* Рост и условия развития книготорговли после Революции // Книжная торговля: Пособие для работников библиотечного дела. М. 1925.
- Нагоряков Н.Н.* У истоков советской книжной торговли // Книга: Исследования и материалы. Сб. 1. М. 1959.
- Наталин Ш.* Писатели и читатели // Коммунистическая революция. 1934. N 8.
- Наумов А.* Литературная теория и законы восприятия // Звезда Востока. 1965. N 11.
- Наша анкета // На литературном посту. 1926. N 2.
- Наша анкета о толстых журналах // На литературном посту. 1929. N 2.
- Невский В.* Из записной книжки библиотечного инструктора; Коллективный читатель // Красный библиотекарь. 1923. N 2-3.
- Невский В.* Неврология, эндокринология и изучение читателя // Естественнонаучные предпосылки психологии. М. 1929.
- Невский В.А.* Письмо в редакцию; От редакции // Красный библиотекарь. 1931. N 10.
- Невский В.* Из записной книжки библиотечного инструктора; Плановое чтение; Борьба с детским чтением // Красный библиотекарь. 1924. N 12.

- Невский В.А.* Новейшая психология и библиотечная работа. М. 1924.
- Невский В.А.* Подготовка профсоюзных библиотекарей. М. 1926.
- Невский В.А.* Формы и методы изучения читателя-горняка. М. 1928.
- Нелидова Е.* К вопросу о комплектовании детской библиотеки (В связи с изъятием вредной и устаревшей литературы) // *Красный библиотекарь*. 1924. N 8.
- Немировский Е.* Советский читатель: взгляд со стороны // *Книжное обозрение*. 1993. 29 октября.
- Нестеровская А.* Как относятся дети к приключенческой литературе // *Красный библиотекарь*. 1929. N 2, 3.
- Неструх Я.* Литературе нужны талантливые читатели // *Литература в школе*. 1966. N 6.
- Неустанно расширять круг читателей (Передовая) // *Библиотекарь*. 1951. N 7.
- Низорд.* Как понимают рабочие новые стихи // *Сибирские огни* (Новосибирск). 1929. N 1.
- Никифорова О.И.* Восприятие метафоры // *Ученые записки I МГПИИЯ*. Т. 8. М. 1954.
- Никифорова О.И.* Восприятие художественной литературы школьниками. М. 1959.
- Никифорова О.И.* Психология восприятия художественной литературы. М. 1972.
- Новосадский И.* Книжно-библиотечную дискуссию — на высшую ступень // *Красный библиотекарь*. 1931. N 10.
- Новосадский И.* Классовая борьба на книжном фронте. Против механистических и идеалистических теорий в книговедении // *Красный библиотекарь*. 1931. N 8.
- О книжном голоде // *Библиографические известия*. 1917. N 1-2.
- О советской и партийной печати. Сб. документов. М. 1954.
- Обнинская Я.С.* Дети в деревенской библиотеке // *Книга детям*. 1929. N 1.
- Обсуждаем «Бруски» Федора Панферова: Голос читателя // *На литературном посту*. 1930. N 12.
- Овцын Я.* Большевики и культура прошлого. М. 1969.
- Одинокая Л.П.* Опыт организации изучения советского читателя в 1920-е годы (по материалам Украинского НИИ книговедения) // *Сборник аспирантских работ*. N 8. ЛГИК им. Н.К.Крупской. Л. 1976.
- Ознакомить миллионы с ЖЭЛ // *Клуб*. 1934. N 23-24.
- Оксенов Ин.* Кто он, этот читатель? // *Жизнь искусства* (Л.; М.). 1925. N 29.
- Оксенов Ин.* Читатель — критик — читатель. // *Жизнь искусства* (Л.; М.). 1926. N 14.
- Оксенов Ин.* Ответ В. Блюменфельду и Э. Штейнману // *Жизнь искусства* (Л.; М.). 1926. N 27.
- Олейникова Т.В.* Деятельность специальных органов идейно-политической цензуры литературных произведений в СССР в конце 1920-х — начале 1930-х годов (по материалам Сибири) // *Развитие книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке*. Новосибирск. 1993.
- Омаров И.О.* Глазами читателя. Алма-Ата. 1967.
- Онуфриев Н.* Правильно планировать издание художественной литературы // *Культура и жизнь*. 1949, 30 ноября.
- Опять о читателе // *На литературном посту*. 1931. N 30.

Осипов Б. Руководство читательскими интересами // Читатель и писатель. 1928. N 7-8.

Осипов В. Личные библиотеки советских людей // Библиотекарь. 1952. N 12.

Осипов В.О. Книга в вашем доме. М. 1967.

Острогорский Н. Проблемы массовой критики // Земля Советская. 1932. N 4.

Осьмаков И. О "чистке" и "чистильщиках" массовых библиотек // Красный библиотекарь. 1932. N 8-9.

Осьмаков И. "Творчество" буржуазных библиотековедов // Красный библиотекарь. 1931. N 8.

Отклики молодежи на повесть Веры Кетлинской // Металлист за книгой. 1930. N 5.

Охлябинина А. Библиотекарь как творческий организатор жизни // Красный библиотекарь. 1924. N 10-11.

Охлябинина А. Читательские типы в деревне // Красный библиотекарь. 1923. N 1.

Очерки культуры революционного времени. М. 1924.

Павелкин. За большевистскую партийность в библиотечной работе // Красный библиотекарь. 1932. N 4.

Павлов Г. Клубная работа в детской библиотеке // Красный библиотекарь. 1928. N 3.

Павлова С.А. Партизаны читают В.И.Ленина // Советский читатель (1920-1980-е гг.). Сб. научных трудов СПбИК им. Н.К.Крупской. Т. 132. СПб. 1992.

Панферов Ф. О новаторстве, современной теме и читателе // Октябрь. 1933. N 10.

Парманин Н.А. Как руководить чтением беллетристики в библиотеке // Харьков: Изд-во Поюр. 1919.

Перельман М. "Развлекательная литература" и научный сотрудник // Фантастика. 1965. Вып. 1. М. 1965.

Переплетчикова Л. Как читается Синклер // Красный библиотекарь. 1927. N 8.

Переплетчикова Л. Перерегистрация и учет читателей // Красный библиотекарь. 1928. N 4.

Переплетчикова Л.С. Читающая молодежь города: Опыт исследования по материалам Московской областной библиотеки за 1928-29 г. М.; Л. 1931.

Перов Я.В. Социальная природа художественной оценки. Л. 1967.

Перов Я.В. Проблема интерпретации в контексте социального анализа искусства // Вопросы философии и психологии. Вып. 2. Л. 1968.

Петровичева Л.И. Из истории изучения советского читателя-рабочего (20-е годы) // Советская историография книги. М. 1979.

Петровичева Л.И. Круг чтения советского читателя-рабочего. Минск. 1977.

Петровичева Л.И. Советский крестьянин-читатель. Минск. 1981.

Петровичева Л.И. Советский рабочий-читатель. Минск. 1978.

Печать СССР за 40 лет: 1917-1957. Статистические материалы. М. 1957.

Печать СССР за 50 лет. Статистические очерки. М. 1967.

Пинегина Л.А. Советский рабочий класс и художественная культура: 1917-1932.

М. 1984.

Пирусская Г.В. Опыт института детского чтения по изучению читателя // Труды Ленинградского института культуры им. Н.К.Крупской. Т. XIX. 1968.

Писатель перед судом рабочего читателя: Вечера рабочей критики. Л. 1928.

Пискунов К.Ф. Друг детства и юности (об издании детской книги в СССР) // Книга: Исследования и материалы. Сб. 4. М. 1961.

Планы издательств и тиражи книг (Передовая) // Литературная газета. 1949. 28 сентября.

Плеский Г., Прайсман Я. Повысить качество подготовки и проведения читательских конференций // Библиотекарь. 1953. N 3.

Плетнев А. Структура единой сети библиотек // Красный библиотекарь. 1930. N 11.

Плотников С.Н. Чтение в России // Книжное обозрение. 1993. 8, 15 октября.

«Поднятая целина» в колхозе // Литературная газета. 1933. 23 марта.

«Поднятая целина» в чувашских колхозах // Правда. 1934. 16 сентября.

Пойманова О. Что читали и читают научные работники из новейшей беллетристики // На литературном посту. 1927. N 2.

Покровский А. Библиотечная работа. О культурной и социальной работе народной библиотеки. М. 1922.

Покровский А. К очистке библиотек // Красный библиотекарь. 1923. N 1.

Покровский А. О работе с беллетристикой // Труды I Всероссийского съезда библиотечных работников Красной Армии и Флота. М. 1922.

Покровский А. О целях библиотечной работы в городе // Красный библиотекарь. 1927. N 5.

Покупатель как он есть // Книга и революция. 1930. N 13-14.

Полонский В. О читателе и теории "иммунитета" // Новый мир. 1929. N 9.

Полонский В. Очередная задача Государственного издательства // Печать и революция. 1921. N 4.

Поляк Л. К вопросу о методике обработки читательских отзывов (Рабочий читатель о «Цементе») // Красный библиотекарь. 1928. N 9. 11.

Поляк Л. Опять о читателе // На литературном посту. 1932. N 10.

Поляк Л. Пути изучения читателя // РАПП. 1931. N 3.

Полянский В. Начало советских издательств // Печать и революция. 1927. N 7.

Попов А. О путях социалистической реконструкции библиотечной работы // Красный библиотекарь. 1931. N 4.

Попов В.А. Ленин о народе-читателе // Ученые записки Душанбинского ПИ. Т. 51. Серия филол. Вып. 19. Душанбе. 1967.

Поспелов Н. Итоги анкеты "Как и что мы читаем" // Книга и пролетарская революция. 1936. N 8.

Постановление коллегии Наркомпроса РСФСР от 19 июля 1932 г. о библиотечной работе // Красный библиотекарь. 1932. N 7.

Постановление коллегии Наркомпроса РСФСР от 4 октября 1932 г. "О просмотре книжного состава библиотек" // Красный библиотекарь. 1932. N 8-9.

Постановление Секретариата ВЦСПС от 29 августа 1932 г. "Против извращений в чистке библиотечных фондов" // Красный библиотекарь. 1932. N 8-9.

Постановление ЦК ВКП (б) от 7 сентября 1925 года "О деревенских библиотеках и популярной литературе для снабжения библиотек" // Красный библиотекарь. 1925. N 10.

Постановление ЦК ВКП(б) от 30 октября 1929 года "О библиотечной работе" // Красный библиотекарь. 1929. N 10.

Постановление ЦК ВКП(б) от 15 августа 1931 г. "Об издательской работе" // Красный библиотекарь. 1931. N 6.

Потапов М. Больше чуткости и больше заботы о читателе // Красный библиотекарь. 1934. N 6.

Привить школьникам любовь к классической литературе (Передовая) // Правда. 1936, 8 августа.

Природа и функции эстетического. М. 1968.

Проблемы дифференциации читателей и психологии чтения. Сб. научных трудов. Л. 1980.

Проблемы комплексного изучения восприятия художественной литературы. Калинин. 1984.

Проблемы социологии и психологии чтения. М. 1975.

Проблемы чтения и формирования человека развитого социалистического общества. М. 1973.

Продукция ГИХЛ в оценке пролетарской общественности // Художественная литература. 1933. N 2.

Прозоров В.В. Читатель и литературный процесс. Саратов. 1975.

Прокофьев Н.И. Об изучении теории литературы в школе // Литература в школе. 1953. N 5.

Против формализма в библиотечной работе (Передовая) // Библиотекарь. 1954. N 6.

Пряднишников Н. Рассуждение о читателе и писателе // На литературном посту. 1930. N 8.

Психологические проблемы чтения. Сб. научных трудов. М. 1981.

Психология чтения и проблемы типологии читателей. Сб. научных трудов. Л. 1984.

Рабинович Л. За боевые темпы в реализации постановления СНК о библиотечной работе // Красный библиотекарь. 1932. N 4.

Рабинович Л. Об извращениях в просмотре книжного состава библиотек // Красный библиотекарь. 1932. N 7.

Рабочий читатель и художественная литература // Революция и культура. 1930. N 9-10.

Раппопорт С. Искусство и эмоции. М. 1968.

Рассадин Ст. Книга про читателя. М. 1965.

Резнов Б. Наука о литературе и читатель // Звезда. 1966. N 5.

Рейтблат А. Основные тенденции развития массового чтения в СССР // Тенденции развития чтения в социалистических странах. М. 1983.

Рейтблат А. От Бовы к Бальмонту: Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века. М. 1991.

Рейтынбарг Л. Против формализма в проведении литературных читательских конференций // Библиотекарь. 1954. N 5.

Ривлин Я. Методические течения в области библиотековедения (Опыт социологического обзора) // Читатель и книга. Методы их изучения. Сб. статей. Харьков. 1925.

Ривлин Я. Научная постановка изучения читателя // Красный библиотекарь. 1924. N 10-11.

Ризр Б. Работа с красноармейским читателем // Красный библиотекарь. 1937. N 2.

Родников В.П. Методы библиотечной работы. Харьков: Изд-во Политуправления всех вооруженных сил Украины и Крыма. 1921.

Роднянская И. О беллетристике и "строгом" искусстве // Новый мир. 1962, N 4.

Роль библиотек в коммунистическом воспитании советских людей. Сб. статей. М. 1965.

Розанов М. 6 указаний т.Сталина в библиотечной работе // Красный библиотекарь. 1932. N 5.

Роль современной литературы и искусства в формировании человека коммунистического общества. М. 1963.

Романов С. Педагогическая обработка книг // Красный библиотекарь. 1931. N 5-6.

Романов С. Читатели в лабиринте // Красный библиотекарь. 1929. N 5-6.

Роцин Я. Голос читателя // Литературное обозрение. 1939. N 11.

Рубакин Н.А. Работа библиотекаря с точки зрения библио-психологии. К вопросу об отношении книги и читателя // Читатель и книга. Методы их изучения. Сб. статей. Харьков. 1925.

Рубакин Н. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию. Л. 1929.

Рубакин Н. Что такое библиотечная психология. М. 1924.

Рубцова П. Что читают дети. М.: Посредник. 1928.

Руманова Л.Я. Голос читателя (По материалам читательских отзывов о произведениях советской литературы последних лет) // В помощь работе библиотек по эстетическому воспитанию. Сб. статей. М. 1962.

Рыбников Н.А. Изучение психологии читателя // Труды I Всерос. съезда библиотечных работников Красной Армии и Флота (15-24 октября 1920 г.). М. 1922.

Рыбникова М.А. Избранные труды. М.: Изд-во АПН РСФСР. 1958.

Рыбникова М. От маленького писателя — к большому читателю // Русский язык в советской школе. 1929. N 2.

Рыльский М. Литература и народ. М. 1959.

Ряпасова В. В поисках рабочего читателя // Красный библиотекарь. 1930, N 1.

Салеев В.А. О художественном вкусе. Минск. 1975.

Салеев В.А. Искусство и его оценка. Минск. 1977.

Сахаров В. Читатель-металлист // Рабочий читатель. 1925. N 10.

Сахно Ф. Личная библиотека для всех // В мире книг. 1961. N 8.

Сборник декретов и постановлений Рабоче-крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 2 (с 7 ноября 1918 г. по 7 ноября 1919 г.). М. 1920.

Свирская И.А. Советские читатели-подростки 20-х годов // Советский читатель (1920-1980-е гг.). Сб. научных трудов СПбИК им. Н.К.Крупской. Т. 132. СПб.

1992.

Свирская И., Хузе О. О литературных вкусах и идеалах современных читателей-подростков // Детская литература. 1968. N 12.

Севр. Будни красноармейской библиотеки (Беглые заметки) // Красный библиотекарь. 1928. N 11.

Селищев А.М. Язык революционной эпохи. М. 1928.

Семенычев И. Книгоиздательство, книгораспространение и библиотеки // Красный библиотекарь. 1931. N 10.

Серафимович А. Читатель и писатель // На литературном посту. 1927. N 22-23.

Серебров Е. Дух торгашества и наживы. Антигосударственная политика издательских делег // Литературная газета. 1947, 4 октября.

Сивоконь Г.М. Художня і література читач. Киев. 1971.

Сидоров А.А. Советская история книги // Книга: Исследования и материалы. Сб. 15. М. 1967.

Сим М. "Полпредство" рабочего читателя // На литературном посту. 1931. N 13.

Симхович М. Работа библиотек и пролетлитературное движение // На литературном посту. 1931. N 3.

Скатерщиков В.К. Твой эстетический вкус. М. 1963.

Скатерщиков В.К. Об эстетическом вкусе. М. 1974.

Скиталец А. Антирелигиозная работа в библиотеке // Красный библиотекарь. 1924. N 4-5.

Слово имеет читатель... // Наши достижения. 1936. N 7.

Слуховский М.И. Книга и деревня. М.; Л. 1928.

Слуховский М.И. Проблемы истории чтения // Книга: Исследования и материалы. Сб. 33. М. 1976.

Смелянский И. В ответ на "днепропетровщину" // Красный библиотекарь. 1929. N 10.

Смирнов А. Методы школьного чтения // Родной язык и литература в школе. 1924. N 6.

Смирнов С.А. За высокое качество преподавания литературы в школе // Литература в школе. 1953. N 4.

Смолин В. Литература на рабфаке: О программах по литературе // На литературном посту. 1930. N 11.

Смородинская М.Д. Чтение юношества. М. 1976.

Смушкова М. Новый этап // Красный библиотекарь. 1930. N 1.

Смушкова М. Очередные задачи детских библиотек // Красный библиотекарь. 1928. N 11.

Смушкова М.А. Первые итоги изучения читателя. М.; Л. 1926.

Смушкова М. Создание новой книги и изучение читателя // Красный библиотекарь. 1925. N 4.

Собрание декретов и постановлений Рабоче-крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 1. Пг. 1919.

Советская интеллигенция: Краткий очерк истории (1917-1975). М. 1977.

Советский рабочий читатель: Методические указания. М. 1977.

Советский читатель: Опыт конкретно-социологического исследования. М. 1968.

Современные писатели в школе. М.: ГИЗ. 1927.

Совсун В. Художественная литература в школе II ступени и комплекс // Родной язык в школе. 1927. N 4.

Сорок лет библиотечного строительства в СССР. М. 1958.

Сорокин Я.А. Библиопсихологическая теория Н.А.Рубакина и смежные науки (к постановке вопроса) // Книга: Исследования и материалы. Сб. 17. М. 1968.

Советская книга за 30 лет. По материалам Всесоюзной книжной палаты // Советская книга. 1947. N 10.

Советская литература в школе (Передовая) // Литература в школе. 1954. N 5.

Советская печать в цифрах. Сб. статистических материалов. 1917-1947. М. 1948.

Советский читатель 1917-1921 гг. // История книги в СССР. 1917-1921. Том 3. М. 1986.

Соловьев А.И. Плюрализм современной книжной культуры: анализ читательских интересов, пути удовлетворения потребностей в книге // Книга: Исследования и материалы. Сб. 60. М. 1990.

Солоухина О.В. Читатель и литературный процесс // Методология анализа литературного процесса. М. 1989.

Сорокина В.Н. К вопросу о восприятии и оценке киноискусства зрителем // Философские науки. 1965. N 3.

Социалистический реализм и классическое наследие. М. 1960.

Социальная среда и чтение школьников. М. 1980.

Социология и психология чтения. М. 1979.

Степанов И. Государственное издательство, частные фирмы и подрядные предприятия // Книга и революция. 1920. N 6.

Степанян Е.В. Повзвращенная книга: конец восьмидесятых // Книга: Исследования и материалы. Сб. 62. М. 1991.

Столович Л.Н. Категория прекрасного и общественный идеал. М. 1969.

Страна Советов за 50 лет: Сб. статистических материалов. М. 1967.

Стрельцов Н. Нужны ли массовому читателю "полные собрания сочинений классиков"? // Горн. 1919. N 4.

Сучасная літэратура і чытач. Мінск. 1988.

Таловов В.П. О читательской психологии и теоретических основах ее изучения. Л. 1973.

Тамарин Н. Критика художественных произведений и историческая перспектива // Жернов. 1925. N 1.

Тверяк. Писатель-критик-читатель // Жизнь искусства (Л.; М.). 1926. N 21.

Теоретические проблемы руководства чтением. Сборник научных трудов ЛГИК им. Н.К.Крупской. Т. 33. Л. 1977.

Тимонен А. Верный и требовательный друг // На рубеже (Петрозаводск). 1954. N 7.

Тимофеев А. За регулярную чистку библиотек // Красный библиотекарь. 1931. N 5-6.

Тимофеев Л.И. Изучение советской литературы в школе // Литература в школе. 1955. N 5.

Титов В. Книга в цеху // На книжном фронте. 1930. N 6.

Тихомирова И.И. О классификации читателей и дифференцированном руководстве чтением // Советское библиотековедение. 1978. N 6.

Товмасын С. К вопросу об объективных критериях оценки произведений искусства. Ереван. 1955.

Толстой А.Н. О читателе // Полн. собр. соч. Т. 13. М. 1949.

Топоров А. Вопрос остается открытым (По поводу критики моей книги «Крестьяне о писателях») // Земля Советская. 1932. N 9.

Топоров А. Деревня о современной художественной литературе // Сибирские огни (Новосибирск). 1927 N 6; 1928. N 1, 2.

Топоров А.М. Воспоминания. Барнаул. 1970.

Топоров А.М. Крестьяне о писателях: Опыт, методика и образцы крестьянской критики современной художественной литературы. М.; Л. 1930.

Топоров А. Крестьяне о писателях. М. 1982.

Трифонова Т. Надо учиться читать // Резец. 1929. N 44.

Трояновский А.В., Егиазаров Р.И. Изучение кинозрителя: По материалам исследовательской театральной мастерской. М.; Л. 1928.

Трубников С.А. Проблема типологии читателей художественной литературы // Книга: Исследования и материалы. Сб. 36. М. 1978.

Туева Л.М. Проблемы начитанности молодежи и оценка ею художественных достоинств произведений литературы. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. МГИК. 1976.

Туровская М. Эволюция зрительских предпочтений // Отечественный кинематограф: Стратегия выживания. М. 1991.

Тынянов Ю. Журнал, критик, читатель и писатель // Жизнь искусства (Л.; М.). 1924. N 22.

Удинцев Б.Д. Издание и распространение подписных собраний сочинений классиков художественной литературы // Книга: Исследования и материалы. Сб. 2. М. 1960.

Уроки днепропетровского вредительства (Редакционная) // Красный библиотекарь. 1929. N 10.

Фадеев А. Наш молодой читатель // Комсомольская правда. 1948, 31 октября.

Файдыш В.П. Как создается книга для деревни // На книжном фронте. 1928. N 40.

Филатова Е. "Теория", ставящая палки в колеса // Красный библиотекарь. 1931. N 2.

Фишман М. Против путаницы и "левацких" уклонов // Красный библиотекарь. 1931. N 1.

Фонотов Г. Улучшить идейно-политическую направленность библиотечных каталогов // Библиотекарь. 1951. N 10.

Фрадкина М. Заметки библиотекаря // Новый мир. 1947. N 8.

Франкфурт Л.С. Рабочая молодежь и книга. М.; Л. 1927.

Фридьева Н. Современные запросы городского читателя и активность библиотеки (Наблюдения и опыт городской районной библиотеки) // Красный библиотекарь. 1924. N 1.

Фридьева Н., Балика Д. Изучение читателя: Опыт методики. М.; Л. 1928.

Хавкина Л.Б. Руководство для небольших и средних библиотек. М. 1930.

Хейфец Э. Формы и методы обслуживания читателей на абонементе // Красный

библиотекарь. 1938. N 6.

Херсонская Н. Детская библиотека и деревня // Красный библиотекарь. 1925. N 1.

Херсонская Н. Детская библиотека и пионерское движение // Красный библиотекарь. 1924. N 8, 9.

Хлебцевич Е.И. Идеалистические извращения в литературе по изучению читателя // Советская библиография. 1934, кн. 1.

Хлебцевич Е.И. Изучение читательских интересов. Массовый читатель. М. 1927.

Хлебцевич Е.И. К постановке руководства чтением // Красный библиотекарь. 1925. N 3.

Хлебцевич Е.И. Какие книги больше всего читаются в массовых библиотеках рабоче-крестьянской Красной армии // Красный библиотекарь. 1924. N 6.

Хлебцевич Е.И. Массовый читатель и антирелигиозная пропаганда. М.; Л. 1928.

Хлебцевич Е.И. Массовый читатель и работа с книгой. М. 1936.

Хлебцевич Е.И. Массовый читатель о Серафимовиче // Красный библиотекарь. 1934. N 6.

Хлебцевич Е.И. Читательские интересы красноармейцев (по анкетным данным) // Печать и революция. 1921. N 2.

Хлебцевич Е.И. Читательская трибуна. Читатель в роли критика // На литературном посту. 1929. N 6.

Ходжаева М. Записи библиотекаря об отдельных читателях // Красный библиотекарь. 1941. N 5.

Храпко К. Библиотеку под контроль масс // Красный библиотекарь. 1930. N 4.

Храпченко М.Б. Литературный стиль и читатель // Проблемы современной филологии. М. 1965.

Храпченко М.Б. Художественное творчество, действительность, человек. М. 1978.

Хренов Н.А. Некоторые аспекты социального функционирования искусства на первых этапах развития советской художественной культуры // Страницы истории советской художественной культуры: 1917-1932. М. 1989.

Художественное восприятие. Сб. статей. Л. 1971.

Художественное восприятие: Проблемы теории и истории. Калинин. 1988.

Художественное восприятие: Основные термины и понятия. Тверь. 1991.

Художественное произведение и его читатель. Калинин. 1980.

Художественное творчество и проблемы восприятия. Калинин. 1978.

Художественное творчество и проблемы восприятия. Тверь. 1990.

Художественные интересы современного школьника. М. 1971.

Цырлин Л. К вопросу о "жизни" и "смерти" литературного факта // В борьбе за марксизм в литературной науке. Сб. статей. Л. 1930.

Черный К. Искусство принадлежит народу // Ставрополье. Альм. 1959, N 20.

Читатели говорят // На литературном посту. 1929. N 7.

Читатели о книге Э. Ремарка «На западном фронте без перемен» // Металлист за книгой. 1930. N 1.

Читатель в творческом сознании русских писателей. Калинин. 1986.

Читатель и современный литературный процесс. Грозный. 1989.

Читатель о герое-современнике // Литературная газета. 1970, 23 декабря.

- Читатель о книге Г. Никифорова «Женщина» // *Металлист за книгой*. 1930. N 2.
- Читатель о книге М. Гельца «Жизнь — борьба» // *Металлист за книгой*. 1930. N 3.
- Читатель о книге Платошкина «В дороге» // *Металлист за книгой*. 1930. N 4.
- Читатель о научно-популярной литературе // *Что читать?* 1927. N 1.
- Читатель о советской литературе // *Литературное обозрение*. 1937. N 19-20.
- Читатель о художественной литературе // *Что читать?* 1936. N 1.
- Читательские интересы ленинградской молодежи // *Труды ЛГИК им. Н.К.Крупской*. Т. 18. Л. 1967.
- Читательские интересы рабочей молодежи. М. 1966.
- Читательские портреты (из материалов ленинградских библиотек) // *Красный библиотекарь*. 1934. N 3.
- Чтение: проблемы и разработки. М. 1985.
- Что писал и говорил Ленин о библиотеках. М. 1932.
- Что читает рабочая молодежь. М. 1930.
- Что читают взрослые рабочие и служащие по беллетристике:
- Что читают в наших библиотеках // *На литературном посту*. 1926. N 3.
- Материалы выборочного обследования читательских формуляров московских профсоюзных библиотек. М. 1928.
- Чупырина Н. Детская библиотека и пионерские организации // *Красный библиотекарь*. 1928. N 3.
- Чупырина Л. Общие собрания читателей как форма организации детской среды в библиотеке // *Красный библиотекарь*. 1928. N 8.
- Шагинян М. Новый быт и искусство. Тифлис. 1926.
- Шамота Н. О народности литературы // *Коммунист Украины* (Киев). 1958. N 4.
- Шамота Н. Проблема народности литературы в теории социалистического реализма. Автореф. дис. ... доктора филол. наук. Киев. 1961.
- Шаповалов Л. К вопросу о народности литературы и искусства // *Дальний Восток* (Хабаровск). 1953. N 4.
- Шапошников А.Е. О становлении читателя нового типа // *Советское библиотековедение*. 1979. N 5.
- Шафир Я. Библиопсихология и вопросы изучения читателя // *Печать и революция*. 1927. N 2.
- Шафир Я. Газета и деревня. М.; Л. 1924.
- Шафир Я. Максим Горький о читательских интересах // *Октябрь*. 1927. N 4.
- Шафир Я. Очерки психологии читателя. М.; Л. 1927.
- Шафир Я. О языке массовой литературы // *Книгоноша*. 1924. N 39.
- Шафир Я. Познай своего читателя // *Красная печать*. 1924. N 36.
- Шафир Я. Процесс чтения и изучения читателя // *Книгоноша*. 1926. N 40.
- Шацкая В.Н., Савченко Е.Г. О некоторых вопросах эстетического воспитания // *Новая система народного образования в СССР*. М.: Изд-во АПН РСФСР. 1960.
- Шварц С.А. Рост советского читателя и задачи писателей // *Сибирские огни* (Новосибирск). 1936. N 6.
- Шведов С. Книги, которые мы выбирали // *Погружение в трясину: Анатомия*

застоя. М. 1991.

Шведов С. Литературная критика и литература читателей (Заметки социолога) / Вопросы литературы. 1988. N 5.

Шемшелевич Л. Письма читателей: О художественной литературе второй ступени и рабочем читателе // На литературном посту. 1930. N 2.

Шилов Ф.Г. Судьба некоторых книжных собраний за последние 10 лет: Опыт обзора // Альманах библиофила. Л. 1929.

Шипов. Рабочий читатель о новой литературе // Журналист. 1927. N 2.

Шифман Л. Заочные библиотечные курсы ЦИЗПО. Против механистических извращений в психологии // Красный библиотекарь. 1931. N 4.

Шифман Л. Против буржуазных путей изучения читателя // Красный библиотекарь. 1931. N 8.

Шифман Л. Против идеалистических извращений в психологии библиотечного дела // Красный библиотекарь. 1931. N 10.

Шифман Л. Против механистических извращений в психологии // Красный библиотекарь. 1931. N 4.

Шифман Л. Что такое рубакищина? Библиопсихология как буржуазная теория чтения и работы с читателем // Красный библиотекарь. 1932. N 1.

Шомракова И.А. Изучение массового читателя в 1920-1930-е гг. Проблема источника // Советский читатель (1920-1980-е гг.). Сб. научных трудов СПбИК им. Н.К.Крупской. Т. 132. СПб. 1992.

Штейнман Зел. Писатель-критик-читатель // Жизнь искусства (Л.; М.). 1926. N 16.

Штейнман Зел. "Сфинкс" говорящий // Новый мир. 1926. N 6.

Штылько. Что читает серпуховской рабочий // На литературном посту. 1927. N 1.

Щепотев В. Смотр низовой критики // На литературном посту. 1929. N 8.

Щербина В. В.И. Ленин и вопросы народности литературы // Новый мир. 1954. N 1.

Эйхенбаум Б. Литература. Теория. Критика. Полемика. Л. 1927.

Эфрос М. Руководство чтением юных читателей // Библиотекарь. 1949. N 12.

Юлдашев Л.Г. Эстетическое переживание и произведение искусства // Ученые записки кафедр марксистско-ленинской философии ВПШ при ЦК КПСС и местных ВПШ. Вып. 6. М. 1967.

Юлдашев Л.Г. Эстетическое чувство и произведение искусства. М. 1969.

Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. М. 1964.

Ямов О. Пушкин и массовый читатель // Клуб. 1936. N 2.

Яницкий Н.Ф. Книжная статистика советской России. 1918-1923. М. 1924.

Яровой П. Через содержание к технике, через технику к массам // Грядущее. 1921. N 1-3.

Brine, J. Soviet libraries and librarians today: some impressions from study tour. Solanus. August 1983. No. 18.

Brine, J. The Soviet Reader, the Book Storage and the Public Library. Solanus. 1988. Vol. 2.

- Brooks, Jeffrey.* The Breakdown in Production and Distribution of Printed Material, 1917-1927. // *Bolshevik Culture*. Bloomington. 1985.
- Brooks, Jeffrey.* Public and Private Values in the Soviet Press, 1921-1928. *Slavic Review*. 48. No. 1 (Spring 1989).
- Brooks, Jeffrey.* Studies of the Reader in the 1920s. *Russian History*. 1982. Vol. 9.
- Brooks, Jeffrey.* When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861-1917. Princeton. 1985.
- Brown, Edward.* The Proletarian Episode in Russian Literature, 1928-1932. New York. 1953.
- Choldin, M.T.* Censorship via translation: Soviet treatment of Western political writing// Red pencil: artists, scholars, and censors in the USSR. Boston. 1989.
- Clark, Katerina.* The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago and London. 1981.
- Dewhurst, M. & Farrel, R., eds.* The Soviet censorship. Metuchen. 1973.
- Dunham, Vera.* In Stalin's Time: Middleclass Values in Soviet Fiction. London and New York. 1976.
- Fitzpatrick, Sheila.* The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky. October 1917-1921. Cambridge. 1970.
- Fitzpatrick, Sheila.* The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Itacha and London. 1992.
- Fitzpatrick, Sheila.* Education and social mobility in Soviet Union, 1921-1934. Cambridge. 1979.
- Freidin, Gregory.* Authorship and Citizenship: A Problem for Modern Russian Literature // *Stanford Slavic Studies*. 1987. No. 1.
- Freidin, Gregory.* By the Walls of the Church and State: On the Authority of Literature in Russia's Modern Tradition // *The Russian Review*. 1993. April.
- Friedberg, Maurice.* A Decade of Euphoria: Western Literature in Post-Stalin Russia. 1954-1964. Bloomington. 1977.
- Friedberg, Maurice.* Russian Classics in Soviet Jackets. New York. 1962.
- Garrard, J. & C.* Inside the Soviet Writers' Union. New York, 1990.
- Garrard, J. & Corning A.* The Soviet Reader: New Data from the Soviet Interview Project. Solanus. 1988. Vol. 2.
- Groys, Boris.* The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond. Princeton. 1992.
- Gorokhoff, B.I.* Publishing in the USSR. Bloomington, 1959.
- Günther, Hans.* Die Verstaatlichung der Literatur: Entstehung und Funktionsweise des sozialistisch-realistischen Kanons in der sowjetischen Literatur der 30er Jahre. Stuttgart, 1984.
- Inkeles, Alex.* Public Opinion in Soviet Russia: A Study in Mass Persuasion. Cambridge. 1958.
- Jaremko, C.* The Origins of Soviet State Publishing Before Gosizdat. Solanus. 1988. Vol. 2.
- Jarus, Marc.* Press and Publishing in the Soviet Union. London. 1935.
- Kenez, Peter.* The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929. Cambridge, 1985.
- Lahusen, Thomas.* Thousand and One Night in Stalinist Culture: *Far From Moscow* by Vasily Azhaev and Aleksander Stolper - Michail Papave. Discourse. Spring 1995.
- Mally, Lynn.* Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. Berkeley and Los Angeles. 1990.

Mehnert, Klaus. The Russians and Their Favorite Books. Stanford. 1983.

Robin, Régine. Popular Literature of the 1920s: Russian Peasants as Readers // Russia in the Era of NEP: Explorations in Soviet Society and Culture. Bloomington and Indianapolis. 1991.

Robin, Régine. Socialist Realism: An Impossible Aesthetic. Stanford. 1992.

Shlapentokh, Vladimir. Two Levels of Opinion: The Soviet Case. Public Opinion Quarterly, 49 (Winter 1985).

Stites, Richard. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York-Oxford. 1989.

Stites, Richard. Soviet Popular Culture: Entertainment and Society in Russia since 1900. Cambridge. 1992.

Swayze, Harold. Political Control of Literature in the USSR, 1946-1959. Cambridge. 1962.

Walker, Gregory. Soviet Book Publishing Policy. Cambridge. 1978.

Wolfe, Bertram V. Krupskaya purges the People's Libraries. Survey, No. 72. Summer 1969.

- А.К. 255
 А.М. 167, 215
 Абсалямов А.С. 273, 277
 Авенариус В.П. 59, 175
 Авербах Л. 34, 46
 Аверченко А.Т. 175
 Аверьянова 176
 Аврелий М. 178
 Агапитова 263
 Айхенвальд Ю.И. 12-16, 43
 Аксаков С.Т. 175
 Алатырцев М. 45, 134, 228, 254
 Александров В. 45
 Алексеев 117
 Алигер М.И. 260
 Алтаев Ал. 64, 116
 Амфитеатров А.В. 66, 179
 Андреев Л.Н. 163, 179, 188, 241
 Аннунцио Г. де 67
 Апраксин 175
 Апресян Г.З. 44, 45, 259, 275
 Аросев А. 50, 120
 Арсеньев К.К. 75
 Архимед 199
 Арцыбашев М.П. 179
 Асадов Э.А. 271
 Асмус В.А. 21, 24, 44, 94, 133
 Ауслендер С. 69, 70
 Ауэрбах Б. 59
 Афанасьев А.Н. 175
 Ахматова А.А. 81

 Бабаевский С.П. 95
 Бабанов Г. 254
 Бабель И.Э. 51, 53, 95, 100-102, 105, 119, 120
 Баев К.Л. 236
 Бажанов Б. 212
 Байрон Дж.Г. 179
 Балатон Ц. 143, 150
 Балашов 174
 Балика Д. 19, 43, 44, 218, 256
 Бальзак О. де 67, 118, 179
 Бальмонт К.Д. 55, 79, 163, 257
 Балябин В.И. 262
 Банк А. 197, 198
 Банк Б.В. 46, 59, 79, 80, 134-136, 210, 213, 252, 253, 256-257
 Баратынский Е.А. 12, 241, 258

Барбюс А. 55, 261
Барков А. 236
Батюшков К.Н. 179
Бахметев В.М. 116
Бахтин М.М. 32, 106, 258, 275
Бачелис И. 264, 276
Бедный Д. 50, 53, 97, 163
Безыменский А.И. 50
Бек А. 47, 78, 132-136, 190, 199, 200, 212, 214
Бек А.А. 261
Беккер М. 86-88, 132-134, 193, 212, 213, 234, 235, 254
Белецкий А. 9, 12, 16, 17, 21, 43
Белинский В.Г. 149, 153, 189
Бело 174
Белый А. 179, 188
Березовский Ф.А. 65
Беркли Дж. 194
Берков П.Н. 166, 252
Берлинер А. 79
Берлинер В. 67
Бернетт Ф.Э. 70
Беспалова 263
Беус Г. 211, 212
Бианки В.В. 70, 73
Бибик 162
Бирюкова Н.
Бичер-Стоу Г. 60, 70
Блинов Е.С. 98
Блок А.А. 83
Блюменфельд В. 84, 132
Бляхин П.А. 70, 176, 237
Боборыкин П.Д. 179
Бобров А. 275
Богданов А. 55, 123, 271, 272
Богданович И.Ф. 179
Богомолов 233
Бодуэн де Куртэнэ И.А. 178
Бойков Н. 276
Божаччо Дж. 179
Болдин П. 90, 132
Бондарев Ю.В. 271
Боратынский Е.А. см. Баратынский Е.А.
Борн174
Борович Б.О. 31, 45, 46, 185, 197, 198, 212, 215, 219, 228, 229, 241,
247, 250, 252-257
Бочаров А.И. 97, 103
Бочаров Ф.З. 97, 98
Бочарова А.П. 96, 98
Бочарова М.Т. 98
Брайнин Б. 79, 134-136

Брет-Гарт Ф. 67
Брешко-Брешковский Н.Н. 56
Бриллиантов 174
Брудный А.А. 100, 133
Брылов Г. 78, 241, 255
Брюсов В.Я. 144, 188
Буагобе Ф. 174
Бубнов А.С. 188, 196
Бувье А. 174
Бунин И.А. 179, 188
Буренин 175
Бурже П.Ш.Ж. 67
Буслаев Ф.И. 179
Буссенар Л. 74, 176
Бухарин Н.И. 191

Вайнберг И. 276
Вайнеры, братья 271
Вальбе Б.С. 276
Варанкин В. 276
Варшавский С. 133
Василевская В.Л. 261
Васильев 175
Вахтангов Е.Б. 109, 111
Веже 134-136
Вейман Р. 45
Вейцман В. 276
Веневитинов Д.В. 179
Вербицкая А.А. 56, 60, 175, 186, 271
Вересаев В.В. 51, 66
Вержбицкий Н. 166
Верн Ж. 59, 70, 72, 162, 163, 176, 236, 261
Верхарн Э. 144, 246
Вершигора П.П. 260
Веселый А. 88, 119, 272
Виленкин А. 46, 59, 79, 134-136, 197, 198, 213, 252, 256, 257
Владимирский 116
Воздвиженский В. 129
Вознесенский А.А. 258
Войнич Э.Л. 55, 261
Волков 119
Волконский М.Н. 175
Володарский М.М. 246
Волошинов В. 45
Вольнов И.Е. 145
Воробьев Е.З. 64, 122
Воровский В.В. 246
Воронский А.К. 189
Выготский Л.С. 200

Габорио 174
Гамсун К. 55, 67, 188
Ган А. 212
Гарibaldi Дж. 174
Гарин-Михайловский Н.Г. 188
Гартман М. 178
Гаршин В.М. 179
Гастев А. 118
Гасфер Е. 80
Гауптман Г. 179, 188
Гегель Г.В.Ф. 246
Гейне Г. 179
Гельфанд 189
Геродот 199
Герцен А.И. 189, 246
Гладков Ф.В. 50-53, 55, 63, 64, 66, 117, 119, 120, 246, 272
Гоголь Н.В. 51, 52, 59, 119, 143, 146, 149, 153, 162, 189, 241
Годунов Б., царь 98
Голицын, князь 56
Гольдсмит О. 179
Гомер 179
Гонкуры, братья 179
Гончаров И.А. 52, 59, 119, 146, 153
Горбатов Б.Л. 260, 261
Горбачев Г.Е. 189
Горбов Е.К. 189
Гордеев 236
Горовиц В. 78
Горон 174
Горький М. 50-52, 55, 57, 60, 66, 93, 116, 120, 122, 124, 144,
162, 163, 260, 266, 267, 268, 276
Гофман Э.Т.А. 179, 188
Гоффеншефер В.Ц. 45, 46, 134
Грехнев В.А. 133
Гржебин З.И. 153
Грибоедов А.С. 143, 146
Григорович Д.В. 59, 163, 179, 261
Григорьев М. 149, 150
Григорьев С. 70
Грин А. 123
Грин Э. 260
Гриц Т. 155, 166
Гройс Б. 127, 128, 136
Гроссман В. 261
Грот Я.К. 178
Гумбольдт В. фон 194
Гумилевский Л.И. 54
Гуров П. 43, 213, 214, 253, 256, 275
Гюго В. 51, 55, 117, 163, 179, 261
Гюнтер Х. 8

Даль В.И. 178
Данилевский Г.П. 59, 179, 261
Данте А. 33, 179
Дворецкий И.М. 262
Дедюхин В. 215
Декарт Р. 178
Дементьев А.Г. 276
Державин Г.Р. 143, 179
Десницкий В.А. 150
Дефо Д. 70, 141, 261
Джемисон 70
Джованьоли Р. 55, 261
Диккенс Ч. 67, 70, 141, 179, 188
Доблер Ф. 212, 253
Добренко Е. 276
Добролюбов Н.А. 128, 149, 179
Доде А. 179, 188
Дойл А.К. 162, 179
Доронин И. 50
Дорохов П.Н. 64
Достоевский Ф.М. 50-52, 110, 141, 146, 149, 153, 156, 163, 179, 232
Дранов А.В. 45
Друганов И.А. 166
Друзин В.П. 132
Дубин Б.В. 142, 150
Дюма-отец А. 179, 261

Евдокимов И. 53
Екатерина II, императрица 110
Елпатьевский С.Я. 67
Ермаков Б.М. 102, 103, 104
Ермилов В.В. 34, 214
Есаулов И.А. 106, 133
Есенин С.А. 50, 54, 120

Жаров А.А. 50
Жданов А.А. 81
Жегалов Н. 276
Желиховская В.П. 70
Желобовский И. 80
Жеромский С. 188
Жилкина Л.К. 276
Жирмунский В.М. 33
Жироду Ж. 188
Жуковский В.А. 153, 179

Загорский М. 45
Загоскин М.Н. 59, 141, 179, 182, 186
Зайцев Б.К. 179
Зайцев А.А. 97
Залкинд А.Б. 200, 209, 215
Замятин Е.И. 86, 231, 272
Захарова 263
Звездин В. 255
Зелинский К.Л. 32, 33, 45
Земсков 174
Златовратский Н.Н. 179
Зозуля Е.Д. 120, 273, 277
Золотарев П.И. 102, 103, 106
Золотарев С. 45
Золя Э. 50, 55, 59, 145, 162, 179
Зоценко М.М. 52
Зубкова А.З. 101

Иванов А. 136
Иванов Ан.С. 129, 131, 271
Иванов Вс.Н. 50, 51, 120, 272
Игнатов П. 261
Иенсен 231
Изер В. 27, 44, 45, 95, 99, 107
Ильев С.П. 5
Ильин М. 236
Ильина Е. 64, 119
Ильф И. 260
Ингарден Р. 23, 27
Исбах Ал. 78, 135

Каверин В.А. 260
Каган М.С. 23, 24, 44, 45
Казанова Дж. 174
Калинников 122
Кант И. 178, 194, 199
Кантемир А. 179
Капранов В.П. 233
Караваева А.А. 272
Карамзин Н.М. 143
Карлейль Т. 178
Каронин С. 179
Карпов М.Я. 272
Касаткин И.М. 120
Касаткина Н.Г. 80
Касименко В.А. 236
Катаев В.П. 260
Келлер Б.А. 236
Келлерман Б. 55, 144, 162, 163

Келтуяла В.А. 45
Кетлинская В.К. 263
Кибрик Р. 254
Киперман А.Е. 79, 80
Киперман Я.Е. 210, 218, 253
Киплинг Дж.Р. 69
Киров В. 167
Клейнборт Л.М. 47, 48, 49, 57, 78, 199, 214, 266, 267, 276
Клименко А. 211
Кнюрин В.Ю. 220
Княжнин Я.Б. 179
Князьков 225
Ковалев Н. 167, 276
Ковалевская Д.Г. 59
Коваленский 69
Коган Л. 78, 79
Кок П.Ш. де 56
Колосов М.Б. 272
Кольцов А.В. 153
Колянова А. 213, 214
Кондрашенко М.Т. 103
Кондрашенко Т.М. 103
Коновалов 174
Константинов Н. 135
Концевич Е.В. 80, 210, 253
Корляков И.Ф. 104
Корляков С.Ф. 101-103
Корнилов Е.А. 259, 275
Корнилов К. 200
Коробкова Э. 46, 135, 277
Короленко В.Г. 51
Коротков С. 86
Коршунова Е. 254, 276
Косов К. 115, 134
Костер, де Ш. 179, 188
Котельников А. 238, 255
Кочетов Вс.А. 11, 42, 274, 277
Кошевой О.В. 141
Кравченко А. 133
Кравчинский С.М. (псевд. Степняк) 55, 179
Крипс И. 213
Кротова И. 211
Круглов А.П. 59
Крупская Н.К. 20, 33, 39, 44, 68, 69, 79, 88, 96, 132, 133, 160,
161, 165, 168, 170-173, 175, 177, 178, 182, 187, 190, 191,
196, 199, 210-212, 215, 218, 220, 223, 247, 252, 253, 256,
271, 277
Крученных А.Е. 127
Крылов И.А. 141
Крылова С. 133-136, 211

Кубарева А. 214
Кудряшев Н.И. 150-151
Кузнецова А.А. 262
Куликов Л. 86
Кунгуров Г.Ф. 262
Купер С. 254
Купер Дж.Ф. 59, 70, 141, 162, 163, 176, 261
Куперман Я. 169
Куприн А.И. 144, 179
Курбский А.М. 179
Куфаев М.Н. 199
Кухарский А. 239, 240
Кэрвуд 66

Л.Б. 78
Лагерлеф С. 67
Лавренев Б.А. 51-53, 66, 85, 86, 122, 271
Лажечников И.И. 141, 179
Лазарев 64
Ларин Ю. 75
Ларина Т. 80
Лебедев 175
Лебедев А.В. 253, 255
Лебедев Н. 78
Лебедев-Полянский П.И. 173
Лебедева Н.И. 233
Лебединский Л. 133-136, 211
Леблан М. 174
Левин Г.М. 277
Левин Л.И. 248, 257
Левинтов Б. 255
Левицкая А. 135, 166
Левченко В. 133
Лелевич 189
Ленин В.И. 28, 44, 64, 76, 97, 98, 101, 102, 130, 131, 136, 152,
160, 165, 167-169, 172, 191, 199, 210, 211, 224, 253, 256,
260, 262, 269
Ленобль Г.М. 31, 45, 136, 167, 276
Леонов Л.М. 50, 52, 53, 65, 95, 272
Леопарди Дж. 179
Лепешинский 67
Лермонтов М.Ю. 50, 52, 120, 146, 261
Лесков Н.С. 52, 84, 179, 188, 261
Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) 99
Либединский Ю.Н. 50-52, 66, 116
Либкнехт К. 113
Либрович 175
Литкенс 211
Ловягин А. 199
Лодж 70

Ложк У. 66, 178
Ломакин Т.Н. 97
Ломоносов М.В. 143, 179
Лонгфелло Г.У. 188
Лондон Дж. 50, 51, 55, 57, 60, 66, 162, 163, 261
Лосский Н.О. 194
Лоти П. 76
Лузгин М.В. 34
Лукашевич 73, 175
Луначарский А.В. 124, 196
Лусс З. 276
Лухманова 73
Любимов А. 78, 214, 215
Любович Н. 264, 276
Лютер М. 258
Ляшко Н.Н. 50, 53, 272

Мазнин Дм.М. 90, 132, 214, 215
Майзель 189
Макаренко А.С. 260
Малевич К.С. 127
Мало Г. 70
Мальтус 178
Маляревский П.Г. 262
Мамин-Сибиряк Д.Н. 163, 179
Мандельштам О.М. 6, 12, 13, 16, 17, 28, 29, 42, 47, 131, 137, 258
Манн Г. 51, 188
Маран Р. 231
Марголин А. 80
Марголина С. 80
Марков Г.М. 262, 263
Марков М.М. 44
Маркс К. 177
Маттеи 174
Махцевич-Новицкая 176
Мах Э. 194
Маяковский В.В. 50, 51, 83, 148, 260
Медынский Е. 167, 218
Мейерхольд В.Э. 111
Мелгунов 225
Мельников-Печерский 179, 261
Мережковский Д.С. 179
Меромский А. 134, 135
Метерлинк М. 179, 188, 232
Мещерский В.П., князь 56, 175
Мид 176
Миклухо-Маклай Н.Н. 75
Минин 225
Минцлов С.Р. 166

Михайлов Б. 150
Михайлов Н. 236
Мищенко М. 255
Молотов В.М. 32
Молчанов-Сибирский И.И. 263
Монтен К. де 174
Монтескье Ш.Л. 178
Мопассан Г. де 67, 179
Мордовцев 73
Мюллер 179

Надточий Э. 126, 136
Нарежный В.Т. 179
Наумов Е.И. 276
Неверов А. 50, 51, 53, 64, 66, 67, 69, 70, 116, 145
Невский В.А. 41, 42, 46, 76, 77, 80, 200-203, 214, 218, 227,
230, 231, 246, 254
Некрасов Н.А. 50, 52, 143-145, 147
Нелидова Е. 176
Нелидова Л. 211
Немирович-Данченко В.И. 59, 179
Нернец Л. 136
Нестеровская А. 80
Низовой П.Г. 272
Никитин М. 155, 166
Никитин И.С. 50, 153
Никифоров Г.К. 118
Никифорова О.И. 140, 150
Ницше Ф. 178
Новиков-Прибой А.С. 50, 141, 271, 272
Новицкая 73
Новосадский И. 213, 214
Носов М.А. 105

Овсяннико-Куликовский Д.Н. 179
Оксенов Ин.А. 83-85, 132
Олькот Л.М. 70
Ольхон А.С. 263
Онегин 175
Осипов В. 277
Основа-Ненко 179
Островский А.Н. 52, 143, 146
Островский Н.А. 141, 260, 261, 263, 264, 276
Острогорский Н. 132, 133, 213
Остроумов 70
Осьмаков И. 213, 214, 241, 255-257
Осьмаков Н. 212
Отрепьев Г. см. Лжедмитрий I
Охлябинина А. 253

Павелкин 215, 257
Павленко П.А. 260
Панова В.Ф. 260
Панферов Ф.И. 119, 272
Пастернак Б.Л. 121
Пахомов 236
Переверзев В.Ф. 143, 145-147, 189, 200
Перельман Я. 236
Переплетчикова Л.С. 78, 79, 254
Перов Я.В. 45
Петр I, царь 260
Петров 269
Петров Е.П. 260
Петрова70
Пильняк Б.А. 52, 53, 55, 116, 119, 120, 179
Пиотровский Адр.И. 132
Пирумова Н.М. 45
Писарев Д.И. 128, 149, 179
Писемский А.Ф. 50, 179
Платон 178
Плесский Г. 277
Плетнев А. 210
Плоткин Л.А. 276
Подъячев С.П. 67, 119, 124
Покровский А. 178, 183-185, 191, 197, 198, 212-214, 218, 220,
222, 229, 231, 237, 252-255
Покровский М.М. 145
Полевой Б.Н. 260
Полетаев Н.Г. 144, 145
Половинкин А. 236
Полонский Вяч.П. 33, 34, 46, 189, 199
Полоцкий Симеон 143
Поляк Л.М. 79, 134, 135, 277
Помяловский Н.Г. 153, 261
Понсон дю Террайль П.А. 56, 174
Попов А.В. 214, 253
Пютапенко 179
Потебня А.А. 16, 23, 43, 194
Прайсман Я. 277
Прево179
Пресс В.Ф. 136
Пришвин М.М. 67, 179
Прокофьев Н.И. 150
Пронкин И.П. 96, 97
Прутков Козьма 179
Пугачев Е.И. 97
Пушкин А.С. 49, 51, 52, 59, 83, 84, 96-99, 120, 133, 143-149,
162, 163, 189, 261
Пшибишевский С. 179
Пыпин А.Н. 179

Ра-бе см. Бек А.
Рабинович Л. 189, 211, 212
Рабичев Н. 212
Радищев А.Н. 179
Разин С. 113
Резников Л. 276
Рейтблат А. 29, 30, 45, 58, 79, 249, 257
Рейтынбарг Л. 277
Ремизов А.Н. 179
Ренан Ж.Э. 225
Решетников Ф.М. 261
Ривлин Я.В. 19, 43, 197, 198, 216-218, 252, 254
Рид Дж. 162
Рид М. 59, 70, 162, 163, 176, 261
Ризр Б. 237, 255
Робэн Р. 124
Рогова 73, 175
Родов С.А. 189
Рождественский Р.И. 271
Розанов В.В. 258
Романов П.С. 51, 54, 55, 64, 122
Романов С. 256
Романова А. 83
Ростан Э. 179, 188
Роцин Я. 276
Рубакин Н.А. 18, 19, 21, 22, 24, 43, 44, 183, 194-197, 201, 208,
209, 213, 215, 217
Руссо Ж.-Ж. 179
Руставели Ш. 148
Рыбникова М.А. 141, 150, 151

Сабашников М.В. 153
Сабашников С.В. 153
Сабашниковы, братья 153
Савченко Е.Г. 149, 150
Салеев В.А. 45, 133, 275
Салиас Е.А. 56, 59
Салтыков-Щедрин М.Е. 52, 153
Сахаров В. 78
Сверчков 162
Сегал В. 236
Сепор С.Ф. 73, 175
Седых К.Ф. 262, 263
Сейфуллина Л.Н. 50, 51, 53, 64, 66, 67, 123
Семенов С.Т. 136
Семенов Ю.С. 271
Семенычев И. 253
Сенека Л.А. 178
Сенкевич Г. 163, 179

Серафимович А.С. 50-53, 55, 66, 67, 118, 144, 149, 272
Сервантес М. 261
Сим М. 254
Симонов К.М. 260, 271
Синицына Е. 253
Синклер Э. 50, 51, 55, 57, 60, 61, 66, 79, 120, 144, 162
Сиповский В.В. 179
Сжабичевский А.М. 179
Скиталец А. 225, 253
Сковорода Г.С. 178
Скотт В. 179, 261
Скрипкина 36
Слоним М.Л. 263
Смирдин А.Ф. 155, 166
Смирнов А.М. 150
Смит А. 178
Смолин Вл. 150
Смушкова М.А. 80, 173, 190, 191, 218, 220, 253
Соболь А. 52, 188
Совсун В. 150
Соловьев В.С. 178
Соловьев В.С. 56, 175
Соловьева 263
Сологуб Ф. 86, 179
Соломатина З.Н. 233, 234
Сорокин Я.А. 44
Спартак 186
Спенсер Э. 178, 199
Спиноза Б. 178
Стаднюк И.Ф. 271
Сталин И.В. 76, 108, 124, 126-128, 136, 165, 168, 191, 196, 260,
262, 269
Стальский 118
Станюкович К.М. 163
Стафецкая М.П. 44
Стекачев И.А. 101
Стекачев Т.В. 105
Степанов А. 260, 261
Степняк-Кравчинский см. Кравчинский С.М.
Стринберг А. 179
Строков П. 276
Суворин А.С. 152
Суриков И.З. 233
Сурков А.А. 149
Сусликов Т.И. 97
Сытин И.Д. 174

Тассо Т. 179
Татлин В.Е. 258
Таурин Ф.М. 262

Твардовский А.Т. 260, 261
Твен М. 70, 179, 261
Тверяк 84, 132
Теккерей У. 179
Тимонен А.Н. 274, 277
Тимофеев А.В. 189, 212
Тимофеев Л.И. 150
Титов Н.И. 96, 104
Тихонравов Н.С. 150
Толстой А.Н. 51, 52, 66, 81-83, 85, 132, 260
Толстой А.К. 59, 179
Толстой Л.Н. 50-52, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 114, 141, 143, 146,
162, 163, 189, 261, 266
Тоом Л.П. 133-136, 190, 199, 200, 211, 214
Топоров А.М. 45, 46, 91, 96, 99, 100, 115, 120, 133-135, 165, 167,
192-194, 212
Трегуб С.А. 264, 276
Тренин В.В. 155, 166
Трифонов Ю.В. 157
Тришин 118
Троцкий Л.Д. 199, 226
Тубольцев И.Т. 96
Тулъчинский Г.Л. 133
Тургенев И.С. 50-52, 119, 141, 143, 146, 147, 162, 163, 189, 261
Туровская М.И. 156, 166
Туровский К. 143
Тучков 87
Тынянов Ю.Н. 9, 10, 148, 155, 166, 216
Тычинин В.В. 263
Тэн И.А. 194
Тютчев Ф.И. 179

Уайльд О. 179, 188
Успенский Г.И. 52, 144, 153
Уэллс Г. 51, 55, 162

Фадеев А.А. 53, 55, 149, 260, 261
Фаррер К. 51, 66
Фаст Г. 75
Федин К.А. 50, 52, 53, 83, 95
Федоров А. 66
Федоров-Давыдов А.А. 175
Фейербах Л. 23
Фере 174
Фет А.А. 188
Фигнер В.Н. 67
Филатова Е. 214
Фихте И.Г. 178
Фишман М. 213, 214
Флобер Г. 188

Фонвизин Д.И. 179
Форш О.Д. 52
Франк Л. 120
Франко И.Я. 179
Франс А. 179
Фрейд З. 23
Фридыева Н. 78, 212
Фурман П.Р. 59
Фурманов Д.А. 50, 53, 65, 119, 260

Хавкина Л.Б. 196, 197, 213, 217
Харитоновна К. 62
Хейфец З. 255
Хемницер И.И. 179
Херсонская Н. 80
Херстень Т. 130, 136
Хлебников В.В. 127
Хлебцевич Е. 79, 218, 255
Хомяков А.С. 179
Храпко К. 215
Храпченко М.Б. 21, 44

Цареградский И. 218
Циолковский К.Э. 236

Чаадаев П.Я. 97, 179
Чайковский П.И. 110
Чапаев В.И. 65, 119, 129, 260
Чапугин А.П. 53, 67, 272
Чарный М.Б. 88
Чарская Л.А. 73, 128, 176
Чернышевский Н.Г. 128, 153
Чертенко З.С. 255
Чехов А.П. 51, 52, 110, 141, 146, 147, 153, 163, 196, 261
Чистяков 75
Чулков В.И. 107, 108, 133
Чумаченко 75

Шаветт 174
Шагинян М.С. 52
Шамота М.З. 46
Шамурин Е. 248
Шафир43
Шаховская Л. 175
Шацкая В.Н. 149, 150
Шварц С.А. 276
Шевченко Т.Г. 148
Шекспир В. 33, 110, 261
Шеллер-Михайлов А.К. 50, 66
Шершневич В.Г. 179

Шиллер Ф. 179, 188
Шилов С. 118
Шилов Ф.Г. 167
Шипов 134, 135
Шитиков Д.С. 97, 98
Шитикова М.Т. 104, 105
Шифман Л. 213, 214
Шишков В.Я. 51, 134, 260, 272
Шкловский В.Б. 155, 166, 189
Шолохов М.А. 63, 260, 261, 263
Шопенгауэр А. 178
Шпильрейн И. 200
Штейнман Зел. 84, 132
Шубин 119
Шулгина А.Г. 98
Шюккинг Л. 33

Щелкунов М. 199

Эдельсон З. 91
Эйхенбаум Б.М. 45, 155, 189, 272, 277
Эренбург И.Г. 50-52, 55, 66, 85, 120, 260
Эскарпи Р. 11, 157
Эфрос М. 254

Языков Н.М. 179
Якобсон П.М. 44
Ярославский 225
Яусс Х.Г. 95, 99, 107, 259

Brooks J. 136
Fitzpatrick S. 211
Friedberg M. 275
Gorokhoff B.I. 166
Gunther H. 276
Iser W. 45, 133
Jaruc 166
Jauss H.R. 133, 275
Marc 166
Mathewson R. 276
Mehnert K. 277
Stonim M. 276
Walker G. 166
Wolfe B. 211

Оглавление

<i>ПРЕДИСЛОВИЕ</i>	7
 <i>ГЛАВА ПЕРВАЯ</i>	
<i>ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ</i>	
(Рецептивная эстетика — Á LA SOVIÉTIQUE)	11
1. СМЕРТЬ ДИАЛОГА	11
2. ОТ “ЧИТАЮЩЕЙ ПУБЛИКИ”	28
3. К “ЧИТАТЕЛЬСКИМ МАССАМ”	28
4. ЧИТАТЕЛЬ, КОТОРОГО НЕТ	35
 <i>ГЛАВА ВТОРАЯ</i>	
<i>ПШЕНИЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ</i>	
(Читатель пореволюционной эпохи)	47
1. “СОЦИАЛЬНО ЦЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ”	47
2. ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ И ИХ АУДИТОРИЯ	55
3. КРЕСТЬЯНСКАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА	58
4. “ЖЕНСКОЕ ЧТЕНИЕ”	62
5. БИБЛИОТЕКИ И “ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ”	68
 <i>ГЛАВА ТРЕТЬЯ</i>	
<i>БЕДСТВИЕ СРЕДНЕГО ВКУСА, ИЛИ</i>	
<i>КТО “ПРИДУМАЛ” СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ</i>	
(Читатель как критик)	81
1. “ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ”	
ЭПОХИ МОСКВОШВЕЯ	81
2. МЕЖДУ СМЕРДЯКОВЫМ И ДОН-КИХОТОМ	94
3. ОТ “ВЫСТРАИВАНИЯ СМЫСЛА”	
К “ВЫСТРАИВАНИЮ ИСКУССТВА”	100

4. СТРАТЕГИЯ ЧТЕНИЯ	
КАК “ОПТИКА НОВОГО МЕТОДА”	106
5. “ГОРИЗОНТ ОЖИДАНИЯ”	
И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА	126

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗАГОТОВКА ЧИТАТЕЛЕЙ

(Школа и идеология литературы)	137
--------------------------------------	-----

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВЛАСТЬ И БЕЗВЛАСТИЕ КНИГИ

(От “культурной революции” к культурному строительству”)	152
--	-----

ГЛАВА ШЕСТАЯ

КОНЕЦ ПЕРСПЕКТИВЫ

(Библиотека: обращение хлебов в камень)	168
---	-----

1. “ЩИ ШАМ — РОЗНЬ”, ИЛИ “ПРОСТАЯ ОХРАНА	
ИНТЕРЕСОВ МАССОВОГО ЧИТАТЕЛЯ”	168
2. НА БИБЛИОТЕЧНОМ ФРОНТЕ... ..	190
3. “КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ”	204

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ

(От эмпирического читателя к идеальному)	216
--	-----

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СЧАСТЬЕ КОРЧАГИНА

(Идеальный читатель)	258
----------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ	278
---------------------------	-----

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ	306
--------------------------------	-----

Евгений Добренко

Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. — СПб., "Академический проект", 1997. — 321с. (Серия "Современная западная русистика")

ISBN 5-7331-0083-4

Книга профессора университета Дюка, известного специалиста по литературе советского периода Е.Добренко посвящена исследованию процесса планомерного формирования вкусов и идеологии советского читателя государственным аппаратом. Монография основана на громадном фактическом материале, учтена практически вся периодика 20-х годов, социологические, книговедческие, библиотековедческие работы того времени.

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО
ФОРМОВКА СОВЕТСКОГО ЧИТАТЕЛЯ

Художественный редактор В.Г.Бахтин
Технический редактор А.Т.Драгомощенко
Корректор О.И.Абрамович

ЛР № 062679 от 02.06.93.

Гуманитарное агентство "Академический проект"
199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4

Подписано в печать 28.01.97 г.
Формат 60x90 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. п.л. 20,5. Тираж 1000 экз. Зак. № 14



Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии "Полиграфический центр"
190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., д. 6
тел./факс 812 315 3310